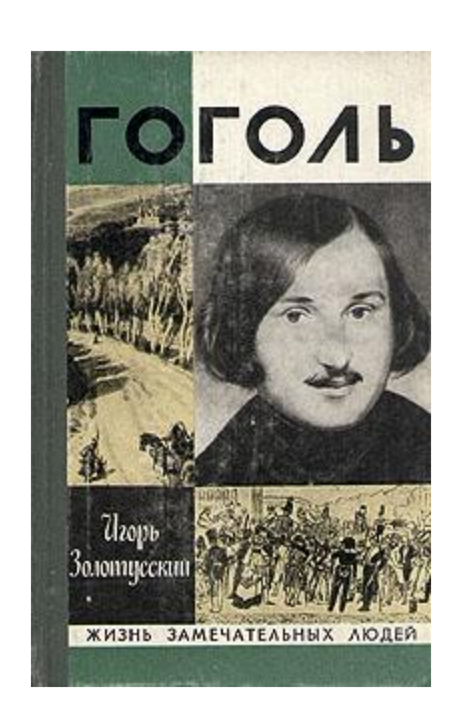
Золотусский Игорь
Гоголь



Гоголь

Памяти отца

Часть первая. НИКОША

Нужно сильно потрясти детские чувства, и тогда они надолго сохранят все прекрасное. Я испытал это на себе.

Гоголь — матери, октябрь 1833 года

Глава первая. Дом в Васильевке

Я думаю, все переменилось, но мое сердце всегда останется привязанным к священным местам Родины...

Гоголь — матери, май 1825 года

1

Он родился в низенькой хатке, крытой соломой, в комнате с глиняным полом. Первый свет, который он увидел, был свет серенького мартовского дня, свет месяца, который у древних славян считался началом года. В житии святого Стефана Пермского сказано: «...март месяц — начало всем месяцам, иже и первый наречется в месяцех, ему же свидетельствует Моисей-законодавец, глаголя: месяц же вам первый в месяцех да будет март... Марта бо месяца начало бытиа — вся тварь Богом сотворена бысть от небытья в бытье».

Все уже таяло, и мелкий снежок, падавший на землю, когда его несли завернутого в одеяльца и пеленки в церковь, не мог скрыть пробивающейся зеленой травки. Он родился весной и потом всю жизнь любил весну, весною весь его организм просыпался, напрягался; весною ему и писалось, и мечталось, и жилось. «Сильно люблю весну, — писал он. — ...Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с ней мое прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз...»

В начале марта прилетают с юга жаворонки, в середине лед делается так непрочен, что его щука хвостом пробивает. Вечером в воскресенье, в последний день масленицы, выносят из дворов по снопу соломы и сжигают на окраине села — сжигают Масленицу. Весною пробуждаются и души усопших, и люди ходят на кладбище поминать их. Они как бы беседуют с пробужденными от зимнего сна, советуются с ними. Ряженые на масленице — тоже освободившиеся от сна духи, духи загробного царства, *оборотни,* и оттого во всех домах готовят блины: хотят задобрить пришельцев.

Православная Малороссия, в которой родился Гоголь, еще сохраняла остатки обрядов языческих. Все перемешалось тут: и вера в Христа — и странствование по дорогам старинного *вертепа,* в котором показывались сцены непристойные, соблюдение поста — и безудержное веселье и гулянье на ярмарках, сытная еда, яркие одежды, яростное обращение крови под знойным летним солнцем. Лень сопрягалась со вспышкою, со способностью бесшабашной рубки в бою, протяженная тоскливость прощальной песни — с криками и свистами гопака, плясками в кругу и срамными припевками. Даже в светлое Христово воскресенье — Велик День — славили Бога, но славили и земную жизнь: все пело, пило, танцевало. Выносились на улицу еда и питье, вынимались из сундуков цветастые платья, яркие свитки, шитые камзолы, как луг расцветал, так расцветала земля от огненно-красных и сине-голубых шаровар, платков, платяниц, плахт и юбок.

Гоголь родился в пору предчувствия радости, ликования людей и природы, накануне явления всего нового — будь то новые листья на деревьях или новые надежды. Он и сам стал надеждой отца и матери, которые, потеряв двоих детей, со страхом и неуверенностью ждали третьего. Много раз ездили они молиться к святой иконе Николая-чудотворца в соседнюю Диканькскую церковь, много раз просили угодника заступиться за них, даровать им здоровое дитя; судьба сжалилась над ними — родился сын.

Кажется, какое-то предопределение стоит у его колыбели.

Предопределение дает гулять по полустепи половцам и татарам, оно сближает эту часть Украины ранее других с Русью, чтоб русская речь и русское мышление влились в сознание и речь предков Гоголя. Оно и рельеф избирает особый — идущий от холмов и лесов Приднепровья к Причерноморской открытой равнине, с которой далеко «видно во все концы света»: и Крым виден, и Понт, к берегам которого приставал Одиссей, и Карпатские горы.

От тех мест, где родился Гоголь, открывается на юг простор — глаз немеет при попытке охватить и постичь его. И уходят в ту даль дороги и тракты, пробитые копытами коней и волов, политые горячей кровью лихих рубак-запорожцев и черной кровью турчина, не раз замахивавшегося кривой саблей на православный крест.

Влажное дыхание лесов и воды навевается с запада и севера, а если стать лицом к югу, то дышит в лицо сухая степь, отдаленные пески пустынь — ветры Востока достигают этого *пограничья* Малой, Белой и Великой Руси с алчною Азией.

Гоголь родился на меже, на стыке, на междупутье, на перекрестке дорог. Много раз переходила эта земля из рук в руки. Крымский хан и русский царь спорили из-за нее, польская, шведская, литовская речи звучали на площадях ее местечек, в церквах и на постое. Смешивались крови, смешивались и наречья, и вера мешалась — предки Гоголя то переходили на сторону Варшавы, то на сторону Москвы.

И в двойной фамилии его — Гоголь-Яновский — слышится эта *смесь*. Гоголь — кличка, прозвище, имя птицы, селезня, франта. Из кличек и прозвищ рождались казацкие фамилии. Яновский отдает чем-то польским. «Мои предки, — любил говорить дед Гоголя Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский, — польской нации». «Традиция производить себя из польского шляхетства, — пишет в статье «Сведения о предках Гоголя» Ал. Лазаревский, — явилась у малороссской козацкой старшины в начале второй половины XVIII века, когда эта старшина вспомнила о старом шляхетстве Украины, уничтоженном порядками Хмельницкого».

Так или иначе, но в дворянской грамоте Афанасия Демьяновича Гоголя-Яновского упоминается его предок — полковник подольский и могилевский Евстафий (или Остап) Гоголь, которому польский король Ян Казимир даровал поместье Ольховец за боевые заслуги. От этого Евстафия (в других документах его называют Андреем — вспомним обоих сыновей Бульбы) и ведут свой род Гоголи-Яновские, которых мы уже в конце XVIII века застаем в духовном звании. Первым из них упоминается Иоанн (Ян) — отсюда Яновские, — за ним Демьян и сын его Афанасий Демьянович.

Ветвь эта в середине XVIII века скрещивается с ветвью Лизогубов-Танских, со знатными фамилиями Малороссии, прославившимися при царе Петре и его наследниках. Среди них выделяется полковник Василий Танский, волох по происхождению, перешедший на русскую службу и отличившийся в Шведской войне. Он был поэт, рыцарь, честолюбец. Сподвижник гетмана Скоропадского, он получил от него богатые дары в виде земель и чинов. Ему же принадлежал и хутор Купчин (впоследствии Купчинский), который перешел потом к отцу Гоголя Василию Афанасьевичу Гоголю-Яновскому.

Полковник Танский был храбр, но и жестокосерд. За несправедливое отношение к своим подданным он был сослан царицею Анной Иоанновной в Сибирь и прожил там семь лет в изгнании вблизи Тобольска. Таким же крутым характером обладала и его жена Анна.

Их дочь Анна вышла замуж за бунчукового товарища Семена Лизогуба, чей род тоже был славен: многие из Лизогубов упоминаются на страницах малороссийских летописей. Один из них, Яков Лизогуб, был генеральным обозным (то есть командующим всей артиллерией) Ея Императорского Величества Войска Запорожского. Он брал Азов, спорил за гетманство с Мазепой, сидел по доносу в Петропавловской крепости.

Семен Лизогуб в отличие от своих предков был нрава тихого, невоинственного. Большую часть жизни он занимался хозяйством и растил любимую дочь Татьяну. Ей он и нанял хорошего учителя, чтоб могла дочь и мужа выбрать достойного — по богатству, по знатности рода и по уму. Учитель знал пять языков, имел наилучшие рекомендации. Но не знал Лизогуб, что, приглашая его к себе в дом, он приглашает будущего зятя.

Учитель и ученица вскоре полюбили друг друга. Боясь открыться в своих чувствах, они прибегли к помощи почты, оставляя записки в скорлупе грецкого ореха в дупле дуба. Все началось с этих записок, с чтения романов, со вздохов и пламенных речей. Зная, что родители не отдадут Татьяну Семеновну за безвестного полкового писаря (особенно строга в выборе была мать), влюбленные решили обвенчаться тайно. Согласно семейному преданию они собрали все драгоценности Татьяны Семеновны (жемчужные ожерелья, золотые кольца) и ночью через густой лес бежали из дому. По дороге на них напали разбойники, ограбили, и, раздетые, несчастные, они вернулись под кров родительский, были прощены и получили благословение.

Отзвуки этого события слышны в «Старосветских помещиках». «Бог с ним, не хочу к нему выходить, — говорил один из соседей Марии

Ивановны Гоголь об ее сыне, — шоб и мене впысав, як своих ридных дедушку и бабушку».

Учителем Татьяны Семеновны Лизогуб был дед Гоголя Афанасий Демьянович.

Сын сельского иерея, он было пошел по пути отцов и оттого поступил в Киевскую духовную академию, которую с успехом окончил, но затем его взору представилось иное поприще. Дед Гоголя провел свою молодость в малороссийских канцеляриях и вышел в отставку в чине секунд-майора.

Чин тот был небольшой, и для поднятия его в глазах окружающих Афанасий Демьянович велел всем знакомым и близким величать его просто майор — так звучало солиднее.

Его, впрочем, уважали. Уважали за волю, за настойчивость, за то, что умел он добиться того, чего хотел. Сама история его женитьбы говорила о том, что он в некотором роде не промах.

Человек он был веселый, и много занимательных рассказов выслушали от него соседи и гости Купчинского, причем всякий раз рассказы эти пополнялись новыми подробностями, а то и вовсе не походили на самих себя — так менялись в них лица и обстоятельства.

Зная прекрасно латынь, он любил вставить в свою речь какое-нибудь изречение, мудреное слово — даже деловые его письма писаны слогом витиеватым, напыщенным. Сама каллиграфия этих писем вычурна, буквы похожи на вьющиеся водоросли, но строки строги, не налезают одна на другую. То пишет знаток своего дела, поэт переписыванья. У Афанасия Демьяновича были корреспонденты в Полтаве, они в стиле военных донесений сообщали ему о событиях местных и заграничных. Темные слухи смешивались в их реляциях с фантастическими фактами.

Рисковый характер Афанасия Демьяновича сказался и в единственном сыне его Васюте. В четырнадцать лет Васюта заявил отцу и матери, что знает, кто его суженая. Бросились за объяснениями, но объяснение было одно: сон.

Сон этот Васюта увидел во время поездки на богомолье, когда они заночевали на постоялом дворе. Во сне ему явилась Царица Небесная, она подозвала мальчика к себе и, указывая на младенца, завернутого в белые одежды, сказала: «Это твоя невеста».

Сего младенца сын Афанасия Демьяновича узнал в Маше Косяровской, когда они проезжали через их хутор Яреськи. Девочке был всего год, но Васюта сказал: «Это она».

С тех пор он и слышать не хотел ни о ком другом. Он ездил к Косяровским в гости, играл с Машей в куклы, сочинял для нее стихи. Он

нанимал музыкантов, которые услаждали ее слух музыкой, когда она гуляла с дворовыми девушками по берегу Голтвы. А когда Маша подросла (ей минуло тринадцать), стал писать и посылать в Яреськи с верховым записки. «О, как несносна для меня сия разлука, — писал он, — тем более, что я не уверен в вашей любви. Уверьте меня хоть одним словом, пожалейте несчастного!.. Вы меня не жалеете! Ах! Когда бы вы знали, какая горесть снедает меня! Я не могу уже скрыть своей печали. О, несчастнейший, что я сделал! Я вас огорчил!... Пожалейте, простите! Удостойте меня одной строчки, и я благополучен. Более не могу писать: перо выпадает из моих рук...»

Писанные на клочках толстой синей бумаги, на вырванных из тетрадей листах, они доносят до нас и жар нетерпения, и веяние «страшного воображения» отца Гоголя. «Я должен прикрывать видом веселости сильную печаль, происходящую от страшных воображений, — пишет он. — ...Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце...»

Это воображение унаследует от него сын. Он унаследует от отца его мнительность, его мечтательность и его нежелание ждать.

Когда Маше исполняется четырнадцать лет, он делает ей предложение. Он просит у Ивана Матвеевича и Марии Ильиничны Косяровских руки их дочери.

Его не могут поколебать ни уговоры родителей, ни детский возраст невесты, ни, наконец, обещанья, что ее отдадут за него, как только выйдет время. Он не доверяет времени, он, кажется, хочет обогнать его.

Все делается в спешке, в гонке, в лихорадке, как будто закладывают и перезакладывают лошадей. Бешеная скачка в Яреськи — бешеная скачка обратно. Василий Афанасьевич настаивает на помолвке, в один час совершается помолвка. Он дает слово ждать год до свадьбы, но не хватает сил. Через несколько недель он опять у ворот дома в Яреськах и на коленях умоляет Косяровских отдать ему его суженую. Он ссылается при этом на новое сновидение, подтвердившее предсказание детства.

Машеньку впопыхах обряжают, священник венчает их, и, не дождавшись окончания скромного свадебного пиршества, Василий Афанасьевич увозит жену в Купчинский. «Он привез меня... менее, нежели в час», — вспоминала потом Мария Ивановна Гоголь.

Лошади несли их вихрем.

Минуло три года, и 20 марта 1809 года в местечке Большие Сорочинцы Миргородского повета Полтавской губернии в домике надворного советника Трахимовского родился Гоголь.

Он родился на берегу реки Псел, на обрывистом ее берегу, с которого открывался вид на пойму, на мост через реку и на дорогу, ведшую в хутора и селения бывшей гетманщины.

Провидение хотело, чтоб он родился здесь, в сердце Малороссии, вблизи тех мест, где гремели битвы, где Кочубей враждовал с Мазепою и первый гетман Левобережной Украины Даниил Апостол основал свою квартиру. Она стояла как раз там, где прятались в тени деревьев беленые стены хаты доктора Трахимовского. А в полуверсте от дома высилась воздвигнутая Апостолом Спасо-Преображенская церковь. В этой церкви крестили маленького Никошу.

2

Шести недель Гоголь был перевезен из Сорочинец в Васильевну, как стал зваться хутор Купчинский по имени его отца Василия Афанасьевича. Здесь — с папенькой и маменькой, с бабушками и нянюшками — прожил он девять лет.

Васильевка лежала в уютной низине меж двух холмов, где прятались от знойных ветров степи яблони, вишни, клены, яворы. В окружении их стоял маленький белый домик в один этаж с мезонином и восемью тонкими колоннами наподобие деревянных стоек, которыми подпираются в Малороссии навесы, защищающие внутренность жилья от солнца. Летом в комнатах было прохладно, зимой сквозь узкие оконца сочился полусвет, и тоже было холодно: тонкие стены не грели, жили на глине. Стены гостиной были украшены дешевыми литографиями и картинками, где изображались: продажа рыбы, казачка, провожавшая казака в поход, какие-то немцы с трубками. Рядом висели засиженные мухами портреты князя Потемкина и графа Зубова.

С одной стороны дом подпирал флигель, с другой — разбегались полукругом конюшня, амбары, службы, кладовая, летний погреб, где хранились изделия прошлого лета — грибки соленые, грибки моченые, яблоки в маринаде, наливки, капусты всех заквасок, сало, вишни в вине. Перед домом возвышалась клумба, по ней свободно гуляли куры и собаки, свои и приблудные, которые легко пролезали в отверстия плетня, проходили в ворота, почти никогда не запиравшиеся.

Красть было нечего, а если и крали, то тут же, на глазах. Дворовые и кучер таскали из кладовой наливки, распивали их в тени яблони или куста бузины и здесь же оставались лежать до времени протрезвления.

За домом тянулся парк — парк, может быть, сказано и громко, но заботливый Василий Афанасьевич насадил в нем молодые деревья,

разбил аллеи, воздвиг беседки, был в парке даже грот, называвшийся «храмом уединения». Иногда Василий Афанасьевич удалялся в этот грот и писал что-то, мечтательно поглядывая на пруд, на склон холма за прудом и как бы отлетая мыслями от «жалкой существенности».

Быт детства Гоголя соединял прозаическое настоящее с призрачно-сказочным прошлым. Рядом была Диканька, про которую рассказывали много легенд. Когда-то там стояли густые дубовые леса — дикие леса, оттого и место назвали Диканькой. В их заросли не попадал солнечный луч, там водились русалки, и уже при Никоше, значительно разреженные топором, они пугали своей таинственной темнотой и глубиной. Сердце замирало, когда он стоял перед иконой Николая-чудотворца в Диканькской церкви, про которую рассказывали, что она исцеляет болящих и калек, дает силу падшим, рука пугливо и бессознательно крестилась, ограждая от страха воображения, а через день его память запечатлевала иные картины — дрязги с приказчиком, подсчитывание подушных, вздохи о долгах, разговоры о выгодной продаже волов на ярмарке.

Отец Гоголя сочинял комедии, но чаще Никоша видел его стоящим за конторкою, заваленной деловыми бумагами, какими-то прошениями и кляузами, просьбами в Опекунский совет, в палату, в суд, счетами от купцов, с которыми он вел торговлю, от полтавских лавочников и от управляющих экономиями Трощинского, над которыми, может быть, против своей воли надзирал Василий Афанасьевич.

Дмитрий Прокофьевич Трощинский был дальним родственником матери Гоголя (брат Трощинского Андрей Прокофьевич был женат на Анне Матвеевне Косяровской, родной тетке Марии Ивановны), человеком, перед которым вытягивалась вся губерния. Он был обожаем тремя царями, начал, как и дед Гоголя, с полкового писаря, а вознесся в министры и члены Государственного совета. Императрица Екатерина диктовала ему свои указы, Александр I его устами объявил о своем восшествии на престол.

Трощинский оказал несколько немаловажных услуг Василию Афанасьевичу. Он устроил едва окончившего семинарию Васюту в почтовое ведомство, в котором тот не служил, но где шло производство в чины. Он взял его к себе в качестве секретаря, когда в 1812 году полтавское дворянство создало свой фонд для русской армии и избрало Дмитрия Прокофьевича губернским маршалом. Он сделал так, чтоб Василия Афанасьевича избрали предводителем миргородского дворянства. Он даже хлопотал у государя, чтоб отцу Гоголя выдали крест за честное служение Отечеству в дни войны (на руках у Василия Афанасьевича были огромные суммы, и он сэкономил их для казны), чтобы тот назывался *кавалер,* как и все почтенные дворяне.

Ордена Василию Афанасьевичу не дали, но он и без того был безмерно благодарен Дмитрию Прокофьевичу.

За благодарность и отслуживал всю жизнь у того в «приказчиках» — в уважаемых приказчиках, в приказчиках, что называется, по-родственному, но тем не менее занимая именно это место.

Как ни близок он был Трощинскому, всегда можно было ждать от того окрика — окрика или молчания, что было еще хуже прямого выражения неудовольствия. В такие дни запирался Василий Афанасьевич у себя в комнате, не выходил ни к гостям, ни к домашним, и лишь добрая весть от Дмитрия Прокофьевича, жившего в своем имении Кибинцы близ Миргорода, возвращала ему спокойствие.

Гордость отца Гоголя страдала, он старался скрывать свои чувства, но скрыть было трудно. Бывали случаи, когда Василий Афанасьевич целыми месяцами не наезжал в Кибинцы, слал благодетелю (как называли Трощинского в Васильевке) письма с объяснениями своей невозможности явиться и жаловался, оправдывался. Архив Гоголей хранит десятки черновиков, которые исписал отец Гоголя, прежде чем отправить очередное оправдательное письмо грозному экс-министру.

Тот сам не отвечал ему, посылая ответы через племянника своего Андрея Андреевича Трощинского, генерал-майора, двоюродного брата Марии Ивановны. Последний пенял Василию Афанасьевичу за его «аллегории», как называл он его сбивчивые объяснения, за неуважение к дядюшке и чрезмерную мнительность.

Никоша все это знал и видел. И однажды, когда «благодетель» сам пожаловал к ним в дом и милостиво удостоил Василия Афанасьевича партии шахмат, Никоша подошел к играющим и сказал отцу: «Папа, не играйте с ним. Пусть идет». А когда Дмитрий Прокофьевич, удивившись его самостоятельности, упомянул о розге, добавил: «Плевать на вас и на вашу розгу».

Испуганный Василий Афанасьевич хотел наказать сына, но старик остановил его. «Он будет характерен», — заметил он.

3

Характер его был странная смесь материнского и отцовского. Так же, как и отец, он мог вспыхнуть и отойти, так же, как мать, долго не выходить из мучающего его «припадка». В доме Гоголей всякие болезни, а также отклонения от естественного состояния назывались «припадками». Такими припадками страдал Василий Афанасьевич, когда вдруг впадал в апатию, бросал все свои дела и предавался меланхолии.

Иногда, выезжая в поле, чтоб осмотреть работы, отец брал Никошу с собой. Тогда разглаживалось лицо Василия Афанасьевича, сын видел на

нем улыбку, отец веселился, веселил и его — он задавал Никоше устные задания — описать видневшуюся вдали рощу, описать небо над степью или утро в усадьбе, и сын охотно откликался ему, они наконец сочиняли вместе, и то были лучшие минуты их единения.

Дома отец как-то отделялся, уходил в свои заботы, за ухом у него появлялось гусиное перо, он вновь возился в своих бумажках, аккуратно складывая их в ящички конторки. На каждой из таких бумажек его крупным почерком было написано: «Получено такого-то», «Отвечено такого-то».

С матерью Гоголя тоже случались «припадки», но уже позже, когда Василия Афанасьевича не стало, когда первый страшный удар судьбы — его смерть — вызвал в ней протест против самого бога.

В молодости мать Гоголя была проще, добродушнее, веселее — муж любил ее, она любила мужа, она была ровна и с детьми и с домашними. Но в зрелые годы страданья глубоко отдавались в глубине ее души. И тогда обнаружилось, что не так уж она весела, беспечна и легка на подъем, что и в ней живет та же преувеличенная мнительность, которая была в ее муже. «Душа моя видела через оболочку тела», — сказала она как-то о себе, и в этом признании вся *мать Гоголя*.

Знавшие Марию Ивановну считали ее красавицей. Она была такою, когда Василий Афанасьевич женился на ней, она осталась такою, когда прошло много лет после замужества. Единственный ранний портрет Марии Ивановны запечатлел лицо оригинальное, слегка продолговатое, белое, с удлиненными дугами черных бровей, острым разрезом глаз и высоким лбом, красиво-выпуклым, обрамленным кудрями черных волос. Даже характерный «гоголевский» нос не портит правильности лица, а вписывается в его линии, одушевленно-страстные и живые. Это лицо девочки и женщины, еще не пробудившейся, но уже готовой к пробужденью, — и темнота ее крупных губ, остро-внимательный взгляд черных глаз, выделяющихся на фоне прозрачно-белой кожи, говорят об этом.

Мать Гоголя жила долго и умерла, когда ей было семьдесят семь лет, — внезапно, от апоплексического удара. Она редко болела и до старости не имела ни одного седого волоса. Соседи удивлялись, когда видели ее рядом с дочерьми, — казалось, она моложе их, бодрее, свежее. Молодость матери Гоголя поразила и Аксаковых, когда они познакомились с ней в Москве в 1840 году. Марии Ивановне было тогда сорок восемь лет. «Она была так моложава, так хороша собой, — пишет Сергей Тимофеевич Аксаков, — что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя».

Свою красоту Мария Ивановна взяла от отца, которого мальчик Гоголь застал уже ссутулившимся старичком с палочкой. Он плохо видел, и

внук часто водил его за усадьбу гулять. Но когда-то Иван Матвеевич был стройный гвардейский поручик, жених прекрасной дочери бывшей фрейлины Зверевой, которую он и взял в жены. Юная Зверева долго не прожила — она умерла от родов, последовав за своим мертвым младенцем. На Ивана Матвеевича это произвело такое впечатление, что он бросил гвардию, Петербург и удалился в дальний полк, где, как писала в своих воспоминаниях Мария Ивановна, «искал смерти» и однажды чуть не замерз, оказавшись один в чистом поле во время метели. Когда его подобрали, на глазах его виднелся лед. С тех пор он стал слепнуть, оставил вовсе военную службу и превратился в мирного почтмейстера, должность которого исполнял то в Харькове, то в Орле.

Состояния у него своего не было. За Марией Ильиничной Шостак, своей второй женой, он взял шестнадцать душ крестьян. Родившуюся вскоре Машу не на что было учить, ее отдали тетке, где она и воспитывалась. Воспитание ее было домашнее — картинки в книгах, куклы, первые уроки грамоты, чтение романов и стихов.

Быт, в котором росла Мария Ивановна, был весьма скучен. Вышивание, обязанности по дому, гулянья на берегу Голтвы, небогатый гардероб. Потом пошли дети, заботы по дому, болезни, смерти, страдания.

Но кровь молодости Ивана Матвеевича бродила в жилах его дочери. При всем спокойствии и благообразии уже немолодой Гоголихи, как ее звали в округе, она таила в себе способность повелевать — лишь сын мог перечить ей, да и то когда стал Гоголем, да и то не всегда.

Отец Гоголя играл на сцене, сочинял комедии, и у нее был талант к игре — к яркому проявлению незаурядного темперамента и характера. Это сказывалось в склонности к представлениям, к праздникам, к съездам гостей, к некой публичности, которой обычно чуждался Василий Афанасьевич. Еще девочкой любила страстная дочь Косяровских плясать в присутствии зрителей «козачка», и эти ее выступления приезжал посмотреть сам Трощинский. Из-за нее, может быть, и приглашал он Гоголей так часто в Кибинцы, где жил на покое после отставки — жил широко, шумно, давая балы и маскарады, устраивая празднества в честь своих именин, на пасху, на рождество и просто без всякой цели.

О поведении Дмитрия Прокофьевича перед царями ходили легенды. Рассказывали, что однажды Трощинский на глазах у придворных разорвал несправедливый указ Павла Первого. Ждали опалы, кары. Но пылкий в гневе и доброте Павел после этого случая приблизил храбреца. «Вот такие люди нужны мне!» — воскликнул он. Достоинства своего Дмитрий Прокофьевич не уронил и при его сыне. Когда возвысился Аракчеев, своенравный Трощинский перестал ездить к нему. «Все министры ездеют к нему с поклоном, исключая нашего», — писала

княгиня Хилкова из Петербурга в Кибинцы. За эту самостоятельность и был он в конце концов отставлен и принужден удалиться в провинцию.

Здесь Дмитрий Прокофьевич вымещал эту свою обиду на близких. В пику тем, кто сослал его сюда, он создал собственный «двор», где были свои любимцы и парии, свой свет и своя челядь. Здесь над всем властвовал суровый характер хозяина, во всем соблюдалось *приличие* — Дмитрий Прокофьевич, как правило, являлся гостям в мундире со звездами, а если и облачался в домашнее платье, его походка, его взгляд, его манеры говорили о чинности, о расстоянии, отделявшем его от приглашенных.

В Кибинцах маленький Гоголь получил первые уроки нелюбви к свету, к его притворству, лжи, к его жестокости. Никоша съеживался здесь и просил папеньку не возить его больше в этот дом, где принимают по одежке, где смотрят, не залатаны ли рукава твоей курточки, прилично ли ты держишь вилку или берешь кушанье с блюда. Испуг перед «светом» и отчуждение от «света» он сохранил на всю жизнь.

Но как ни избегал Никоша высокомерного Дмитрия Прокофьевича, в его доме он встречал не одних шутов и шутодразнителей, соседей-помещиков, зависящих от благодетеля и прискакавших облобызать его ручку, не только поклонение и зависть. В Кибинцах был театр, здесь играли его отец и мать, автор знаменитой «Ябеды» Василий Васильевич Капнист, его дети, крепостные актеры. Ставили «Недоросля» Фонвизина, «Подщипу» Крылова, какие-то пьесы про королей к королев (короля в одной из*н*их играл отец Гоголя), малороссийские сцены.

Ради театра Никоша готов был и пожертвовать самолюбием, и забыть об обидах на «благодетеля» — так все захватывало его в театре, начиная от декораций, от переодевания в чужие костюмы до невидимой межи, отделяющей условный зал от условной сцены, которые, только что бывши *одним,* раздваивались, когда поднимался занавес.

В доме Трощинского была коллекция картин, богатая библиотека. Дмитрий Прокофьевич выписывал из столиц газеты и журналы. Большую часть времени Никоша проводил с книгами. Тут — уже гимназистом — зачитывался он Петраркой, Тиком, Аристофаном, Державиным, Пушкиным. Тут открылась ему тайна чтения — этого невидимого познания себя в другом, которого ничто не может дать, кроме литературы.

В доме Гоголей не было книг; единственная книга, которую купил когда-то Василий Афанасьевич для своей невесты и которую они читали вдвоем, — роман Хераскова «Кадм и Гармония» — лежала в шкафу, покрытая пылью. Рядом с ней возвышался домашний домострой — пухлая тетрадь из грубо сшитых листов, куда записывались кулинарные

рецепты, способы настаивания водок и советы по сбережению жилища. «Как тушить пламя загоревшейся в трубе сажи? — гласила одна из записей. — Смотря по устройству и ширине трубы, надобно пожертвовать гусем, уткой или курицей, которую с верхнего отверстия трубы бросают вниз. Птица, падая вниз, старается удержаться и крыльями будет сбивать горящую сажу...»

Бывая в гостях у Трощинского, Никоша старался скрыться в библиотеке или в пустующих залах кибинецкого дома, где висели старинные портреты, с которых смотрели на него знаменитые люди отшедшего столетия. Они смотрели гордо, как бы издалека, но он живо чувствовал свою связь с ними, свою кровную причастность к веку, который, догорая, все же освещал его своими зарницами. Позже, в «Иване Федоровиче Шпоньке», Гоголь вспомнит «дыханье осьмнадцатого века» и любовно пожалеет о нем.

4

«Есть царствования, — писал Гоголь П. А. Вяземскому, — заключающие в себе почти волшебный ряд чрезвычайностей, которых образы уже стоят перед нами колоссальные, как у Гомера, несмотря на то, что и пятидесяти лет еще не протекло. Вы догадываетесь, что я говорю о царствовании Екатерины».

Три фигуры этого царствования мелькнули перед его взором в детстве — Д. П. Трощинский, В. В. Капнист и Г. Р. Державин.

Державин был женат вторым браком на Дарье Дьяковой. На ее сестре был женат Василий Васильевич Капнист. С Державиным Капнист разделил молодость. Вместе служили они в Преображенском полку, вместе гуляли, пили, играли в карты, сочиняли свои первые стихи. Потом разошлись — высоко вверх пошла карьера Гавриила Романовича. Гордый Капнист (чей род тянулся от греческих графов Капнисос) не захотел искать места у трона. Он удалился в свое имение Обуховку на Миргородщине и здесь малыми делами старался помочь людям.

Друзья переписывались, ссорились — Державин гневался на критику Капниста, потом смирялся, отходил. А на закате жизни решил посетить старого друга.

В июле 1813 года он с большим обозом — с женою, племянницей, с собачкой Тайкой, со скарбом и слугами — прибыл в Обуховку. Уставший от жары, от долгой тряски по малороссийским дорогам, от торжественных встреч, которые ему устраивали в каждом городе и местечке, Державин ожил в обиталище «обуховского Горация». Он шутил с дворовыми девушками, кокетничал с дочерьми Капниста, читал стихи, пел под фортепьяно. Старого капризного «мамичку» и «пашу», как называла его ласково жена, было не узнать.

Тут, по преданию, и увидел его Гоголь. И Державин заметил сына небогатых соседей Капниста. Они, по уверению матери Гоголя, в ту пору как раз гостили в Обуховке.

Сам Гоголь никогда не вспоминал об этом факте. Но поэтический «громозд» Державин стал любимым поэтом его зрелости. «Недоумевает ум решить, — писал он о Державине, — откуда взялся в нем этот гиперболический размах речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то пророчества носится до сих пор над нашей землею, преобразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным его татарским происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распаляющие свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих до пяти тысяч лет на свете, — что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно».

Тень Державина носилась в Обуховке. Сюда ехали с радостью и без страха. Василий Афанасьевич и Василий Васильевич Капнист были давно знакомы: один был уездным предводителем дворянства, другой — губернским предводителем, затем губернским генеральным судьею. В Обуховке Капнист написал и свою комедию «Ябеда», которая была сначала запрещена, потом представлена Павлу Первому. Тот, прослушавши первые сцены, будто бы велел сослать автора в Сибирь, но по окончании чтения приказал вернуть, наградить, а пьесу — поставить.

Капнист был не только предводителем, но и совестью полтавского дворянства. Он выручал рекрутов, оторванных от матерей, спасал от телесного наказания крестьян, распутывал тяжбы, не раз отправляясь за этим в северную столицу, в этот ужасный лабиринт, как называл он Петербург, Екатерина была недовольна им за «Оду на рабство», которую он сочинил по случаю введения в Малороссии крепостного права (в 1783 году), высшие петербургские чины — за то, что он досаждал им просьбами, заступничествами, прожектами.

Мечтая в юности сделаться «совестным судьею», Гоголь вспоминал Капниста.

Кроме того, старый поэт был добр, ласков, внимателен, в его большом доме на берегу Псела, откуда с балкона открывались необозримые дали лугов, было не только просторно, но и свободно, легко: не стесняли ни положение, ни чин хозяина (Капнист был статский генерал), ни его прошлое. Здесь танцевали и пели, играли «Филемона и Бавкиду», отрывки из «Ябеды», из пьесок Василия Афанасьевича. В этом доме Никоша чувствовал

себя защищенным — защищенным от мук самолюбия, от ущемленной гордости, от придворности Кибинец, с которыми ему невольно приходилось сравнивать Обуховку. Под крышей кибинецкого дома кипели страсти, в Обуховке они тихо умирялись. Тут властвовала поэзия.

В миру с соседами, с родными,

В согласьи с совестью моей,

В любви с любезною семьей,

Я здесь отрадами одними

Теченье мерю тихих дней, —

писал Капнист в стихотворении «Обуховка». Он называл Обуховку «обиталищем рая», и то на самом деле был рай, потому что ничто не возмущало мира, царившего меж ее обитателями.

«Последние звуки Державина умолкнули, — вспоминал Гоголь в статье «В *чем* же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность». — ...от одного только Капниста послышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная антологическая прелесть».

В этом душевном чувстве не было мятежа, раскаяния по поводу прожитой жизни и спора с жизнию новой, заявляющей о своих правах. В нем преобладало равновесие, спокойствие и умеренность. «Умеренность! О друг небесный! Будь вечной спутницей моей!» — писал старый поэт.

5

Никоша научился говорить в три года: природа как бы замедлила его развитие, чтоб затем в короткий срок дать выплеснуться его силам. Первые годы он находился при маменьке, при своем младшем брате Иване, при сестрах, при бабушке. Особенно любил он бабушку Татьяну Семеновну, которая жила в отдельном домике, стоящем поодаль от большого дома. Бабушка научила его рисовать, вышивать гарусом, она рассказывала ему о травах, которые висели у нее по стенам, о том, от чего какая трава лечит, от нее же услышал Гоголь и казацкие песни.

Песни были всякие — гульливые, прощальные, походные. Внучка славного Лизогуба слышала их от своей бабки и матери. Прошлое Татьяны Семеновны было ближе к прошлому Малороссии — вольной казацкой вольницы, когда сами обитатели этой земли гуляли по степи, как песня, не зная, где найдут себе смерть или бессмертие, Под гульливые песни хотелось плясать, они так и заставляли кружиться, что-то выделывать ногами и руками — все тело отдавалось их задорным звукам, и легко, чисто делалось на душе. Походные звали в дорогу,

манили в непостижимую умом даль, где скрывались, колыхаясь в высокой траве степи, казацкие шапки и пики. Но иным простором веяло на душу, когда запевала бабушка песню печальную, прощальную, оплакивающую, — лились у Никоши слезы, жалел он безвестного чумака, умершего вдалеке от дома.

У поле криниченька, холодна водиченька;

Там чумак волов наповае:

Волы ревуть, воды не пьють, дороженьку чують.

«Бо-дай же вас, сери волы, да до Крыму не зходили!

Як вы меня молодого навек засмутили...»

Помер, помер чумаченько в неделеньку вранце,

Поховали чумаченька в зеленом байраце.

Насыпали чумаченьку высоку могилу,

Посадили на могиле червону калину.

Прилетела зозуленька, да и сказала: ку-ку!

Подай, сыну, подай, орле, хочь правую руку!

«Ой рад бы я, моя мати, бе-две подати,

Да налягла сыра земли, не можно поднята!»

Никогда представлял себе дорогу в пустом поле, холмик земли над могилой и стоящую над ней одинокую калину. Куда девалась душа чумака, кто разговаривал с зозуленькой, почему они понимали язык друг друга? И куда звала эта бесконечная дорога, которая дороже казаку, чем родной дом, мать, жена, дети?

Песни пугали и манили, засасывала их сладкая печаль, их прилипчивая тоска, их необъяснимый зов. Почти в каждой песне казак уходил из дому. Он седлал коня, прощался с матерью, со старою нянькою, с сестрами, с возлюбленной. Ничего не обещал он им — не обещал даже вернуться. Не стада, не земли, не богатство были нужны ему, а добрый коняка и сабля-панянка. И лишь когда проходило время, когда уже все на родине оплакивали его, он возвращался. Возвращался, чтоб побыть ночь, приласкать молодую жену, поцеловать мать, потрепать детишек по головенкам и снова сняться в путь.

— Соколоньку, сыну, чини мою волю, — просила его мать,

— Продай коня вороного, вернися до дому.

— Соколихо, мати, — отвечал сын, — коня не продати,

Мому коню вороному треба сенца дати.

Соколоньку, сыну, рыб нам не ловити,

Нечего нам ести — голодом сидети.

Соколихо, мати, пусти погуляти,

Буду гулять да гуляти, доленьки шукати.

Соколоньку, сынку, хиба ж теперь время?

Время, мати, время, орлу — раз-то время...

Нет, не было силы, которая могла бы удержать казака на привязи, даже на привязи любви и тепла домашнего. Не доля ему хозяйствовать и наживать добро, доля его — тратить, тратить себя в походах, в разгуле души, которая, кажется, ищет сил обнять этот манящий ее простор.

Давно уже не было на миргородской земле тех казаков, о которых пелось в песнях. Были оседлые хлебопашцы, вольные мужики или потомки гуляк запорожцев — столбовые дворяне, владельцы пашен, скота, лугов, птицы. В их домах и хатах если и висели пистолет или шашка, то только как украшение, и никуда они не ездили — разве что на выборы в уезд или на ярмарку.

Только чумаки проезжали иногда через Васильевку — везли в Крым соль — и всегда останавливались у ворот, просили напиться, спрашивали, не нужен ли хозяевам их товар. Волы их были сонные, облепленные мухами, они лениво обмахивались хвостами, бока их были залеплены навозом и колючками, и сами чумаки смотрели хитро из-под своих бараньих шапок — не так, как в песне. Все же выходил Никоша провожать их и долго следил взглядом, как пересекают они запруду, поднимаются на косогор и растворяются там в дрожании степного марева.

Ему чудилось, что он слышит гул земли, когда приникал он чутким ухом к ней в открытой степи, где его никто не видел и где, несмотря на пенье птиц, шелест травы, было так тихо, как в пустыне. То ли стучали копыта каких-то сказочных, некогда пронесшихся здесь коней, то ли стучало его собственное сердце, замирая от неизвестности, — то были таинственные и сокровенные минуты, которых он никому не поверял. Даже в саду, когда затихало все в доме в послеобеденном сне и он один оставался среди деревьев, раздавался некий зов, который вдруг заставлял сильно биться сердце и уносил прочь воображение. «Признаюсь, — писал Гоголь, — мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно

произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал, ни души в саду; но признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню».

С ранних лет он прижимался к людям, искал их сочувствия, участия — при пересиливающей это чувство тяге к бегству. Бывали дни, когда он убегал в степь и лежал там часами, глядя в небо и слушая подземные звуки, когда ни докликаться, ни найти его было невозможно, бывали часы, когда нельзя его было оторвать от матери, от бабушки, от дома. В такие часы он предавался тихим домашним занятиям — рисовал, раскрашивал географические карты, помогал женщинам разматывать нитки. Он был кроток, послушен, молчалив, ласков.

Ответной ласки немного выпало Гоголю в детстве, хотя его любили как первенца, как наследника. «Детство мое доныне часто представляется мне, — писал он матери. — Вы употребляли все усилие воспитать меня как можно лучше. Но, к несчастью, родители редко бывают хорошими воспитателями детей своих. Вы были тогда еще молоды, в первый раз имели детей; в первый раз имели с ними обращение и так могли ли вы знать, как именно должно приступить, что именно нужно?»

Детей было много, забот тоже много, кроме того, отец и мать то и дело уезжали в Кибинцы, они не всегда брали его с собой, и Никоша проводил время один. Так привык он к одиночеству — к одиночеству среди людей и одиночеству наедине с собой. Это создало характер скрытный, закрытый, но и способный сосредоточиться на себе, удовлетвориться собой. Гоголя, писала дочь Капниста С. В. Скалой, «я знала мальчиком всегда серьезным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать».

До десяти лет его наперсником был брат Иван, но разница натур сказывалась в их отношениях. Никоша быстро переходил от томления и скуки к действию, к разряжающей вспышке, озарению, озорству. Иван как будто все время пребывал во сне.

Оставались иные собеседники — парк, пруд, дорога и степь. За церковью, стоящей на возвышении против дома, начиналась дорога в Яворивщину — яворовый лес, идя которым можно было добрести до сельца Жуки, где когда-то стояли на постое шведы, а оттуда к вечеру до

Диканьки. По дороге в Диканьку уходил он, прислушиваясь к звуку колокола далекого Николы Диканькского — его «крестника».

Позже его одинокие прогулки стал разделять Саша Данилевский — сосед и ровесник, — с которым сошлись они в одночасье — сошлись прочно, навсегда. На всю жизнь запомнил Гоголь тот день, когда Саша вдруг оказался у его постели, и внимательные, добрые, живые черные глаза взглянули на него сквозь туман: у Никоши был жар, он болел. Перед постелью на столике стояла чашка с клюквой — Никоша предложил Саше отведать ее, тот вежливо взял несколько ягод. И этот жест доброты, согласия, участия соединил их сердца. «Ближайший мой», «брат», «ненаглядный» — такими словами станет называть взрослый Гоголь своего друга Данилевского. К нему он будет привязан крепче, чем к кому-либо. Ему станет прощать обиды, молчание, охлаждение. О нем будет тосковать в своих путешествиях по дальним странам, ему писать нежнейшие письма. Вместе пройдут они через гимназические годы, через петербургскую безвестность и петербургские искушения, вместе покинут Россию, но и расставшись, не расстанутся душою.

Может быть, то была дружба неравных, дружба, в которой один подчиняется другому? Но равным — и неизменным — было их чувство друг к другу. В любви все равны.

Вместе гуляли они по окрестностям Васильевки, вместе встречали праздники, шатались с ряжеными в ночь под рождество, разрисовывали для родителей подарки — картинки из книг, картинки с натуры, пейзажи, вместе мечтали о служении на пользу отечеству.

Отзвуки 1812 года еще бродили но России. И хотя Наполеон прошел мимо этих мест, хотя в Полтавской губернии не видели ни одного пленного француза, *великое событие* не минуло детского сознания Гоголя. Воспоминанием о нем жили все, рассказы о нем передавались из уст в уста.

Да и более далекое прошлое напоминало о себе. В Диканькской церкви за алтарем хранилась окровавленная рубашка Василия Леонтьевича Кочубея — рубашка, а которой он был казнен по навету Мазепы. Здесь же поодаль, в дубовой роще, стоял дуб, возле которого встречались Матрена Кочубей и старый гетман. А еще подалее — в часе езды по Опошнянскому тракту — раскинулось знаменитое Полтавское поле, на котором в 1709 году — за сто лет до рождения Никоши — великий Петр одержал победу над Карлом XII. *Русским воскресением* назвали ту победу современники.

«Здравствуйте, сыны отечества, чада мои возлюбленныя! — сказал победителям Петр. — Потом трудов моих родил вас; без вас государству, как телу без души, жить невозможно».

То было давно и то было недавно. Что значат в истории сто лет? Что значат они даже в истории одного рода? Прав был первый биограф Гоголя П. А. Кулиш: Гоголь «рождается в семействе, отделенном только одним или двумя поколениями от эпохи казацких войн».

И хотя, кажется, отгремели славные битвы, отшумела казацкая вольница (в 1775 году по указу Екатерины была упразднена Запорожская Сечь) и впиталась в землю кровь, дав зеленые всходы, взойдя под южным небом степными травами и причудливой вязью широколиственных крон, все помнилось, в той же крови помнилось, в ней текло и жило.

6

Несмотря на то, что за Гоголями числилось четыреста душ крестьян и тысяча десятин земли, жили бедно. Это была не та бедность, когда нечего есть — еды как раз хватало, и ели вдоволь (гостями Васильевки были и соседи, и приезжие, и родственники), — а бедность безденежья, отсутствия наличных денег, когда не хватает на то, чтобы вовремя уплатить подушные, внести проценты в Опекунский совет, принарядиться как следует, купить вместо сальных свечей восковые. Сальные свечи дымили, распространяли по дому чад, от них коптились и так темные потолки, но приходилось жечь их, да и на них экономить: в доме рано ложились спать.

Василий Афанасьевич выгадывал на каждой копейке. Его предсмертные письма Марии Ивановне из Лубен, куда он уехал лечиться, полны забот о деньгах. «Бога ради, старайтесь собирать деньги, — писал он, — прикажи, чтоб всенепременно были собраны подушные... с людей по прошлогодней раскладке с штрафными. Кто позже 17-го отдаст, то с рубля 4 коп., ибо в казну от 15-го берут штраф... Коровам цену я положил по 40 рублей, но в нужде можно будет уступить и дешевле... Быков надобно продавать... лучше всего на Шишацкой ярмонке... взять сначала худших... всех же на ярмонку отнюдь не выгонять и никому не показывать лучших, пока не продадутся худшие...» И умирая, он думал о телках и быках, о каком-то брянском купце, с которого нужно взыскать долг (и непременно ассигнациями), о продаже мест на ярмарке. В Васильевке специально устраивались для этой цели ярмарки — торговцы платили за занимаемые ими места.

С детства завидовал Гоголь своим сверстникам, одевавшимся лучше его, имеющим новые дрожки или коляску — и он и родители ездили только в подержанных, взятых за ненадобностью из конюшен Дмитрия Прокофьевича или тетки Анны Матвеевны. Это были какие-то барки на колесах, разбитые, с облезшей краской, в них стыдно было показываться на людях.

Когда приезжали гости, в доме становилось тесно от множества людей, приходилось расставлять угощения на карточных столах, в спальне Марии Ивановны, в спальнях сестер. Спальни те только назывались спальнями — господ от слуг в них отделяла занавеска. Василий Афанасьевич все хотел перестроить дом, расширить его, но денег не было. Когда задумали построить в Васильевке церковь, собирали на нее по копейке, начал строить Афанасий Демьянович, а заканчивал его сын, хотя церковь была маленькая, в одну главу, с бедным алтарем и без росписи на стенах.

Зато когда церковь встала на холме против усадьбы, сразу стало уютней в Васильевне, как-то приподнялась она, приосанилась, и крест на крошечной каменной маковке был виден издалека, угадывался путниками, когда ни верхушки высоких яворов, ни крыши хат не показывались еще глазу.

Гоголи ходили в церковь, молились, читали Евангелие. Но верили и в приметы, в гадания, в пророчества снов, в голоса, раздающиеся с неба и предсказывающие судьбу.

То была вера в судьбу — в суд божий.

Ни одно происшествие не происходило без объяснения его особого значения или заключенного в нем намека. В вере не было равнодушия, хотя была и привычка.

Мальчик Гоголь уже в те годы чувствовал, как взрослый, и это подтверждает история, которую записала с его слов близкий друг его Александра Осиповна Смирнова-Россет.

Гоголь рассказывал ей, что однажды родители уехали и оставили его дома. Он был совсем один — слуги улеглись спать, сестры тоже разошлись по своим комнатам, а гостей и родственников в ту пору в Васильевне не было. Он сидел на диване в гостиной и уныло смотрел в окно. За окном было темно. Тишина стояла такая, что казалось: не только люди, но и все уснуло вокруг. Эта странная тишина, которую он вначале не замечал, вдруг коснулась его уха, а потом и сознания, и ему сделалось страшно. Неожиданно раздался бой старинных часов. Они резко проскрежетали и стали отбивать время.

«В ушах шумело, — говорил Смирновой Гоголь, — что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, мне уже тогда казалось, что стук маятника был *стуком времени, уходящем в вечность*[1]. Вдруг раздалось слабое мяуканье кошки... Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, и мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, зеленые глаза искрились недобрым светом... Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене...»

Кошку эту Никоша утопил в пруду. Он отнес ее туда по ночному парку и, когда из-за туч выглянула луна, бросил ее в воду в лунный след. Кошка сразу не утонула, она пыталась выплыть, мяукала, он, схвативши какую-то палку, отталкивал ее от берега. Наконец мяуканье прекратилось, и вода ровно сомкнулась над бедным животным.

И тогда ему стало еще страшнее. «Мне казалось, я утопил человека», — вспоминал Гоголь. Ему стало жаль кошку, жаль себя, он заплакал, плач перешел в рыдания: вернувшиеся родители нашли его на полу истерзанного и всего в слезах. Узнавши, в чем дело, Василий Афанасьевич больно выпорол сына, и боль наказания освободила его — истерика прекратилась.

Этот случай глубоко запал Гоголю в память. Дело было не в наказании, не в физической боли наказания, а в той боли души, которую он, казалось, телом чувствовал. Раскаяние, мысль о страшном и непоправимом преступлении, какое он совершил, о собственной жестокости, унижавшей его, были больней.

Они и были возмездием за совершенное.

Идея *возмездия* поразила его и в рассказе маменьки о Страшном суде. Страшны были муки грешников, страшна неизбежность и неотвратимость суда — и радостно-светел покой, который ожидал тех, кто сохранит в душе своей чистоту. Никто не мог уйти от возмездия, ни одна душа не могла скрыться от суда — от наказания и благодарности, ибо все дела и помышления видел тот, кто сойдет вершить суд, и даже то проницал он в человеке, что сам человек не знал о себе.

Это ощущение, что кто-то *все видит* и все знает о тебе, кто более тебя самого понимает тебя и справедливо судит о твоих поступках, и было ощущением, которое не могли внушить Никоше ни стояние в церкви, ни «противное ревение дьячков». «На все глядел я бесстрастными глазами: я ходил в церковь потому, что мне приказывали или носили меня; но, стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз попа… Я крестился потому, что видел, что все крестятся…»

Вглядываясь в мальчика Гоголя, мы видим в нем способность к состраданию, к пониманию боли другого существа, к участию. Он отзывчив, хотя и самолюбив, он весь готов раствориться в жалости к старости, к бедности, к слабости, хотя гордость часто и отдаляет его от людей. Но, как правило, сострадание берет верх. Что-то растопляется в нем — и он спешит навстречу призыву близкого, будь то отец, мать, бабушка, дедушка, брат, сестры или чужие люди, просящие о помощи.

В Васильевке привечали больных и слабых. Никому не отказывали в куске хлеба, в кружке кваса — вкусного грушевого кваса, который особенно любил Гоголь, — а то и в чарке горилки. Дом был открыт для

людей, но наряду с простодушием, открытостью Васильевского уклада жизни присутствовало в нем и нечто иное — то, что возбуждалось приездами родственника-генерала или возвращениями из отлучек в Кибинцы. Дыханье кибинецкого «света» заражало родителей Гоголя. Считалось неприличным обнаружить свои чувства, неприличным жить так, как все живут, — они все-таки были не такие, как все, и это должны были видеть те, кому следовало это видеть.

7

Свои чувства Гоголь рано научился доверять бумаге, Мать называла его стихи каракулями, оп писал их в подражание тем, которые слышал. Они вместе с первыми рисунками Никоши, в которых он старался котировать природу, стали выражением его внутренней жизни, того не известного никому мира, который уже существовал в нем. Его художественная фантазия вылилась и в удививший всех талант передразнивания, который заметили в нем сызмальства.

Кто бы из новых лиц ни появлялся в Васильевке, он был тут же воспроизведен и повторен в своих привычках, жестах, мимике. Гоголь уже тогда умел ловить человека, улавливать его по двум-трем чертам и из этих черт, отобранных его наблюдательным глазом, лепить образ. То он брался представлять двоюродных дядюшек Павла Петровича и Петра Петровича Косяровских — добродушных увальней, то угрюмого родственника попа Савву Яновского из Олиферовки, то двоюродную бабку Екатерину Ивановну, любившую прятать у себя в комнате старые пуговицы, огарки свечей, тряпки. Он передразнивал какого-нибудь заезжего франта, выдававшего себя за важную птицу и желающего пустить пыль в глаза провинциалам, мужика на ярмарке.

Василий Васильевич Капнист давно заметил в сыне Василия Афанасьевича эту наблюдательность, это зоркое схватывание особенностей человека. В стихах Никоши, которые тщеславная маменька показала старому поэту в один из его визитов в Васильевку, не было ничего похожего на этот дар. Но Капнист потрепал Гоголя по голове и сказал матери; «Из него будет толк, ему нужен хороший учитель».

Когда встал вопрос об обучении сыновей, Василий Афанасьевич призадумался. Нанять им хорошего учителя, который бы учил их на дому, он не мог. Учителя, знавшие языки, получившие европейское образование, требовали высокой платы. Да и мало их было в этом благословенном краю. Тут больше учились по букварю и по детским книгам с картинками.

«Детей своих я уже решился отдать в Полтаву, — писал Василий Афанасьевич Д. П. Трощинскому в черновом тексте письма, — ибо нет способу держать их дома. Ожидаю только вашего приезду, что бы о сем

моем предприятии вашего единственного моего благодетеля мнение (посоветоваться...) ».

Но Дмитрий Прокофьевич, находившийся в то время в Петербурге, не дал никакого совета. Он передоверил все хлопоты своему племяннику, но и тот не смог ничем помочь отцу Гоголя.

«На другой день, — докладывал Василий Афанасьевич «благодетелю», — проводил я Андр. Андр. до Полтавы... Не могу умолчать, что при сем случае отвез в Полт. училище детей моих, весьма неодобряемое Андр. Андр. Но ничего не могу делать, когда нет лучшего, а тем более возможности... поместить их в лучшее...»[2]

Глава вторая. Полтава

Дражайшая Бабушка... Покорно вас благодарю, что вы прислали гостинец мне... Обрадуйте Папиньку и Маминьку, что я успел в науках то, что в первом классе гимназии, и учитель мною доволен.

Гоголь — Т. С. Гоголь-Яновской. Полтава, 1820 год

1

Почти все герои Гоголя помнят свою школу. Помнит ее — отрицательным образом — Иван Федорович Шпонька. Помнит Павел Иванович Чичиков. Помнит и Тентетников.

Полтавское поветовое училище почти не оставило воспоминаний у Гоголя. Но «тарабарская грамота» катехизиса, о которой он пишет в письме к матери, была познана именно здесь.

Курс наук, состоящий из тринадцати дисциплин, основывался прежде всего на чтении священного писания и на различных правилах — правилах слога, чистописания, правописания. В добавление к этому учащимся преподавались некоторые сведения из географии, краткой всеобщей истории и арифметики с грамматикою. В те годы сильно напирали на изъяснение евангелия — по распоряжению министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына священное писание вводилось как обязательное чтение чуть ли не перед каждым уроком. Долбили «пространный Катехизис», заучивали наизусть целые страницы из библии, но это не помогало в религиозном воспитании, наоборот, как писал Н. М. Карамзин, в России только развелось больше ханжей, чем раньше. На уроках закона божия не было торжественности, не было благоговения — играли в «бабу», обменивались ножичками, самодельными игрушками, записками. Среди тех, кто учился в первом классе, сидели и переростки — детины двенадцати-четырнадцати лет, благополучно не слезавшие по нескольку лет с одной парты.

Немытые окна, темные классы, холод в классах, холод в глазах учителей, нехотя поднимавшихся на кафедру, чтоб произнести очередной урок, —

вот что запомнил Гоголь об этом учении. Девятилетний мальчик, неживший до этого в тепле родительского дома, он, оказавшись в чужих стенах — и на квартире жили у чужих людей, — чувствовал себя неуютно. Сохранившиеся до наших времен «Дела Полтавского уездного училища за 1819 год» говорят о том, что братья Гоголи часто опаздывали на занятия, а еще чаще пропускали их.

О способностях Никоши и Ивана тоже не сказано ничего хорошего. По аттестации учителей, Николай Яновский «туп... слаб... резов», а его брат «туп, слаб и тих». В записях за вторую половину 1819 года о способностях братьев замечено, что они «средственные», а в поведении оба мальчика «скромные».

Впрочем, большого различия между оценками поведения и прилежания учеников не делалось. Оценки ставили как попало — путали и фамилии воспитанников, и их возраст. Так, братья Гоголи то оказывались старше в ведомости, то младше. Обязанности учителей сводились к тому, чтобы дать задание, а смотрителя училища — бессменного Ивана Никитича Зозулина — чтоб как можно чаще «посещать классы». Иногда он это делал не один, а в сопровождении директора училищ Полтавской губернии господина Огнева.

Посещения эти сопровождались особой строгостью, В классе повисала мертвая тишина; казалось, муха пролетит, и то слышно. Учитель грозно посверкивал глазами на отвечающих, отвечающие сбивались, страшась розги, что-то лепетали, учитель нервничал, класс тоже.

Страх наказания, наказания по любому поводу и без всякого оправдания, висел над всеми в училище. Или «книга за успехи», или розга — среднего между поощрением и карою не было, и ожидание расправы было даже страшней, чем сама расправа.

В классах редко убирали, одноглазый солдат-инвалид появлялся с ведром и тряпкою раз в два дня. Нечисто было под партами, в коридорах, нечисто было и в отношениях между учениками: ябедничали, рассказывали гадости про учителей, про девочек, которые учились в другом отделении, старшие колотили младших, отбирали у них привезенные из дому гостинцы. Учителя, получавшие 200—250 рублей в год и жившие в наемных квартирах, ходили в потертых сюртуках, выглядели беднее многих детей.

Школьное окружение Никоши и Ивана было пестрым. Тут выглядывала смесь — демократическая смесь всех родов и званий. Состояли в училище дети священников, корнетов, поручиков, крестьян, купцов. Были сыновья военных и цивильных полковников и подполковников, были и столбовые и новоиспеченные дворяне, только что вылезшие из кличек и прозвищ, такие, как Антип Гнилокишков, Аполлон Матрица

или Тит Левенец. Были и Мокрицкие, Цимбалистовы, и Жуковские, и сын титулярного советника Николая Зощенко Андрей Зощенко[3].

Ни с кем из этих мальчиков Гоголь не сошелся. О единственном его полтавском приятеле той поры — сыне помещика Герасиме Высоцком — мы знаем очень мало. Рассказывали те, кто видел его уже немолодым, что был он шутник, любил острое словцо и соседи побаивались его колких характеристик.

Брат Иван все время болел, родители хотели даже забрать его раньше срока в Васильевку, но тут грянул гром — брат умер.

То была первая смерть, прошедшая вблизи Гоголя. Позже он написал о своем брате поэму, которая называлась «Две рыбки». Одной из этих рыбок был сам Никоша другой — его любимый Иван. Никто не подозревал в нем этих высоких чувств. Никто не догадывался о глубине привязанности его к брату. Потрясение было столь сильное, что Василий Афанасьевич был вынужден забрать сына из училища. Еще в начале 1819 года он писал А. А. Трентинскому: «Сверх того, я должен буду с открытием весны отправиться со своими детьми в Екатерин: (славль), а может быть, и в Одессу, ибо в Полтаве держать их более не намерен...»[4]

Смерть младшего изменила его намерения. Везти Никошу одного в Одессу или Екатеринославль он не решился. Вновь начались поиски способа учения, подыскивание подходящего человека, который смог бы подготовить сына к поступлению в гимназию. Такой человек нашелся, и опять-таки в Полтаве. Им оказался некий Гавриил Сорочинский. Василий Афанасьевич на этот раз отдал сына «в люди»: Никоша поселился в доме учителя, там же проводились и занятия. Питался он тоже с семьей Сорочинского.

Поэтому и плата за его учение производилась в основном натурою. Из Васильевки слали сало, мед, крупы гречневые и пшенные, муку, бочонки с огурцами. Учитель, случалось, выговаривал отцу Гоголя за несвоевременные поставки провизии и в несколько приказном тоне просил его быть пообязательнее. *«Прислать...* — пишет он в Васильевну, перечисляя меры крупы и муки, фунты меду и пуды сала, количество бочонков. — Теперь же *дать* 300 денег да остальные по щоту за прежнее время»; когда Василий Афанасьевич запаздывает, замечает: «Покорнейше прошу приказать отпущать повернее провизию». Об успехах Никоши в этих посланиях ничего не сообщается. Никоша, по заверению учителя, «в объятиях дружбы» — этим все сказано.

Первые собственноручные письма Гоголя из Полтавы «Папиньке и Маминьке» подтверждают эти слова. Чувствуется, что Никоша свободен и именно поэтому доволен учителем, хотя, может быть, письма эти и писаны под диктовку последнего. Гавриил Сорочинский не очень загружал «волонтера» — так тогда называли детей, готовящихся к

поступлению в гимназию. Он отпускал его одного гулять по городу, ходил с ним по поручению Василия Афанасьевича в гости к нужным людям, среди которых сам Гоголь в письме называет прокурора — лицо, весьма важное в губернии.

«Учение в гимназии начнется через неделю, — писал Никоша отцу, — а до того времени я слегка занимаюсь повторением...» Это «слегка» достаточно красноречиво.

Вместе с тем в нем нет страха перед учителем, страха перед папенькой, чувствуется, что автор письма располагает собой, располагает и временем, а время — это, может быть, самое дорогое, что мог подарить жадному до наблюдений мальчику его опекун.

Время это Гоголь не тратил зря. Кроме обедов у прокурора, кроме знакомств с чиновниками, с которыми имел дела отец, с верхушкой губернии, куда проникал он уже не с учителем, а с отцом или с Андреем Андреевичем Трощинским, часто наезжавшим в Полтаву, сами путешествия по городу давали ему то, чего не могли дать никакое училище и никакой учитель.

2

Полтава стояла на высоком берегу Ворсклы, вся белая, в зелени бесчисленных садов, засыпавших ее к концу лета яблоками, вишнями, грушами, абрикосами. Винный дух носился над ее оврагами и садами, кружа голову; беленькие хатки, крытые соломой, толпились вдоль улиц, названия которых напоминали о полтавской победе, изменившей ее судьбу.

Когда выбирали столицу Малороссии, то сначала остановились на Лубнах — более древнем городе. Но верх взяла Полтава — точнее, Полтавская битва. Памятники и обелиски в честь этой битвы стояли здесь почти па каждом перекрестке и каждой площади. Один мещанин даже воздвиг такой памятник возле своего дома — его самодеятельный почин не вызвал удивления.

Наезжали в Полтаву и из-за границы, наезжали и из столиц. Каждый очередной царь или наследник считал своим долгом отметиться на этой странице русской истории. Не было года, чтоб кто-нибудь из августейших гостей не посетил город. К этим визитам готовились. Сносились портящие вид строения, выравнивались улицы, расчищались подъезды к памятным местам. Пожарные выкачивали пожарной трубой грязь из луж.

В дни осенних дождей тучный чернозем раскисал — оп засасывал брички, телеги, кареты, людей. С грустью взирал орел па памятнике Победы на центральной площади, как плещется у его подножия вода,

как жирные брызги летят от экипажей на отбитые когда-то у шведов пушки.

П. А. Вяземский, посетивший Полтаву двадцать лет спустя после того, как там жил Гоголь, писал:

Братья!.. не грешно ли вчуже

Видеть, господи спаси,

Как барахтается в луже

Город, славный на Руси?..

Строки о Полтаве заканчивались словами:

Ей не нужно обелиска,

Мостовая ей нужна.

Мостовых в городе не было. Осенью отважные полтавские дамы вынуждены были добираться до мест балов и ужинов на телегах, запряженных волами.

Особенно оживлялся город во время дворянских выборов или ярмарок. Тогда сюда съезжалась вся губерния — вынимались из старых сундуков камзолы и платья, местные франты демонстрировали свои завивки и наряды, мамаши — дочек на выданье, молодцы отошедшего века — регалии и раны. Совершались обмены и сделки, заключались контракты, ставились на карту крепостные души, а то и имения. Балы сменялись обедами, обеды — ужинами, бостон — вистом, вист — банком. Съедалось и выпивалось множество всякой еды и напитков. Щедрость разгула, швыряния денег и какого-то забвения в веселье, избыточности — в городе от обилия еды развелось столько собак, что их вылавливали сетями, — сменялись скукою, опустошенностью.

Тогда сильнее раздавался из окон казенных учреждений скрип перьев, щелканье костяшек на счетах, и в права вступала проза плетения губернской паутины — паутины канцелярского производства, перемалывания прошений, жалоб, доносов, циркуляров, указов, приказов.

За год до приезда Гоголя в Полтаву ее посетил император Александр Павлович. Он прибыл сюда в сопровождении большой свиты, в которой состоял и герой 1812 года Барклай де Толли, Осмотр святынь завершился балом, который дало в честь царя полтавское дворянство. Вечером город был иллюминирован. По сему случаю закупили три тысячи стеклянных плошек и стаканчиков, которые, как злословили местные остряки, после торжества «сгорели от огня». Кто-то нагрел руки на царском гощении.

Полтавские контрасты бросались в глаза.

В домах, где бывал Гоголь, говорили о взятках, о тяжбах, о склоках. Тяжбами был отягощен и Василий Афанасьевич, то судившийся со своими соседями, присвоившими его беглых крестьян, то с неуплатчиком долгов — купцом, то с дальними родственниками жены, захватившими ее долю в наследстве.

Кривосудовы и хватайлы, о которых Василий Васильевич Капнист в предисловии к своей «Ябеде» писал, что они лица времен, уже не существующих (как бы оправдываясь за то, что он их вывел), встречались Никоше на улицах, многие из них раскланивались с ним, как с сыном «нужного человечка».

Полтава была городом игроков и торговцев, мастеров по обдуриванию казны и гениев бумажного дела, городом, где миллионные операции на винных откупах (вспомним миллионщика Муразова во втором томе «Мертвых душ») соседствовали с невинными подношениями в виде коробки сигар, нескольких тюков турецкого табаку или подстреленных в ближнем лесу зайцев.

Зайцев и табак подносили даже отцу Гоголя, когда хотели заручиться его поддержкой у всесильного Дмитрия Прокофьевича.

В суды и палаты нельзя было появиться без синицы, красули или беленькой (пяти-, десяти- и двадцатипятирублевых бумажек) — смотря по размерам дела, которое надо было решить. Давал и Василий Афанасьевич, давали и его знакомые, и мальчик Гоголь *видел,* как дают. И видел, как берут эти подарки, или одолжения, как называли их из скромности.

Наезжали в Полтаву ревизоры из Петербурга, распекали, приводили в страх взяточников, но уезжали почему-то умиротворенные, какие-то растолстевшие в талии — то ли откормившись па сытных полтавских хлебах, то ли набив карманы ассигнациями. Нельзя было купить генерал-губернатора, губернского предводителя дворянства (им в те годы был В. В. Капнист), недоступны в этом отношении были еще несколько человек, но остальные брали — и брали с охотою. Полтавский полицмейстер на глазах Никоши обходил лавки в сопровождении солдата полицейской команды, и тот складывал в свой необъятный мешок штуки полотна, головы сахара, завернутые в промасленную бумагу балыки и семгу, банки с помадою.

Как ни мал был тогда Гоголь, ему достаточно было все это видеть и слышать. Жена сына М. С. Щепкина, познакомившаяся с Гоголем в конце его жизни, писала: «Совсем незаметно, чтоб был великий человек, только глаза быстрые, быстрые». Эти глаза были уже и у одиннадцатилетнего сына Василия Афанасьевича.

Отец думал, что посылает его в город учиться паукам, но единственною наукой, уроки которой получил Гоголь в Полтаве, была наука самой действительности.

Не только глаз, но и слух его — его необыкновенное чутье на живую речь — развились в Полтаве.

Столица Малороссийской губернии была город проезжий, шумный. Через нее шли дороги в Петербург, в Харьков, на Москву, на богатую Кременчугскую ярмарку, в Киев, в Саратов, Воронеж, Кишинев, в Екатеринославскую и Херсонскую губернии, обильные свободными землями. Эти земли привлекали авантюристов, дельцов, шулеров, ставящих на случай, на счастье, способных все спустить и все получить в час, людей бывалых, тертых, много повидавших, говорящих на всех наречиях империи — от полуворовского, полумужицкого языка беглых крепостных до перемешанной с французскими словами речи опустившихся аристократов или профессиональных плутов. В гостиницах и постоялых дворах, которых было много в городе, они иногда заживались подолгу, не имея возможности выехать, так как проигрывались подчистую. Здесь стояли их экипажи, тут жили их слуги, ночуя прямо в бричках и каретах, тут дрались, спорили, рассказывали анекдоты и разные необыкновенные истории, обсуждали мировые события, натягивая их на свой, губернский, аршин. Тут без ограничений разливалась стихия звучащего слова — слова свободного, наглого, не вписывающегося в правила стихосложения и правописания и столь же своенравного, как и людское море. Речь светской жеманницы и пьяного кучера, речь провинившегося офицера, сосланного в глушь, речь купца, приноравливающегося к характеру покупателя, и мертвый синтаксис канцеляриста, торчащий посреди языкового разноцветья улицы, как сухой осокорь, — все впечатывалось в память.

Полтаву нельзя было обойти за день. От оврага Панянка, где, по рассказам, покончила с собой из-за несчастной любви панночка, до старой фортеции — места обороны города от войск Карла XII — было несколько верст. Если в торговых рядах, на Круглой площади (где стоял дом губернатора и размещались административные здания) кипела жизнь, то на откосе берега Ворсклы, вблизи которого помещалось поветовое училище, она — особенно в жаркие летние часы — сморенно никла: тут ходили куры, плавал пух одуванчиков, бабы выносили свои плахты и юбки и развешивали их на веревках.

В городе не было библиотеки, зато был театр. Полтавчане любили повеселиться — на улицах слышались звуки казацкой волынки, пение кобзаря. По вечерам в предместьях города — Кобищинах и Кривохатках — собирались парубки и девчата, чтоб поспивать и поплясать. Да и густое щелканье соловьев оглашало в майские ночи полтавские сады.

3

В то время генерал-губернатором Малороссии был князь Николай Григорьевич Репнин. Это был образованный и честный начальник. Появившись на Украине в 1818 году, он до этого успел пожить в Европе, участвовал в войне против Наполеона, был взят в плен под Аустерлицем, а после окончания кампании 1812—1814 годов находился в звании вице-короля королевства Саксонского. Высокое происхождение (Репнин был внуком петровского фельдмаршала Н. В. Репнина) и личный авторитет создали ему в Полтаве славу неподкупного и гуманного человека, какими редко бывали правители провинциальных губерний.

При Репнине ожил заглохший было совсем в Полтаве театр. Здание театра, построенное предшественником князя, по преимуществу пустовало. На лето его заселяли бродячие труппы, которые скитались из города в город. Репнин выписал из Харькова труппу Штейна, в которой выступал тогда еще никому не известный, но подававший большие надежды крепостной актер Михайло Щепкин.

Позже, когда Гоголь и Щепкин познакомились, им не нужно было посредничества в дружбе: пропуском в дом Щепкина для Гоголя стала Полтава. По рассказам, Гоголь вошел в столовую, где сидела за обедом семья Щепкина, со словами украинской песни «Ходит гарбуз по городу». Приязнь между «земляками», как они называли друг друга, осталась на всю жизнь, и именно Щепкин закрыл крышкою гроб Гоголя, когда его выносили из церкви Московского университета на кладбище.

То, что Щепкин и Гоголь (еще мальчик) жили в одно время в одном городе, — совпадение. Но не случайно, что городом этим оказалась Полтава. Сюда, в эту столицу Малороссии, тянулось все лучшее, что являлось тогда па землях бывшей Левобережной Украины. Да и сама полтавская земля, славящаяся своими изделиями сада и огорода, как любил говорить Гоголь, производила не только их, но и таланты, коим суждено было обессмертить ее.

На Полтавщине родились Г. Сковорода, И. И. Хемницер, М. М. Херасков, автор «Душеньки» И. Ф. Богданович, В. В. Капнист, В. Т. Нарежный, Е. П. Гребенка. В Полтавской духовной семинарии учились будущий переводчик «Илиады» Н. И. Гнедич и создатель «Наталки Полтавки» И. И. Котляревский. Отсюда ушел в Петербург и стал знаменитым портретистом бывший миргородский богомаз Лука Лукич Боровиковский.

Котляревский (с которым вместе учился в семинарии и был коротко знаком В. А. Гоголь) был главным директором полтавского театра. На его сцене игрались и «Недоросль» Фонвизина, и «Ябеда» Капниста, и «Урок дочкам» Крылова, и «Наталка Полтавка», и переводные оперы и водевили. Исполнялись в интермедиях и украинские народные песни, и

сочиненные на скорую руку подделки под них, и иностранные куплеты. Щепкин, не обладавший голосом, пел и в «Наталке Полтавке», где он играл возного, и в «Редкой вещи» Керубини, и в опере «Удача от неудачи, или Приключение в жидовской корчме». В последней онмастерски копировал полтавского голову Зеленского. Когда Щепкин в гриме появлялся перед залом, оттуда кричали: «Це ж наш Зеленский!»

Голова был обижен, он хотел даже подкупить актеров, чтоб они больше не играли эту пьесу, но князь Репнин приказал оставить ее в репертуаре. Он даже обязал Зеленского ходить на спектакли.

Театр старался походить на жизнь. Он иногда передразнивал ее, иногда заискивал перед нею, подлаживался к ее настроениям и вкусам, к нехитрым прихотям полтавских зрителей, а порой и больно щекотал, намекая на городские злоупотребления. В текст пьес свободно вставлялись реплики, которые сочинялись тут же, на ходу, в зависимости от ситуации, от состава зала, который надо было расшевелить, возбудить. Вместе с хулами раздавались и похвалы. В «Наталке Полтавке» один из героев ее, Ми-кола, говорил, имея в виду деятельность администрации Репнина: «Та в городі тепер не до новин; там так старі до-ми ламають, та улиці застроюють новими домами, та криші красять, та якісь пішеходи роблять, щоб в грязь добре, бач, ходити було пішки, цо аж дивитесь мило... да уже ж и город буде — мов мак цвіте. Якби и пікійны шведи, що згинули під Полтавою, повстали, то б тепер не пізнали Полтави...»

При Репнине в Полтаве были открыты духовное училище, институт благородных девиц, дом воспитания для бедных дворян. Репнину обязана историография Украины появлением труда Д. Н. Бантыш-Каменского (который потом изучал Гоголь) «История Малой России». И не кто иной, как князь Репнин, вызволил из крепостной зависимости Михаила Семеновича Щепкина.

Случилось это как раз тогда, когда Никоша Гоголь учился в поветовом училище. Щепкина выкупили у курской помещицы А. Волькенштейн, которая не хотела продавать его, так как он был нужен ей «своими познаниями в землемерной науке». Так писала она Репнину в ответ на его просьбу продать Щепкина. Сделка все же состоялась, помещица получила восемь тысяч чистыми. Из них семь тысяч дала подписка — один помещик пожертвовал на это благое дело карточный долг, который был ему должен полтавский полицмейстер Кищенков, — остальные приложил князь. Щепкин вместе с семьею был сначала выкуплен, а затем отпущен на свободу.

Черты Н. Г. Репнина проглядывают в облике князя — героя второго тома «Мертвых душ». Генерал-губернатор одной из губерний, он, как и Репнин, стремится искоренить злоупотребления, призвать чиновников

жить по закону совести. И он, как и Репнин, ничего не может поделать с побеждающей его российскою *путаницей.*

Жертвой ее стал в 1835 году и Репнин. Еще при строительстве института благородных девиц, над которым шефствовала *жена* генерал-губернатора княгиня В. А. Репнина, были расхищены деньги и материалы. Прошло время, недостача обнаружилась, и полтавские кохтины (Кох-тин — персонаж «Ябеды») обвинили в ней князя и его семью. Репнин по именному повелению был отозван в Петербург, а часть его малороссийских имений описана в казну.

История эта была хорошо известна Гоголю, который впоследствии был близко знаком с князем, княгиней и их детьми.

Полтава не стала героем гоголевской прозы, как Миргород или Петербург. Но ее анонимные черты разбросаны в облике многих городов, воспроизведенных Гоголем, и прежде всего в образе *города,* который он создал в «Мертвых душах». Да и действие поэмы отнесено к тому времени, когда Никоша Гоголь проживал на квартире у Гавриила Сорочинского. «Нужно помнить, — пишет Гоголь, — что все это происходило после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые восемь лет заклятыми политиками».

Время это — 1820 год — время первого знакомства Гоголя с городом. Никогда ни до этого, ни после он не жил так долго в губернском городе, не имел случая наблюдать его так пристально. То, что запомнилось ему в детстве, потом пополнялось новыми впечатлениями Гоголя-юноши и Гоголя — автора «Вечеров на хуторе» и «Миргорода», приезжавшего время от времени на родину. Путь его в Васильевну лежал через Полтаву. Сюда он заезжал к своим близким знакомым — семье Софьи Васильевны Скалой, дочери Капниста, здесь при отъезде в Москву и Петербург отмечал свои подорожные.

Конечно, бывал он и в Киеве, в Харькове, Орле, Курске. Но то, что он видел там, было схвачено взглядом проезжего, путешественника, а не жителя. Капитальное представление о городе, о механизме его внутренних отношений, о нитях, протягивающихся от одной части механизма к другой, он получил в Полтаве.

То был именно город — со всеми особенностями уклада губернского города, с пронизывающей его части системой связей, с тем копированием общероссийской государственной модели, которая более всего отразилась в городах (сельская жизнь раскрепощала человека и ставила в иные условия), а точнее, в городах русской провинции, про которую Гоголь говорил, что она и есть подлинная Русь среди Руси.

* * *

Осенью 1820 года Василий Афанасьевич забрал сына из Полтавы. Никоше, так и не поступившему в гимназию, предназначалась другая дорога, и лежала она не на юг, как предполагал ранее его отец, а на север, в Черниговскую губернию, в Нежин, где 20 сентября был открыт лицей князя Безбородко.

Глава третья. Гимназия

… Я почитаюсь загадкою для всех… Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, неотесанный… Вы меня называете мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем.

Гоголь — матери, Нежин, март 1828 года

1

Гимназия, или лицей, как называли ее в городе в подражание названию Царскосельского лицея, который, однако, сильно отличался от нее уже тем, что был расположен во флигеле царского дворца и находился вблизи от столицы, была феноменом царствования Александра, неким исключением из правил на фоне Руси, медленно тянущей свои обозы вперед по пути прогресса. Это движение ее, которому пытался придать (и придал) ускорение Петр, которое замедляли, прерывали или вновь пускали галопом цари и самозванцы, немецкие принцессы и голштинские принцы, которое обрело широкий бег при бабке Александра и встало как вкопанное при его отце, при самом Александре как бы вырвалось на европейский простор: русские полки, дошедшие до Парижа, донесли до него не только победные знамена, но и освежили русское самосознание, как бы проветрившееся в этом марше, в этом мучительно-радостном освобождении сил, которые стягивали постромки предшественника Александра.

Александр открыл границы и камеры Петропавловской крепости, открыл шлагбаумы для обмена мыслями. Были разрешены частные типографии. Державин воспел воцарившийся на русском троне Закон.

«Дней александровых прекрасное начало», — писал о тех днях Пушкин.

Лицеи или высшие учебные заведения были открыты в Царском, в Ярославле, в Одессе, в Нежине. То было признание заслуг Украины в деле русской культуры, заслуг самого Нежина в истории Малороссии. Некогда в Нежине собирались рады, на которых избирали гетманов Левобережья, некогда в центре его, на том месте, где воздвигалось здание гимназии, стоял домик князя А. А. Безбородко, окруженный огромным парком, в котором он принимал матушку-императрицу.

Эту землю вместе с тремя тысячами душ крестьян Безбородко завещал на «обеспечение» будущего учебного заведения, которое должно было стать рассадником наук и нравственности. В уставе гимназии, утвержденном царем, было записано: «Управление гимназии есть четырех родов: 1. Нравственное. 2. Учебное. 3. Хозяйственное. 4. Полицейское».

Как всегда, нравственность не могла обойтись без надзора — в стенах гимназии свистала розга. Пороли и Гоголя. Нестор Кукольник, учившийся с ним вместе в гимназии, вспоминал, что Гоголь кричал пронзительно. Потом по пансиону разнеслась весть, что он «сошел с ума». «До того искусно притворился, — писал Кукольник, — что мы все были убеждены в его помешательстве».

Директор гимназии И. С. Орлай нехотя прибегал к этим мерам. Орлай, как вспоминает тот же Кукольник, «даже хворал, подписывая приговор».

Иван Семенович Орлай был одним из тех людей, которых новое царствование призвало под свои знамена. Выходец из Венгрии, он нашел в России вторую родину и отдал ей все свои таланты и знания. В девятнадцать лет Орлай уже был профессором, слушал лекции в Вене и во Львове, в Кенигсбергском университете, где философию, например, читали «по тетрадкам Канта». В 1821 году, когда Орлай заступил на директорство в Нежине, оп был и доктор медицины, и доктор философии — одно время он состоял даже гофхирургом при Павле Первом. Орлай участвовал в войне 1812 года и оперировал раненых в госпиталях.

Страстный почитатель языка Горация и Тацита, он зазывал к себе учеников, угощал их обедом и за столом беседовал с ними по-латыни.

В лицее Орлай стремился внедрить методы швейцарского педагога Песталоцци, весьма популярного тогда в Европе. Главным постулатом учения Песталоцци было взаимопонимание учащихся и учителей. Подбирая штат воспитателей, Орлай старался прежде всего найти людей образованных, мыслящих, умных, способных вывести своих воспитанников на широкую дорогу общеевропейской культуры. И ему удалось — за малым исключением — найти педагогов, которые соответствовали этой задаче. Многие из них, как и сам Орлай, имели за плечами один-два института или университет, знали несколько языков и были энциклопедически образованны. Были среди них и греки, и венгры, и французы, и итальянцы, и швейцарцы, и русские.

Нелегко было Орлаю управляться с этим разноязыким составом, с разными самолюбиями и отношением к педагогической науке. Одни были истинные ревнители своего предмета, другие больше думали о процветающем в низинном Нежине «огородике», то есть о

выращивании огурчиков, и выгодной женитьбе на дочках нежинских торговцев табаком и колбасников. Почти у всех учителей были собственные дома в городе, они пускали к себе па постой гимназистов, торговали через подставных лиц изделиями своего огорода.

Но ко всем ним Орлай находил свой подход. О стиле его управления говорит выписка из «Журнала конференции Гимназии Высших наук»: «Г-н Директор изъявил свое желание, чтобы каждый из присутствующих в заседаниях на счет управления гимназии объявлял свои мысли свободно и вольно, хотя бы случилось то против какой-либо меры, предлагаемой самим Господином Директором, и чьи окажутся основательнейшими суждения, записывать в параграфах журнала под его именем».

Наверное, поэтому время Орлая в Нежинской гимназии считалось потом временем «беспорядков». Но из этих-то «беспорядков», из этой свободы общения профессоров с директором, а учащихся с профессорами и родился дух гимназии, который не так-то легко было вытравить из нее, когда Орлай ушел.

Красивый, всегда с иголочки одетый, Иван Семенович являл собой образец человека высоких помыслов и нравственной чистоты. Именно таких людей, как И. С. Орлай, имел в виду Карамзин (сам, кстати, принадлежавший к их плеяде), когда писал, что не нововведения спасут Россию, не переписывание па русский язык Наполеонова кодекса, а собирание вокруг трона голов независимых, честных, ставящих выше всех благ благо отечества.

Гоголю повезло — он видел таких людей. Его детство и юность прошли под знаком их влияния, и сам он по воспитанию и образу мыслей принадлежал к их эпохе, а не к той, которая уже занималась на горизонте. Это важно отметить, так как большая часть сознательной жизни Гоголя пала на иное время, о котором речь еще впереди.

Пожалуй, самым большим богатством гимназии была библиотека, начало которой положил почетный попечитель граф А. Г. Кушелев-Безбородко, внучатый племянник А. А. Безбородко, по существу и основавший Нежинский лицей. Он старался полагаться на опыт Царскосельского лицея, пансион при котором сам окончил. Граф подарил гимназии две с половиной тысячи томов, а когда Гоголь кончал гимназию, в библиотеке было уже семь тысяч книг. То была по преимуществу переводная литература и литература историческая.

Недаром в гимназии так любили именно историю — это было влияние эпохи, находившейся под впечатлением выхода одиннадцати томов «Истории Государства Российского» Карамзина (они тоже стояли на полках лицейской библиотеки) и чтения романов Вальтера Скотта. Среди гимназистов образовалось даже историческое общество, где

самостоятельно переводили иностранных историков и составляли полную всемирную историю из компиляций и самостоятельных изысканий. Константин Базили, одноклассник Гоголя, написал для этого труда тысячу пятьсот страниц рукописного текста.

В этом увлечении отнюдь не был повинен гимназический историк «козак» Моисеев, как называл его Гоголь, который больше интересовался своими нарядами, чем историческими занятиями учеников. Он заставлял зубрить главы из учебника Кайданова и ограничивался на лекциях пересказом этих глав. Моисеев был знаменит в Нежине тем, что обхаживал дочерей торговцев красным товаром. Не в силах привлечь их своей внешностью, он старался броситься в глаза необычным платьем. Особенно почитал Моисеев голубой цвет и являлся в гимназию в голубом сюртуке, голубом шарфе и голубых панталонах. Будучи некоторое время инспектором пансиона, он и пансионеров переодел в голубой демикотон.

Над ним посмеивались! однажды Моисеев, желая поймать воспитанника Гоголя-Яновского на том, что тот не слушает урока, внезапно оборвал рассказ и спросил: «Господин Гоголь-Яновский, а по смерти Александра Македонского что последовало?» Гоголь (весь урок рисовавший вид за окном и скучавший) вскочил и бодро ответил! «Похороны». Класс грохнул.

Подсмеивались и над «батюшечкой» Волынским, который читал в гимназии катехизис, священную историю и толкование евангелия, шалили на уроках Билевича, преподававшего политические науки, Никольского. Никольский, остановившийся в своих пристрастиях и знаниях по части российской словесности на середине XVIII века, вызывал всеобщее осуждение. Ему подсовывали стихи Языкова, Пушкина, выдавая их за свои — он правил их и говорил, что они не соответствуют правилам слога. Однажды кто-то подложил ему на кафедру стихотворение Козлова «Вечерний звон». Никольский прочитал и написал: «Изряднехонько». Про Пушкина и Жуковского он говорил: «Эта молодежь» — и предпочитал им Хераскова, Сумарокова и Ломоносова. Впрочем, эта страсть Никольского к XVIII веку имела своим следствием то, что, как писал Н. В. Кукольник, «он положительно заставил нас изучать русскую литературу до Пушкина и отрицательно втянул нас в изучение литературы новейшей».

Но наряду с одиозными фигурами учительской теократии были в Нежине и профессора, которых уважали в классах и за стенами гимназии. Таковы были младший профессор немецкой словесности Федор Иванович Зингер и профессор французской словесности Иван Яковлевич Ландражин, которые не только отлично знали свой предмет, но и давали воспитанникам читать книги из своих личных библиотек, принимали их дома, где велись литературные и ученые собеседования,

где читали в подлиннике французских и немецких классиков, переводили Шиллера, немецких романтиков, а то и самого Вольтера. Таков был молодой профессор ботаники Никита Федорович Соловьев, которого Орлай выписал из Петербурга. Таковы были Казимир Варфоломеевич Шапалинский, одинаково блестяще знавший и математику, и русскую литературу, и профессор естественного права Николай Григорьевич Белоусов. О Шапалинском один из соучеников Гоголя, П. Г. Редкий (впоследствии известный ученый-юрист), писал: «Безукоризненная честность, неумытная справедливость, правдолюбивое прямодушие, скромная молчаливость, тихая серьезность, строгая умеренность и воздержание в жизни, отсутствие всякого эгоизма, всегдашняя готовность ко всякого рода самопожертвованиям для пользы ближнего… вот основные черты нравственного характера этого чистого человека».

В мае 1825 года в гимназии появился профессор естественного права Николай Григорьевич Белоусов. Белоусов учился в Киевской духовной академии, которую окончил в 15 лет. Затем он поступил в Харьковский университет, считавшийся лучшим учебным заведением на Украине. «Харьков называли украинскими Афинами», — писал учитель латинского языка в Нежинской гимназии И. Г. Кулжинский. Особенно силен был в университете философский факультет, на котором с 1804 по 1816 год читал лекции профессор Иоганн Шад, рекомендованный в Харьков Гёте и Шиллером.

Два аттестата, выданные Белоусову по окончании университета, свидетельствовали, что он обучался по этико-филологическому отделению философского факультета и по юридическому факультету «с отличными успехами».

Белоусов был уже человек нового поколения — поколения, близко стоящего к поколению Гоголя. Их разделяли какие-то десять лет. Они, собственно, и учились в одно время, и начинали свой путь при одних обстоятельствах. Вкусы, одежда, взгляды на историю и литературу (которую любил и почитал профессор естественного права) — все у них было общее. Да и сам предмет, который преподавал Белоусов, был той наукой, на которую особенно обращены взоры юношества, — то была наука личного и государственного поведения, основанного на началах *естественности* и справедливости.

Даже когда Белоусов стал инспектором пансиона (отделения для казеннокоштных студентов, находившегося в стенах гимназии) и в его обязанности была включена необходимость *следить* за своими подопечными (то есть докладывать в письменной форме об их умонастроении и поступках), он с неохотою писал свои «рапорты» и «доносы», как назывались в те времена такого рода бумаги. «Пансион наш теперь на самой лучшей степени образования, — писал Гоголь

матери, — ...и этому всему причина — наш нынешний инспектор; ему обязаны мы своим счастием — стол, одеяние, внутреннее убранство комнат, заведенный порядок, этого всего вы теперь нигде не сыщете, как только в нашем заведении. Советуйте всем везть сюда детей своих: во всей России они не найдут лучшего». «Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека, — рассказывает он Г. Высоцкому. — Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступается за нас против, притязании конференции нашей и профессоров школяров. И, признаюсь, ежели бы не он, то у меня недостало бы терпения здесь окончить курс — теперь, по крайней мере, могу твердо выдержать эту жестокую пытку».

2

Прибытие Никоши в гимназию запомнилось соучениками его как явление комическое. Какой-то слуга или дядька привел его, завернутого во множество фуфаек и курток, чуть ли не в тулуп, и повязанного поверх головы теплым маменькиным платком. Дядька долго развертывал его и распоясывал, все с любопытством смотрели на эти его усилия, пока из одежек но выглянуло худенькое личико мальчика с длинным носом, пугливо озирающегося по сторонам. Он сразу насупился, нахохлился, и слезы выдавились у него из глаз, когда собравшиеся вокруг гимназисты стали отпускать по его адресу шуточки.

Испуг Гоголя по приезде в далекий город понятен. Его растерянность среди множества сверстников тоже. Как-никак это была не Полтава, где у отца было полгорода знакомых, и не поветовое училище, где учителя и ученики размещались в трех небольших классах. Еще подъезжая к гимназии, он поразился ее белым колоннам, высоте здания, большим окнам и господству этого строения над низкорослым Нежином. В передней их встретил швейцар или сторож — солдат с синим пятном под глазом, но зато ручки дверей были бронзовые, лестница, по которой его повели наверх, — широкая, а от простора приемной залы у него закружилась голова. Никоша хватался за рукав дядьки Симона, оглядывался на черниговского прокурора Е. И. Бажанова, привезшего его в своей карете, и взгляд его говорил: «Возьмите меня обратно».

Таковы же были его первые письма к «Папиньке и Маминьке»: «О! естлибы Дражайшие родители приехали в нынешнем месяце, — писал он, — тогда бы вы услышали что со мною делается. Мне после каникул сделалось так грустно что всякий божий день слезы рекой льются и сам не знаю от чего, а особливо когда спомню об вас то градом так и льются...»

Письмо это относится к тому времени, когда Никоша уже был определен на квартиру к немцу Е. Зельднеру, который взялся — за хорошую плату — быть наставником сына Василия Афанасьевича.

Получив это послание, Василий Афанасьевич так расстроился, что заболел. Узнав об этом, жена Андрея Андреевича Ольга Дмитриевна Трощинская писала Марии Ивановне: «Не стыдно ли ему занемочь от того, что Никоша скучает в пансионе без вас». Василий Афанасьевич сначала хотел взять сына домой, но потом раздумал и послал в Нежин нарочного с запросом Зельднеру.

Обиженный недоверием, немец отвечал ему: «Сын ваш очень не разсудный мальчик во всех делах... и он часто во зло употребляет ваше отеческой любов...» В наказание за то, что он подверг родителей печали, Зельднер оставил его после обеда без чая. Оправдываясь, он писал, что «без маленькие благородние наказание не воспитывается ни один молодой человек...».

Житье с Зельднером, который требовал от Василия Афанасьевича то сушеных вишен, то еще каких-то даров из экономии Васильевки, жизнь, продолжавшаяся до перехода в 1822 гаду на казенный кошт, была горькой, обидной. Немец не только допекал Никошу своей аккуратностью и жадностью; теперь каждая фраза его переписки с папенькой и маменькой просматривалась и цензуровалась: вместо призывов о помощи и жалоб на бумаге появлялись уверения в счастливом времяпрепровождении и хороших успехах.

А успехов не было. Гоголь учился дурно, особенно не успевал по языкам, и Иван Семенович Орлай, делавший снисхождение сыну Василия Афанасьевича, с которым они были соседи и которого он знал по встречам у Дмитрия Прокофьевича, писал в Васильевку: «Я знаю, сколь много любите вы сына своего, а по сему считаю, во-первых, нужным уведомить вас, что он здоров и хорошо учится... Жаль, что ваш сын иногда ленится, но когда принимается за дело, то и с другими может поравняться...»

Добрый Орлай щадил самолюбие и чувства отца Гоголя, потому что отметки Никоши по всем предметам оставляли желать лучшего. Два года, которые он провел в Полтаве, не подготовили его к поступлению в гимназию. У других за плечами были годы пребывания в училищах и пансионах, занятия на дому с первостатейными учителями — многие из однокашников Гоголя знали до поступления в лицей латынь, французский и немецкий языки, свободно читали Вольтера и Руссо. Таков был, например, Нестор Кукольник, вечный антагонист Гоголя, которому Гоголь сначала сильно завидовал. Все давалось беспечному Нестору — и науки, и игра в бильярд, и гитара в его руках пела, и нежинские дамы рано стали обращать на него внимание. Нестор Кукольник, как и Василий Любич-Романович или Редкий, был учеником, который знал, может быть, более, чем некоторые из учителей и профессоров, случалось, профессора обращались к ним за помощью,

чтобы перевести какое-то трудное место из Горация или вспомнить полузабытый факт из «Истории крестовых походов» Мишо.

Все это сильно ущемляло Гоголя в глазах товарищей и в его собственных глазах — первые годы в гимназии, пока не раскрылись его таланты, он чурался общества, жил одиноко и все просил у папеньки о возвращении.

Но минул год, и он обжился. К тому же в марте 1822 года отец добился привилегии для сына: его перевели в штат казеннокоштных воспитанников. А. Г. Кушелев-Безбородко крайне редко допускал такие переходы — лишь ходатайство Трощинского (и тут помог благодетель!) заставило его снизойти к просьбам Василия Афанасьевича. А. А. Трощинский писал матери своей Анне Матвеевне: «К Василию Афанасьевичу я... посылаю теперь изрядный *подарок,* чрез ходатайство Дмитрия Прокофьевича молодым графом Кушелевым-Безбородко ему делаемый, — включением его сына Никоши в число воспитанников, содержимых в Нежинской гимназии па его иждивении и, следовательно, на будущее время В. А. освобождается от платежа в оную гимназию, за своего сына, в год по 1200 рублей. Он с прошедшей масляницы не успел составить и подать Дмитрию Прокофьевичу записки, по коей должно было просить графа Безбородко о помещении его сына на гимназическое содержание, а между тем и без оной записки Дмитрий Прокофьевич успел удовлетворить в том его писание. Вот черта, изображающая благодетельное к нему Дмитрия Прокофьевича расположение».

* * *

Позже Гоголь признавался матери, что вынес в стенах гимназии много обид и оскорблений, много несправедливостей со стороны его товарищей. Физическая слабость всегда унижает мальчика в глазах сверстников, а Никоша постоянно хворал, не залечивались его уши, которыми он страдал после перенесенной в детстве золотухи. Потом он заболел скарлатиной, и воспаление ушей возобновилось.

На первых порах в пансионе Гоголь — мишень для насмешек, изгой, нечто вроде Акакия Акакиевича в департаменте. Никаких способностей он не обнаруживает, наоборот, его корят как непослушного, неуспевающего. Непослушание — проявление характера, гордости, о которой пока еще никто не знает, но которая вспыхивает вдруг, обнаруживая, как кажется педагогам, упрямство и непочтительность. Его не принимают в игры, в умственные собеседования и в предприятия амурного характера.

Романы крутили с нимфами из предместий. Они приходили в гимназию стирать белье, простоволосых и полуодетых, их можно было встретить на речке, в прачечной. Тут же назначались свидания, составлялись парочки, отсюда расходились по классам рассказы о запретных

удовольствиях любви. Откровенность и простота этих отношений, которые Гоголь мог наблюдать еще в патриархальной Васильевке, больно били по его поэтическому воображению.

Это была не та любовь, о которой он грезил, она, с одной стороны, унижала его мечты, снижала их, с другой — заставляла парить еще выше. Он жил как бы в двух мирах — идеальном и реальном, и спор их, их соперничество в его душе заставляли его страдать. Он рано задумался о двойственной природе человека.

Но в гимназии мало кто подозревал об этом. Насмешки и прозвища «таинственный карла», «пигалица», «мертвая мысль» разбивались, о него, как о *скалу* (об этой твердости юного Гоголя вспоминал В. И. Любич-Романович), он умел ответить на них молчанием (потому и «таинственный карла»), которое, может быть, стоило ему скрытых слез. Излечивал его от обид город, рынок, где он покупал у торговок любимый им грушевый квас, аоставшиеся от угощения медяки раздавал нищим.

А еще он проводил время в саду гимназическом с садовником Ермилом, который охотно рассказывал ему о деревьях и цветах, о своей жизни, о Нежине. В саду, в парке он находил покой, отдохновение, тут писал свои пейзажи, пруд, деревья или речку Остер, мостик над ней, садовую изгородь. Его рука ловчее всего выводила *виды.* недвижная природа легче давалась ему, люди выходили какими-то неестественно застывшими. Он писал природу *без людей.* В старом парке на аллеях, посыпанных песком, стояли белые статуи, высокие липы подпирали своими черными стволами роскошные зеленые кроны. Их зелень отражалась в стеклянно застывших прудах.

Сюда, подальше от людей, Никоша и забирался со своими картонами и пастельными карандашами. К зиме 1823 года у него накопилось уже несколько картин, и он просит отца прислать рамки, ибо иначе их перевезти нельзя — нежный слой пастели может стереться в дороге. «Сделайте милость, дражайший папинька, вы, я думаю, не допустите погибнуть столько себя прославившимся рисункам». О других успехах — учебных — почти ни слова: «Учусь хорошо, по крайней мере, сколько дозволяют силы».

3

Весною 1824 года в гимназии наконец разрешили театр. Тоскливый ход серых дней как бы подпрыгнул, сорвался с места, весь распорядок встал на дыбы, и время понеслось как в вихре, как в ярмарочном веселом круженье, которое захватило Никошу.

Гоголя приняли в труппу и предложили роль. То была роль Креона в трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах». Понятно, почему она досталась Гоголю: Креон был некрасив, самолюбив и одинок.

У Гоголя было мало слов, все они, начиная с первой реплики, вели к разоблачению Креона, но, поскольку слов было мало, их следовало дополнять гримасами, жестами, еще сильнее подчеркивавшими зло в герое и делавшими его еще более отталкивающим. И актер старался. Зал негодовал, когда он появлялся рядом с благородным Тезеем, возвышенным в своем раскаянии Эдипом — Базили и жертвенно-прекрасной Антигоной, которую играл Саша Данилевский. Одетая в античные одежды Антигона с нарумяненными щеками и в парике красноречиво обличала закутанного во все черное длинноносого Креона. Смерть принимал злодей, а добродетель, еще более возвышенная его падением, оставалась жить. Она праздновала свое избавление в виду прекрасных Афин, вблизи стройных колонн храма, чудесных видов и теплого неба юга. И мало кто знал в зале, аплодируя исчезновению страшного злодея, что эти картины, эти портики и колонны, равно как и видение снежно-белых Афин на горизонте, написала его рука, что это он, еще более уродливый от нахлобученного на него черного парика, от черных одежд и кривых улыбок, которыми он изображал зло, воссоздал на грубо сшитом и вытканном дома холсте красоту, ушедшую в вечность.

А на другой день после «Эдипа» он играл старика в веселой малороссийской комедии, которую прислал ему отец. Это был уже не трагический злодей с черными космами, с бледным лицом и острым профилем, изрекающий хулы на мир и на себя. Это был деревенский «дядько», которого каждый сидящий в зале видел на завалинке у себя в селе. Гоголь в этой роли не произносил ни слова, он только двигался по сцене, покряхтывал, посапывал и почихивал, но зал не мог удержаться от хохота. Смеялись и хватались за животы и степенные воинские командиры, и дамы, и даже зашедший на представление «батюшечка» Волынский.

В те годы он все пристальнее начинает интересоваться литературой, переписывает в тетради стихи и просит «папиньку» прислать все новые и новые книги, о которых слышит от него же или от товарищей по учению. Тут и стихотворные трагедии, и баллады (может быть, Жуковского), и первые главы «Евгения Онегина». К 1825 году относится появление в гимназии рукописных журналов «Звезда», «Метеор литературы». Вокруг них объединяется все пишущее и сочиняющее, все пробующее себя в изящной словесности. Рядом с Гоголем мы видим и Нестора Кукольника, и Николая Прокоповича, и Василия Любича-Романовича. Это друзья-соперники, ценители и критики собственных сочинений и толкователи мировой литературы. Гоголь был

искренен, когда писал в «Авторской исповеди», что его занятия литературой в гимназии начинались все в серьезном роде. За исключением нескольких эпиграмм, акростиха на приятеля своего Федора Бороздина и не дошедшей до нас сатиры «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», все это попытки в историческом и романтическом духе, отвечающие общему духу литературы и моде того времени.

Начало 20-х годов XIX века в российской литературе — это, с одной стороны, попытка осмыслить исторический путь России, открывшийся вдруг глазам после событий 1812 года, с другой — переработка сильного влияния немецкой романтической поэзии (выразившаяся в творчестве Жуковского), с третьей — влияние музы Байрона. В журнале «Вестник Европы» за 1823 год, который Гоголь просил прислать ему из Кибинец и который был прислан ему, мы находим несколько статей о романах Вальтера Скотта, полемику вокруг «Кавказского пленника» Пушкина, статью об альманахе «Полярная звезда», в котором печатались литературно-критические обзоры А. А. Бестужева. В одном из таких обзоров, названном «Взгляд на старую и новую словесность в России», автор писал: «...Необъятность империи, препятствуя сосредоточению мнений, замедляет образование вкуса публики. Университеты, гимназии, лицеи, институты и училища разливают свет наук, но составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России. Недостаток хороших учителей, дороговизна выписных и вдвое того отечественных книг и малое число журналов... не позволяют проницать просвещению в уезды. Но утешимся!.. Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает богатую жатву».

Что же оставалось мальчикам, сидевшим в глуши и получавшим бранимые Бестужевым журналы и альманахи с большим опозданием и по милости выписывавших их? Они подражали тому, что читали: подражали Вальтеру Скотту, Шиллеру, Гёте, Байрону и Пушкину, Жуковскому, Батюшкову, Козлову. Источником, питающим их исторические вымыслы, были и вышедшие в те годы летописи Нестора, и «История Государства Российского».

Повесть и трагедия Гоголя, печатавшиеся в гимназических изданиях, были написаны в том же духе. Название его трагедии «Разбойники» прямо повторяет название трагедии Шиллера, которого Гоголь изучал в 1825— 1826 годах. Он купил собрание сочинений немецкого поэта, изданное малым форматом, и не расставался с ним во время пасхальных каникул.

Любич-Романович вспоминает, как горько отзывались в Гоголе насмешки над его «тягучею прозой». Однажды, пишет он, Гоголю был вручен приз за сочинение на историческую тему. Товарищи поднесли ему фунт медовых пряников. Гоголь швырнул подарок им в лицо и две педели не ходил в классы.

Но все это происходило уже позже, после 1825 года, который в судьбе Гоголя оказался переломным и принес ему много горя, сразу отделив его от детства и перенося в холодное мужество.

4

«Василий Афанасьевич приехал из Лубен без всякой уже надежды, — писала Ольга Дмитриевна Трощинская своему мужу в Киев 1 апреля 1825 года, — он был так слаб, что не мог уже говорить и на второй день праздника объявил мне желание видеть Марию Ивановну и проститься с нею, я же, узнавши, что она родила дочь Ольгу благополучно и находится, слава Богу, в хорошем состоянии, послала за нею вчера карету, он умер после обеда почти при мне, потому что я была у него беспрестанно, и он просил меня, чтоб я тотчас после его смерти отправила его в Яреськи к Ивану Матвеевичу, а оттуда уже в их деревню, где он и препоручил себя похоронить возле церкви. Все его желания я, кажется, исполнила, и вчера же его вывезли отсюда в карете, а между тем я послала тотчас нарочного козака в Яновщину с письмом к Анне Матвеевне (ибо она теперь там) и просила ее приготовить Марию Ивановну *к этому* несчастию»[5].

Неожиданная смерть Василия Афанасьевича расстроила праздник в Кибинцах, куда по случаю пасхи съехалось много гостей. Старый хозяин велел прекратить музыку и вышел с обнаженной головой на крыльцо, чтоб проводить своего бывшего верного помощника.

А в Васильевке в это время напряжение ожидания достигло предела. Мария Ивановна, едва начавшая вставать, порывалась ехать в Лубны. Старшие девочки Аня и Лиза (самой старшей, Маши, не было дома, она училась в Полтаве у мадам Арендт) сидели у окон и повторяли: папа, папа. Волновалась и Татьяна Семеновна, чувствуя недоброе в затянувшемся молчании сына. Наконец, у ворот показалась карета. Приехала акушерка из Кибинец, жена доктора. Она сказала, что Василий Афанасьевич в Кибинцах и зовет Марию Ивановну и Анниньку к себе.

Быстро собрались, оставив Олю на попечении кормилиц и бабушек, и поехали. Но едва выехали за околицу, как навстречу показался верховой. Он остановил карету и подал жене доктора письмо. Мария Ивановна увидела, как побледнела ее соседка, пробежав глазами бумагу.

Страшное предчувствие охватило Марию Ивановну. Жена доктора, взглянув на нее, вспыхнула и сказала: «Воротимся. Василий Афанасьевич сам приедет». Аничка, сидевшая между двумя женщинами, испуганно смотрела то на акушерку, то на мать, которая вдруг покрылась смертельной бледностью. Лошади повернули. Взбежав на крыльцо, Мария Ивановна успела сказать, чтоб удалили от нее дочь, и уже в сенях услышала голос докторши. Та говорила Анне Матвеевне: «Приготовьте несчастную Марию Ивановну…». «Нет… нет… — закричала она, — не читайте, я не хочу слышать *этого* слова!..»

Ее почти без чувств увели в комнаты.

…Два дня тело Василия Афанасьевича в карете стояло на дворе. Его не вносили в дом, ибо не было гроба, гроб, присланный из Кибинец, оказался мал, пришлось срочно заказывать другой в Полтаве. Мария Ивановна боялась смотреть в окно, все еще не веря в случившееся. Она увидела мужа только в церкви, когда ее подвели к гробу, стоявшему на возвышении. Она заговорила с ним, стала шептать какие-то ласковые слова, смысла которых, конечно, никто не понял. Она была уже как безумная, хотя слезы все не лились, они остановились в ней, замерзли, как и ее душа. А она говорила и говорила с ним и за него же отвечала, пока ее не взяли под руки и не попытались отвести от гроба. И тут она заплакала. «Машенька бедная утопает в слезах… — писала в Кибинцы Анна Матвеевна Трощинская. — Просит сделать такую могилу, чтоб и ей место было возле него… Сделали могилу на 2 гроба. Отрезала у покойника волос и спрятала его как будто для нее какое сокровище…»

Горе Марии Ивановны было настолько сильным, что оно уже не походило на обычные страдания по умершему.

Проходила неделя, другая, а она все молчала, ни с кем не разговаривала, никого не хотела видеть и не принимала пищи. Она худела, истаивала, едва передвигалась по комнате и не хотела видеть ни дочерей, ни тетушку, ни мать Василия Афанасьевича.

Спасли ее дети. Когда тетка Анна Матвеевна привела их к ней, поставила перед постелью, одетых в черные платьица, беспомощных, дрожащих от страха, от жалости к матери и самим себе, и сказала: «Ты, видно, не хочешь свидеться с Василием Афанасьевичем в лучшем мире? Он с ангелами, а ты никогда не будешь там, он берег свое здоровье для детей, а ты хочешь быть самоубийцей», — она очнулась. В тот день она впервые согласилась выпить рюмку вина пополам с водой.

О страшной новости Гоголь узнал от своего одноклассника А. Баранова, который ездил домой на каникулы. 23 апреля он написал матери письмо.

«Не беспокойтесь, дражайшая маминька! Я сей удар перенес с твердостию истинного христианина.

Правда я сперва был поражен ужасно сим известием, однако ж *не дал никому заметить,* что я был опечален. Оставшись же я наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою. По бог удержал меня от сего — и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию ...я имею вас и еще не оставлен судьбою. Вы одни теперь предмет моей привязанности; одни которые можете утешить печального, успокоить горестного. Вам посвящаю всю жизнь свою... Ах, меня беспокоит больше всего ваша горесть! Сделайте милость, уменьшите ее, сколько возможно, так, как я уменьшил свою... Зачем я теперь не с вами? вы бы были утешены. Но через полтора месяца каникулы — и я с вами...»

Письмо это написано для матери, для ее утешения, в нем скрыт страх за ее здоровье и переживания. Он старается казаться спокойным, чтоб внушить на расстоянии это спокойствие Марии Ивановне. Но уже на следующий день в Васильевку летят строки, в которых дает себе волю отчаяние. Это уже не беловик, а черновик с помарками и кляксами, с зачеркиваниями и подозрительными водяными пятнами, похожими на слезы: «мне хочется вас видеть, — пишет он, — слышать, хочется говорить с вами, но пространство (ах, бесчеловечное) разлучает нас...»

Любовью своей он хочет вернуть мать к жизни. Сердцем своим, ранее защищенным любовью отца, чувствует он свою *потерю*. Через два года, вспомнив в одном из писем домой об отце, он напишет: «...не знаю, как назвать этого небесного ангела, это чистое высокое существо, которое одушевляет меня в моем трудном пути, живит, дает дар чувствовать самого себя и часто в минуты горя небесным пламенем входит в меня... В сие время сладостно мне быть с ним...»

С этой поры начинается внутренняя перестройка в Гоголе. Доселе дремавшая воля, воля, находившаяся в беспечном усыплении детства, вдруг оживает. Она обнаруживает себя в способности к стройности, организованности, к сознательно умышленному руководству беспорядком чувств. Нет уже мальчика, есть юноша, заглядывающий в свое будущее, есть человек, который уже готов к выбору. «Зачем предаваться горестным мечтаниям? — пишет он матери. — Зачем раскрывать грозную завесу будущности? Может быть, она готовит нам спокойствие и тихую радость, ясный вечер и мирную семейственную жизнь... Что касается до меня, то я совершу свой путь в сем мире и ежели не так, как предназначено всякому человеку, по крайней мере буду стараться сколько возможно быть таковым».

Понятие судьбы отныне будет пребывать с ним. Судьба и рок должны воплотиться в воле живущего, в его личном стремлении преодолеть свою смертность и исполнить долг.

Теперь вся его любовь, вся неистраченная благодарность и сочувствие обращаются к дому, к сестрам своим, которым он остался за отца, к родным и близким. Смерть отца как бы разбудила его душу, отомкнула ее для излияний душевных, которых он стыдился до сих пор.

5

На летние каникулы 1825 года Гоголь везет с собою уже не только картины, но и «сочинения», о содержании которых умалчивает и которые предназначались для подарка папиньке. С тех пор упоминания о «сочинениях» начинают вытеснять в его письмах сообщения о занятиях рисованием и живописью. Каждый раз в Васильевке узнают о новых его «трудах» или «произведениях», о которых он всегда отзывается темно и двусмысленно. Эта секретность объясняется не только скрытностью его натуры, но и боязнью за свое детище. Первые опыты Гоголя не получили одобрения его товарищей. Гоголь мог сойти еще как оформитель, кропотливый рисовальщик виньеток и бордюров на обложках гимназических альманахов, как литератор же считался весьма «средственным».

Но уже в те годы он жаждал или всего, или ничего: полупризнание, снисходительное одобрение его не могли удовлетворить. Он не цеплялся за свои листки, не пытался их сохранить, спасти удачную строчку или абзац, а может, и целую главу. Он уничтожал вес, и это было неосознанным признанием своей способности начать все сначала.

В одном из писем домой он пишет: «В рассуждении же сочинения скажу вам. что я его не брал, но оно осталось между книгами в шкафу. Но это небольшая беда, ежели оно и точно пропало, я постараюсь вам вознаградить новым и гораздо лучшим».

В гимназии он обживается и, вернувшись с летних каникул, сообщает маменьке, что товарищи встретили его хорошо, что он принят в пансионе как свой. Его светлое настроение нарастает и наконец взрывается приступом веселья и радости, когда в гимназии вновь открывается театр: «Вы знаете, какой я охотник всего радостного? Вы одни только видели, что под видом иногда для других холодным, угрюмым таилось кипучее желание веселости (разумеется, не буйной) и часто в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают его, встретясь с ним».

Это признание прямо относится к участию Гоголя в спектаклях, в длящихся «четыре дня сряду» представлениях, где он, по свидетельству своих однокашников, блеснул как никогда.

Дадим слово Нестору Васильевичу Кукольнику: «Нам поставлено было в обязанность каждый раз, когда у нас будут спектакли, непременно и прежде всего сыграть французскую или немецкую пиэсу. Гоголь должен был также участвовать в одной из иностранных пиэс. Он выбрал немецкую. Я предложил ему роль в двадцать стихов, которая начиналась словами: «О майн Фатер!», затем шло изложение какого-то происшествия. Весь рассказ оканчивался словами: «нах Праг». Гоголь мучился, учил роль усердно, одолел, выучил, знал на трех репетициях, во время самого представления вышел бодро, сказал: «О майн Фатер!», запнулся... покраснел... но тут же собрался с силами, возвысил голос, с особенным пафосом произнес: «нах Праг!» — махнул рукой и ушел... И слушатели, большею частью не знавшие ни пиэсы, ни немецкого языка, остались исполнением роли совершенно довольны... Зато в русских пиэсах Гоголь был истинно неподражаем, особенно в комедии Фонвизина «Недоросль», в роли г-жи Простаковой...»

Гоголь сильно нажимал на комическую сторону роли, но, когда в последнем действии обеспамятевшая от всеобщего предательства Простакова начинала рвать на себе волосы и клясть судьбу, зрители готовы были простить ей все.

В ту весну гимназия «открыла» Яновского. На место задумчивого «карлы» явился пересмешник и комик, острого глаза которого теперь побаивались. Он всегда мог «изобразить», и это не забывалось, приклеивалось к тому, кого он изображал, как и прозвище или кличка, на которые он тоже был мастер.

Его теперь уже просят как об одолжении об участии в вечеринке, в чтении литературном. Он принят в компании и в кружки не как наблюдатель, а как заводила и равный. Едва в классе произносится фамилия Яновского, как головы тут же поворачиваются в ожидании шутки, каламбура, веселого представления, которое разряжает скуку урока. При нем начинают опасаться нести чушь, врать (хотя он сам охотник прихвастнуть), впадать в пафос, декламировать возвышенное. И когда Кукольник, уже в ту пору сочинявший свои трагедии на высокие темы (которые он и писал чрезвычайно высоким слогом), начинал читать их, завывая и закатывая очи горе, о нем говорили: «Возвышенный опять запел!» «Возвышенный» — так прозвал его Гоголь.

«Думаю, удивитесь вы успехам моим, — признается он маменьке, — которых доказательства лично вручу вам.

Сочинений моих вы не узнаете. Новый переворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный. Рад буду, весьма рад, когда принесу вам удовольствие». О каком же удовольствии идет речь? Об удовольствии веселья: «весна приближается. Время самое веселое, когда весело можно провесть его», «как весело провели бы мы время вместе», «еще половина, и я опять с вами, опять увижу вас и снова развеселюсь во всю ивановскую».

Эти заявления подтверждаются делом — текстами самих писем. «Спиридон, т. е. Федор Бороздин, — пишет Гоголь, — точно в гусарах и отличный гусар из самого негодного попа. Кто бы думал? — Сам генерал его уважает. — Баранов находится в собственном благоприобретенном и родовом своем поместье; преосторожно, прехитро, преинтересно ловит мух, сажает в баночку, обшивает полотном, запечатывает фамильным потомственным гербом и рассматривает при лунном свете». А вот еще одно письмо Г. Высоцкому в Петербург: «У нас теперь у Нежине завелось сообщение с Одессою посредством парохода, или брички Ваныкина. Этот пароход отправляется отсюда ежемесячно с огурцами и пикулями, и возвращается набитый маслинами, табаком и гальвою. Семенович Орлай, который теперь обретается в Одессе, подманил отсюда Демирова-Мышковского[6], которому давно уже гимназия открыла свободный, без препятствий пропуск за пьянство, и по сему поводу пароход совершил седьмую экспедицию для взятия в пассажиры Мышковского, а на место его в гувернеры высадил директорскую ключницу, ростом в сажень с половиною, которая привела было в трепет всю челядь гимназии высших наук Безбородко, пока один Бодян не доказал, что русский солдат чорта не боится, и в славном сражении при Шурше оборотил передние ее челюсти на затылок…»

«Но неужели мы должны век серьезничать, — спрашивает он, как бы оправдываясь, — и отчего же изредка не быть *творителями пустяков,* когда ими пестрится жизнь наша? Признаюсь, мне наскучило горевать здесь и, не могши ни с кем развеселиться, мысли мои изливаются на письме и забывшись от радости, что есть с кем поговорить, прогнав горе, садятся нестройными толпами в виде букв на бумагу…»

Здесь не только вся будущая фразеология Гоголя и причудливость его образов («мысли садятся буквами на бумагу»), но и определение природы своего дара и его истоков. Вот где начало — *забыться в радости,* прогнать горе, развеселиться с кем-нибудь.

6

1825 год был годом потрясения не только для Гоголя, но и для России.

Весть о смерти Александра I пришла в гимназию с запозданием. Иван Семенович Орлай ходил с заплаканными глазами, рассказывали, что, когда ему стало известно о смерти царя, он зарыдал как ребенок и

скрылся в своей квартире. С Александром уходила для Орлая эпоха его молодости. Что-то ждет и лицей, и Россию, и его самого, считавшегося человеком Александра, выдвинутого им и поставленного в директоры одного из лучших учебных заведений этой необъятной страны?

Не успели умолкнуть слухи о кончине царя, умершего к тому же в отдаленном Таганроге, за тысячу верст от столицы и при странных обстоятельствах, как пришла новая весть — на Сенатской площади в Петербурге войска отказались присягать новому императору, и царь обстрелял их пушками. Весть об убитых, захваченных, посаженных под арест соединилась с невероятными новостями из Белой Церкви, находившейся совсем под боком у Нежина, — восстал Черниговский полк, было сражение, арестован подполковник этого полка Сергей Муравьев-Апостол.

Если сообщение о смерти Александра I застало Гоголя еще в гимназии, то события под Белой Церковью произошли, когда Никоша был уже на рождественских каникулах в Васильевне. В Нежин он вернулся 16 января 1826 года, тогда, когда восстание Черниговского полка было подавлено и известия об аресте Сергея Муравьева-Апостола и самоубийстве его брата Ипполита, тоже участвовавшего в «возмущении», дошли до Васильевки и до Кибинец. Особое волнение произвели эти новости в Кибинцах.

В конце ноябре Дмитрий Прокофьевич давал бал, его гостями были братья Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы и их друг, поручик Полтавского полка Бестужев-Рюмин. Была здесь и сестра Муравьевых Елена Капнист, жена сына В. В. Капниста Семена. Бал открылся польским. Неожиданно музыка прервалась, вошел хозяин и объявил о смерти царя. Как вспоминает присутствовавшая на этом балу С. В. Скалой, реакция братьев Муравьевых на это известие была поразительной. Чувствовалось, что оно оглушило их, «они как бы сошли с ума». Тут же, едва попрощавшись с гостями, они ускакали.

И именно в это время в Кибинцы направился едущий на каникулы сын М. И. Гоголь. По заведенному обычаю он заезжал сначала в имение Дмитрия Прокофьевича, а оттуда домой. Вместе с ним в экипаже находился и профессор математики Шапалинский, которого пригласили в Кибинцы. Здесь и застало их известие о событиях в Петербурге. От Кибинец было рукой подать до Хомутца имения Муравьевых-Апостолов, до Белой Церкви было столько же, сколько от Васильевки до Нежина, вблизи находилась и Обуховка, куда пришла весть о подозрении в заговоре сына Василия Васильевича Алексея Капниста.

На дорогах хватали подозрительных лиц, у всех проезжих проверяли документы. В Зенькове был арестован командир батальона Поль, в котором городничий нашел сходство с Кюхельбекером. В другом уезде

был задержан командир полка Тришатский с женою и малолетними детьми, на подорожной которого не оказалось гербовой печати губернатора.

Но не успел Никоша вернуться в Нежин, как в Полтаву прибыло предписание военного министра Татищева об аресте группы полтавских дворян, заподозренных в принадлежности к тайным масонским ложам.

Грозная бумага из Петербурга как громом поразила губернию. Всюду всполошились, зашевелились, стали переглядываться и перешептываться. Арестовывали не кого-нибудь, а людей, бывших на виду, людей почитаемых и близких к самому генерал-губернатору князю Репнину. Мало того, что родной брат князя Репнина Сергей Волконский оказался одним из главных заговорщиков. Мало того, что по тому же делу был взят под стражу его бывший адъютант Матвей Муравьев-Апостол, теперь заговор обнаружился и в столице губернии, в богоспасаемой Полтаве.

Говорили, что сам царь прислал фельдъегеря, потому что масоны хотели свергнуть царя. Быстрота и повальность налета, произведенного посланными из столицы, особые строгости, которые предписывались при конвоировании заподозренных, а главное, присутствие фельдъегерей, появление которых обычно связывалось с войной или с другим равным по масштабу событием, — все это казалось необычайным, сверхъестественным. Предсказывали конец света или новую войну.

Но дело о полтавских масонах кончилось ничем. Зря их только прокатили за казенные деньги в столицу. Подержав их там немного и убедившись, что эти люди не имеют отношения ни к какому заговору и не представляют угрозы не только государству, но и собственной губернии, их с миром отпустили домой.

Так декабрь 1825 года отозвался в местах, близких Гоголю.

Кончалась эпоха Александра, затянувшаяся к концу царствования тучами. Новый царь был из военных. Николая воспитывал генерал, и любимым его развлечением было стояние на часах с алебардой. Царствующий брат держал его в тени, не только не допуская к себе, но и не давая ему места в Государственном совете, полагавшееся от рождения всем великим князьям. От командования дивизией, от распоряжений на плацу он сразу перешел к руководству империей.

Ошеломленный свалившейся на него милостью, растерявшийся в первые минуты мятежа и колебания войска, Николай взял наконец скипетр в свои руки.

Пережитые им унижение и страх уже никогда не были забыты им.

В глазах публики, толпы, народа и офицерства Николай не был наследником «Александра Благословенного». Этот полковник, который метался между дворцом и восставшими, уговаривая последних отстать от мятежа, не вызывал не только никакого поклонения, но и интереса. Как вспоминал сам Николай, солдаты одной из рот, направлявшейся на Сенатскую площадь, в ответ на его призыв остановиться крикнули ему: «Не мешай! Дай пройти». Они даже не узнали его в лицо.

Этого Николай не мог забыть. Он не простил бы и возмущения против его особы, но он мог бы понять тех, кто, считаясь с важностью его личности, стремился бы именно к борьбе с ним. Восстание 14 декабря как бы не считалось с существованием Николая.

Поэтому и страх его оказался глубже обыкновенного испуга за себя. Тут именно самолюбие не было пощажено, задето и уязвлено до конца жизни, и он всю жизнь должен был потом доказывать, что он самодержец волею бога, а не случайно попавший на трон младший брат.

Ему нужно было выдавить из себя и из своих подданных воспоминание о 14 декабря.

«Царствовать начал российский самодержец, — писал иронически Н. Греч, — а не добрый наш угодник Запада, спрашивающий: что говорят обо мне в салоне мадам Сталь, как отзовется Шатобриан?»

Николай вникал во все. Он сам допрашивал преступников, сам делал разводы караулам и проверял явку на службу чиновников в департаменте. Его тайным удовольствием было появляться внезапно, как снег на голову: чем более было страха на лицах застигнутых врасплох подданных, тем более он удовлетворялся эффектом.

Но, как ни круто он начал, как ни завинтил сразу все винты, прежняя эпоха продолжала жить. Министры и генералы, профессора университетов и лицеев, чиновники и литераторы, весь организм Российской империи, получившей нового властителя, оставался таким, каким он сложился при прежнем царе. И нельзя было забыть, вычеркнуть из памяти ни того, что последовало за 11 марта 1801 года, ни Бородина, ни вступления в Париж. И даже трагический эпилог на Сенатской площади, окончившийся казнью пятерых и ссылкою в Сибирь, тоже был отзвуком «дней александровых прекрасного начала», с которым не мог не считаться новый царь.

7

В Нежине в первые месяцы не почувствовали перемен, происшедших в столице. События, развернувшиеся в Белой Церкви и на Полтавщине, пронесясь ураганом, как будто не задели непосредственно гимназию. Все остались на своих местах, театр продолжал существовать, альманахи

и журналы, составляемые воспитанниками, — выходить в свет, а лекции «батюшечки» Волынского — вызывать смех в классах. Впрочем, в августе 1826 года покинул Нежин Орлай. Его проводили торжественно, но без сожаления.

Через четыре месяца после отъезда Орлая в конференцию гимназии поступило прошение от старшего профессора политических наук Михаила Билевича:

«Сего 1827 года января 29 числа по утру на вторых часах учения я, послышавши необыкновенный стук возле классов в зале под аркою, зашел в оную, где нашел работающих плотников и увидел различные театральные приуготовления, как-то: кулисы, палатки и возвышенные для сцен особые полы, посему спросил, для чего таковые производятся работы и приготовления, на что мне работники... сказали, что это делается для театра, на котором воспитанники пансиона будут представлять разные театральные пьесы. А как таковые театральные представления в учебных заведениях не могут быть допущены без особого дозволения высшего учебного начальства, то дабы мне, как члену конференции гимназии... безвинно не ответствовать за мое о сем молчание перед высшим начальством, вслучае нет от оного особенного на это позволения, почему, доводя о сем до сведения конференции, прошу увольнить меня в том случае по сему предмету от всякой ответственности и, записав сие мое прошение в журнал... учинить о том надлежащее определение и донести о последствии сего г. г. окружному и почетному попечителям, ежели не имеется от оных на то позволение...»

Сей документ был началом новой эры в гимназии. Внешне он выглядел как обыкновенный донос страхующегося служаки, но это был первый выпад против оставшегося на месте Орлая Шапалинского, против инспектора пансиона Белоусова, которому покровительствовал новый директор. Билевичу, характер которого как на ладони предстает в стиле и формулировках этой бумаги, было известно, что театр разрешил Орлай. Но при Орлае он молчал, зная о связях того при дворе. Теперь он решил действовать.

Причиной, толкнувшей его на это, был не сам театр, который он мог бы еще снести, а те, кто потворствовал театру и поощрял внеучебные интересы гимназистов. Истоки этой распри вели к тому дню, когда в гимназии появился молодой профессор Белоусов, отобравший у Билевича преподавание естественного и гражданского права. На случившемся тут же экзамене, где ученики Билевича отвечали по его лекциям, Белоусов позволил себе заметить, что они ничего не понимают в предмете. И когда огорошенные экзаменующиеся стали оправдываться, говоря, что точь-в-точь повторяют мысли профессора Билевича, Белоусов сказал, что, стало быть, и мысли эти немного стоят.

Так началась вражда. Она усиливалась популярностью Белоусова среди пансионеров. Студенты охотно гащивали у Белоусова на его городской квартире, тогда как к Билевичу, зазывавшему их и имевшему дочерей на выданье, они не ходили. Все это, а заодно и успех лекций Белоусова стало поперек горла Билевичу. Его точила жажда мести, расчета с заносчивым молокососом, который был на двадцать лет моложе его.

16 апреля 1827 года в конференцию гимназии поступил рапорт профессора Никольского о недозволенных чтениях, которым предаются воспитанники пансиона. В рапорте одновременно напоминалось о театре, за который придется отвечать «в случае каких-либо по оному предмету востребований правительства». Белоусов вынужден был произвести осмотр личного имущества пансионеров и отобрать у них недозволенные сочинения. Среди них оказались и поэмы Пушкина «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Братья-разбойники» и «Горе от ума» Грибоедова, «Исповедь Наливайки» и «Войнаровский» К. Рылеева. Книги эти и рукописи Белоусов, однако, не сдал в конференцию, а оставил у себя.

Но не успела конференция обсудить рапорт Никольского, как на имя ее поступила новая бумага. Донос этот, датированный 7 мая 1827 года, был направлен против студентов, слушающих право у Белоусова. Поминался среди них и пансионер Яновский, которого профессор встретил однажды гуляющим во время уроков и который на вопрос «почему он не в классе, не остановившись, ответил, что в восьмом классе учения нет, ибо Белоусов не будет в классе». «Равномерно необходимою обязанностью для себя поставляю, как старший профессор юридических наук, — писал автор доноса (тот же Билевич), — сказать, что я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждения в основаниях права естественного, которое, хотя и предписано преподавать здесь по системе г-на Демартина, он, г-н младший профессор Белоусов, проходит оное естественное право по своим запискам, следуя в основаниях философии Канта и Шада».

Так возникло и стало фигурировать в этой распре словечко «вольнодумство», которое, как снежный ком, стало обрастать страхом и превратилось наконец вдело о вольнодумстве, ставшее вехой в истории гимназии. Гоголь был замешан в это «дело» как его прямой участник. Тетрадка Гоголя-Яновского с записями лекций по естественному праву поминалась при допросах, учиненных гимназистам в октябре 1827 года. С этой тетрадки тексты лекций переписывались в другие тетради, по ним готовились к экзамену, они были основой и для суждения о мере преступления Белоусова.

Дело было даже не в том, что Белоусов читал лекции по своим записям, а не по учебнику. Дело было в том духе, который содержали в себе эти лекции, в самой трактовке естественного права, которую давал Белоусов.

Разбор лекций Белоусова был поручен протоиерею Волынскому, который должен был дать заключение об их содержании. «Батюшечка» долго потел над мудреными текстами и наконец выдал заключение, в котором Белоусов обвинялся в отступлениях от закона божия и в потворстве материализму.

Осенью 1827 года состоялись вызов в конференцию гимназистов и снятие с них показаний о характере лекций, читавшихся профессором Белоусовым. Большинство показаний было в пользу профессора. Гоголь показал, что профессор Белоусов на уроках «давал объяснения по книге», то есть по учебнику.

Но чем меньше поддержки среди гимназистов было у профессоров-школяров, тем отчаянней те шли на приступ. Столкновение самолюбий перерастало в склоку общегородского масштаба, в борьбу, где все средства были хороши и где привкус обычного российского преувеличения уже начинал ощущаться. Уже поползли слухи о существовании какого-то общества или братства Шапалинского. Рассказывали, что когда в гости к Шапалинскому приехал отсидевший по делу о масонстве в Петропавловской крепости В. Л. Лукашевич, то он спросил его и Ландражина: «Ну как идут наши дела?» Это приписали возможности заговора. Уже и до Чернигова донеслись вести о каких-то темных делах в гимназии, связанных с именами Шапалинского и Белоусова, и ждали только фельдъегеря, который прибудет в Нежин и отвезет директора и его учеников в кибитке в Сибирь. К именам Шапалинского и Белоусова добавлялись имена других вольнодумцев — Зингера и Ландражина, первый из которых жил за границей и читал в подлиннике Канта, а второй воевал в армии Наполеона против русских и вообще мог оказаться французским агентом.

Гоголь все это слышал и видел. Личная неприязнь к нему Билевича добавила к этому лишние переживания. 26 сентября 1827 года Билевич подал в конференцию рапорт, который ставил в известность о дерзостнейшем поведении пансионера Яновского, захлопнувшего дверь залы, где проводились театральные репетиции, перед носом у него, Билевича, и профессора греческого языка Х. Иеропеса. Когда дверь наконец открыли и Билевич обратился к Яновскому с вопросом, почему их не хотели впустить, тот «вместо должного вины своей сознания начал с необыкновенной дерзостью отвечать... и сим возродил во мне сомнение, не разгорячен ли он каким-либо крепким напитком».

В тот же день было созвано внеочередное заседание конференции. Лицейский врач Фиблиг установил, что Яновский никаких горячительных напитков не употреблял. Но труднее было снять подозрения в «вольнодумстве».

«Дело о вольнодумстве», которое завершилось уже после оставления Гоголем Нежина, не могло не отозваться во впечатлительной душе юноши. Чем меньше оставалось дней до выпуска, тем неустойчивее вели себя гимназисты, которые до этого отчаянно защищали Белоусова. Билевич не унимался, начальство требовало все новых и новых доказательств неблагонадежности членов «общества Шапалинского», и все шло к тому, что Билевич возьмет верх. Многие заколебались, почувствовали, что это уже не мальчишеское противоборство со злом, а нечто, что может отразиться на их дальнейшей судьбе. Предстояли экзамены, и они должны были определить, кто будет выпущен кандидатом (с правом чина 12-го класса), а кто действительным студентом (на два класса ниже), кто получит какую аттестацию и как начнет жизнь. Директором гимназии был уже не Шапалинский, а Ясновский, принявший сторону Билевича, и оценка успехов (а стало быть, и аттестат) зависела от него, от его расположения. Первым отказался от своих прежних показаний Родзянко. За ним уговорили братьев Котляревских. А в 1829 году, когда Гоголь уже был в Петербурге, отказался от них и самый стойкий защитник Белоусова Нестор Кукольник.

Вот почему Гоголь чувствует себя минутами в Нежине как в «тюрьме» и ждет не дождется часа, когда настанет миг освобождения.

8

В этом состоянии и пишется «Ганц Кюхельгартен». Поэма создавалась в гимназии — об этом говорят не только совпадения ее строк со строками гоголевских писем той поры, но и сам дух ее, и образ Ганца. Ганц, конечно, не портрет Гоголя, но все же и не отдаленный слепок с него. Это книжная фантазия юного поэта, смешанная с его глубоко личными чувствами.

Ганц, как и Гоголь, стоит на пороге жизни. Приближается момент, когда его неопределенные мечтания должны вылиться во что-то, пройти испытание действительностью. Мятежный дух Ганца зовет его прочь от обжитого места. Даже прекрасная Луиза, которую он любит и с которой, по существу, обручен, не может остановить его. Как всякий романтический герой, герой Гоголя пускается в путешествие.

Мечта о путешествии — мечта юноши Гоголя. Он пишет в Петербург Высоцкому, что хотел бы с ним уехать куда-нибудь за границу, повидать мир, отвлечься от «существенности жалкой». Гоголь не мыслит себе, что может остаться в Нежине или дома. То идеальное, что он чувствует в

себе, не может воплотиться в мире, им уже обжитом, знакомом и, как ему кажется, погибающем в ничтожности. Его высокие помыслы находятся во вражде с ним, с его обыкновенностью, низменностью и неподвижностью. «Ганц Кюхельгартен» — это попытка преодоления быта, преодоления в воображении. Это и поэма о выборе пути, о «раздоре мечты с существенностью», говоря словами Гоголя, и о воплощении этой мечты в существенность. В «Думе», как бы дающей оценку поискам героя и выдвигающей кредо самого автора, он пишет:

Вотще безумно чернь кричит:

Он тверд средь сих живых обломков.

И только слышит, как шумит

Благословение потомков.

Гоголь уже прозревает в себе свой гений, который уже руководит им и направляет его. Сознание это рождает честолюбие и энергию, которая, концентрируясь на одной мысли, одном деле, способна вырвать его из ничтожной неизвестности. Именно талант, именно призыв к воплощению в реальности дают характеру Гоголя и волю и терпение, которых не хватило Ганцу.

Он пишет письмо дядюшке Петру Петровичу Косяровскому, где набрасывает свой портрет, отчасти совпадающий с портретом героя поэмы: «Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принесть ему [государству. — *И. З.*] малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный нот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется *погибнуть в пыли, не означив своего имени* ни одним прекрасным делом — быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. — Я видел, что здесь работы будет более всего, что... здесь только буду истинно полезен *для человечества*. Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты *короткой жизни своей* не утерять, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех, законов, теперь занимаюсь отечественными... В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе. Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить *глубь души моей*. — Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя, не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали *пылким мечтателем*, пустым человеком? — ...Я не знаю, почему я проговорился теперь перед вами, оттого ли, что вы, может быть, принимали во мне более других участия или по связи близкого родства, этого не скажу; *что-то непонятное*

двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою, что вы не почтете ничтожным мечтателем того, который около трех лет *неуклонно держится одной цели* и которого насмешки, намеки более заставят укрепнуть в предположенном начертании…»

Гоголь пишет дядюшке, что весь «выверился» ему, но пишет неправду. О главных своих занятиях — о писании поэмы — в письме нет ни слова. Это тайное тайных, это то, что скрыто глубже самой «глуби души». «Цель высшая существованья», о которой он упоминает в «Ганце», не только юстиция. Как ни торжественны заявления Гоголя насчет поприща юридического, в его выборе есть расчет. Это выбор необходимости, почти нужды. Куда он еще мог пойти? Слабое знание языков не позволяло ему заняться науками, в том числе филологическими. Окончившего гимназию ждали три пути — путь военный, путь службы гражданской и возвращение домой.

Но что он стал бы делать дома? Хозяйствовать? Этого не могло вынести ни самолюбие Гоголя, ни его характер. Человек, собирающийся мериться с самой Неизвестностью, не мог пойти на это. Служба военная всегда была для него фанфаронством, бряцанием шпор и хвастовством позументами. Он бы, может, и не прочь переодеться в военный мундир (все-таки красиво!), но какой из него офицер! Офицер — это рост, это статность, выправка, гармония форм, у него же ни того, ни другого: длинный нос, худоба, вихляющая походка. Это карьера для красавчика Данилевского, а не для него.

Сообщая дяде о насмешках, которых он боится, он имеет в виду не юстицию и не мечты о службе государству. Что над этим смеяться? Это дело обыкновенное. В этих опасениях скрыт страх за тайные занятия литературой. Мало ли кто баловался в гимназии стихами и прозой, но никто и не помышлял о карьере литератора. Все готовили себя к делам серьезным, а не к этой химере и мечте, которая не даст ни дохода, ни положения в обществе.

И все-таки именно на это «сумасбродство» решается юный автор «Ганца».

В уединении, в пустыне,

В никем незнаемой глуши… —

пишет Гоголь в эпилоге поэмы, —

Так созидаются отныне

Мечтанья тихие души.

Дойдет ли звук, подобно шуму,

Взволнует ли кого-нибудь?..

Пока он «поет Германию», но в этой Германии, в этой стране «высоких помышлений» и «воздушных призраков», уже обитает его реальная мечта. Это он бродит по своей Васильевне и, ожидая осени, когда настанет час отъезда в Петербург, обдумывает свое будущее. Оно неопределенно и коварно, как то, которое представлялось Ганцу.

Его ждет Петербург, испытанье страстей соперничества, борьбы за место под солнцем, его ждут заграница и те страны, о которых он грезил вместе со своим героем. Что с ним будет? Выдержит ли он, одолеет? Означит ли именем своим свой след или погибнет в пыли?

Часть вторая. ПОПРИЩЕ

Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу.

Гоголь — Петру П. Косяровскому, октябрь 1827 года

Глава первая. Безвестность

Исполнятся ли высокие мои начертания? или Неизвестность зароет их в мрачной туче своей?

Гоголь — Петру П. Косяровскому, октябрь 1827 года

1

Гоголь ехал с юга на север. Его путь лежал через всю Украину, Белоруссию и медленно поднимался вверх, к Пскову и Новгороду, отклоняясь от них и направляясь к загадочному городу, о котором он так много слышал с детства, о котором читал и мечтал и который теперь должен решить его судьбу.

Он выехал 6 декабря 1828 года из Васильевки, отпраздновав своим отъездом день Николы зимнего. Захватив Данилевского, Гоголь отправился с ним в Кибинцы. Надо было припасть к ручке «благодетеля» и отблагодарить его. Письма и устные рекомендации старика должны были открыть ему двери в петербургские деловые кабинеты и гостиные. Выслушав наставления «великого человека», которого он, как выяснилось вскоре, видел в последний раз, Гоголь взял путь на Полтаву. Здесь, на Александровской площади, они с Данилевским вышли из кибитки, поднялись по лестнице дома полицмейстера и получили подорожные и «виды». «Виды» эти свидетельствовали их имя и звание и давали право на проезд по империи и жительство в другом городе. Наконец сани вынесли их на Петербургский тракт, на знакомую дорогу, ведущую мимо Диканьки, мимо тех мест, где разыграются события его первых малороссийских повестей.

Думал ли он тогда, что окажется автором их? Вряд ли. На дне его чемодана лежал романтический «Ганц» — им хотел он завоевать столицу. Однако же рядом с тетрадью, куда был переписан «Ганц», он вез и другую тетрадь, точнее, книгу, которая так и называлась — «Книга Всякой всячины, пли подручная энциклопедия», которую он начал почти тогда же, в 1826 году, в Нежине. Книга эта была поувесистей тетради со стихами, она была сшита из множества бело-голубых больших листов, с обрезом алфавита по краю и толстой обложкой, и предназначалась для дел прозаических, для записей всякого рода.

Чего только не было в этом толстенном гроссбухе, сшитом, казалось бы, для вечного пользования, для записей капитальных, предназначенных для прочтения потомками! И тщательные копии римских капителей и колонн, рисунки садовых решеток и скамеек, обозначения денег и монет разных государств, астрономические сведения, списки [российской балетной труппы, выписанные из альманаха «Русская Талия» за 1825 год, вырезки рисунков виллы Альбане в Риме, данные о высоте европейских памятников, перерисованные из учебников музыкальные орудия древних греков и виды древнего оружия, что уже совсем кажется чуждым Гоголю, никогда не питавшему интереса к войне. Как всякая записная книга студента, интересующегося и тем и другим, записывающего что попало, она была полна вещей, ему не нужных, может быть, увиденных в записных книжках друзей и переписанных из солидарности. «Энциклопедия» эта, однако, говорила и о бережливости и запасливости хозяина, который, витая в облаках, не забывал и о грешной земле. Именно поэтому, как бы надеясь, что они ему понадобятся, он вписывал сюда впрок и малороссийские словечки, и «Виршу, говоренную гетьману Потемкину запорожцами», и непристойные припевки. Все это могло сгодиться вдалеке от маменькиных пенатов.

Гоголь ехал в столицу с надеждой экипироваться, приобрести модное платье, зимнюю одежду (шинель совсем износилась, а воротник на ней облез), поэтому поклажа его была тоща, если исключить маменькины припасы, которые быстро таяли, да пачку ассигнаций, которая таяла так же быстро. По пути заехали в Нежин, повидались с Прокоповичем, который тоже собирался в Петербург, походили по знакомым коридорам лицея, попрощались с Белоусовым, Шапалинским и взяли курс на Чернигов.

Рождество застало их в дороге. Обычно они отмечали его дома, в теплом уюте родных стен, среди своих или на худой конец в Нежине, куда родители присылали подарки и где тоже, несмотря на обычную скуку, в эти дни город оживлялся, воскресал, приукрашивался, преображался. Никоша уже начал тосковать, томиться по дому, и робкие мысли о возвращении, о спасительности родных мест уже одолевали его. Он

вспоминал и рождественские колядки в Васильевке, и суету праздничную, приготовление вкусных кушаний, торжественность службы в церкви, оживление всех домашних.

Мысли о доме были щемяще-грустны еще и потому, что оставлял он дом на женщин, что не было среди них ни одной, на кого можно было бы положиться, кому доверить оставленное отцом хозяйство, землю, доходы и расходы.

Перед самым отъездом он решил отказаться в пользу матери от наследства, от той части его, которая предназначалась ему как старшему сыну по завещанию бабки Татьяны Семеновны, надеявшейся на то, что Никоша продолжит дело Василия Афанасьевича.

Но честолюбивые мечты влекли его прочь. Бабушка тоже провожала его, и Никоша чувствовал, что больше не увидит ее, не увидит ее морщин, добрых глаз, не услышит ласково-певучего голоса, не посидит в ее комнатке, где ему всегда бывало хорошо. Старенькая бабушка, полуслепой дедушка, отец матери, бедный и весь в долгах, все еще занимающийся тяжбою со своим дальним родственником, жена его, другая бабушка, которая тоже не помощница Марии Ивановне, — вот кто оставался дома. На мать он тоже не надеялся, ибо мать всегда была фантазерка, она всегда жила за спиной отца и не умела и не могла вести мужские дела. На кого же была надежда? На сестер? Но старшая Мария только что окончила пансион и готовилась к замужеству, младшие были еще слишком малы. Уезжая, он написал письма дядюшкам — Павлу Петровичу и Петру Петровичу. Но и на дядюшек было мало надежды. Один из них собирался служить в военной службе, другой — в гражданской, и вести хозяйство вдовы им было не с руки. Да и сладит ли маменька с дядьями, поладит ли с приказчиком, с управляющим, с Андреем Андреевичем, несмотря на благоговение и уважение к нему? «Благодетель» был слишком дряхл, чтоб можно было рассчитывать на него. Андрей Андреевич сам собирался на долгое время в Петербург, лишь отчим Данилевского Черныш, живущий поблизости, в Толстом, мог помочь матери, но Васильевна была для него чужим имением, а кто сердцем отдается чужому?

Одним словом, дом оставался в расстройстве, и он, старший и единственный мужчина в доме, покидал его — покидал, может быть, навсегда.

А лошади мчали их к Царскому. Уже светало. Занимался ранний зимний день, когда сани с кибиткой съехали на дорогу, ведущую мимо царскосельских парков, вот уже и затемненный Екатерининский дворец показался слева и так же быстро мелькнул, как видение за решеткой ограды, вот пронеслась над ними арка, соединяющая дворец с лицеем, и дворец и лицей остались позади, дорога свернула вправо и понеслась

мимо забитых дач, засыпанных снегом аллей, прудов и каких-то избенок и вынесла их к Египетским воротам, где в последний раз поднялась над ними полосатая жердь шлагбаума, и тройка вымахнула на простор равнины, уже совсем темно-белой, белой от сплошного снега и едва подсвеченной вдали редкими огоньками на возвышении — огоньками Пулкова, с которого, наверное, уже виден был лежащий на этой плоскости овеянный морозным маревом Санкт-Петербург.

К первой петербургской заставе подъехали поздно вечером. Лошади остановились, повторилась церемония проверки подорожных и «видов», и вот уже под копытами застучали камни деревянной мостовой, а по сторонам пошли ветхие домишки, слабо освещенные желтым светом, замелькали тусклые вывески и редкие фонари, подслеповато мигающие оплывшим сальным огнем. У заставы Гоголь и Данилевский, совсем окоченевшие, выскочили из саней размяться. На столбе при неясном свете фонаря они прочли объявления о сдаче квартиры. Ямщик посоветовал выбрать подешевле: такие сдаются обычно в Коломне, возле Сенной, по берегу Фонтанки за Семеновским мостом или на Гороховой. Гороховая — недалеко от Невского, от рынка, от магазинов ж лавок, от служебных мест, и вместе с тем это не Невский, где за квартиры дерут втридорога, где живут только богачи, или шулера, или иностранные посланники. Остановились на Гороховой: объявление о том, что сдаются комнаты в доме купца Галыбина, проживающего у Семеновского моста, висело рядом с другими. Тройка двинулась в глубь города.

2

Надежда на следующий же день выскочить, пройтись по великолепному Невскому, увидеть город и себя показать не оправдалась: жесточайший насморк одолел его, заставил сидеть дома. Закутавшись во все теплые вещи, которые удалось захватить с собой, сидел провинциал-студент в полутемной квартире, выходящей во двор, в одной из двух тесных комнаток, которые сдал им без особой охоты приказчик хозяина, разглядев их хорошенько при свете свечи и решив, что от студентов будет мало проку. Надо было идти в городскую управу сдавать «виды», надо было записать на жительство Якима, который приехал с ним, и Гоголь поручил все это Данилевскому, который, спокойно проспав ночь, встал утром как огурчик, одернулся, подфрантился и выкатился на улицу — только его и видели.

Гоголь же остался один на один с грязно одетой хозяйкой, ведавшей комнатами, с Якимом, который не знал, в какую сторону идти, чтоб купить пропитание для барина, я с видом из окна, в которое смотрела противоположная стена того же дома, окрашенная в фиолетово-синий цвет. Этот цвет еще более удручал его, привыкшего к ярким цветам Малороссии, к высокому небу, к воздуху простора. Здесь небо лежало на

крышах, изредка из него сыпался снег — мокрый, редкий, какой-то чахоточно-блеклый, не закрывая собой унылый булыжник во дворе, поленницу дров, мусорные кучи и фигурки людей, пробегавших время от времени по своим делам. Из кухни по соседству тянуло какой-то прогорклой вонью, что-то шипело и трещало на огне, варилась какая-то еда, от запаха которой тошнило, и шаркала стоптанными башмаками баба, суетился Яким, не зная, что делать.

Первый выход из квартиры тоже был безрадостен. Гороховая поразила его своей узостью (тогда ночью он не рассмотрел ее) — она была похожа на коридор между сплошных домов, которые без дворов, без переходов лепились друг к другу и казались одною стеной, упирающейся вдали в шпиль Адмиралтейства. В этом узком каменном горле все кишело и гремело голосами, движением, шумом людского круговорота и спешки.

Гороховую в то время называли Невским проспектом народа. Тут жила даже не публика, а население, что-то среднее между публикой и чистым «народом» — бедные и среднего достатка чиновники, начинающие студенты, торговцы, ремесленники, купцы, мещане — одним словом, нарождавшееся в России третье сословие, еще не имевшее своих прав, еще подтягивающееся к дворянству.

Тут помещались конторы, где объявлялись аукционы, производились торги разорившихся имений, раздавались винные откупа. Вблизи был Сенной рынок, где на невысоких скамьях красовались небогатые дары северной Пальмиры — от подержанной одежды до мороженой корюшки и ряпушки, картофелин и репы, которые продавались поштучно (что страшно поразило привыкшего к малороссийскому изобилию Гоголя), где толкались самодеятельные живописцы, картежные игроки, военные, слуги, подымавшиеся раньше своих господ, чухонцы и чухонки с молоком, овощами, барышники, торгующие и продающие лошадей и скот, предсказатели будущего, фокусники и разный другой сброд.

Он, конечно, сразу бросился напомаживаться и одеваться, покупать перчатки и сапоги, и непременно у лучших портных и сапожников, и просадил уйму денег, о чем должен был с виноватым видом докладывать маменьке, прося вспомоществования и туманно обещая вознаградить ее за расходы. Первые дни уныния сменились азартом блеснуть, взять свое, притвориться петербургским франтом, перед которым сами собой раскроются двери департаментов и редакций, и он меняет воротник на шинели, ездит на извозчиках, покупает дорогие билеты в театр. Более того, он упрашивает Данилевского съехать с этого шумного места, из этой дыры, которая не удовлетворяет его, и найти место поприличнее, которое соответствовал бы и их положению, и их будущему.

Они съезжают с квартиры на Гороховой и поселяются в доме аптекаря Трута на Екатерининском канале. Это тоже не бог весть что, это тоже

вблизи Сенной площади и темных закоулков канала, но отсюда рукой подать до Адмиралтейства, до Морских улиц, то есть до самого аристократического района, куда по-прежнему влечет молодого честолюбца. Данилевский устроен, он нет. Его товарищ не претендует на многое, он избрал военное поприще, поступив в школу гвардейских подпрапорщиков, а Гоголь все выбирает, он не хочет даже тревожить высоких особ, к коим рекомендован Дмитрием Прокофьевичем, и рассчитывает на помощь Андрея Андреевича, который уже приехал в столицу и дал ему взаймы первую сотню рублей.

В конце концов, зачем думать о будущем, когда жизнь хороша! Хорошо бродить по улицам, толкаться среди народа, заглядывать в витрины магазинов, лакомиться пирожными в кондитерских (кондитеры — почти все французы и приготавливают пирожные изумительно вкусно), почитывать «Пчелку» и глазеть на публику, которая не убывает на столичных улицах. Петербургский день короток, но сколько всего можно увидеть, пересмотреть, узнать, понять, впитать! И Гоголь гуляет по городу, читает надписи над мостами, вывески, торгуется с приказчиками, вовсе не собираясь у них ничего покупать.

Он доходит до дальних линий Васильевского острова и Петербургской стороны, до тех глухих мест, где дощатые тротуары уводят в бескрайность финских болот, и где фонари уже почти не горят и не слышно колотушки сторожа или окрика будочника, и где жизнь, кажется, засыпает и ее вовсе нет, где за полуосвещенными окнами совершается неведомо-тихое существование, и где живут уже, кажется, не люди, а тени. Он толкается и среди посетителей Кунсткамеры, и в залах Академии художеств, где выставлены прекрасные картины и образцы скульптуры, и в гавани, где слышится разноязыкая речь и пахнет смоляными канатами, пряностями, табаком, перцем и ванилью, привозимой из дальних стран. Он тратит последние ассигнации на то, чтобы посмотреть «Гамлета» и «Дон-Карлоса» в театре, купить газету, насладиться языком объявлений и разносных критических статей, которыми особенно отличаются Греч и Булгарин.

«Северная пчела» сообщает о грабежах и самоубийствах, о пойманных преступниках и бродягах, об убытках от пожаров и наводнений, о выходе альманаха «Северные цветы», издающегося бароном Дельвигом, где напечатана IV глава из исторического романа А. С. Пушкина. «В этом отрывке, — пишет «Пчела», — описан обед у русского вельможи времен Петра Великого и внезапное появление государя в его доме. Картина мастерски нарисованная, характеры резко обозначены. Пушкин и в прозе — Пушкин».

Пушкин здесь, он пишет, он издает свои сочинения — и мысль Гоголя тянется к нему, он ободряет себя и боится сознаться в том, что непременно пойдет к Пушкину.

Но визит откладывается. Все еще боязно, да и с чем идти? Правда, на дне чемодана лежит по-прежнему набело переписанный «Ганц», но он все еще не уверен в нем. Раскрывая «Пчелу», он каждый раз надеется встретить там вновь имя Пушкина и встречает его, и желание его подогревается, перемежаясь со страхом.

Вечером он выходил на Невский, чтоб прогуляться и забыть об ожидающей его каморке на канале, о неосуществленных мечтах и уплывающих денежках Андрея Андреевича, о нетронутой рукописи на дне чемодана. Данилевский уже переоделся в военное, съехал с квартиры и поселился вместе с будущими друзьями-офицерами, и Гоголь теперь был один, тоска вновь начала наваливаться на него. Он еще не знал, что эти два месяца, которые он прошатался без дела, уже откладывались в его сознании будущим богатством, будущими страницами повестей, — он стихийно жил, не думая об этом, хотя глаз его работал, воображение насыщалось, а ухо улавливало слова и интонации обитателей близлежащих домов.

Настал час, когда надо было испытать себя в главном — в сочинительстве, снести рукопись к издателю. Возможно, Гоголь дописывал и дорабатывал «Ганца Кюхельгартена» в Петербурге, но явных следов этой доработки мы не видим в поэме, ни одного петербургского мотива не слышно в ней, это поэма, созданная юношей, не знающим жизни в большом городе, не переварившим его впечатлений, не освоившимся в нем. Тем не менее уже 22 февраля поступает цензурное разрешение на двенадцатый номер «Сына отечества», в котором печатается стихотворение Гоголя «Италия». Стихотворение было опубликовано без подписи в журнале Булгарина. Он сделал пробу — отнес всесильному Фаддею Венедиктовичу отрывок, а не всю поэму, желая этим безымянным шагом испытать судьбу. Испытание удалось — стихотворение тиснули.

После смерти Гоголя Булгарин станет уверять русскую публику, что это он вывел будущего автора «Вечеров» в люди. «Один петербургский журналист, — как называет себя Булгарин, — милостиво отнесся к начинающему дарованию и не только напечатал его, но и устроил на работу...» За это, как уверял Булгарин, юный автор сложил в его честь благодарственные стишки. Впрочем, ни этих стишков, ни письма Гоголя, будто бы обращенного к нему с изъявлениями благодарности, Фаддей Венедиктович так и не опубликовал.

Стихотворение не заметили, оно затерялось среди других материалов журнала, к тому же имя автора не было обозначено, но Гоголь, ободренный, пишет матери, что «желает вздернуть таинственный покров».

Но прежде чем сделать это, он отправляется к Пушкину. Пушкин жил в Демутовом трактире на Мойке.

Когда Гоголь, впервые приехавший в Петербург, поспешил навестить Пушкина, он у самых дверей его комнаты до того оробел, что «убежал» в кондитерскую и выпил там «для храбрости» рюмку ликеру. Снова явившись и узнав от слуги, что Пушкин «почивает», Гоголь с участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» — «Как же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл».

Юному сочинителю пришлось ретироваться.

С первой версты, которую проделала тройка, везущая Гоголя в Петербург, началось его движение к Пушкину, ожидание встречи с ним, которая не могла не состояться. Пушкин, дожигающий остатки холостой жизни в Москве и Петербурге, Пушкин, еще не обремененный женитьбой и домом, только что сочинивший «Полтаву» и находящийся на взлете жизни, не подозревал о существовании Гоголя.

Гоголь все знал про Пушкина. Он знал о нем не как о частном человеке (хотя сплетни и россказни о жизни поэта долетали и до Нежина), а о Пушкине как о поэте, о гении, о единственном авторитете, указующем и освещающем его путь, о великом чуде искусства, к которому с рождения тянулась гоголевская душа. Пушкин был воплощением искусства, его необъятности и совершенства, его власти над людьми, его музыки, которую тоже слышала душа мальчика из Васильевки. Не было для Гоголя уже в те годы ничего выше Пушкина и прекраснее Пушкина, ибо все остальные образцы были в книгах или далеко за морями. Пушкин жил в России, он творил у нее на глазах, он был солнцем, освещавшим эту скупую на солнце страну. И Петербург имел для Гоголя смысл лишь потому, что там был Пушкин. Не юстиция, не служба отечеству, а поэзия в лице Пушкина, в лице его прекрасных творений, чудо создания которых он не мог себе объяснить, — вот что влекло его в этот город, в эту дальнюю от его юга сторону, на берега Невы.

Поэтому он так боялся прямой встречи со своем кумиром, встречи обыкновенной, житейской, в которой перед ним предстанет просто человек Пушкин, сочинитель Пушкин, обитатель такого-то нумера в таком-то доме Пушкин. Он и хотел и не хотел видеть его, но порыв был так велик, что он решился. Я верю, что в один из февральских вечеров он все-таки отправился на Мойку, 40 и получил афронт, так и не повидав Пушкина.

С чем же шел Гоголь к Пушкину?

Ему нечего было показывать Пушкину, кроме «Ганца Кюхельгартена». Итак, он шел с «Ганцем», написанным под влиянием Пушкина, в подражание ему и многим другим из тех, кого прочитал юный автор в

Нежине. Счастье Гоголя, что он не попал Пушкину под горячую руку, ибо тот вряд ли поощрил бы его писание. Судьба, видимо, не хотела этой преждевременной встречи и отсрочила ее.

...Ему пришлось «съежиться», «приняться за ум, за вымысел», чтоб «добыть этих проклятых подлых денег». Он все еще имел надежды на напечатание поэмы, но одновременно память рисовала ему иные картины, а ум вылавливал в мутной воде петербургских интересов «спрос на все малороссийское».

Тогда-то и была извлечена со дна чемодана «Книга Всякой всячины», сочинено срочное письмо маменьке, где он давал ей инструкцию о присылке описания нравов и обычаев малороссиян, «платья, носимого до времен гетманских», свадьбы, колядок, празднования Ивана Купалы, предания о русалках. «Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них поподробнее с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов... Все это будет для меня чрезвычайно занимательно. На этот случай, и чтобы вам не было тягостно, великодушная, добрая моя маминька, *советую иметь корреспондентов в разных местах нашего повета»*.

Воля Гоголя проснулась. Он организует не только маменьку и домашних, но и приводит в действие всю машину малороссийских связей, чтоб получить нужный ему материал. Он просит прислать комедии отца, чтоб пристроить их на здешней сцене, он берется за переводы для издателя «Отечественных записок» П. П. Свиньина и, зная интерес этого человека к экзотике, предлагает ему свои услуги по Малороссии.

23 марта 1829 года «Северная пчела» сообщила в разделе «Внутренние известия»: «26 числа прошедшего февраля месяца скончался, Полтавской губернии Миргородского уезда в селе Кибинцах, Действительный тайный советник и разных орденов кавалер Дм. Прок. Трощинский, на 76 году от рождения. Его должно причислить к знаменитым мужам отечества нашего... весьма много бедных семейств, вдов и сирот оплакивают в нем своего благодетеля». Автор заметки, разумеется, не знал, что среди этих семейств, вдов и сирот на первом месте стоит семейство Гоголя.

«Благодетель» умер, и надо было надеяться на свои силы. Теперь взоры маменьки и всей Васильевки обращались к нему, Гоголю, к его планам завоевания Петербурга, которые по истечении четырех месяцев так и не продвинулись ни на вершок.

А он все менял квартиры. Он как бы подвигался все ближе и ближе к Невскому, на котором мечтал снять комнату еще в Нежине и который все так же был недоступен для него, как и по прибытии в столицу. Из

дома Трута он перебрался в дом Иохима на Мещанской улице — дом, похожий на Ноев ковчег, в котором ютилось каждой твари по паре. Дом этот фасадом был обращен в начало Столярного переулка и с фасада смотрелся хорошо — высокие окна, широкая лестница ведет в бельэтаж, но стоило зайти к нему с тылу, со двора, как обнаруживалось, что стены утыканы маленькими оконцами, что этажей в доме не два, а четыре, и ведут на них узкие каменные ступеньки. «Дом, в котором обретаюсь я, — писал Гоголь матери, — содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку, и наконец привилегированную повивальную бабку».

Живя здесь, он начинает набрасывать неопределенные отрывки из жизни малороссиян, сценки, напоминающие пьесы его отца, пересказы слышанных им в детстве историй. Что-то смутное вырисовывается из этих его, казалось бы, бесполезных трудов, что-то мерещится в их — пока никому не нужных — замыслах; но что? Он и сам не знает. Стихийно отбрасывает его память в теплые края его родины, под небо Полтавщины, к крыльцу дома в Васильевке, где собиралась вся семья летом и где бабушка или дедушка рассказывали детям сказки.

Но сказки сказками, а дело делом. Все-таки томит его неустроенная судьба поэмы, и он решается издать ее на собственные средства. «Ганц Кюхельгартен» является свету под фамилией В. Алов — под псевдонимом вполне романтическим и обещающим: Алов — это алое утро, заря, рассвет, намекающий на торжество дня.

Но торжества не было. «В сочинителе заметно воображение и способность писать, — отмечала «Северная пчела», — ...но скажем откровенно... в Ганце Кюхельгартене столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом».

Надо было заметать следы, срочно принимать меры, чтобы никто не узнал, кто автор безрадостного сочинения. Знал об этом, пожалуй, один Яким, но он газет не читал, и поэтому его взял Гоголь в помощники, когда бросился по лавкам скупать злосчастную поэму. Два тяжелых мешка со свеженькой книжкой они скупили в течение дня.

Гоголь нанял номер в гостинице на Вознесенском проспекте, разожгли в номере печь и сожгли все, что было в мешках. Слуга, пришедший на следующее утро убирать номер (в котором никто не ночевал), с недоумением обнаружил жарко натопленную печь (был май) и гору пепла возле нее.

Так погибло в огне первое большое творение Гоголя. Его постигла участь всех предшествовавших неудачных творений, раскритикованных как самим автором, так и товарищами.

Он с безнадежностью ждал других отзывов, в частности, из Москвы, куда отправил пакет с поэмою на имя издателя «Московского телеграфа» Н. Полевого. Но вскоре в журнале явилась заметка, которая краткостью своею и убийственным тоном не оставляла никаких надежд. «Заплатою таких стихов, — писал Полевой, перефразируя строку из «Ганца» и почти слово в слово повторяя «Пчелу») — должно бы быть сбережение оных под спудом». Слава богу, что никак не откликнулся друг Пушкина П. А. Плетнев: тот, кажется, до конца дней не узнал, кто прислал ему сию «идиллию в картинах». Встречаясь с Гоголем позже, никто не знал, что он В. Алов. Это имя ни разу не поминалось, сам Гоголь хранил о поэме молчание. Но провал ее обошелся дорого. Прежде всего он дорого обошелся маменьке: ее любимый сын просадил последние полторы тысячи рублей, которые должен был уплатить за заложенное имение в Опекунский совет. То была плата за целый год. Но он не мог рассуждать в те дни здраво. Он рвал и метал, он горевал, он не мог найти себе места. Все это завершилось бегством, которое одно было спасением для непризнанного таланта. Через два дня после публикации рецензии «на Ганца» в «Северной пчеле» он оглоушил маменьку посланием, которое завуалированностью, яростным нежеланием сказать, что произошло, лучше всего выдавало его гнев, отчаяние, бессилие посрамления, в которых он никогда бы не смог признаться ни одному, даже самому близкому существу.

«...Наконец... какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать... Маминька! Дражайшая маминька!.. Одним вам я только могу сказать... Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости. Но я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее... Нет, это не любовь была... я по крайней мере не слыхал подобной любви... В порыве бешенства и *ужаснейших душевных терзаний,* я жаждал, *кипел упиться одним только взглядом,* только одного взгляда алкал я. ...Нет, это существо... не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его жесамого! Но, ради бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока».

Так Гоголь объяснял матери свой внезапный отъезд из Петербурга в Любек. В одно прекрасное утро он сел на пароход и один — без слуги и без товарища — отправился в заграничный вояж. Мария Ивановна,

получив от сына загадочное письмо, решила, что Никоша влюбился и заболел дурною болезнью. Германия понадобилась ему для лечения на водах. На самом деле это была одна из необъяснимых штучек ее сына. Как родные Ганца никак не могли понять его бегства накануне свадьбы с Луизой, так и родные Гоголя не могли оправиться от его поступка, нанесшего к тому же материальный ущерб Васильевке. Под поэтический порыв его нельзя было подвести никакую материальную подкладку. И, прослышав о заграничном путешествии сына Марии Ивановны, соседи судили по-своему.

Один из полтавских дворян (некто Василий Яковлевич Ломиковский) писал по этому поводу другому полтавскому дворянину:

«Мария Ивановна весьма ошиблась заключениями своими о *гениальном муже, сыне ее Никоше;* он... отправился в столицу с великими намерениями и вообще с общеполезными предприятиями, во-первых, сообщить матушке не менее 6.000 рублей денег, кои он имеет получить *за свои трагедии;* во-вторых, исходатайствовать Малороссии увольнение от всех податей. Таковы способности восхищали матушку, и она находит любимый разговор свой рассказами о необыкновенных дарованиях Никоши. Едва Никоша прибыл в столицу, как начал просить у матушки денег, коих она переслала свыше состояния, наконец, она, думаю, не без помощи Андрея Андреевича, собрала 1500 рублей для заплаты % в банк; для исполнения сего вернее человека не нашла, как сына своего, и тем вернее было сие, что сыново же имение находится под залогом. *Гений Никоша,* получив такой куш, зело возрадовался и поехал с сими деньгами за границу... Андрей Андреевич, узнав о таких подвигах Никоши, сказал: «мерзавец! не будет с него добра!» Теперь же Никоша пишет матушке: «я удивляюсь, почему хвалят Петербург, город сей превозносят более, чем заслуживает, а я, любезная маминька, намерен ехать в Соединенные Штаты и прочее тому подобное».

Но кто же была таинственная ОНА, на которую намекал Гоголь матери в письме? Сочинил ли он ее или она на самом деле существовала? П. Кулиш считал, что это некая женщина, в которую влюбился юный мечтатель и которая не ответила ему взаимностью. Позже Гоголь обмолвится в письме к Данилевскому, что у него были «два случая», которые ставили его на край пропасти, но судьба отводила от него роковое испытание. Но и сии «два случая» могли быть плодом его фантазии. Он мог выдумать и ЕЕ, и свою любовь к ней, ибо мечтатели не приближаются к предмету своих воздыханий — они вздыхают издали, и предмет даже не подозревает об их чувствах.

Быть может, она только мелькнула перед ним, скользнула по нему взглядом, и этого было достаточно для поэта, для работы пылкого воображения, которое, зажегшись от этого взгляда, могло создать

сюжет, историю, продолжить ее в часы одиночества, развить и превратить в роман, приключение, то есть в ту реально-нереальную неопределенность, которая красноречиво изложена в письме к маменьке.

Мы вовсе не собираемся искать прототип гоголевского увлечения, тем более что признаем его наполовину литературным, сочиненным, созданным от бедности жизни внешней, как бы в компенсацию ей, в отпущение неуспехов, наконец, жестокого поражения с «Ганцем», которого он, наверное, уже преподносил ей в мечтах. Мало ли что могло рисовать воображение провинциала, уязвленного взглядом красавицы? Как в творчество вносил он идеальное, так и в это чувство, если оно было, в эту фантазию чувства вкладывал он свое поэтическое представление о женщине и о любви. Он мог и не знать ЕЕ имени, если то была прохожая, и не хотел знать, ибо не в имени было дело, а во впечатлении, в романе, в развитии его, который должен был кончиться триумфально — выходом поэмы и открытием псевдонима.

Рухнули сразу две идиллии — идиллия любви, созданной в мечтах и относящейся, возможно, к конкретной женщине (а возможно, и к Музе, которая тоже существо женского рода, ОНА), и «идиллия в картинах».

Но... надо было возвращаться, а возвращаться было некуда, кроме как в тот же Петербург. Он знал об этом, уже когда уезжал. «Не огорчайтесь, добрая, несравненная маминька! — писал он в Васильевку. — Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня: я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца) ; лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навек. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности, и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя. Это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня), по крайней мере, всю жизнь посвящу для счастия и блага себе подобных». Он просит и впредь не оставлять его сведениями о жизни и обычаях малороссийских, ибо готовит «запас, которого порядочно не обработавши», не пустит «в свет». «Прошу также, — добавляет он *все в том же письме,* — ...ставить как можно четче имена собственные и вообще разные малороссийские проименования. Сочинение мое, если когда выдет, будет на иностранном языке, и тем более мне нужна точность...»

Гоголь уезжает в Любек действительно на переломе, на переломе от поэзии к прозе, от романтического стихотворчества к творчеству реальному. Именно этот «запас» он имеет в виду. Но даже и первые из этих опытов, которые появятся сначала в журнале Свиньина, а потом в «Литературной газете», он не подпишет своим именем. Он будет до

поры до времени скрываться под псевдонимами, изощряясь в выборе их — то называясь именем своего героя (Глечик), то выбирая из своего имени и фамилии все буквы «о» и подписываясь четырьмя нулями — оооо, то приближая читателя к своему подлинному имени — Г. Янов.

Матери он вынужден был признаться, вернувшись из Любека, что «бог унизил его гордость». «Но я здоров, — пишет он тут же, — и если мои ничтожные знания не могут доставить мне места, я имею руки, следовательно, не могу впасть в отчаяние — оно удел безумца».

Гоголь возвращается в свою квартирку на четвертом этаже и садится за работу. Поездка в Любек была краткой и развлекательной. Он, правда, рассматривал в любекском соборе фрески Дюрера, бродил по узким чистым улочкам этого игрушечного по сравнению с Петербургом городка и наблюдал его кукольно-чистую, отглаженную игрушечно-ненастоящую жизнь (в письме матери оттуда он пишет, что в любекских дворах не пахнет, никто здесь не проливает помоев на лестницах, каждая складка платья на женщинах и девушках отглажена и накрахмалена), который, однако, скоро наскучил ему, и он сел на пароход и вернулся в Петербург.

Это была Европа, и ото была не та Европа, о которой он мечтал, — не солнечная Италия, уставленная обломками великого прошлого, статуями и дворцами, разбросанными среди вольного пространства, под синим южным небом. Это была теснота Германии, страны сумрачной и каменно-темной, привыкшей к порядку, к размеренности и салфеточной чистоте, претившей его разнузданному малороссийскому аппетиту, его привычке к воле, размаху жителя полустепи.

Выехавши из Петербурга в конце июля, Гоголь в сентябре уже на Мещанской. Начинается осень трудов, подготовки к трудам, поисков места и охлажденное, трезвое существование в трезвом Петербурге, который теперь для него уже не загадка, не сфинкс, а город, длительную осаду которого он намерен предпринять.

Поездка освежила и отвлекла его, и с этого времени начинается не стихийный, а сознательный и упорный рост Гоголя в Санкт-Петербурге, его вхождение, врастание в этот город не как человека со стороны, из провинции, а как закаленного петербуржца, знающего, как начать и с чего начать.

4

Маменька все запрашивала его о чине, о должности — у него не было ни чина, ни должности. Он так и проболтался целый год студентом, действительным студентом, как значилось в его аттестате, дающем ему право поступить в службу с чином четырнадцатого класса. Приходилось начинать с нуля, да он и был, собственно, нулем в этом городе,

разграфленном на клетки, в каждой из которых сидел какой-нибудь советник, секретарь или асессор. В конце 1829 года Гоголь впервые поступает в «гражданскую его императорского величества службу». Его берут в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий. Министр внутренних дел А. А. Закревский пишет на его прошении: «употребить на испытание».

Но из этого «употребления» ничего не вышло. После трех месяцев скудного переписывания бумаг Гоголь, ссылаясь на «долговременную отлучку», требует свой аттестат обратно. Ему возвращают аттестат и свободу. Но в карманах его уже «фай, посвистывает». Он вынужден писать отчеты маменьке об истраченных ассигнациях, подсчитывать, сколько тратит на кухарку, на дрова, на свечи, на ваксу, на сапоги. «Кроме того, за мытье полов заплачено... 1 р. 50 к., — пишет он, — ...в баню — ...1 р. 50 к. ...»

27 марта 1830 года он подает новое прошение на имя вице-президента Департамента уделов Л. А. Перовского: «Имея желание служить под лестным начальством Вашего Превосходительства, приемлю смелость всепокорнейше просить об определении меня...» Студента 14-го класса Гоголя-Яновского зачислили на вакантную должность писца во временном столе II отделения с жалованьем 600 рублей в год. Он был приведен к присяге, дал подписку о непринадлежности к масонским ложам и вступил в должность.

Департамент уделов помещался на Миллионной. Надо было миновать всю I Адмиралтейскую часть, пересечь Невский, чтоб попасть в район, где находились административные здания, дома вельмож и дворцы царского семейства, а совсем рядом громадный Зимний дворец, над которым развевался флаг Российской империи. Коллежский регистратор Гоголь-Яновский, у которого секретарь Яков Гробов вычел деньги за патент на чин, получил свидетельство об определении на службу и должен был теперь вставать рано и спешить к столу. К этому времени он перебирается на набережную канала в дом Зверкова, где поселяется со своими нежинскими товарищами Иваном Пащенко и Николаем Прокоповичем.

Шестиэтажной глыбой возвышался дом Зверкова над этой мрачной частью города, набитый до отказа чиновниками, мелкими торговцами, бедными музыкантами и другой публикой, подписчиками «Северной пчелы» и потребителями обедов и ужинов, готовившихся в дешевых трактирах и приносимых оттуда в судках слугами для своих бар.

Год службы в Департаменте уделов — это год смирения самолюбия, попытки врасти в административную толщь, пробить ее старанием, усердием и повиновением. «Стало быть, вы спросите, теперь никаких нет выгод служить? — пишет он в Васильевну. — Напротив, они есть,

особенно для того, кто имеет ум, знающий извлечь из этого пользу... этот ум должен иметь железную волю и терпение, покамест не достигнет своего предназначения, должен не содрогнуться крутой, длинной, — почти до бесконечности и скользкой лестницы... должен отвергнуть желание раннего блеска (это камешек в свой огород. — *И. З.),* даже пренебречь часто восклицанием света: «Какой прекрасный молодой человек! как он мил, как занимателен в обществе!»

Когда Никоша был совсем маленьким, бабушка Татьяна Семеновна рассказывала ему о лестнице: ее спускали с неба ангелы, подавая руку душе умершего. Если на той лестнице было семь мерок, значит, на седьмое небо — на высшую высоту — поднималась душа, если меньше — значит, ниже предстояло ей обитать. Седьмое небо — небо рая — было доступно немногим.

Образ лестницы принципиален для Гоголя. Он пройдет через все его описания и размышления об участи и долге человека. Лестница — это подъем, возвышение, необходимость занять свое место на ступеньке, приподымающей тебя над другими, и она — труд самопознания, который возвышает дух и приводит к власти над собой. Уже здесь, в этом образе, намечается раздвоение его смысла. Это раздвоение станет основой трагедии некоторых гоголевских героев. Порой не замечая в себе второго «я», «я», требующего прежде всего достоинства, чести, они следуют за честолюбием своим, толкающим их на лестницу иерархическую. Они карабкаются по ее ступенькам, обдирая пальцы, сталкиваемые вниз и вновь подбрасываемые вверх случаем, и, лишь истратив почти все силы, осознают вдруг тщетность этого лжевозвышения. На высоте миллиона, положения в обществе, генеральства, наполеонства, фердинандства и проч. они вдруг чувствуют потребность простого счастья человеческого. Они стремительно летят вниз по мнимым ступеням, чтоб начать новый подъем — на этот раз подлинный.

Образ лестницы остается, но он теперь не двоится, не совпадает буквально с реальными маршами в департаментах, министерствах и канцеляриях, он духовен, иносказателен, метафоричен. Эта лестница ведет не к звезде, не к голубой кавалерии через плечо, не к уюту с «хорошенькой» в обставленном бронзой и зеркалами будуаре, не к херсонским поместьям, а выше.

Но на первом этапе это еще т а лестница, лестница, о которой мечтают в честолюбивых снах помощники столоначальников и титулярные, майоры и действительные студенты, лелеющие в фантазии своей новый крест и прибавку к жалованью. Это лестница чина, благополучия и «службы отечеству», «службы государю», как называют ее для прикрытия своего аппетита все искатели лент и наград.

Тем, кто сразу оказывается на высокой ступени, почти рождается на ней, это стремление взять реванш за положение внизу незнакомо. Они спокойно и медленно движутся по восходящей, предначертанной им их знатностью. Стоящему внизу надо начинать снизу. И он спешит.

Лестница эта опять уходит высоко вверх, а он не может взлететь по ней единым духом, как мечталось ему в Нежине, он должен карабкаться, ползти и переползать медленно, хотя он все еще надеется на то, что настанет миг, и он перескочит десятки ступеней сразу и окажется все же наверху, ибо служить 35 лет, чтоб выйти в отставку и получать пенсион, годный лишь для пропитания, — это не его мечта, не его удел. Он пишет о «просторе», о необходимости сделаться полезным «огромной массе государственной», и здесь в коллежском регистраторе Гоголе-Яновском говорит Гоголь.

Он уже Гоголь, хотя никто не знает этого, и он сам не подозревает, что все, что станет впоследствии Гоголем, уже есть в нем, заложено, дано ему от природы и расписано в расписании, но не в штатном расписании Департамента уделов, возглавляемого гофмейстером и кавалером Л. А. Перовским, а в другом, под которым нет подписей начальников отделений и столов. Стихийно сознавая это, он вынужден, однако, находиться среди них каждый день, кланяться им, терпеть неуважение швейцара, мерзнуть на обжигающем морозце и вприпрыжку пересекать заветный Невский, по которому не спеша прогуливаются богачи в меховых шубах и валяных сапогах.

Усердие Гоголя вознаграждается: его делают помощником столоначальника с окладом 750 рублей в год. Однако чиновники в этой должности обычно получали 1000 и даже 1200 рублей в год, ему же положили на треть меньше. А ему только на стол и квартиру требуется в месяц сто рублей. Где же взять остальные? Он просит эти сто рублей (потом снижая сумму до восьмидесяти) у маменьки, у единственного своего «ангела», который уже не раз выручал его. «Всякая копейка у меня пристроена», — пишет он ей и сознается, что вынужден отказаться от многих мелких удовольствий, которые позволяют себе его сослуживцы, как-то: участие в дружеской пирушке с выпивной и угощениями, катание на извозчике, посещение театра.

День его расписан по часам, начинается он со службы, потом обед в казенном заведении, гуляние по городу, посещение классов Академии художеств, где он на правах вольноприходящего учится рисунку. Изредка выпадает ему обед в гостях или чай, или встреча с «одноборщниками» нежинскими, которые, впрочем, летом разъезжаются по дачам или предпочитают отпуск в малороссийской деревне, дома, под крылом родительским. Он не может себе этого позволить: дорога домой непосильна для его бюджета.

Летом Петербург превращался в парилку: избыток перенагретой влаги давил в легкие, стоячий воздух, пропахший городскими испарениями, кружил голову, на пятом этаже, под самой крышей, которая раскалялась от немилосердного солнца, было душно, а белая ночь гнала сон, и лишь прохлада воды и деревьев на островах, где уютные дачи прятались в тень старинных дубов и лип и где был простор зеленый — не застроенный камнем, не замощенный булыжником, не засыпанный пылью — спасала от тоски и отчаяния.

Он попадал сюда после нудного дня сидения в огромной общей зале, где томились десятки таких же, как он, безымянных перьев, переписывавших, переписывавших и переписывавших. Отрываясь от бумаги, он видел их лысины, их стоячие воротники, их коки, напомаженные дешевой помадой и завитые у цирюльника на Вознесенском проспекте, и слышал скрип перьев, изредка обмакиваемых в чернильницы.

Этот шелест переписыванья еще долго потом отдавался в его ушах, когда он, схватив шинель или плащ из рук швейцара, почти выбегал на улицу, счастливый, что наконец на сегодня вырвался из своей тюрьмы. Впрочем, и в эти унылые часы работала не только его рука, но и слышало все, что происходило вокруг, его чуткое ухо, а глаз схватывал черточки и черты, ужимки, жесты и тайные отклонения от расчерченной уставной жизни, которыми жил этот муравейник, состоящий все же из живых людей.

Там сплетничали о последней награде начальника, иронически тыча в «Сенатские ведомости», в другом конце поднимался шепот об актрисе, которая танцевала нынче в итальянской Опере (кто-то проник на галерку), кто-то жаловался на квартирную хозяйку и вонь во дворе, оскорбляющую его благородное обоняние, там складывались на пирушку, звали соседа на вист.

По выцветше-зеленому полю вицмундирного сукна изредка пробегал какой-то живой ветер, лица менялись, на них появлялось свое выражение — но это бывало редко: обычно в дни выдачи жалований, награждений или предстоящих праздников, на которые их отпускали домой. Больше всего здесь не любили, когда кому-то выпадало повышение по службе. Отношения сразу менялись, бывшие товарищи переставали прямо смотреть друг другу в глаза, низший смотрел на высшего уже не так, как вчера, появлялось что-то неуловимо-заискивающее, второсортное, просительное во взгляде, а высший, бывший еще вчера на одной ноге с низшим, сам не замечал, как вытягивается его фигура, как растет он даже физически, как меняется его голос и выражение глаз.

Он уже переходил за другой стол — который был шире, где больше располагалось бумаг, а подход был затруднен существованием между ним и остальным — вчера еще его! — миром другого чиновника, который должен был передать эту бумагу ему, доставить ее, а не просто бросить или перебросить со стола на стол, как это делают равные между собой.

Гоголь почувствовал это, когда из рядового писца стал вдруг помощником начальника стола, на полступеньки выше поднявшись над своими сослуживцами. В приказе о его повышении говорилось: «Хотя чиновник сей состоит на службе не более четырех месяцев, но, получив хорошее образование и оказывая должное усердие, может с пользой справлять свою должность».

Но «сей чиновник» не только чиновник. Он верно служит днем в присутствии, кланяясь столоначальнику и начальнику отделения, а в ночные часы его мысль гордо витает над серою громадою города, переносясь от скученности околосенных переулков к просторам набережных, к разливу вольной Невы, к площадям и бульварам, которые он еще завоюет, завоюет.

Приходит осень, Петербург съезжает с дач, начинается оживление на Невском, возле театров, кондитерских, английских и французских магазинов, возле дома госпожи Энгельгардт, где даются концерты. Вновь тщеславие выплескивается на улицы, вновь манит его сверкающий по вечерам Невский, где ему нечем покрасоваться, где франты демонстрируют последние парижские моды, а бакенбарды иностранной коллегии производят неотразимое впечатление на дам. И вновь вспыхивает в нем желание оставить этот призрачный мир, мир мимолетных ценностей, где все оборотно, ненастояще, выскальзывает из рук, где огни и цвет лиц искусственны, где разговоры фальшивы, а гулянье по улицам напоминает театр, только нет будки суфлера, подсказывающего актерам текст.

Мысли об оставлении столицы — это мысли малодушия, приступы которого то и дело посещают его, ибо он все тот же безвестный титулярный советник, ничего не добившийся, не замеченный никем, кроме своего непосредственного начальника, который смотрит на него снисходительно-свысока, ибо он его покровитель, без него не видать бы ему ни места, ни жалованья, ни уважения в глазах департаментского швейцара.

Возле дома Гоголя много мастерских, и уже с утра из их окон слышится стрекот швейной машины, пыханье горна, стук по железу, скрип рубанка или удары топора, отесывающего бревна. Звуки эти будят Гоголя раньше, чем он бы хотел, он мог бы еще поспать, но вместе с мастеровым людом поднимается и его Яким, привыкший вставать чуть свет в

деревне, и начинает мараковать насчет завтрака, собирается на Сенной рынок за овощью или растапливает печь, чтоб сварить немудрящую кашу, или с котелком отправляется к хозяйке или в трактир, где выдают по дешевке горячую снедь.

Хозяин его, засидевшийся с ночи над толстой грубой тетрадью, купленной им тоже в дешевой лавке, тетрадью, в какие обычно приказчики записывают приход и расход, с трудом протирает глаза, ворочается с боку на бок и уже не может вернуть ушедший сон, в котором так сладко привиделась ему Малороссия, белые хатки над Пселом и гроздья черных вишен, набухших сладостью, которые так и просятся в рот. Сны эти снятся ему после проведенных над тетрадкою бдений, после того, как он почти въяве, на бумаге возвращался к ним, описывая знойный полдень в каком-нибудь тихом сельце с прудом-ставком посредине, плавающих в нем безмятежно крячек и сморенную солнцем и ленью, прилегшую отдохнуть жизнь, которой, кажется, не будет конца — так бесконечно ленива она, так беспечна к отсчитыванию часов и суток.

Наконец настает и его час. Это роковые восемь утра, когда, наскоро перехватив чего послал бог и трактирщик, чиновник схватывает свою папку или портфель, где лежат перья и захваченные вчера со службы бумаги, и пешочком-пешочком, или, как говорил Гоголь, пехандачком, начинает свой бег по пересеченной местности. Он бежит по Столярному, по Мещанской, выскакивает на Гороховую и сразу попадает во встречный поток, направляющийся на Сенную, в поток пешеходов и извозчиков, нищенок, мещан, просителей у богатых подъездов и на дрожках едущих чиновников.

Да, есть такие, которые ездят и на дрожках, но это уже солидные надворные и коллежские советники, не титулярным чета, и мундиры на них почище, и шляпы пофорсистей, и лица поглаже, и выражение глаз победней. Уже подходя к департаменту, Гоголь наталкивается на карету статского, который никогда не приезжает раньше времени и лишь изредка в срок, а то и вовсе не приезжает, принимая бумаги на дому, тем более если он живет в том же здании, в казенной квартире.

Сидение в департаменте выработало в Гоголе только одно — умение красиво писать. Действительно, если посмотреть его беловики, тексты, переписанные им для себя, то мы увидим тренировку писца, мастера своего дела, который может страницу за страницей писать без помарок, не ошибаясь ни в одном слове, ни в одном завитке заглавной буквы, не съезжая в конце строки вниз, не нарушая стройности и симметрии всего вида страницы. То, что он делал, не приносило пользы даже его начальнику, ибо он, не глядя, пробегал лист глазами и тут же складывал его в папку, которая потом отправлялась на хранение под таким-то номером в архив или передавалась на другой стол, а оттуда уже

поступала или начальнику отделения, или выше. Но и там ее не читали, ибо она никому не была нужна, и движение бумаги, приносившее каждому державшему ее мгновение в руках месячный оклад, пенсион, наградные и через несколько лет орден на шею, там и заканчивалось, и она навечно исчезала в толще таких же бумаг, окаменевших в подвалах и на полках хранилищ, где ими — по случаю чрезвычайной грубости листа — брезговали даже крысы.

В семь часов открываются клубы, в театрах зажигают лампы, лампы вспыхивают и у подъездов богатых домов. Хозяева их готовятся к выездам, на кухнях и в лакейских тем временем играют в карты, в шашки: скоро господа уедут, и настанет полная воля. Жандармы на конях расставляют у театров кареты первых зрителей, фонарщики ждут, когда над домами Большой Морской появится красный шар — сигнал того, что надо зажигать фонари. Как только он появится, они приставят лесенки к фонарям и, накрывшись рогожею, чтоб не быть закапанными салом свечей, поднимутся по ним к стеклянным дверцам фонарей и зажгут эти светильники города, которые, смешав свой свет с его туманом или сиянием вывесок магазинов и окон квартир на Невском, образуют тот фантастический сплав тьмы и света, игры красок, который накинет на главную улицу города покров таинственности и сказочности, всегда очаровывающих, когда только попадаешь на нее из узких прилегающих улочек. Невский слепит и ослепляет, и от блеска этого кружится голова, и поневоле хочется попасть за эти окна в бельэтаж, где льется полный свет и творится иная жизнь, которая и не подозревает о текущей рядом жизни, о вздохе бедности, затаенной гордыне и великом замысле, рождающемся, может быть, сейчас в чьей-то голове.

Выходя вечером прогуляться (осенние сумерки в столице наступают рано), Гоголь шагом отправляется в сторону Дворцовой площади, заглядывая с тротуара в ярко освещенные окна домов с колоннами, с роскошными подъездами, возле которых стоят богатые кареты с шестерками лошадей, укрытых расшитыми попонами.

Иногда в щели разошедшихся штор он видит алмазно переливающиеся люстры, лепной потолок с амурами, порхающими по розовому или нежно-зеленому полю, изображения богов и богинь, которые все видят сверху и несмущаемо-равнодушны к тому, что происходит внизу, бесстрастно-постоянны в своем равнодушии к музыке, шарканью ног, каламбурам, остротам, светским новостям, которые каждый вечер одни и те ж, хотя действуют в них разные лица и дамы смеются каждый раз новой сплетне по-новому, по крайней мере, им кажется, что по-новому.

В те часы, когда Гоголь возвращается после прогулки, свет разъезжается из театров, караульщики укладываются на лестницах магазинов, подстелив себе войлоку или сукна, извозчики дожидаются у дверей ресторанов пирующих, и скачет карета с бала, за окошком которой

мелькает прекрасное личико, утомленное праздником, все в белом, недоступно-далекое, о котором нельзя сметь и мечтать. Пустеет столица. Только будочники и конные патрули бодрствуют, и изредка раздается оклик «Тойдь?!» («кто идет?») без ответа, эхом отдающийся в пустых кварталах.

Тогда-то и наступает время творца, время один на один со свечою, бумагою, воображением своим и тетрадками, в которые он заглядывает просто так, чтоб сверить слово, поправить описание, вылившееся вдруг без воли автора само собой, по призыву памяти.

В эти часы, когда слышится храпение Якима и тихо все в комнате Прокоповича за стеной, когда весельчак Пащенко умолкает в третьей комнатке и весь дом Зверкова превращается в какую-то медленно плывущую по ночи скалу, и даже мяуканье кошек затихает на крышах, железная воля и терпение сына Марии Ивановны вступают в действие, и на его месте оказывается уже не переписчик бумаг, не помощник начальника третьего стола второго отделения Департамента уделов, а не ведомый еще никому Рудый Панько, хотя Диканька тут вовсе ни при чем, и хутора при ней никакого нет, врет он все, врет с начала до конца, от первой до последней строки, но как врет: сам чувствует — врет красиво и сильно!

***Глава вторая*. Рудый Панько**

Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да покланяются потомки и да имут место, еде возносить умиленные молитвы свои.

Гоголь — В. А. Жуковскому, сентябрь 1831 года

Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты впал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей.

Гоголь — А. С. Данилевскому, ноябрь 1831 года

1

Иронизируя по поводу отсутствия в России оригинальной прозы, «Северная пчела» в 1829 году писала: «В России есть и оды, и поэмы, и басни, и повести, есть история, драма, но... нет романа». Автор заметки Н. Греч намекал на то, что истинным родоначальником романа на Руси является его соиздатель Фаддей Булгарин, только что выпустивший «Ивана Выжигина». Если исключить этот намек, то Н. И. Греч был отчасти прав. Как ни благоуханна, точна, свежа и лапидарна была проза Карамзина, поразившая в начале столетия русское общество, как ни строг и прекрасен был его чеканно-ясный и глубоко одухотворенный слог в «Истории Государства Российского», без которого нельзя понять грядущей исторической прозы Пушкина, его драматургии, критики

Вяземского и вообще развития русской духовной жизни конца 20-х — начала 30-х годов, в литературе все еще господствовала поэзия, и Пушкин был ее венчанным главою. Только что вышла «Полтава», подходил к завершению «Онегин», в конце 1830 года появилось лучшее творение зрелого Пушкина — «Борис Годунов».

К тому времени уже не было в живых Грибоедова, а комедия его, известная обеим столицам, лежала под спудом, неизданная и непоставленная. Но она уже была фактом литературной жизни, и 26 января 1831 года в бенефис актера Брянского состоялось первое полное представление «Горя от ума» на петербургской сцене.

Начало 1830 года — это начало выхода «Литературной газеты», которую редактировал Дельвиг, но которая, по существу, была газетой Пушкина, точней, окружения Пушкина, в коем состояли лучшие литературные силы того времени. Сюда пришел со своими статьями П. Катенин, здесь печатались Н. Языков, П. Вяземский, И. Киреевский, Е. Боратынский, Ф. Глинка, А. Хомяков, А. Кольцов, сам Дельвиг и, наконец, Пушкин. Собственной прозы у «Литературной газеты» не было, она обходилась переводами из Тика, Вальтера Скотта, Поль де Кока, отрывками из повестей и романов Сомова, Яковлева, Байского. Правда, она обещала, что познакомит публику с еще неизвестными ей и не печатающимися под собственными именами писателями. Булгарин не замедлил съехидничать на ее счет: кто же эти «великие незнакомцы»? — он сравнивал их с Вальтером Скоттом, который не подписывал своих первых романов и прослыл «великим незнакомцем» у себя на родине. «Великих прозаиков мы не знаем на святой Руси...» — заключил автор «Ивана Выжигина».

«Выжигин» был своего рода вызовом «Онегину». России, по Булгарину, нужны были не рефлектирующие маменькины и папенькины сынки, не скучающие рифмоплеты типа Онегина, которые и пороху не нюхали и не знают, что такое соха, а экономисты, свежие головы и руки которых постоянно находятся в действии, в изыскании способов процветания России, не отягощенные ленью фамильной гордости и данным от рождения богатством.

Но именно богатства и ничего более (дух их не интересовал) они и добивались.

Недаром поэтому в романе так много говорилось о деньгах, о торговле, о крупных сделках, то возвышающих героев в их собственном лице и в глазах общества, то низвергающих на дно жизни. В романе Булгарина играли, и играли на большие деньги, мошенники тут плутовали по-крупному, а суммы, пускаемые в оборот, насчитывали столько нулей, сколько и не снилось не привыкшим считать их аристократам. В этом смысле «Выжигин» был откровенным романом «торгового

направления», и не только потому, что автор его выручил солидный гонорар, но и потому, что идея денег как непременного подспорья нравственности была главной его идеей. Нет счастья без миллиона — так звучал финал «Выжигина», это было рождение на Руси не только литературы вульгарно-развлекательной, массовой, рассчитанной на низкий вкус толпы, это было начало литературы обслуживания, которая бросила перчатку высокой духовности в лице Пушкина.

Пушкин был не один. Вокруг него и за ним стояли образованные силы русской литературы и ее невыявленные таланты. «Цель нашей газеты, — писала «Литературная газета», — не деньги, а литература». Поэтому вокруг нее объединялись все, кто искренне стремился в отечественную словесность, кто нес в нее вдохновение, культуру, вкус и сознание высокого долга искусства. Среди них был и будущий «великий незнакомец» Николай Гоголь.

2

В «четверток» 1 января 1831 года вышел очередной номер газеты Дельвига. Он открывался стихотворением Пушкина «Кавказ». Рядом были напечатаны статьи «Несколько мыслей о преподавании детям географии» и глава пол названием «Учитель» из малороссийской повести «Страшный кабан». Статья была подписана — Г. Янов, глава из повести — П. Глечик. Под обоими этими псевдонимами скрывался Гоголь. Состоялась наконец его встреча с тем, кого он боготворил и с кем судьба не даровала ему счастья повидаться очно. Пушкин и Гоголь встретились впервые на страницах «Литературной газеты», но замечено это было только одним из них.

Плетнев, призывая Пушкина обратить внимание на статьи Г. Янова и П. Глечика и говоря, что они писаны Н. Гоголем, советовал ободрить подающий надежды талант. Пушкин, опечаленный смертью Дельвига (тот умер 14 января 1831 года), писал Плетневу: «Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести...» А на вопрос о Гоголе отвечал: «О Гоголе не скажу тебе ничего, потому, что доселе его не читал за недосугом».

Что ж, читать, собственно, пока было и нечего. Гоголь недаром прятался под вымышленными именами — чувствовало его перо нетвердость, ученический свой наклон. Нужно учитывать и то, что опасения Гоголя были по большей части опасениями перед провинцией, перед теми людьми, которые его знали (знали его родителей, его фамилию), и где имя Гоголь что-то говорило читателям. И хотя столичные литературные новости едва докатывались до Полтавщины (не забудем и Нежин), все же плохой отзыв, *напечатанный* в журнале или газете, мог бомбой взорваться там. А сколько позора и слез для маменьки! И как потом показаться всем на глаза!

Связь с провинцией была связью происхождения и родства, связью воспоминаний детства и юности. В первые годы в столице Васильевка просто кормила его. Потом она стала поставлять материал для его «Вечеров». Понеслись в Петербург письма и посылки, в которых маменька и сестра Марья (а с ними родственники и соседи) слали ему списки песен, сказок, поверий, комедии отца и костюмы малороссиян. Все это шло в дело. Провинция стала его усердной корреспонденткой и поставщицей литературного сырья. Но она жаждала вознаграждения. Ей не терпелось увидеть своего посланца на верху лестницы. Она подстегивала, раздражала честолюбие. Не ударить в грязь лицом для Гоголя прежде всего означало не ударить в грязь лицом перед теми, для кого он был никто, кто видел я помнил его *никем*. Отъезжая в Петербург в декабре 1828 года, он сказал провожавшей его С. В. Скалой: «Прощайте. Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее». Как вспоминает С. В. Скалой, Гоголь удивил ее этими словами. «В то время, — добавляет она, — мы ничего особенно в нем не видели».

* * *

Тетрадка со сценами из малороссийской жизни приводит Гоголя к Дельвигу. Через Дельвига он знакомится с В. А. Жуковским, а через того — с другом Пушкина П. А. Плетневым.

В конце 1830 года тон его писем домой меняется. «Мне верится, — пишет он матери — что бог особенное имеет над нами попечение: в будущем я ничего не предвижу для себя, кроме хорошего». Он обещает Марии Ивановне, что берет у нее деньги последний год и вскоре начнет возвращать то, что получил. «Все мне идет хорошо, — повторяет он в том же письме. — Ваше благословение, кажется, неотлучно со мною». Он успокаивает маменьку, сожалеющую, что ее сын живет в пятом этаже: «Сам государь занимает комнаты не ниже моих». Но и это хвастовство говорит в пользу его хорошего настроения, которое переменилось с тех пор, как он стал писать.

С этих пор (как, впрочем, еще со студенческой поры) и до последних дней его жизни светлое настроение в Гоголе, не обозначенное им самим никакими конкретными причинами, всегда будет означать, что он работает, что у него идет, что он доволен собой и написанным. Эта тайная жизнь будет прорываться в его письмах в необъяснимых для адресата приступах веселья, во всплесках отчаянного жизнелюбия и расположения ко всем.

Павел Васильевич Анненков, познакомившийся с Гоголем в начале 30-х годов в Петербурге и вошедший в тесный кружок нежинских «однокорытников» (Данилевский, Пащенко, Прокопович, Кукольник, Базили), вспоминает, что в то время Гоголь страстно и увлеченно отдавался жизни, отдавался природной веселости своей и вере в

будущее. Анненков познакомился с ним уже после выхода «Вечеров» и триумфа их, когда сам успех поднимал Гоголя на своей волне, но и до этого, до эпохи признания и вхождения, как пишет Анненков, «во все круга», Гоголь уже чувствовал и переживал подъем, который можно считать эпохой вступления его в литературу.

Случайная встреча Пушкина и Гоголя на страницах «Литературной газеты» была не только встречей двух великих имен, но и встречей двух органически разных гениев, каждый из которых по-своему видел мир. Это объяснялось не одной разницей в возрасте, опыте и условиях жизни. Тут сошлись две разные поэтические природы, и соседство это выглядит теперь (по прошествии века) не только символическим, но и исторически необходимым.

Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины:

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

В этих величественных строках было не только описание реальных гор Кавказа, но и пушкинское настроение, состояние поэта, уже поднявшегося на недосягаемую высоту и чувствующего свое одиночество. Не только высота физическая, но и высокий строй мыслей, как бы отвлекающихся от земных сует, парили и господствовали в этом стихотворении Пушкина.

Гоголь откликался ему из самой низины, из той земной отдаленности, которая даже не видна была с гор Кавказа. В «Учителе» речь шла о делах прозаических, о решетиловских смушках, о настойке на шафране, о мотании ниток и «всеобщем процессе житейского насыщения». У Гоголя в отрывке ели, пили, отсыпались после обеда и чрезмерного употребления горилки, солили огурцы, подслащивали наливки. Последнее, казалось бы, делали и некоторые герои «Онегина» (вспомним Лариных), но пушкинские очерки провинциальных нравов были увиденной издали иной жизнью, Гоголь же писал ее *изнутри:* можно было подумать, что он сам вышел с поваром освежиться во двор, и это его кудлатый Бровка целует в губы, и он сам молча опорожняет тарелку за тарелкой со всякой вкусной малороссийской стряпней, после чего тарелка «выходила чистою будто из фабрики».

Тут были подробности, и какие подробности! Они то разрастались под увеличительным стеклом, превращаясь из одного мазка в портрет, в изображение, в картину, то выскакивали поодиночке, пестря и играя красками. Они пахли, сияли, до них можно было дотронуться, они из неодушевленного делали одушевленным предмет. А рядом стоял

неуклюжий книжный абзац, похожий на выросшего из короткого мундирчика гимназиста с длинными руками, он закатывал очи горе и высокопарно сравнивал деревья обыкновенного сада с «гигантскими обитателями, закутанными темнозелеными плащами», которые мало того, что дремали, «увенчанные чудесными сновидениями», но еще и вдруг, «освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крылами, мятежный воздух и тогда по листам ходили непонятные речи...».

От этих «речей», впрочем, веяло неосознанной глубиной и страхом — страхом за праздник жизни, которому радовался автор «Учителя». Что-то щемящее — какая-то боль за быстротечность бытия — прорывалось в этих лирических всплесках, написанных наполовину под Шиллера, наполовину уже от себя.

И все же смех брал свое. Веселье так и било из этой прозы, сдерживаемое робостью и неопытностью молодого пера, которое урезонивало себя правилами литературной риторики. Все еще хотелось писать в традиции, писать пристойно и *как учили* — и гладкость, строгость литературной речи стояла над ним, как надзиратель в Нежине, заставляя складно повторять заданное. Но и из-под его карающей длани уже выглядывал и посмеивался над ним, над собой (и над всем светом) кто-то третий.

Он и родных своих призывает в это время веселиться. В Васильевну летят бодрые письма, в которых и следа нет уныния и желания покинуть столицу. «Живите как можно веселее, — пишет он, — прогоняйте от себя неприятности... все пройдет, все будет хорошо... За чайным столиком, за обедом, я невидимкой сижу между вами, и если вам весело слишком бывает, это значит, что я втерся в круг ваш... Труд... всегда имеет неразлучную себе спутницу — веселость... Я теперь, более нежели когда-либо, тружусь, и более нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей груди величайшее».

Это признания Гоголя, уже создавшего «Сорочинскую ярмарку», может быть, самую веселую из повестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Это спокойствие человека, уже набравшего силу и почувствовавшего свою силу, Плетнев, которому посвящен «Онегин», оказывает ему покровительство. Жуковский с благосклонностью слушает его рассказы об Украине. Известный литератор и аристократ князь П. Л. Вяземский, встречаясь с ним, учтиво кланяется ему.

3

Петр Александрович Плетнев, уже оказавший Гоголю немало услуг (о некоторых из них мы узнаем позже), знакомит его с Пушкиным.

Встреча состоялась 20 мая 1831 года на квартире Плетнева на Обуховском проспекте. Плетнев подвел Гоголя к поэту и представил: «Это тот самый Гоголь, о котором я тебе говорил».

Красный от смущения, он стоял и ждал первых слов, которые произнесет Пушкин.

Портрет Гоголя того времени набросан в воспоминаниях М. Н. Лонгинова:

«Не могу скрыть, что… одно чувство приличия, может быть, удержало нас от порыва свойственной нашему возрасту смешливости, которую должна была возбудить в нас наружность Гоголя. Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волосов на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, — все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, — вот каков был Гоголь в молодости».

В мае 1831 года, несмотря на ожидаемые успехи, он все еще был беден, как ни лелеял мысль о новой шинели и фраке, платье на нем было потертое, и, может быть, модный и яркий галстух соседствовал с лоснящимися рукавами.

В доме Плетнева были все «свои», а среди этих своих Гоголь был не только новичком, но и чужим. Он был чужим по воспитанию, по опыту, по знакомствам. Чувствуя свою роль «молодого дарования», он казнился и терзался ею, гордость его была уязвлена, хотя благоговение перед Пушкиным, казалось, должно было смирить ее. Близость Пушкина, в черты которого он вглядывался жадно, близость его жены-красавицы, ослепившей его своей красотой, — все это смущало его чувства, трепет, радость, смешивалось в нем со страхом и мучениями самолюбия.

Отчасти о том, что говорил Плетнев Пушкину про Гоголя, можно судить по его письму Пушкину еще в Москву от 22 февраля 1831 года. «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, м. б. заметил в «Северных Цветах» отрывок из исторического романа с подписью 0000, также в «ЛГ» «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из м/р повести «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский. Он воспитывался в Нежинском лицее Безбородко. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учители. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает».

Плетнев не ошибался насчет Гоголя, но он не догадывался, что молодой провинциал уже понял его характер и за короткое время успел овладеть им. Природная чуткость Гоголя на людей подсказала ему, что Плетнев очень добр, что в литературном смысле он лишь отражение его более одаренных друзей (Пушкина, Жуковского, Вяземского) и что согласие с его мнениями и убеждениями — лучший способ завоевать его доверие и расположенность. Плетнев, с которым Гоголь дружил потом всю жизнь, был для него не только ступенью к Пушкину, ступенью в круг литературы, где господствовал пушкинский дух и сам Пушкин. Это была и ступень к издателям, к «Литературной газете», к вхождению в знатные семейства, которые могли помочь ему в будущем своими рекомендациями. По протекции Плетнева Гоголь получил частные уроки в домах князя А. В. Васильчикова, генерала П. И. Балабина, статс-секретаря П. М. Лонгинова.

Как характер более слабый, Плетнев незримо для самого себя сразу же подчинился воле Гоголя и верил в его уверения, как в свои. Внешне все выглядело иначе: Плетнев был меценат, покровитель, старейшина, вводящий чуть не за руку робкого ученика в свет, Гоголь — ученик, стесняющийся и почтительно поглядывающий на него, но на деле уже не его вели, а он вел, и так в отношениях с Плетневым, да и с большинством людей, окружавших Гоголя, будет всегда.

Плетнева он уже не боялся. Он не боялся и Жуковского, ибо мгновенно оценил его великое бескорыстие и доброжелательство. Статский «генерал», воспитатель наследника, живущий во дворце и ежедневно видящийся с царем, Жуковский был нестрашен, ибо был бесконечно добр, отзывчив и чуток к любому искательству. С ним было легко.

Пушкин был особ статья: с Пушкиным он так обращаться не мог. И не потому, что Пушкин был Пушкин, но и потому, что воле Пушкина трудно было что-то навязать, хотя, как оказалось позже, и его, Пушкина, Гоголь сумел сделать ходатаем по своим делам. Поверив в Гоголя, оценив в нем талант, Пушкин с открытой душой взялся ему помогать и покровительствовать. Это не означало личной близости, допущения до своей жизни, но — всегдашнюю и бескорыстную пушкинскую отзывчивость и желание помочь, которые вскоре и оседлал Гоголь.

Что прочел Гоголь на лице Пушкина? Усталость, оживленность, равнодушие, интерес? Это уже не был Пушкин его детства, его нежинской юности, автор вольных «Цыган», «Бахчисарайского фонтана» и даже «Полтавы».

«Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море», —

писал накануне их встречи Пушкин. Он уже автор «Поэта и толпы», автор «Бесов» и «Монастыря на Казбеке». Он пишет о «далеком, вожделенном бреге», темные предчувствия, как клубящиеся в вихре метели бесы, носятся в его сознании. Он пишет о «пристани», к которой хотел бы наконец пристать, о гласе Гомера и арфе серафима, которым внемлет в ужасе и восторге, отдаляясь от земных сует. «Ты понял жизни цель: счастливый человек, для жизни ты живешь», — пишет он в стихотворении «К вельможе», грустно оглядывая в нем события последних пятидесяти лет, переменивших Европу. Он не видит выхода в политике, в прямом действии, которое всегда орошается кровью, он оглядывается назад, в историю, и там ищет объяснения заблуждений и ошибок своего века.

Пушкин углублен в себя и в историю, он не рассчитывает ни на ответное «эхо» толпы, ни на ее понимание. «Когда, людей повсюду видя, в пустыню скрыться я хочу...» — вырывается у него строка, которая говорит о глубоком чувстве одиночества и желании бегства от того, к чему влекут его обстоятельства. Обстоятельства — это женитьба, заботы женатого человека, это, наконец, литературная борьба, которую он продолжает вести на страницах «Литературной газеты» и «Телескопа», как Пушкин и как безымянный рецензент и автор реплик, как Феофилакт Косичкин.

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть — на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Пушкин пишет о «закате», Гоголь — весь восход, восхождение на те вершины, с высоты которых Пушкин уже грустно взирает на землю. Он стремится к земле, но, веря, что еще «будут наслажденья», знает и о пределе их, о конце, ибо «прощается» с любовью, а любовь для Пушкина — это жизнь. Перед ним открываются двери кельи Пимена (через два месяца в Царском он получит благословение царя на занятия в архивах) и златые двери дворцов и парадных залов, куда устремлено честолюбие его жены, света, роскоши пиров и маскарадов, то есть дорога Гришки Отрепьева, дорога «греха алчного», как скажет он позже, греха жизни самой, без которой он тоже не может. Удаление в пустыню, бегство — это

путь Пимена, но Пимен стар, он оставил эти искушения, лишь изведав их, пройдя чрез брани и кровавые потехи, и они манят еще молодого Пушкина. Он еще думает о журнале, о Булгарине, об уничтожении и унижении его, он в мирском, земном, и он над ним, там, где стоит одинокий монастырь на Казбеке.

Многих из этих строк Гоголь еще не знает — они будут напечатаны несколько лет спустя или после его смерти. И не в том дело, знает он их или нет. Мы-то знаем их.

«Закат»... Нет, до заката было еще далеко. Еще такую бурю житейскую, такую грозу должна перенести пушкинская душа, так унизиться житейски и так вознестись духовно еще предстоит Пушкину, еще столько прекрасных строк родится под его пером и прольется слез пушкинских над ведомыми и неведомыми нам вымыслами. Но настанет час, когда неумолимый глас критики, глас другого человека из провинции, замеченного и отмеченного им, продираясь через шепот и хихиканья глупцов и скопцов от литературы, произнесет это роковое слово «закат». Впрочем, если быть точным, то он скажет буквально следующее: «...Г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным». Эти слова будут произнесены в 1835 году Белинским.

Пушкин не оставит своего места до конца дней, оно сохранится за ним навечно — первое место в рядах пашей словесности. Но он уже будет близок к концу своего земного пути. О нем, об этом конце, и будут его мысли в 1830—1831 годах. И явленье молодого малоросса, смешного в своей претензии на щеголеватость, плохо причесанного, стеснительного и краснеющего при виде красивой женщины, ничего не скажет ему в тот вечер. Оно никак не свяжется с тайными думами Пушкина.

...Пушкин и Наталья Николаевна сели в дрожки (хозяин и гости вышли проводить их), а Гоголь еще остался. Его придержал за рукав Плетнев, желавший выведать о впечатлении, произведенном Пушкиным. Дрожки, стуча по мостовой, отъехали, но надо ли было расспрашивать молодого поэта о впечатлении? Он все смотрел вслед удалявшемуся экипажу, и щеки его горели, а рука все еще чувствовала крепкое пожатие руки Пушкина.

4

В начале июня Гоголь со своим подопечным полоумным князем Васильчиковым и его матерью Александрой Ивановной и их домом выехал в Павловск.

В Павловске он дописывал вторую книжку «Вечеров». Что-то менялось, ломалось в его настроении и так же ломалось в писании. К былям

старины примешивалось настоящее. Все чаще взгляд его обращался к картинам современным, и в одной тетрадке возникали страницы о запорожцах, о борьбе Козаков с ляхами и мирные картины недавно оставленной им Миргородщины. Рядом с приключениями кузнеца Вакулы ложился Шпонька, сказка мешалась с прозою быта, XVII век с XIX.

Гоголь и сам назвал их былями и небылицами, «болтовней», «побасенками». Слова эти он вложил в уста Пасичнику, Рудому Паньку, в котором некоторые исследователи склонны видеть автора: Рудый он потому, что и Гоголь в молодости был несколько рыжеват, Панек — в малороссийском просторечии внук Опанаса, Афанасия.

По вечерам, когда несчастный князь засыпал, Гоголь уходил в отведенную ему комнату и работал. «Вечера» писались вечером, ночью. Может, поэтому в них так вдохновенно описана ночь, тишина ночи и завораживающие ночные сны. Гоголь — поэт ночи: «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или утопленница». На ночь падают фантастические события «Сорочинской ярмарки», ночью совершается убийство в «Вечере накануне Ивана Купала», месть в «Страшной мести».

По ночам морочат черти героев в «Пропавшей грамоте» и «Заколдованном месте».

Позже временем писания для Гоголя станет только утро, но в ту пору, в пору начала своих литературных занятий, он вынужден будет отдавать ему часы, предназначенные для сна.

Он уехал в Павловск, когда первая книжка «Вечеров» была уже разрешена цензурой. В нее вошли повести «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или утопленница» и «Пропавшая грамота». Дело оставалось за типографией, и Гоголь волновался, ожидая известий из Петербурга.

А вести оттуда шли дурные. С запада, из Белоруссии на столицу надвигалась холера.

«Тяжелое время, тяжелый год», — писал Пушкин Плетневу. Он писал это из Царского Села, где жил в доме Китаевой на большой дороге. В конце 1830 года восстала Польша. Повстанцы объявили Романовых низложенными с польского престола. Царский наместник в царстве Польском великий князь Константин Павлович бежал из своего дворца в Варшаве. В феврале состоялось Гроховское сражение, в котором русские потеряли около десяти тысяч убитыми. Это был не временный бунт, а настоящая война с участием регулярных войск с той и с другой стороны.

В середине июня холера появилась в Петербурге. На заставах выставили карантины. Окружили они и Царское Село, и Павловск. Начинающаяся жара вынудила двор переехать в Царское, которое до этого пустовало. Вместе со двором прибыли сюда воспитатель наследника Василий Андреевич Жуковский и штат фрейлин, в котором состояла «черноокая ласточка», двадцатилетняя Александра Осиповна Россет.

Жуковский поселился в Александровском дворце, фрейлина — вблизи покоев императрицы. Императрица ждала разрешения от бремени, и это вносило дополнительную ноту волнения в жизнь двора. Так неожиданно Гоголь оказался не в тихом заброшенном месте под Петербургом, а вблизи царя, гвардии и света. От Павловска до Царского было несколько более часа ходьбы.

Уже и в Павловске, опасаясь заразы, нюхали уксус, пили мятную траву, ромашку, уже люди в Петербурге умирали сотнями, и страхи, увеличиваясь, росли, а строгости на карантинных пунктах усиливались. Еще до переезда двора в Царское в столице начались волнения. Народ вытаскивал врачей на улицы и, крича, что они отравляют людей, вершил над ними расправу. 23 июня Николай прибыл в Петербург и направился на Сенную площадь. Его появление в открытой коляске посреди бушующего моря толпы произвело впечатление. «До кого вы добираетесь? — сказал царь. — Кого вы хотите? Меня ли? Я никого не страшусь, вот я (при этом, как пишет историк, показал в грудь)». Народ пал на колени. После сего государь отбыл на Елагин остров. И об этом рассказывали с восторгом в Павловске. Но разговоры эти, равно как и близкое присутствие двора, Гоголя не трогали. В его павловских письмах домой, которые долго добирались до Васильевки через карантины, нет ни слова об этом. Нет в них упоминаний и о других событиях — о бунте в Старой Руссе, в военных поселениях, которые вынудили царя во второй раз покинуть столицу и выехать для усмирения бунтовщиков.

«Плохо, ваше сиятельство, — писал Пушкин Вяземскому. — Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы. Кажется, дело польское кончается; я все еще боюсь: генеральная баталия, как говорил Петр I, дело зело опасное. А если мы и осадим Варшаву... то Европа будет иметь время вмешаться не в ее дело. Впрочем, Франция одна не сунется; Англии не для чего с нами ссориться, так авось ли выкарабкаемся.

В Сарском Селе покамест нет ни бунтов, ни холеры; русские журналы до нас не доходят, иностранные получаем, и жизнь у нас очень сносная. У Жуковского зубы болят, он бранится с Россети; она выгоняет его из своей комнаты, а он пишет ей арзамасские извинения гекзаметрами».

Мысли о политике, как и сама политика, гораздо сильнее волновали Пушкина, чем Гоголя. Он с юности привык осторожно относиться к

событиям такого рода и не высказываться о них. «Собачья комедия нашей литературы» волновала его острее, чем победы или поражения Дибича и наши успехи и неуспехи в глазах Европы. Лишь раз, уже по приезде в Петербург, он упомянет в письме к Данилевскому о «временах терроризма, бывших в столице», имея в виду холерные вспышки, усмиренные государем.

Поэтому с Пушкиным и Жуковским во время их встреч в Царском Гоголь будет мало говорить о Польше, о Старой Руссе и реакции Европы на действия русских войск. Эти разговоры Пушкин и Жуковский будут вести между собою.

Уже в первом письме Гоголя из Павловска появляется приписка: «Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, в Царское Село, так:

Его Высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину. А вас прошу отдать Н. В. Гоголю».

В следующем письме он спрашивает маменьку: «Помните ли вы адрес? на имя Пушкина». Тут содержится прямое преувеличение. И уж тем более, как он хвастается в письме к Данилевскому, он не мог встречаться «каждый вечер» с Пушкиным и Жуковским в Царском. Во-первых, потому, что он не мог отлучаться от своего ученика. Во-вторых, сами Жуковский и Пушкин не имели времени проводить свои вечера с ним, ибо Жуковский был занят при наследнике и жизнь его зависела от распорядка жизни двора, к которому учитель князя Васильчикова не был допущен, а Пушкин жил в это время с юной женой, проводил с ней первые медовые месяцы и но очень стремился к общению.

Летом 1831 года в Царском чета Пушкиных не раз встречалась в парке с царской четой, и императрица благосклонно разговаривала с юной красавицей Гончаровой. Трудно представить себе в этой жизни рядом с Пушкиным... Гоголя. Если он и появлялся у них, то раза два-три за все лето. Во всяком случае, в многочисленных письмах Пушкина из Царского (в том числе к П. А. Плетневу) Гоголь не упоминается, а если упоминается, то только косвенно. В одном месте, обсуждая с Плетневым план издания альманаха «Северные Цветы», Пушкин напишет, что стихи для альманаха есть, но «проза нужна», в другом, говоря об ужасах холеры и неминуемой смерти, сам себе возразит: «Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья...»

И лишь когда Гоголю настанет пора ехать в Петербург, Пушкин передаст с ним посылочку для Плетнева — «Повести Белкина»: «Посылаю тебе с Гоголем сказки моего друга Ив. П. Белкина; отдай их в простую цензуру, да и приступим к изданию».

Дела звали Гоголя в столицу. Холера спала, были сняты карантины. В типографии Департамента народного просвещения уже печатались

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Кроме того, надо было менять квартиру — прежняя не устраивала его. Но ничего лучшего не нашлось. Средства не позволяли переехать в район побогаче — он снял две комнатки в третьем этаже, на Офицерской улице, выходящей на Вознесенский проспект.

Позднее Гоголь поселит на этом проспекте своего цирюльника Ивана Яковлевича («Нос»). Он станет всем своим петербургским героям дарить собственные адреса. В местах, обжитых им, поселятся и майор Ковалев, и Поприщин («Записки сумасшедшего»), и художник Пискарев из «Невского проспекта».

Переехав на новую квартиру, Гоголь отправился в типографию. Едва просунул он нос в ее двери, как раздался смех и фырканье. Смех этот смутил и без того застенчивого малоросса. Но оказалось, что смеются не над ним, а над теми «штучками», которые он изволил прислать для набора из Павловска. Фактор объяснил ему, что они «оченно до чрезвычайности забавны». Сообщая об этом Пушкину, Гоголь не преминул добавить, что он, вероятно, писатель «совершенно во вкусе черни».

Пушкин ответил: «Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъяснениями фактора».

В своем письме к Пушкину Гоголь перепутал имя его жены, назвав ее не Натальей Николаевной, а Надеждой Николавной. Пушкин это заметил: «Ваша Надежда Николавна, т. е. моя Наталья Николавна — благодарит Вас за воспоминание и сердечно кланяется Вам».

Тон письма Пушкина дружествен, но сдержан. Он всегда останется таким по отношению к Гоголю. При всем своем расположении к Гоголю Пушкин никогда но будет с ним открыт. Гоголь — даже при росте своего понимания о себе — не решится перейти разделявшее их до того расстояние.

Если письма его к Жуковскому, Плетневу (писанные в то же время), как и потом к М. П. Погодину, И. И. Дмитриеву и другим московским литераторам, которых он завоевал сразу и всех в свой приезд в белокаменную в 1832 году, *определенны,* в них есть раз и навсегда избранная для каждого интонация, то в переписке с Пушкиным Гоголь этой интонации так и не найдет. Впрочем, их сношения по почте трудно назвать перепискою (сохранилось всего 9 писем Гоголя к Пушкину, относительно коротких, и 3 письма Пушкина к нему, еще более кратких), но они тем не менее единственное письменное свидетельство их отношений, *тона* Пушкина и *тона* Гоголя.

Вообще, в письменных, как и в устных, связях, как поставишь себя, так уж и пойдет. И Гоголь, например, безошибочно ставит себя в отношении

Плетнева, Жуковского и других. Плетневу он пишет письма, проникнутые заботами о педагогике, письма младшего к старшему (но не с большой дистанцией в летах и почтении), Жуковскому — в витиеватом стиле его баллад, старцу Дмитриеву, сидящему в провинциальной Москве и вспоминающему дни былые (первый сатирик, русский Ювенал, к тому же министр), — в подобострастном тоне совсем молодого, пригретого добрыми лучами снисхождения «старейшины» и патриарха. Погодину (хоть он и профессор, известный на Руси историк, издатель) — в простецки-свойской манере, так и клонящей адресата перейти на «ты».

Прошлое Погодина — отец его был крепостным, а сам он долгое время состоял учителем в богатых домах — давало основания для такой фамильярности.

Отметим здесь, что Гоголь в отношениях с людьми очень быстро избавляется от неловкости и переходит от почтительно-просительной, даже заискивающей интонации к приятельству, от несмелого взгляда снизу вверх к тому, чтобы самому смотреть несколько сверху. История его литературного и житейского возвышения, почти скачка (вчера писец в департаменте, сегодня автор двух книжек «Вечеров;), собеседник Пушкина и Жуковского) есть феномен, но для Гоголя он естествен. Он естествен для его таланта и воли, а также незаурядного умения повелевать обстоятельствами.

Это естественно и для внутреннего его знания о себе: он все это предвидел, был к этому готов, только случай должен был представиться, и случай не замедлил быть.

Но и случаи эти Гоголь умел подстраивать, организовывать, создавать, то не было везение, то было торжество его раннего знания жизни и людей.

Первое письмо к Пушкину (от 16 августа 1831 года) выдает, однако, некоторую растерянность Гоголя. Он не знает, как вести себя с Пушкиным. Одно дело — присутствие при разговорах с Пушкиным, другое — беседа на бумаге, один на один. И он несвязно извиняется.

Извинения эти связаны с тем, что Гоголь так-таки и не заехал за «Повестями Белкина» (их пришлось доставить к Гоголю через других людей) ; во-вторых, он поставил Пушкина в неловкое положение, приказав маменьке и другим своим знакомым писать «на имя Пушкина в Царское Село». Пушкин его об этом не просил, Пушкин ему этого не разрешал. Можно предположить, что он это сделал без ведома Пушкина, на свой страх и риск — ради эффекта.

В первом случае Гоголь все валит на своих спутниц, спешивших увидеться с мужьями в столице (мог бы сочинить что-нибудь

поувесистее), во втором пишет следующее: «я узнал большую глупость моего корреспондента. Он, получивши на имя мое деньги и знавши, что я непременно буду к 15 числу, послал их таки ко мне на имя ваше в Царское Село вместе с письмом». Кто мог быть этим корреспондентом? Только мать Гоголя. Кому, как не ей, напоминал он: «Помните ли вы адрес? на имя Пушкина, в Царское Село». Тут уж «глупость» со стороны Гоголя, и довольно большая глупость, ибо в светских отношениях такой поступок — дурной тон, который можно простить разве что близким друзьям.

Чувствуя все это, Гоголь крутится и изворачивается («приношу повинную голову, что не устоял в своем обещании по странному случаю... Может быть, и ругнете меня лихим словом; но где гнев, там и милость...»), спотыкается в извинениях и реверансах.

Следующее его послание Пушкину уже несколько повеселей и поразвязнее. Гоголь избирает легкий тон, шутливую интонацию, временами перемежающуюся восторженностью. Восторженность адресуется Пушкину, шутит он о Булгарине и о себе. Здесь он сообщает о впечатлении наборщиков от его «Вечеров» и солидаризуется со статьей Пушкина «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов». Статья (в которой Пушкин высмеял трогательную дружбу Николая Ивановича Греча с Фаддеем Венедиктовичем Булгариным, а заодно и автора бесчисленных «нравственно-сатирических романов» А. А. Орлова) еще не появилась в «Телескопе», но Гоголь обнаруживает знакомство с ее текстом. Письмо Гоголя — развитие и продолжение мыслей статьи Пушкина и предложение, пока шутливое, своих услуг по борьбе с булгаринской партией.

Гоголь истово подпевает в этом письме Феофилакту Косичкину (знание им истинного имени автора говорит о степени литературного доверия Пушкина к Гоголю), но предлагает свой вариант сравнительной критики Орлова и Булгарина. И надо признать, что его проект даже несколько более убийствен, чем тот, которым воспользовался Пушкин.

Если Пушкин идет по линии унижения и уничтожения личности Булгарина, то Гоголь избирает шутовскую форму «ученой критики», некоего «эстетического разбора», где видны элементы любимой Гоголем мистификации, игры с читателем.

Он советует углубиться в художественную материю романов Булгарина и, извлекая из них несуществующие цитаты, строго спрашивать за них с Фаддея Венедиктовича.

Тут издевка косвенная и двусторонняя: Булгарин как будто рассматривается *кап писатель,* и вместе с тем показывается, что эстетическая критика, как ни старается, ничего не может найти в нем. При этом Гоголь вводит фон борьбы классицизма и романтизма и ставит

Булгарина в ряд романтических гениев, в ряд Байрона и Гюго. «Россия, — пишет он, — мудрости правления которой дивятся все образованные народы Европы, и проч., и проч. (прямое пародирование статей Булгарина в «Пчеле». — *И. З.),* не могла оставаться также в одном положении. Вскоре возникли и у ней два представителя ее преображенного величия...» Булгарин (не перестававший гордиться тем, что его читают в Европе, и не устававший повторять о том в своей «Пчеле») сравнивается с Байроном, на которого он будто бы даже внешне похож. «Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона; в самых даже портретах их заметно необыкновенное сходство». «Ведь это мысль не дурна сравнить Булгарина с Байроном», — замечает Гоголь, и мы должны согласиться с ним. Из аналогии Булгарин — Байрон вытекает множество смертельных для автора «Выжигина» сопоставлений, которые развенчивают как «романтизм» его биографии, так и «романтизм» его прозы.

Пушкин ответил Гоголю: «Проект Вашей ученой критики удивительно хорош».

14 сентября 1831 года в библиографических прибавлениях о книгах, вышедших с июля по 15 сентября под рубрикой «романы», «Северная Пчела» сообщила:

«...Повести покойного И. П. Белкина (в прозе), изданные А. П. (известным нашим Поэтом) СПБ., в Т[иногра-фии] Плюшара, 1831, (12), XIX, 187 стр.

...Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Книжка 1-я, СПБ., в Т[ипографии] Департамента народного просвещения. 1831 (12), XXII, 244стр.».

Таким образом, Гоголь и Пушкин вновь оказались рядом. И не только на газетной странице. Начиналась новая пора в русской литературе — пора прозы, и открыли ее два поэта, один — близкий к завершению своего пути, другой — начинающий его. Мнение о книге Гоголя было благоприятным. Молодого автора хвалили, поощряли. Хвалили за верность малороссийской действительности, ругали за отступления от нее. Первой отозвалась «Пчела».

Она посвятила «Вечерам» две статьи в двух номерах и начала с экскурса в историю вопроса, с выяснения того, как писали о Малороссии до Пасичника. Баланс получался в пользу Гоголя. Его «запорожский юмор», верность «казацким костюмам» ставились в пример. Более всего нравилось «Пчеле» то, что указывало на быт. Что же касается целого, оно, по мнению рецензента, «несколько сбивалось на водевильный тон». Внести дух водевиля в историю — это была неплохая идея, но автор рецензии имел в виду другое. Его не устраивали в Пасичнике «недостаток творческой фантазии» и вольность в обращении с историей.

О том же напоминал Гоголю и булгаринский «Сын отечества и Северный архив». Пространная статья А. Царынного (А. Стороженко) вся состояла из параллелей между украинской явью и текстом «Вечеров». Автор указывал Рудому Паньку на то, что:

На Украине парубки не напиваются допьяна.

Козаки не играют на бандуре.

Свадьбы не играются на ярмарках.

«Цыган… не имеет места в картине, представляющей быт честных и богобоязливых коренных жителей Малороссии».

5

При Екатерине I и Анне Иоанновне гетманов на Украине не было, а если речь идет о времени Екатерины II (в повести «Пропавшая грамота»), то тогда уже существовали почты и незачем было посылать гонца.

Точно так же понял все и Н. Полевой в Москве — только его раздражали неумеренные похвалы «Пчелы», и он не преминул полаяться с нею публично, а заодно и остудить «молодого хохла»: во-первых, то был вовсе не «хохол», а «переодетый москаль», он не знал ни малороссийских обычаев, ни языка. Кроме того, он дурно знал историю, хотя и пытался подражать Вальтеру Скотту как в использовании исторического материала (действие повестей Гоголя было отнесено в XVII и XVIII века), так и в желании скрыть свое истинное имя. «Что у вас за страсть быть Вальтер — Скоттиками? — вопрошал рецензент «Телеграфа». — Что за мистификации? Неужели все вы, г. г. сказочники, хотите быть *великими незнакомцами…?»* Но «Вальтер Скотт, — указывал он, — умел поддерживать свое инкогнито, а вы, г. Пасичник, спотыкаетесь на первом шагу». Ничего не понял Н. Полевой в этой книге, и даже в юморе он отказывал Гоголю. Вы, сударь, проницал он, «не умеете быть ловким в смешном и всего менее умеете шутить» .

Пушкин в своем отзыве ответил Полевому: «ИСТИННО ВЕСЕЛАЯ КНИГА».

Этот отзыв появился в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и был подан как письмо к издателю, которое вставил в свою рецензию на «Вечера» Л. Якубович. В этом отклике было все: и пушкинская щедрость, и пушкинская лапидарная точность, и пророческое видение существа дара Гоголя. Не тратя бумаги, Пушкин объявлял публике о явлении «необыкновенном в нашей нынешней литературе», «…прочел «Вечера близ Диканьки», — писал он. — Они *изумили* меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая *поэзия!* какая *чувствительность!»* Далее он пересказывал случай, рассказанный ему

Гоголем, — о реакции в типографии на веселую книжку — и добавлял: «Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков». И хотя Пушкин еще не знал ни критику Полевого, ни статьи в «Сыне отечества и Северном архиве», где автора иронически сравнивали с Вальтером Скоттом, он как бы снимал иронию с уподобления Рудого Панька *первоклассным талантам европейской литературы.* Мольер и Фильдинг были помянуты им не случайно.

Пушкин не разбрасывался комплиментами, тем более всуе не поминал великих имен. Что это так, в частности, по отношению к Гоголю, говорит и его второй отзыв на «Вечера» (точнее, на их вторую книгу), напечатанный пять лет спустя в «Современнике». Здесь Пушкин напомнит читателю о «том впечатлении», которое произвело появление книги Гоголя. «Как изумились мы, — пишет Пушкин, дословно повторяя выражение, употребленное им в первом отклике, — русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!» Заметим, что именно первая книга «Вечеров» названа здесь «русскою книгою».

И еще один казус из откликов критики в ту осень мы должны отметить. В той же «Пчеле», где она хвалила Гоголя за «запорожский юмор», ему был выдан комплимент, которого он едва ли мог ждать от нее. Черным по белому было напечатано: «...Мы не знаем ни одного произведения в нашей литературе, которое можно бы было сравнить в этом отношении с повестями, изданными Рудым Паньком, — разве Борис Годунов пойдет в сравнение...» Сделал ли это рецензент сдуру или таково было скрытое намерение газеты — ущипнуть Пушкина, подразнить Пушкина, но так или иначе это была из похвал похвала. Что там Фильдинг и Мольер, они далеко, их нет, а Пушкин... он рядом, и он глава поэтов. И еще «Пчела» писала о повести «Вечер накануне Ивана Купала»: «...непоколебимое, *внутреннее верование в чудесное* напечатано в каждом слове рассказа и придает оному характер *пергаментной простоты...»*

Нет, Гоголь не мог обижаться на критику. Она не только снисходительно, но и ласково приняла его. Пусть она не за то хвалила его. Но Пушкин понял. Он единственный отгадал природу таланта Гоголя: истинная веселость и — внутри ее — поэзия и чувствительность. Это понимание лиризма Гоголя, одушевляющего его смех, божественного огня (и прежде всего в сочувствии и любви к человеку), без которого его юмор был бы только юмор, и есть пророчество Пушкина. Л. Якубович, присоединявшийся к мнению Пушкина, был прав, когда писал, что «великий талант... отдает *полную* справедливость юному таланту».

* * *

Гоголь благодушествует и пишет вторую часть «Вечеров». Она, собственно, написана, но нужно кое-что дописать, выверить, помарать и

поправить. Настроение у него веселое, у него даже слегка кружится голова. Впервые в жизни у него завелись деньги, и он спешит к Ручу (лучший петербургский портной) заказывать фрак, у Пеля оставляет заказ на лучшие в столице сапоги, ездит только на извозчике. Заглядывает и он в такие заведения, про которые не принято писать в благородных биографиях, но что поделаешь — такова жизнь, в особенности жизнь молодого человека, вчера еще считавшего гроши, а сегодня проснувшегося богатым.

Итак, он одет, на хорошей квартире и должности, о нем говорят в газетах, столпы российской словесности беседуют с ним как со *своим,* и успокоена маменька и провинция, так долго сокрушавшиеся, что он не генерал, а учитель. «Порося мое давно уже вышло в свет… — пишет он в те дни Данилевскому. — Оно успело уже заслужить славы дань, кривые толки, шум и брань».

Он рассказывает своему товарищу о вечерах, проведенных в Царском, и в том же тоне сообщает маменьке, что «испанский посланник, большой чудак и погодопредвещатель, уверяет, что такой непостоянной и мерзкой зимы, какова будет теперь, еще никогда не бывало…». Это звучит так, как будто он знаком с этим испанским посланником уже не один год и видится с ним чуть ли не ежедневно.

Он сердится на полтавского почтмейстера за задержку его корреспонденции и грозит тому, что донесет на него куда следует, и более всего тем высоким особам, с которыми *лично знаком* и кому подчиняется русская почта. То князь Голицын (главноуправляющий почтовым департаментом), Булгаков (директор почтового департамента и сам Кочубей, председатель Государственного совета.

«Сделайте полтавскому почтмейстеру строгий допрос, — пишет он матери, — где находится следуемая вам посылка, и почему он не дал вам знать тотчас по получении ее? Это дело такого рода, за которое сажают под суд…» «Скажите мошеннику полтавскому почтмейстеру, — прибавляет он в том же тоне, — что я на днях, видевшись с кн. Голицыным, жаловался ему о неисправности почт.

Он заметил это Булгакову, директору почтового департамента; но я просил Булгакова, чтоб не требовал объяснения от полтавского почтмейстера до тех пор, покамест я не получу его от вас». Все это была чистейшей воды мистификация, но она, должно быть (правда, с некоторым запозданием), подействовала на полтавского почтмейстера, на любопытство которого и рассчитывал Гоголь, хорошо знавший нравы русской почты. Недаром его дед был почтмейстером, а отец числился по почтовой части, и сам Д. П. Трощинский был некогда министром почт.

Книжка его, как он пишет, «понравилась здесь всем, начиная от государини...» «Будьте здоровы и веселы, — повторяет он, — и считайте все дни не иначе как именинами...»

То была для него пора именин, именин сердца, скажем мы, пользуясь его собственным позднейшим выражением. И потому он желает всем «трудиться и веселиться». Вглядываясь в эти его пожелания, думаешь, что для Гоголя веселье — это естественное состояние *жизни,* проявление полноты ее, лишенной чувства недостатка или ущербности. Это не в буквальном смысле слова смех (хотя и смех тоже), а именно состояние радости бытия, упоения им, безбрежности ощущения себя в безбрежном, состояние вдохновения и здоровья.

Если человек живет — он веселится, если он прозябает — нет веселья и нет жизни: это *невеселая жизнь.* Веселье — бодрость духа и тела, надежда и вера, вера в свое настоящее и грядущее, вера в то, что все идет так, как должно. Это и вера на один день, и вера в высшем значении. Все, что по ту сторону этого состояния, — «низкое существование». В нем холодно, зябко, в нем существо человека съеживается, а не распрямляется, уходит в себя, ищет не общения, а одиночества. «Скучно оставленному!» — эти слова уже написаны Гоголем, и они венчают «Сорочинскую ярмарку». Все несется и кружится поначалу в этой повести, веселье — подчас с бесовским (но не мрачным, а лихим) оттенком — вертит и распоряжается действием, и вдруг, когда, кажется, оно должно разрешиться бравурными звуками свадебной музыки, раздается *обрыв струны,* порождающий резкий отзвук грусти в сердце.

Это знаменитый финал, где Гоголь, наблюдая свадебное веселье, внезапно обращает внимание на старушек, как будто бы и принимающих в нем участие, и вместе с тем отсутствующих, далеких от него. От их «ветхих лиц» веет «равнодушием могилы», они если и вступают в круг, то делают это с безжалостностью «автоматов», которые механически повторяют общие движения. Безжизненность и близость смерти — вот что навевает тоску. Смех обрывается на смерти, на угасании, на остывании тепла в человеке, на потухании духа радости, который для Гоголя еще и дух молодости.

Смерть вторгается в жизнь и гасит смех, близостью своею навевает холод на жизнь, как надвигающийся вечер остужает и гасит тепло дня. «Гром, хохот, песни слышались тише и тише. *Смычок умирал, слабея* и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на *ропот* отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не так ли и *радость,* прекрасная и *непостоянная гостья,* улетает от нас, и напрасно *одинокий звук* думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и *пустыню,* и дико внемлет ему... *Скучно*

оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и *нечем* помочь ему».

Вот та самая *поэзия* и *чувствительность,* о которых писал Пушкин! Именно она проглядывает уже в первой книге «Вечеров» через гоголевское «веселье». И уже возникает как отрицание веселья образ тоски, скуки, который, когда Гоголь станет писать «Мертвые души», дорастет до фантастических размеров «Исполинской Скуки», охватывающей мир.

Но пока он веселится. И веселье молодого огня в крови еще берет верх в его писаниях и настроении. То сама жизнь веселится и забивает скуку, тоску и смерть, покрывая их ропщущий — и пока одинокий — звук торжеством смеха.

6

Составляя в 1842 году первое собрание своих сочинений, Гоголь написал для него предисловие. В нем он так отозвался о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности».

Так судил Гоголь свою книгу. То был суд автора «Ревизора» и первого тома «Мертвых душ», автора «Миргорода» и «Арабесок». Меж тем этих сочинений не было бы, не будь «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Более того, без них не понять и последующего Гоголя. Гоголь, для которого *возврат к юности,* к состоянию молодого вдохновения станет мечтой и надеждой.

Мечта и существенность выступают главными героями и этого первого большого творения Гоголя. Мечта здесь как бы преобладает над существенностью, верховодит ею, она вмешивается в прозаическое течение существенности и расцвечивает ее своими красками.

Мир Гоголя в «Вечерах» красочен, многоцветен. Он переливается сотнями цветов — то цвета украинской степи в разгар дня и в час заката, украинского неба, Днепра, праздничного веселья на ярмарке, цвета одежд парубков и дивчат, убранства сельской свадьбы и крестьянской хаты. В изобилии этих красок ощущается чувство изобилия жизни и воображения автора, щедрость глаза и щедрость кисти, способных ,и во сне и наяву увидеть торжество света и цвета.

Живопись «Вечеров» щедра, густа, ярка — нельзя отвести глаз от этого полотна, на котором веселится во всю силу своего жизнелюбия народ — народ, отделенный каким-нибудь столетием от собственного

младенчества, То юность нации, еще не успевшей втянуться в раздробленный XIX век, еще нерасчлененно чувствующей и нерасчлененно мыслящей. Само мышление ее образно, чувственно, художественно — недаром у Гоголя и герои то поэты (Левко), то живописцы (кузнец Вакула), то просто вольные казаки, тоже в некотором роде поэты своего дела. Таков Данило Бурульбаш в «Страшной мести» — образ предшественника Бульбы, образ задумчивого рыцаря, в котором романтическая печаль соединяется с неистовостью запорожца, с безоглядной отвагой и верой в крепость казацкой пики.

Таковы Грицько и его товарищи в «Сорочинской ярмарке», дед дьяка Фомы Григорьевича в «Пропавшей грамоте» и «Заколдованном месте».

Этим героям весело лишь в бою, на миру, на свадьбе или на празднике, когда народ — воюет он или отдается всеобщей «потехе» — срастается, как пишет Гоголь, «в одно огромное чудовище». Это срастание, *слияние* для них: важнейшее чувство, вот отчего почти в каждой повести действуют то свадьба, то ярмарка, то шинок — место сбора толпы, собрания, где раздаются песни, рассказывают небывальщины, танцуют, ссорятся, мирятся. Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — мастер массовых сцен, в которых вихрь единящего переживания захватывает *всех.*

И как сила, отъединяющая, разъединяющая, отторгающая человека от всех и от самого себя, выступает здесь зло. Зло в книге Гоголя, даже если оно является в комическом облике, более всего страшится душевной чистоты. Вот почему на его пути в «Ночи перед Рождеством» встает «самый набожный» из героев повести — кузнец Вакула, а в «Страшной мести» — святой схимник. Вакула побеждает черта своим простодушием, он зачаровывает «врага рода человеческого» своей любовью и своим художеством — так заклинает Гоголь своим художеством нечистую силу.

Зло в «Вечерах» аллегорично, оно предстает в образах народной фантазии и вместе с тем, опускаясь на землю, приобретает черты реального злодейства, вписывающегося в историю Украины. Басаврюк в «Вечере накануне Ивана Купала» шатается в чужой стороне, он «католик», с ляхами водит дружбу и мрачный колдун. «Всего только год жил он на Заднепровье, — говорится о нем, — а двадцать один пропадал без вести». Лишь черт в «Ночи перед Рождеством», кажется, ни то ни се, существо без роду, без племени и *без дома,* что очень важно для Гоголя.

Идея дома, родины составляет капитальную идею «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Нет поганее поступка, чудовищней помысла, чем поступок и помысел против родины. Зло, по мысли Гоголя, безродно, добро всегда имеет дом и родину. Это дом пана Данилы (до того, как в

него явился колдун), дом деда Фомы Григорьевича, дом Пасичника, дом Вакулы и Оксаны в финале «Ночи перед Рождеством», у порога которого стоит молодая мать с младенцем на руках и стены которого изукрашены фигурами казаков верхом на лошадях и с трубками в зубах.

На доме все стоит, домом и строится. Дом, построенный на любви, на согласии, стоит долго. Дом, основанный на несчастье, разрушается. Так разрушается и сгорает хата Петруся и Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала», исчезает в огне замок колдуна, остается в запустении дом сотника в «Майской ночи». В каждом из них обитало *преступление*.

Гоголь карает сказочное зло сказочным способом. Страшная месть в одноименной повести напоминает страшный суд. Даже образ Всадника на вороном коне, стоящего на горе Криван (в Карпатах) и поджидающего зло, навеян образом всадника из Откровения Иоанна Богослова. Катерина говорит отцу-колдуну: «Отец, близок страшный суд!»

Страшный суд, совершающийся над колдуном в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», апокалипсичен — то не частное осуждение одного грешника, а как бы справедливая тризна по мировому Злу: поэтому отворяются пространства, раздвигаются дали, и из Киева становятся видны Карпатские горы. И за одним грешником тянется цепь грешников, тянется весь род греха — от мертвецов, лежащих в могилах, до живущего еще колдуна.

Стихия сказки, предания, народной песни вольно чувствует себя в этой, может быть, единственно гармонической книге Гоголя. Как ни страшны страсти, которые раздирают ее героев, как ни много здесь горя, страдания и искусов, книга эта все же светлая, праздничная и воистину может быть сравнена с «игрой» (это слова Гоголя), с огромною ярмаркою страстей, где злые страсти умиряются светлыми, где радость одолевает горе, а смех, веселье и вдохновение берут верх над унынием и предчувствием раскола. Речь идет о расколе мечты и существенности, об их вражде, о трагическом разрыве между ними, которые очень скоро и непоправимо осознает Гоголь.

Тут они еще в единстве. Сказка пересиливает существенность, но не отрывается от нее. Тут и обыкновенная жизнь сказочна, фантастична. Чудесные приключения случаются с героями на земле, в их хатах, посреди потребления горилки, бесед о строительстве винокурен, о ценах на ярмарке, о продаже лошадей и пшеницы. Ведьма в «Ночи перед Рождеством» обыкновенная баба, к ней пристают мужики с заигрываниями, ведьма в «Сорочинской ярмарке» просто Хивря, то есть Хавронья, свинья. К ней наведывается через плетень молодой попович. Черт в «Ночи перед Рождеством» и вовсе смешон, он мерзнет на морозе, дует в кулак, его бьют плеткой, сажают в карман, оседлывают, как коня.

И таинственная утопленница в «Майской ночи» сует Левко в руки прозаическую записку от комиссара с приказанием голове немедленно женить своего сына на Ганне.

Мечта-сон и мечта-явь не разделяются у Гоголя. Мечта не выморочна, не тщедушна. В ней нет натяжки, болезненности, бессилия вымысла, который не может совладать с реальностью и потому отрывается от нее. Она в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» еще полнокровна, победоносна, как и поднимающаяся с ней вместе в царство сказки жизнь.

Действие свободно переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в XVII («Вечер накануне Ивана Купала»), затем в XVIII («Майская ночь, или утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII («Страшная месть»), и опять в XIX («Иван Федорович Шпонька и его тетушка»). Окольцовывают обе части книги рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича — лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Само время не разрывается на страницах книги Гоголя, пребывая в некоем духовном и историческом единстве. То «прадедовская душа шалит», как говорит Фома Григорьевич, и души внуков — рассказчиков «Вечеров» — откликаются ей.

7

Все, кто помнит Гоголя в ту пору, помнят его веселым. Он оживлен и одушевлен, несмотря на грянувшие холода, на петербургский мороз, который теперь не так сильно щиплет его за уши, ибо на нем новая шинель. Он прогуливается по Невскому с тростью, еще не узнанный, но уже известный, хотя известность его ограничена кругом редакций, нескольких домов и родной Васильевки.

В самый бы раз подумать и о подруге жизни, о приключении, которое приличествует молодому человеку 23 лет, кое-чего уже достигшему. Да и первые проблески надвигающейся весны (на солнечной стороне Невского уже пригревает и капает) к тому подталкивают. Подстегивает его и закадычный друг Данилевский, который шлет ему жаркие письма с Кавказа (он лечится в Пятигорске), где у него завязался истинный роман на водах в духе Марлинского, с тем исключением, что его возлюбленная падка на дары, и Гоголю летят заказы на французские духи, ноты, новейшие книжки и просьбы заказать модное платье у того же Руча «Солнце Кавказа» (как называет Данилевский свою незнакомку), видать, сильно жжется, и дыхание этого огня доносится до стен холодной столицы и до чувствительного сердца поэта.

Да и не один Данилевский — все вокруг или влюблены, или женятся. О своих похождениях докладывает старый нежинский ловелас Кукольник, увивается за хорошенькой актриской Прокопович, да и собственная

сестра Гоголя, Мария, готовится к свадьбе. Сообщения об этом поступают из Васильевки, и маменька намекает ему, что недурно бы расщедриться на подарок. Он посылает сестре пятьсот рублей (еще год назад — весь его годовой оклад) и подробно расспрашивает о женихе.

Итак, настало время и ему подумать о себе *с этой стороны,* взглянуть на себя глазами отца семейства и главы дома. Вон и Пушкин женился, хотя теперь его «нигде не встретишь, как только на балах» (строчка из письма к Данилевскому) и не очень-то он как будто счастлив. (Пушкин в то время пишет: «нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя».) Сосватана и черноокая Россет, и только один Жуковский, кажется, собирается коротать свой век холостяком, но ему пятьдесят.

И вот в письмах к Данилевскому (являющихся ответами на его страстные признания в любви к «солнцу Кавказа») начинают мелькать гоголевские намеки на щекотливую для него тему — щекотливую потому, что он о чувствах своих рассуждать не охотник. Не будь Данилевского и этой его страсти, мы, может быть, так бы и не узнали ничего *об этом* от молодого Гоголя, но вот повезло — влюбился красавчик офицер и разбередил сердце друга. Переписка с Данилевским — возвышенная со стороны Данилевского и ироническая со стороны Гоголя — приоткрывает некоторую завесу над тайной, которой всегда было ограждено все интимное в жизни Гоголя. Все, что происходило с ним, перегорало внутри, но тем сильней был огонь, запертый в сосуде, тем страшней могли быть последствия разгорания этого скрытого пламени.

Вспомним о нежинских «нимфах», о девичьей, об открытости деревенского быта, который был открыт и в любви. Недаром Гоголь в 1833 году, собирая материалы для сборника малороссийских песен М. А. Максимовича, с которым познакомился в Москве и которого полюбил как земляка и как литератора, впишет тому в тетрадь именно «срамные» песни, не ставя стыдливого многоточия там, где они обычно ставятся. Максимович, оправдываясь перед потомством, сделает на полях разъяснение, что песни эти «вписаны рукою властною» Николая Васильевича Гоголя.

Отношение Гоголя к женщине колебалось меж двух крайностей — поэтического обожествления и самого трезвого, почти бытового взгляда на «дела любви». К тому времени, о котором идет речь, оп пишет своего «Шпоньку», где создает образ скромного поручика П *** пехотного полка, владельца осьмнадцати душ крестьян и небольшого имения в Малороссии, которому пришла пора жениться. И как перед великой загадкой останавливается его герой перед проблемой женитьбы.

Чтоб понять Шпоньку, мы должны понять его автора. Вот что пишет Гоголь Данилевскому 1 января 1832 года: «Подлинно много чудного в письме твоем. Я сам бы желал на время принять твой образ с твоими страстишками... *Поэтическая часть* твоего письма удивительно хороша, но *прозаическая* довольно в плохом положении. Кто это кавказское солнце? ...сам посуди, если не *прикрепить красавицу к земле,* то черты ее будут слишком воздушны, неопределенно общи и потому бесхарактерны». Сочувствуя другу, он требует от него все же большей трезвости.

«Может быть, ты находишься уже *в седьмом небе* и оттого не пишешь. Чорт меня возьми, если я сам теперь не *близко седьмого неба* и с таким же сарказмом, как ты, гляжу на славу и на все, хотя *моя владычица* куды суровее твоей. Если б я был, как ты, военный человек, я бы с оружием в руках доказал бы тебе, что *северная повелительница моего южного сердца* томительнее и блистательнее твоей кавказской. *Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь,* хотя порознь, тех неуловимо божественных черт (где же конкретность? где красавица, прикрепленная к земле? — *И. З.)* и роскошных вдохновений, которые ensemble дышут и уместились в ее, боже, как гармоническом лице».

Значит, у Данилевского «страстишки», а у него — страсть. У того прозаическая часть плоха, а у него — в наилучшем виде. Но, ей-богу же, ничего нельзя понять из этого набора фраз, которые гораздо велеречивее, чем восторги кавказского влюбленного.

Гоголь как будто и не уступает Данилевскому, делает намеки и в то же время открывает карты: никого у него нет, он один, и его владычица вовсе не ходит по земле. Письмо это датировано весною, а весна всегда действовала на него возбуждающе, и вот, вдохновленный ею, он отдается мечтам, вслух мечтает, и свидетельство тому — отклик на признания Данилевского.

Не имея что сказать по существу, Гоголь тем не менее продолжает обсуждать с Данилевским тему любви. Тот сердится на иронию Гоголя, пеняет ему за шутливый тон, Гоголь же оправдывается: «и что ты нашел бессмысленного в том, что я писал к тебе, что ты говоришь только о поэтической стороне, не упоминая о прозаической? Ты не понимаешь, что значит поэтическая сторона? Поэтическая сторона: «Она несравненная, единственная» и проч. Прозаическая: «Она Анна Андреевна такая-то». Поэтическая: «Она принадлежит мне, ее душа моя». Прозаическая: «Нет ли каких препятствий в том, чтоб она принадлежала мне не только душою, но и телом и всем, одним словом — ensemble?» Прекрасна, пламенна, *томительна и ничем не изъяснима* любовь *до брака;* но тот только показал один порыв, одну попытку к любви, кто любил до брака. Эта любовь не полна; она только начало, мгновенный, но зато сильный и *свирепый энтузиазм,* потрясающий

надолго весь организм человека. Но вторая часть, или лучше сказать, самая *книга* — потому что первая только предуведомление к ней — *спокойна* и целое *море тихих наслаждений,* которых с каждым днем открывается более и более, и тем с большим наслаждением изумляешься им, что они казались совершенно *незаметными и обыкновенными.* Это художник, влюбленный в произведенье великого мастера, с которого уже он никогда не отрывает глаз своих и каждый день открывает в нем новые и новые очаровательные и полные обширного гения черты, изумляясь сам себе, что он не мог их увидать прежде. Любовь до брака — стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь — это поэзия Пушкина: она не вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частию, небольшою рекою, впадающею в этот океан. Видишь, как я прекрасно рассказываю! О, с меня бы был славный романист, если бы я стая писать романы! Впрочем, это самое я докажу тебе примером, ибо без примера никакое доказательство не доказательство, и древние очень хорошо делали, что помещали его во всякую хрию. Ты, я думаю, уже прочел Ивана Федоровича Шпоньку. Он до брака удивительно как похож на стихи Языкова, между тем, как после брака сделается совершенно поэзией Пушкина».

Последняя фраза возвращает к повести Гоголя, помещенной во второй книжке «Вечеров». Повесть эта, загадочно обрывающаяся на самом интересном месте (когда в действие вступает любовная интрига), оказывается, должна была иметь продолжение... Но можно ли верить Гоголю? Да и дело не в продолжении, а в идее двух типов любви — любви до брака и любви в браке, любви законной и как бы увековеченной законом. Ей противопоставляется страсть — вспышка, которая столь же мгновенна, как вспышка пламени, и столь же способна испепелить человека. Гоголь в этом письме отдает предпочтение любви гармонической, *спокойной.* Романтическая «страсть», кажется, вызывает его улыбку.

Но... все это в теории. На практике же, в том же «Шпоньке», он с большой подозрительностью относится к самой *идее женитьбы.* Зачем жена? Почему жена? — кажется, спрашивает он вместе со своим героем, удивляясь необходимости жениться. Шпоньку мучает страх перед женитьбой, страх перед женой. И хотя этот страх выражен пародийно, в нем слышится искренняя горечь человека, который не знает, «что делать» с женой, Само слово «жена» в гоголевском контексте приобретает некоторую нереальность, некий пугающий смысл, ибо оно явно отделяется от конкретной женщины и превращается в понятие, в символ, в угрожающий образ чего-то непонятного и

таинственно-постоянного. Жена способна уменьшаться и увеличиваться, то сидеть в кармане Шпоньки, то в его шляпе, она как будто бы и человек, и вместе с тем у нее гусиное лицо, а вот она уже *материя, шерстяная* материя (эта конкретность убивает), которой торгуют в лавках и которую можно резать и отмеривать. Но в то же время эта жена говорит со Шпонькою мужским голосом, голосом командира П *** пехотного полка. И еще жены *много,* она всюду, она везде, куда ни глянешь. В ужасе бежит от нее несчастный Иван Федорович, но она тащит его на веревке на колокольню, и эта веревка напоминает петлю, которая еще до женитьбы грезится герою Гоголя.

Как это так, спрашивает себя Шпонька, я был *один,* и вдруг окажемся мы *двое.* Вместо одинокой кровати в моей комнате будет стоять двойная кровать. «Жить с женою... непонятно!» — восклицает он, и «тут его берет тоска». Знакомое чувство, только на этот раз оно обращено на любовь.

Таков парадокс Гоголя. С одной стороны, он приветствует любовь и женитьбу, с другой — остерегается их. То человек был один (и единствен), сейчас он должен всем делиться с женою, он не только должен быть с нею *везде* вдвоем, он и душу свою обязан разрезать пополам, как ту шерстяную материю. Ибо жена не только к нему в карман успела влезть, спрятаться в хлопчатой бумаге и окружить его со всех сторон извне, она и там, внутри, уже делит его надвое, а это страшнее всего. Вот тебе и жена! Пожалуй, запрыгаешь на одной ножке, как прыгает во сне под одобрения тетушки бедный Шпонька, и полезешь на колокольню или еще повыше.

Позже Гоголь в «Женитьбе» блестяще разовьет эту идею бессмыслицы, заключенную в самом акте брака, соединения навечно двоих людей. Но уже и сейчас он чувствует «тоску» этой затеи, хотя как поэт и «романист» готов набрасывать картины семейного счастья. Кстати, в «Шпоньке» мотив женитьбы связан не только с главным героем. Тут все как бы крутится возле этой темы, обслуживая ее и подпевая ей. Все предшествующее существование Шпоньки как бы стремится к событию женитьбы, и фон то комически, то полукомически-полутрагически освещает его судьбу.

Тетушка Шпоньки, мужеподобная Василиса Кашпо-ровна (и подавшая ему мысль о женитьбе) никогда не была замужем. Женихи отшатывались от нее ввиду ее властного характера. Мать Шпоньки была престранная женщина, и «сам чорт... не мог бы понять ее». Она в отсутствие его отца принимала у себя соседа Степана Кузмича, который наверняка и является истинным отцом Ивана Федоровича, ибо, умирая, завещал тому имение свое. Этой изменою маменьки и двусмысленностью рождения героя как бы предваряется его печальная участь, и недаром два сопутствующих ему персонажа — тетушка и Григорий Григорьевич Сторченко (сосед Шпоньки и брат его

предполагаемой жены) — заядлые холостяки. Да и сама невеста Ивана Федоровича — белокурая кукла, с которой только о битье мух говорить и можно. Битье мух — самое тоскливое занятие: вот и поговори с же но и...

В декабре 1832 года Гоголь пишет письмо Данилевскому, где в последний раз касается своих сердечных дел: *«Очень понимаю* и чувствую состояние души твоей, ХОТЯ САМОМУ, БЛАГОДАРЯ СУДЬБУ, НЕ УДАЛОСЬ ИСПЫТАТЬ. Я потому говорю: благодаря, что ЭТО ПЛАМЯ МЕНЯ БЫ ПРЕВРАТИЛО В ПРАХ В ОДНО МГНОВЕНЬЕ. Я бы не нашел себе в прошедшем наслажденья, я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвою этого усилия и потому-то *к спасенью моему у* меня есть твердая воля...»

Гоголь слишком дрожит над своим священным огнем, чтоб расплескать его пламя. Он мономан, он если горит, то горит одним, всепожирающим пламенем. Или женщина, или искусство — так встает перед ним вопрос. Очень важно отметить, что это происходит уже на заре его жизни, хотя та заря была, по нашим понятиям, полным днем. «Ты счастливец, — пишет он далее, — тебе удел вкусить первое благо в свете — любовь... А я... но мы, кажется, своротили па байронизм. Да зачем ты нападаешь на Пушкина, что он прикидывался? Мне кажется, что Байрон скорее. Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с исступлением. *Это что-то подозрительно.* Сильная продолжительная любовь проста, как голубица, то есть выражается просто, без всяких определительных и живописных прилагательных, она но выражает, но видно, что хочет что-то выразить, чего, однако ж, нельзя выразить и этим говорит сильнее всех пламенных красноречивых тирад».

Рассуждения и чувства молодого Гоголя все время колеблются между романтическим взглядом на женщину и иронически трезвым отношением к тому, чем заболел его наиближайший друг. Ибо в этом же письме он в довольно комических тонах описывает бордель, в который отправились братья Прокоповичи, и пока один (уже опытный в столице житель и жених какой-то актриски) «потел за ширмами», другой читал книгу, «прехладнокровно читал... и вышел... не сделав даже значительной мины брату, как будто из кондитерской».

Так или иначе, но в то время, о котором мы говорим, наш герой уже выбрал свой путь. Он определился и по отношению к одной из главных обязанностей своей жизни, предпочтя творчество. Смеясь над любовью романтической и исступленной, он вместе с тем не мог удовольствоваться и долей Шпоньки. «Ты счастливец...» — в этих словах слышна искренняя грусть молодого Гоголя. Не быть ему этим счастливцем, не быть. Даже краткое мгновение, ибо на краткое счастье он не согласен, не способен: загоревшись однажды, уж не остынет, а сгорит дотла.

Глава третья. На перепутье

Примусь за Историю — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и — история к чорту...

Гоголь — М. П. Погодину, февраль 1833 года

Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся — в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души.

Гоголь — М. П. Погодину, декабрь 1835 года

1

Еще в Нежине Гоголь мечтал о *поприще,* о деятельности, которая могла бы принести пользу государственную. Как ни высоко он ставил звание литератора и само слово, ему хотелось, чтоб его услышали все, чтоб размах его влияния на русское общество превышал тиражи его книг. Гоголь ищет более широкого выхода на люди, к миру, который он всегда понимает не как толпу или кучку слушателей, а как *мир,* то есть весь свет, без преувеличения. Но для того чтобы тебя слышали, нужно возвышение — хоть небольшое, нужна кафедра, с которой можно говорить громко.

Еще в первые месяцы пребывания в Петербурге он пробует найти эту кафедру на подмостках сцены. Он посещает инспектора русской труппы А. И. Храповицкого и просит испытать его на должность актера. Храповицкий дает ему прочесть какой-то отрывок из переводной драмы. Он ждет от дебютанта пафоса, привычных озеровских интонаций, но сын автора малороссийских комедий читает текст прозаически-приземленно, как бы нехотя — так, как говорят между собой люди в гостиной или на улице. Ценитель изящного в духе XVIII века отправляет его восвояси. В лучшем случае он готов предложить ему роль статиста при исполнении немых сцен.

Тогда он избирает кафедру в институте. Туда устраивает его все тот же Плетнев. Институт один из самых лучших — Патриотический, в нем обучаются девицы — дети военных. Заведение находится под покровительством императрицы. В феврале 1831 года он уже не писец в департаменте, а младший учитель истории. «Я... показал уже несколько себя, — пишет он домой. — Государиня приказала читать мне в находящемся в ее ведении институте...»

«Государиня приказала...» — это звучит так, будто без него, Гоголя, не могли обойтись. Как будто государыня вызвала его и просила спасти положение. В Васильевке (а заодно и на полтавской почте) могли подумать, что он принят при дворе...

Так или иначе, но он не только сочинитель, но и *учитель,* перед ним не безликая публика, не безымянный и невидимый читатель, а два десятка живых глаз, да еще женских.

То, что перед молодым Гоголем сидели девицы, усиливало его уверенность в себе. Опыт обращения со слушателями женского пола он уже имел. Он учил дома маменьку и сестер, приживалок, бабушек и нянюшек, он был мастер проповедовать среди них.

Неутоленная гордость и желание влиять помогали ему. Он вспоминал своих нежинских профессоров и смело отвлекался от учебника, вольно рисуя те события, которые были отображены в них. По его мнению (как он писал в статье «Несколько мыслей о преподавании детям географии»), «слог преподавателя должен быть увлекающий, живописный», он должен сверкать огненными красками, «преподаватель должен быть обилен сравнениями». Гоголь как бы писал свои лекции в уме, он читал их как по писаному, но преимущество его перед другими учителями состояло в том, что он писал эти лекции сам.

При избытке воображения можно было достичь многого. Десятилетия спустя оставшиеся в живых воспитанницы института добрым словом вспомнят Гоголя, который освещал хмурые классы своими импровизациями и смешными историями. Один из его приватных учеников вспоминал: «Уроки... происходили более по вечерам. Несмотря на то, что такие необыкновенные часы могли бы произвести неудовольствие в мальчиках, привыкших, как мы, учиться только до обеда, классы Гоголя так нас веселили, что мы не роптали на эти вечерние уроки». Домашний учитель рассказывал «много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу». Кроме того, он знал «множество анекдотов, причем простодушно хохотал вместе с нами».

Плетнев поверил Гоголю, что тот по призванию учитель, поверили этому и те, кому Плетнев рассказывал о его страсти к преподаванию, поверил в это, наконец, и сам Гоголь. Он стал даже подумывать, не есть ли преподавание и история его первое занятие, а все прочие — вторые.

Сначала он забавлялся своей новой ролью, новой службой, отделявшей его от департаментской сволочи, от необходимости вставать при появлении начальника, кланяться ему — хотя кланяться приходилось и здесь, но не так низко.

Выход «Вечеров», знакомство с Пушкиным, вступление в мир журнальной борьбы и ее интересов, первые гонорары и похвалы в газетах сильно ослабили его внимание к своим учительским обязанностям. На летних вакациях 1832 года, которые он провел в Васильевне (явившись туда автором книги, которая, по его словам,

понравилась самой государыне), он задержался на три месяца, чем вызвал оторопь не только институтского начальства, но и рекомендовавшего его Плетнева. Плетнев такого мальчишества не ожидал. Краснел Плетнев, краснела начальница института госпожа Вистингаузен, только виновник происшествия ничуть не смущался. Оп представил туманный отчет о каких-то «недугах», которые будто бы помешали ему прибыть в Петербург в срок.

Счастье Гоголя, что его за время отсутствия не заменили другим учителем. Начальство ограничилось вычетом причитающегося ему за эти месяцы жалованья. Он тут же извернулся, устроил своих сестер Лизу и Анну, которых привез с собой, в институт, а первый взнос за их пребывание в стенах благородного заведения попросил из той суммы, которую ему почему-то недоплатили. Эконому было дано распоряжение вернуть г. Гоголю-Яновскому не заработанный тем оклад.

Чудо этой операции есть одно из многочисленных практических чудес Гоголя. Вместо покаяния, просьб о прощении, о помиловании он просит устроить своих сестер в институт, через год переводит их на казенный кошт (что считалось исключением из исключений), и он еще получает денежки за прогул. Так умел он повернуть дело, так воспользоваться своим красноречием, что сама немка Вистингаузен должна была уступить ему. Еще в октябре 1831 года он писал в Васильевну: «Два здешние института, Патриотический и Екатерининский, самые лучшие. И в них-то, будьте уверены, что мои маленькие сестрицы будут помещены». И, чтоб маменька не сомневалась, добавлял: «Чего теперь не сделаю, то сделаю после. Я упрям и всегда люблю настаивать на своем...»

Что ж, в отношении сестер он на своем настоял. Но как быть в отношении себя?

Как ни рано был он обласкан великими (в Москве он познакомился со Щепкиным, автором «Юрия Милославского» М. Н. Загоскиным, Погодиным, его свели к старцу Дмитриеву), как ни наградила его вниманием публика (раскупившая обе части «Вечеров»), надо было идти дальше. Но куда? Публика ждала продолжения в том же роде — и рецензенты ждали, и Пушкин ждал, — а он не хотел этого и не мог. «Вечера» опустошили тот запас, который он привез из дому. Поисчерпались предания и сказки, анекдоты и «забавные штучки». Надо было переходить к чему-то иному и, как он считал, «великому», но великое «не выдумывалось». «...Я стою в бездействии, в неподвижности, — признавался он в феврале 1833 года Погодину. — Мелкого не хочется! великое не выдумывается! Одним словом, умственный запор». Под мелким он подразумевал повести, под великим — роман. Он взялся за «Гетьмана», который начал еще до «Вечеров» и в котором вознамерился показать бурный XVII век в Малороссии, но роман не шел — и тут его

склоняло на частные сцены, на быт, на повторение того, что он сам уже сделал. «Вечера» будто околдовали его. Что бы ни начинал, он начинал в же духе и тут же бросал, жег, начинал новое. Что-то грустное навевалось на его прозу, проникали в нее запахи петербургских дворов, черных лестниц, лавок и рынка, краски меркли — на смену брызжущим цветам юга приходили темные тона, тона пепельно-серые, бледные — как будто небо затягивалось тучей, и сеялся из ее непроглядной толщи мелкий нудный дождь.

Он будил в себе воспоминания, настраивался на воспоминания, на веселое — не писалось. Какие-то клочки и обрывки выходили из-под пера, а целое терялось в тумане. «Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою, — писал он Погодину. — О, не знай его! ...Человек, в которого вселилось это ад-чувство, весь превращается в злость, он один составляет оппозицию против всего, он ужасно издевается над собственным бессилием».

Его властно тянуло назад, в прошлое, где все смотрелось крупно, где характеры лепились как по мановению волшебного жезла — отдаление во времени очищало их от мелкого, низкого, — но рука тянулась и к настоящему. Петербургский опыт искал выхода, но Гоголь не знал, как к нему перейти. На переходе он и задерживался, простаивал, мучил себя. Он жаждал «современной славы», а слава ускользала от него, как красотка на Невском, которая всегда чувствует, как тяжек кошелек преследующего ее молодца.

Он бросил роман, бросил начатую было повесть о студенте, в которой уж слишком высунулся сам (не любил этого: писал из себя, но не о себе), какой-то кусок о купце, прогуливающемся со своей толстомясой сожительницей под петербургским дождем, повесть о Семене Семеновиче Батюшке — очерк в духе «Шпоньки», кинул в печь комедию, которая стала вертеться у него в голове на пути из Петербурга в Васильевку и где он в своем необузданном воображении заехал бог знает куда: герой его, помешавшийся на желании получить орден, сам становился Орденом. Он смотрелся в зеркало и там вместо лица видел Орден, он выходил на улицу, и все говорили о нем: «Орден!», когда его наконец привозили в сумасшедший дом и спрашивали: «Каковы ваши имя и звание?» — он отвечал: «Владимир Третьей Степени».

На досуге, чтобы развеять себя, он записал кое-какие из летних впечатлений, сценки сватовства: разговоры о прошедшей свадьбе сестры Марии шли в Васильевне. Получилось смешно. Тут он был в своей стихии, все играло под его пером — и фамилии, и словечки, и потешные несообразности ритуала, и даже идея женитьбы — проявление одной из «лжей мира». У него и заглавие придумалось — «Женихи», но и на «женихах» он почему-то завял.

Тогда он сел и обработал сюжет, который читал когда-то у Нарежного[7]. Это был сюжет о двух миргородских помещиках, которые тяжбою загубили свою нежнейшую дружбу. И здесь Васильевка помогла ему: Мария Ивановна все еще вела тяжбу, доставшуюся ей по наследству от батюшки Ивана Матвеевича Косяровского, а к тому перешедшую от одного из непутевых братьев его жены. Врат этот, кстати сказать, был миллионщик и наживался на винных откупах. Но судьба раскачивала его как на качелях: то он приезжал весь в золоте, раздаривал направо и налево тысячи, то сидел чуть ли не в долговой яме.

Повесть о двух Иванах получилась веселой. Пушкин страшно смеялся, когда слушал ее. Он не заметил резкого угасания веселья в конце: то был уже новый Гоголь. Видя растерянность в молодом человеке и явное искание совета, как быть, что писать, Пушкин вспомнил об его «проекте ученой критики» и посоветовал написать что-то в том же духе. Гоголь согласился.

«Гоголь по моему совету начал историю русской критики», — записал Пушкин в своем дневнике. Но его влекла не история критики, а история, с которой на перепутье 1833—1834 годов и завязался у него роман. Он начался, собственно, еще в институте, где лекции, которые он читал, обязывали кое-что подчитывать из истории, не полагаясь на знания, полученные в Нежине. Но институтские лекции не могли удовлетворить его. Перед ним сидели дети, девочки девяти-десяти лет. Что он мог им поведать? Могло ли его желание отклика и понимания удовлетвориться их восторженным сочувствием и расположением к нему? Он искал более взрослую аудиторию, более высокую кафедру, где круг его слушателей был бы достоин его.

Он начинает печатать в журналах исторические статьи, садится за изучение источников, летописей, выписывает «Запорожскую Старину», издающуюся в Харькове И. И. Срезневским, подает намеки профессору истории Погодину в Московском университете, что не прочь бы стать его коллегою. Он избирает историю, как область, родственную литературе, его кровным занятиям, как то, что питает воображение и соображение поэта, и как модный предмет.

Великое событие начала века — Отечественная война 1812 года — повернуло мысль русского образованного общества к осознанию исторической миссии России. Вся поэзия декабристов была исторической. Пушкин создал «Бориса Годунова» и лелеял в планах «Капитанскую дочку». Он приступил к изучению архивов, связанных с Петром I и Пугачевым. Исторические драмы сочинял Погодин, исторические повести и романы — Марлинский, Загоскин. В моде сделались летописи, записи сказаний,споры о происхождении Руси, публикации неизданных документов, исторические герои и сюжеты. Если для одних попытка осознать исторический путь отечества

вылилась в поступки — в попытку с оружием в руках повернуть исторический процесс, то у других — в желание восстановить связь времен.

Среди последних оказался и Гоголь. К истории его влек и интерес личный, связанный с тематикой «Вечеров» и инерцией этой тематики. Назвался груздем — полезай в кузов, а Гоголь уже назвался историком, точней, сказочником, перелагающим на свой лад кое-что из прошлого Малороссии. И именно на историю Малороссии обращает он прежде всего свой взгляд. Его привлекает время перелома в ней, время сдвига, катаклизма, когда на дыбы встала вся сила нации и когда решалась ее судьба. В истории Украины «все горит», здесь каждая строка полыхает жарким пламенем, а это то, что ему нужно, то, что он внутренне может противопоставить холоду «бесцветного» Петербурга. История — тот напиток, который в состоянии вывести его из состояния неподвижности и бездействия. Она, как вино, приливает к голове, кружит голову, дает возможность забыться. Вновь просыпаются в нем прежние романтические надежды *сбежать* от настоящего, укрыться от пего там, где оно не может его достать и где нет ограничения свободе. Тут есть где разгуляться и фантазии, и безудержному идеалу. Тут чистая степь, открытое пространство, по которому можно пустить свою мысль не страшась, что она споткнется, осечется, падет камнем вниз, сложив крылья.

Но и здесь, и на этом пути, поджидают его колебания. По призванию он историк Малороссии, по службе он должен читать и русскую историю, и всеобщую историю. И во всеобщей истории он находит страницы, которые трогают струны его сердца и будят ум. XVII век на Украине и средние века в Европе — вот любимые им эпохи — эпохи гигантов, богатырей и рыцарей, рыцарских обетов, рыцарского самоотвержения и божественного культа женщины. Это эпохи разгула, высшего одушевления человека, царящего даже над разбоем, над жестокостью вражды и войн. Эпохи трагические и величественные, великие в своих противоположностях, заражающие и *зажигающие*.

И пишутся письма в Москву и домой, даются объявления в газетах и журналах, что г. Гоголь-Яновский собирает материалы к истории малороссийских казаков и просит обладающих нужными к тому бумагами сообщить ему эти бумаги. Он обещает вернуть их, переписавши, как возвращает он М. Максимовичу (с которым познакомился в Москве — сейчас тот профессор словесности в Киевском университете) сборники украинских песен, в том числе рукописный сборник Ходаковского, со своими пометами. Песни гульливые, песни казацкие, песни любовные — все идет в копилку. «Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!» «Вы не

можете представить, — пишет оп в том же письме Максимовичу, — как мне помогают в истории песни».

Как и во всех своих предприятиях, затевающихся сгоряча, он перебарщивает, пересаливает, разбегается, не оглядываясь, видя впереди уже одни сверкающие успехи. Он отставляет прочь документы и на песнях собирается строить «историю Украины». Он уже приступил к ней, как сообщает Максимовичу, он уже погружен в нее, как пишет Погодину, впрочем, в то же самое время он погружен и в историю всемирную. «И т а и другая у меня начинают двигаться...» Но как думает он совместить эти два гигантских замысла, как перевернуть горы бумаг, освидетельствовать показания других историков, написать все это, наконец? Или и тут он готов отдаться своенравной воле поэтической стихии, пойти по пути поэзии, которая не есть история, а всего лишь импровизация на темы истории, история того, кто пишет историю, а не тех, кто взывает о гласности из минувшего? «Малороссийская история моя чрезвычайно бешена... — признается он. — Мне попрекают, что слог в ней слишком уже горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!»

«Историю Малороссии, — докладывает он Максимовичу, — я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых, или в четырех больших томах». Его аппетит увеличивается. Не смиряющаяся с малым мысль его и честолюбие заставляют его бросать XVII век и написать по меньшей мере *всю* историю Украины.

«Я также думаю хватить среднюю историю томиков в 8 или 9», — пишет он Погодину.

Если для Пушкина занятия историей были необходимостью — необходимостью осмыслить собственный путь, понять заблуждения и ошибки юности, понять то, что пройдено — и не одним им, — то для Гоголя это было увлечение. Искреннее, пылкое, но не способное держаться долго, как все, что во многом привносится извне, навевается сторонними причинами, налетает, как ветер. Петр и Пугачев были для Пушкина (как Годунов и Гришка, и стоящий между ними народ) попыткой понять, что верховодит историей, есть ли в ней логика, разум или слепая сила влечет ее действующих лиц. То был для Пушкина вопрос личный — не литературный, не проходной — с этими (так и не решенными до конца) вопросами предстояло Пушкину сойти в могилу. Незыблемой строкой документа пытался Пушкин поверить вдохновение отдельных личностей, меняющееся состояние народа, который, как народ в его трагедии, то кричит: «Да здравствует царь Борис!», то — «Да здравствует царь Димитрий Иванович!»

«Могилы бесчувственны, но живые страшатся вечного проклятия их в Истории», — говорил Карамзин. «Борис Годунов» был посвящен

Карамзину и написан по фактам «Истории Государства Российского». То была не только дань уважения «великому писателю» и «подвигу честного человека» — Пушкин старался вслед за Карамзиным представить историю так, чтоб она не служила каким-то заранее данным идеям, — а говорила бы сама за себя, говорила в лицах, голосами тех, кто канул в вечность. Слово было дано всем, даже бессловесному народу, который, как и у Карамзина, то «безмолвствовал», то «вопил на стогнах».

Пушкин строил философию истории в «Борисе» как философию судьбы, в которой частное лицо и частная жизнь подчинены общему закону. Под этим законом ходили и исторический игрок Гришка Отрепьев, и исторический злодей и страдалец Годунов, и его безвинные дети, и честолюбивая Мнишек, живущая фантазиями, и трезвый Шуйский, и простодушный сподвижник Гришки Басманов. Лишь Пимен — пожинатель всех их страстей — стоял в отдалении и, итожа их и собственную неспокойную жизнь, пытался понять смысл закона.

Исторические грехи царя Бориса, как и грехи народа, были для Пушкина поучительны. Недаром он назвал свою трагедию вначале комедией — он видел и комическую изнанку событий, обильно политых кровью. Самолюбие и самоотверженность, чистый порыв души и расчет, политическая интрига и поэтические грезы — все соединялось для Пушкина в истории, которая взывала к полному взгляду на нее.

Пушкин не бежал в историю — он искал в ней объяснение событий современных. Трагизм всякого насильственного действия — при всем соблазне и увлекательности его, его размахе, его способности выявить в человеке скрытые силы души — ясно ощущался в «Годунове».

Гоголь читал его запоем, целую ночь напролет, едва придя из лавки, где он оказался одним из счастливцев, которым достался заветный томик. Он тут же сел писать о трагедии статью и написал ее, но не отнес в печать. Слишком восторженной она получилась, и неясность свежего волнения затмевала то, что хотел он сказать. Статья была клятвой Пушкину идти по тому же пути.

Но, как ни серьезны были намерения молодого апологета Пушкина, он все же лишь подражал ему. Его вдохновлял пример «Полтавы» и «Годунова», «Истории пугачевского бунта», которую он назвал «романом», рассказы Пушкина об удивительных событиях из царствования Петра. Риск Гришки Отрепьева еще ни о чем не говорил ему. Вина Годунова не отягощала его совести. А Пименом он еще не успел стать.

Но и сам Пушкин поверил в историческое призвание Гоголя. Не чьими-либо стараниями, а стараниями Пушкина и Жуковского был возведен он на новую кафедру — на этот раз на кафедру в Санкт-Петербургском университете, где стал читать курс лекций по истории средних веков.

Смешная получилась история. Человек без ученой репутации, без солидных трудов, без предварительной кротовьей работы в библиотеках вдруг сразу поднялся на целый этаж. Он уже не младший учитель в каком-то Патриотическом институте, а адъюнкт-профессор по кафедре всеобщей истории Санкт-Петербургского университета, он читает в аудитории, куда вход доступен каждому, куда может сбежаться весь город — если, конечно, того пожелает. В институте его слушателями были дети — здесь он сразу оказался перед взрослыми лицами, перед цветом юношества, так сказать.

Гоголь бросает все свои занятия и садится за лекции. Он пишет их, как статьи, и заучивает наизусть. Недоверчивые студенты, собравшиеся на его первую лекцию, были поражены мастерством нового преподавателя. Перед ним не лежало никакой бумаги, оп даже мялся вначале, будто подыскивая выражения для мысли. Была какая-то неловкая пауза, ловко рассчитанная, ибо за ней последовал фейерверк. И опять он читал как по писаному, и на сей раз действительно по писаному, но никто бы не мог подумать, что это готовый текст. Вот где отмстил он Храповицкому! Все было: и паузы, и естественные спотыкания, и постепенное набирание высоты, и некое замедление на середине с растягиванием интонаций, со вниканием в смысл фразы, и ударение на нужном тезисе, и опускание обязательных, но незначительных подробностей, и бурно разразившийся финал.

Студенты окружили его в коридоре, просили дать списать лекцию, он отвечал, что она у него только набросана. Час актерства стоил ему многого. Он легко держался на кафедре, а лицо у него таки побледнело, когда вошел ректор и попросил разрешения присутствовать. Он осекся было, пал духом, но взял себя в руки, и никто не заметил, как он вынырнул из этой ямы.

Да, то был скорее театр, нежели ученье. Преподаватель готовился, разыгрывал роль дома перед зеркалом — слушатели шли на лекции как на представления, как на импровизации чтеца-артиста, который к тому же и сам поэт.

А в один из дней он устроил спектакль, который редким составом своих участников вошел в историю университета. «...Однажды, — вспоминает об этом Н. И. Иваницкий, — ...ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили

только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая... Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их/ поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно»...»

Гоголь «делал вид, что не знал о предстоящем визите, и выслушивал похвалы Пушкина и Жуковского с достоинством человека, не очень им знакомого. Он угодил Пушкину не только исполнением, но и идеей лекции — лекция была о восточном правителе Аль-Мамуне, который «государство политическое» вознамерился превратить в «государство муз». Мысли Пушкина о просвещенном монархе слишком сквозили в этой поэтической компиляции. Поэты подают советы царям, говорил Гоголь, но не служат правительству. «Их сфера совершенно отдельна; они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге». Правда, он делал исключение *для некоторых,* подразумевая при этом не только присутствующих в зале Пушкина и Жуковского, но и себя, — еще тех «великих поэтов, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Мудрые властители чествуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца».

Одним словом, это была лекция о поэтах и для поэтов. Исторический идеализм Гоголя не смущал студентов, он, наоборот, увлекал их, и они мечтали о чем-то подобном: юность верит в утопии, верил в них и ее молодой наставник.

Но недолго держалось его вдохновение. Вскоре оно стало иссякать, блеснувший, как метеор, на университетской кафедре, взлетевший, воспаривший над аудиторией, над историческим материалом, над скучными фактами, оп перегорел, сгорел — его хватило лишь на две-три вспышки. Потому что и фактов под рукой не было, и читать было не о чем, а перечитывать уже читанное другими, пересказывать их он не мог. Надо было переходить на прозу исторических занятий, на разработку *курса* во всей его последовательности, со свойственной науке системою и обстоятельным штудированием источников, но не было ничего ненавистнее для него, чем система. «Все следующие лекции Гоголя, — пишет Иваницкий, — были очень сухи и скучны... Какими-то сонными

глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена... Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается целую неделю, а иногда и две. Потом опять приедет, и опять та же история...»

Нет, история не «горела» — от нее уже несло холодом, как от университетских каменных стен, от высокого потолка, от Невы, глядевшей в окна, и от самой северной Пальмиры, из которой вдруг резко потянуло его в родные места, на юг.

Попытку сбежать туда он предпринял раньше, но она не удалась. Маясь в институте, маясь в своей тесной квартирке за столом, где ему не писалось, он задумал занять кафедру в Киевском университете Святого Владимира, об открытии которого объявили на исходе 1833 года. Он узнал, что туда едет из Москвы Максимович — возможность иметь при себе попутчика и единомышленника соблазнила его еще больше. Он решил въехать в древнюю столицу России на белом коне — в качестве ординарного профессора всеобщей истории. Он думал, что ему, знакомому с Пушкиным, Жуковским, с Плетневым, Вяземским и другими, это ничего не будет стоить. Одно слово министру, которое скажет каждый из них, один намек Жуковского, оброненный им при дворе, — и Киев откроет ему гостеприимно ворота.

«Туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев!» — взывает он к Максимовичу. «Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве, — уверяет он Пушкина. — Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украины и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе, нет».

И Пушкин верит ему. Он идет и кланяется бывшим «арзамасцам», а ныне министрам и товарищам министров Уварову, Блудову и Дашкову, и просит за Гоголя. Он убеждает их, что лучшего ординарного профессора, чем Гоголь, для Киева не найти. То же повторяют своим высокопоставленным друзьям князь Вяземский и Жуковский. Жуковский готов при случае в присутствии самого государя завести речь о некоем Пасичнике, веселые сказки которого, поднесенные в свое время его императорскому величеству, должно быть, понравились ему. Гоголь инструктирует своих ходатаев, *как* расположить к нему сильных мира сего, о каких сторонах его бедственного положения вести речь: одному о недостатках в средствах, другому о болезнях, которые не позволяют ему жить в петербургском климате, третьему о том, что сам Сергей Семенович (Уваров) выше Гизо, а в своей речи о Гёте обнаружил незаурядное литературное дарование. «Теперь же я буду вас беспокоить вот какою просьбою, — пишет он Пушкину, — если зайдет обо мне речь с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива... И

сказавши, что я могу весьма легко через месяц протянуть совсем ножки, завести речь о другом, как-то о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно».

Пушкин шутливо отвечает ему, что пойдет «сегодня же назидать Уварова».

Гоголь и сам таскается к министру и лично расточает ему похвалы в высокой философичности его переводов, в замечательных мыслях, какие содержатся в его исторических статьях, о новом веке просвещения, который открывается с его приходом в правительство. «Третьего дня я был у министра, — сообщает он посвященным в это дело. — ...Министр мне обещал непременно это место».

Он настолько был уверен в успехе своего предприятия, что уже собирал пожитки и ожидал денег на подъем. Он даже заказал отбывшему в Киев Максимовичу квартирку рядом с ним, писал об общих изданиях, которые они оба «удерут», соединив свои силы на берегу Днепра.

Но никакие высокие ходатайства не помогли. Гоголь забыл, что пока не подмажешь простого дорожного колеса, вся колымага не стронется с места. Дело застряло не в Петербурге и не в министерстве, а у попечителя Киевского учебного округа Брадке, который резонно рассудил, что лучше поставить на теплое место своего человечка, а какого-то там Гоголя из Петербурга, к тому же с огромной амбицией, — попридержать. Склоняясь на просьбы высокопоставленных покровителей, он готов был предложить ему место адъюнкта на той кафедре, но Гоголь высокомерно отказался. Тогда его запросили, не хочет ли он вместо всеобщей преподавать русскую историю, — и на это последовал отказ. Проситель был упрям, но и попечитель оказался с крепкими нервами.

«...В Киев... я все-таки буду, — писал Гоголь Максимовичу. — Я дал себе слово, и твердое слово; стало быть, все кончено: нет гранита, которого бы не пробили человеческая сила и желание».

Но самолюбие его больно стукнулось об этот гранит. Это был не первый удар такого рода, но удар самый чувствительный. Ибо прежние удары наносились втайне, о них знал только он один, и пережить их было легче. Это был публичный щелчок по носу. Он раззвонил о своих намерениях по своим домам, всем знакомым, и теперь все спрашивали его: «Ну как дела?», «Скоро ли в Киев?» Отвечать было нечего. «Я немного обчелся в обстоятельствах своих», — признается он в письме к нежинцу В. В. Тарновскому. «Я же бедный, почти нуль для него», — пишет он с жалобою Максимовичу о Брадке.

Ему снова *указали на его место*. Ласки столиц, которые он пережил, оказывается, были лишь ласками небольшой кучки людей, которая

читала книги и могла оценить талант. В необъятном российском море его сочинения растворялись без звука, без следа. Никто не следил за журналами, не читал газет, особенно библиографических подвалов с рецензиями на новые книги. Болезненное чувство ничтожности он пережил еще в 1832 году, когда отправился на каникулы в Васильевну. Стоило ему отъехать от московской заставы, не успели еще развеяться звучащие в его ушах восторженные речи, какие он слышал в московских литературных гостиных, как пошла Русь, потянулась дорога, почтовые станции стали мелькать одна за другой, и ни одна душа не подозревала здесь, что есть Гоголь и с чем его едят. Смотритель, заглянув в его подорожную и прочитав, что титулярный советник Гоголь-Яновский едет по своей надобности, отвечал: «Нет лошадей». Приходилось ждать. Приходилось смотреть, как со двора уносятся тройки с фельдъегерями, генералами, тайными, статскими, коллежскими, надворными советниками. Его очередь была последней.

И тогда — уже в который раз — он почувствовал себя «нулем», пустым местом для всех этих чинов и чиновников, чьи лакеи даже посматривали на него свысока, на его тощий чемодан, на не очень новую шинель, из-под которой, однако, выглядывал модный галстух.

Его амбиция не была удовлетворена и когда получил он адъюнкта в столичном университете — в письмах он называл себя просто «профессором», опуская прибавку «адъюнкт», но для людей простого звания он произносил название своей должности полностью: в «адъюнкте» было что-то общее с «адъютантом». В полицейской управе, в апартаментах хозяина дома, где он снимал квартиру, его могли принять за *кого-нибудь повыше*. А квартиру он теперь снимал не в Мещанской и не на «канаве», в одном из лучших мест 1-й Адмиралтейской части — в Малой Морской, вблизи от Невского, Исаакиевской площади и Сената. Отсюда два шага было и до Зимнего дворца, и до строящейся на Дворцовой площади огромной Александровской колонны, и до Адмиралтейства. На этой улице жили не мелкие чиновники и ремесленники, а артисты (Гоголь снял квартиру в доме бывшего артиста Императорских театров Лепена), хозяева ресторанов, банкиры, из его окон был виден угол дома княгини Голицыной — со старинными екатерининскими узорами на окнах, богатым парадным с навесом, со стенами, выкрашенными в модный в XVIII веке розово-фиолетовый цвет. Не пьяный немец, или купец, не портной и лавочник встречались ему по вечерам, когда он шел домой, а кареты карточных игроков, кареты с лакеями на запятках, высокие цилиндры франтов и шелка аристократок, обдававшие его запахом дорогих французских Духов.

Ничто так не учит, как поражения. Отступивши, чувствуешь, что и на не положенное тебе пространство продвигался не напрасно, иначе не знал

бы, что оно не твое, что другим предстоит занять его. «Путь у меня иной», — писал он еще давно матери, имея в виду, что не должность и не служба его поприще. Теперь он убеждался в этом окончательно. Он казался сонным студентам, слушавшим его, а ему они казались сонными: «Хоть бы одно студентское существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Петербург». И тут же признавался, что сам тому виной: «Я с каждым месяцем, с каждым днем вижу... свои ошибки».

Но то были благие ошибки. Признавая их, он признавался себе и в том, что его ждет «цель высшая». «Я, может быть, еще мало опытен, я молод в мыслях... — писал он Погодину. — Отчего же передо мною раздвигается природа и человек?»

Так ломалась молодость Гоголя, так расставался он с ее горячностью, с ее преувеличениями, с попытками в один миг перескочить то расстояние жизни, на которое требуется трата ума и сердца и где синяки и шишки есть золотой фонд писателя.

И как-то само собой, как остановилось все в его писаниях, так и полилось вновь. И Украина, и ее история уже не были ему препятствием, они легко сходились в одной тетради с бесцветными петербургскими фризовыми шинелями, чиновничьими носами, с пьяной речью немца-мастерового, с танцующей походкой ловеласа-поручика, с отрыжкой наевшегося луку купца и стуком копыт по торцовой мостовой. Смех его перебрался без труда в Петербург, он уже осваивался здесь: в один вечер он писал роман о битвах с ляхами, о рыцарских подвигах на поприще любви и брани, в другой — его перо выскребало что-то из петербургского «осадка человечества», заглядывало в неметеные улочки темной по вечерам Коломны, за Калинкин мост, в места его одиноких скитаний в пору безвестности.

Это был не тот Петербург, который видел с высоты сверкающим и утопающим в праздничных огнях кузнец Вакула, — он стелился перед взглядом Гоголя ровной безмерностью своих проспектов, уходящих в пустоту, в ничто, он гремел жестяной посудой на грязном Щукином рынке, он давал взаймы и брал проценты со старух, с разорившихся негоциантов, с игроков и бедствующих художников, он внушал химеры и сам был отчасти химерой, таявшей лишь при свете утра или затянувшейся белой ночи. В этом городе стрелялись и убивали себя посредством вскрытия вен те, кого он отверг, кого сломал, кому внушил неосуществимые надежды. В нем гибли и возвышались на мгновенья ложные самолюбия и искренние, детские мечтания — величественные трагедии, эхом окликавшие трагедии средних веков, совершались на его чердаках и за столами департаментов.

Он вдруг ощутил вольный размах полета, обозримость того, что раньше частями бросалось ему в глаза, обозримость с той необходимой

художнику высоты, откуда видно все, где творец — царь творимого им, повелитель и пророк.

В августе 1834 года Гоголь писал Максимовичу: «Я тружусь, как лошадь… но только не над казенною работою, т. е. не над лекциями… но над собственно своими вещами… Город весь застроен подмостками для лучшего усмотрения Александровской колонны… Офицерья и солдатства страшное множество и прусских, и голландских, и австрийских. Говядина и водка вздорожала страшно. Прощай».

Он прощался и с историей, и с Киевским университетом. «Время ужасных кризисов», каким он назвал минувший 1833 год, кончилось. И хотя он перед друзьями делает вид, что все еще поборется с Брадке, Брадке ему теперь не нужен. Брадке канул в вечность, и если потомки извлекут его имя на свет, то только в связи с тем, что он когда-то отказал Гоголю.

Часть третья. СВЕТЛЫЕ МИНУТЫ

Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил.

Гоголь — М. П. Погодину, март 1837 года

Глава первая. Смех сквозь слезы

Трудно, трудно удержать середину, трудно изгнать воображение и любимую прекрасную мечту, когда они существуют в голове нашей; трудно вдруг и совершенно обратиться к настоящей прозе; но труднее есего согласить эти два разнородные предмета вместе — жить вдруг и в том и другом мире.

Гоголь — М. П. Балабиной, 1838 года

1

«Мелкого не хочется, великое не выдумывается…» Не знал Гоголь, когда писал эти слова, что из мелкого он и извлечет великое и это станет его *поприщем*.

Конец 1833 года напоминает в биографии Гоголя счастливый вдох после остановки дыхания. Кажется, он всерьез садится писать, и ему пишется. Писал он, конечно, и ранее, но, как сам признавался, рвал и жег. Сейчас он не рвет и не жжет написанного. Из хаоса начинаний и планов вырисовывается нечто определенное. Это прежде всего повести «Арабесок» и «Миргорода». Великое, о котором он писал Погодину, не только выдумывается, не и ложится на бумагу. Почти в год Гоголь создает «Тараса Бульбу» (первую редакцию), «Старосветских помещиков», «Портрет», «Невский проспект», повесть о Поприщине, «Вия», «Женихов» (будущую «Женитьбу»), статьи. Все это начинается и обдумывается в 1833-м и завершается в 1834 году, ибо в самом начале 1835 года и «Арабески» и «Миргород» уже выходят в свет, 1834 год —

счастливый год в жизни Гоголя. Он полон сознания, что ему все удается и удастся. Клятва, данная им в 1833 году, сбывается, сбываются ее слова: «Я совершу... Я совершу...»

Эта клятва сохранилась в бумагах Гоголя без всякого названия, вверху листа стоит только дата: 1834-й. Для Гоголя такой способ разговора с собой естествен. Во-первых, потому, что он *верит* в обет клятвоприношения, как верят, кстати сказать, в это и его герои (Андрий, например). Гоголевское напряженное отношение к творчеству, к себе, к своему предназначению на земле — все выливается в музыкальном строе этого обязательства влюбленного перед возлюбленной, рыцаря перед своей избранницей, Гоголь приносит клятву своему гению, но он клянется и музе, хотя имя ее не названо здесь» И вместе с тем его обращение адресовано конкретному году. Что такое «год» в той системе бытия, в которую переходит Гоголь? То же, что цифры, которые выставляет перед главками своих записей Поприщин.

«Великая торжественная *минута,* — пишет Гоголь. — ...У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною *сквозь туман* светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня год. Какое же будешь ты, мое будущее?.. О будь блистательно, будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь предо мною, 1834-й (год)? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, о разбуди меня тогда, не дай им овладеть мною... Таинственный, неизъяснимый 1834 (год) ! Где означу я тебя *великими трудами?* Среди ли этой *кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц,* кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? ...Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные ж упоительные лелеявший во мне мечты. О взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих! О не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. *Я совершу*... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О поцалуй и благослови меня!»

Клятва эта не только вписывается в контекст гоголевского настроения того времени, она свидетельство того, что им *уже* пишется, *уже* свершается. Мы улавливаем в ней знакомые интонации «Тараса Бульбы» (в панегириках Киеву, в мольбах к гению), интонации «Записок сумасшедшего» (особенно финальной их части). Здесь есть прямые

стилистические совпадения с «Невским проспектом» («кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц»). Какая-то «жалоба идеального», говоря словами Гегеля (так Гегель определял сокровенный смысл музыки), слышна здесь, жалоба, переходящая, пожалуй, в вопль или крик. И эта надежда, светлеющая сквозь туман...

Все это написано одним пером и, что важнее, одною душой, которая здесь уже не душа отвлеченного рассказчика, а душа Гоголя, ибо это он стоит на коленях перед ангелом своим и молит его.

Это призывы к себе и призывы к искусству. Некая исступленность слышится в этих строках. Слишком высоко взят звук, слишком натягивается струна смычка душевного, но таков уж Гоголь — иначе он не может. Вновь сходятся здесь «мечта» и «существенность», вновь являет себя двойная природа его гения, который из низкого, обыкновенного тянется к высокому, идеальному. «Гармонические» песни, гармонический юг (страна детства Гоголя), гармоническое прошедшее сталкиваются с меркантилизмом и раздробленностью настоящего — с этой *«безобразной»* (а там, в стране детства, все «чудное», «прекрасное») кучей мод, парадов, чиновников и низкой бесцветности.

Сама идея возвращения в детство, к истокам, в цельный мир прекрасного — это идея всей прозы Гоголя этих лет и идея его статей, помещенных в «Арабесках». И всюду бесцветный север и гармонический (и яркий) юг противопоставляются друг другу. И в «Тарасе Бульбе» (косвенно), и в «Старосветских помещиках» (открыто), и в повестях «Арабесок». Об этом пишет Гоголь, сострадая участи Пискарева (чей талант благодатно расцвел бы под небом Италии), на это есть намек в «Портрете», где укором Чарткову становится картина, привезенная из Италии. Об этом говорит и порыв Поприщина, переносящегося из Петербурга на юг Европы.

Нет, не стал бы Гоголь клясться кому бы то ни было, если б у него ничего не было на столе, если б это были только пустые мечты или ласкающие надежды. В такого рода обязательствах он предпочитал скорей отставать, чем забегать вперед. Тут все опиралось на текст, на рукописи, на то, что уже свершалось и завершалось.

С мечтой о карьере было покончено. Отныне и навсегда Гоголь останется коллежским асессором — человеком, с точки зрения табели о рангах, «ни то, ни се», ни толстым, ни тонким. Коллежский асессор стоит почти в середине таблицы, но все же ближе к ее низу, чем к верху. А вес каждого чина по мере его движения вверх увеличивается. Велик город Петербург, а в нем всего сто генералов. Так, по крайней мере, говорят статистические таблицы. Ему же до генерала не дослужиться:

чтоб достичь генеральского чина (действительного статского советника), надо потеть в канцеляриях сорок лет. Так указует та же статистика.

Об этом хорошо знает герой повести «Записки сумасшедшего». Он еще ниже Гоголя стоит на лестнице чинов и званий. Он титулярный советник, к тому же ему сорок два года. И все же он не оставляет надежды стать полковником, а если повезет, кем-нибудь и поболее. Да и вообще, как он говорит, он, может быть, вовсе не титулярный советник, а «какой-нибудь вельможа, барон или как его...».

Смех Гоголя в этой повести резко отклоняется в сторону слез. Начинается она как забавная история о некоем чиновнике, очинщике перьев в департаменте, который сдуру влюбился в генеральскую дочь, а кончается как плач по сыну безымянной матери, взывающему о возвращении к ней и слышащему «струну в тумане».

Никак не могли понять новые читатели Гоголя, что происходит с Гоголем. Было все так же смешно и вместе с тем не так смешно. Из комедии получалась трагедия, вместо ряженых рож, свиных рыл высовывались живые лица: они двоились, то подыгрывая, кажется, комическому интересу читателя, то противореча ему. Улыбка соскользнула с этих лиц, и на них обозначилось страдание, струна смеха рвалась, издавая жалобный и грустный звук.

Впрочем, и у Поприщина были свои предшественники. Это чиновник из «Владимира III степени», вообразивший себя Орденом, Собачкин из «Отрывка», находивший в своем лице сходство то с государем, то с Багратионом, Иван Петрович из «Утра делового человека», ищущий получить «хоть орденок на шею», Пролетов из «Тяжбы», бешено завидующий успехам своих сослуживцев. Это и женихи из «Женитьбы». Все они как один честолюбцы, которым судьба чего-то недодала: одному — дебелой невесты, другому — дома с каменным низом, третьему — осанки или приличной фамилии (Яичница). Их мечта — вырваться из этого состояния, преодолеть свою недостаточность, выскочить раз и навсегда с помощью счастливого случая. Для одних это приданое, для других — доставшееся вдруг наследство, для третьих (Ихарев в «Игроках») — выигранные двести тысяч.

С этой мечты и начинает Поприщин. Поприщин — прекрасная фамилия, Поприщин — это и «поприще», и нечто схожее по созвучию с «прыщом». Прыщ — нечто непостоянное, вдруг выскочившее и так же вдруг уничтожившееся, поприще — это претензия на капитальность, основательность, на место в жизни, на какие-то гарантии прочности. С самого начала повести мы попадаем в мир гоголевской игры, в мир двойственности и двусмысленности, которая заявляет о себе не только в прозвище героя, но и в его поступках.

Прежде всего «Записки» Поприщина — это пародия на записки. Это пародия на жанр «записок», романов и повестей в письмах, которые к моменту появления повести Гоголя в свет имели чрезвычайное распространение s русской литературе. Вспомним хотя бы «Фрегат «Надежду» — повесть Марлинского, где две дамы пишут друг другу послания и где излагается история любви одной из них, любви, как водится, романтической.

Записки героя Гоголя тоже начинаются с романтической истории любви, которая с первых же строк приобретает черты пародии не только на жанр, но и на самое любовь, ибо параллельно запискам Поприщина мы читаем письма собачки Меджи, где та же любовь описывается уже с «собачьей» точки зрения. Уровень Меджи, комнатной собачонки генерала, и уровень Поприщина вначале совпадают. То же прислужничество и угодничество перед *хозяином* и та же фанаберия перед теми, от кого автор записок непосредственно не зависит.

Меджи чванится перед Фиделью и прогуливающимися под ее окнами псами. Поприщин выгибает грудь перед швейцаром и лакеем. Меджи ворчит на нелюбезных ей ухажеров и па тех, кто ей не нравится, и Поприщин ворчит на вся и на все. У него и казначей подлец, и свой брат чиновник — свинья, и начальник отделения сукин сын. Лишь один генерал еще не подвержен критике. Но и этот колосс скоро падет от его смеха, направленного на всех генералов (и камер-юнкеров), вместе взятых. Узнав из записок Меджи, что его превосходительство обыкновенный честолюбец, мечтающий получить орден, Поприщин и его обливает презрением и ненавистью. Плюю на вас всех! — вот итог его разочарований, и в это «всех» включаются уже и генерал, и Софи, и камер-юнкер Теплов, и начальник отделения, и все начальники, весь департамент, «все, все, все». Словечко «все» — любимое словечко Поприщина.

«Плюю на всех!» Это верх мизантропии и ненавистничества, самая черная зависть. Бессильная жажда мщения. Неистовство в желании унизить весь мир. И вместе с тем вопль о помощи. Лихорадочно ищет герой Гоголя выхода из своего несчастного положения (он и его любовь осмеяны), ищет выхода в возвышении над обидевшим его, в скачке чисто материальном, сословном, наглядном. Он не может даже титула подобрать, чтоб пожестче отомстить за себя.

Так дорастает он до *короля*. Король — это не только насмешка над табелью о рангах (такого чина там нет), но и таинственность поприщинского мышления, его иносказательность, ибо король-то испанский, а в Испании и короля-то нет, и трон пуст. Для русского читателя этот факт уже был сказкой, мифом, непонятной мечтой, и в эту-то мечту (бывшую реальностью для Европы 1833 года) и перенесся герой Гоголя.

Действительность врывается в повесть Гоголя и подталкивает воображение Поприщина, подсказывает ему: дерзай! Трон в Испании пуст. Ты король! Ты истинный наследник престола, ты тот, кого все ждут и все ищут и кто должен наконец занять свое место под солнцем. И вот первая запись в дневнике обретшего себя героя. «Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я!» Поприщин совершает свой скачок. Он отделяется от действительности собак и департамента и воспаряет в высшей реальности — реальности нового бытия, которое, как ни комично со стороны, есть подлинное его бытие.

Драма Поприщина и его апофеоз, зародившись в самой что ни на есть действительности, все же драма и апофеоз сознания, драма внутренняя, драма мышления героя. Разрыв внешнего и внутреннего и одновременное их соединение в этой высшей точке безумия Поприщина обнаруживаются для нас с очевидностью.

И припоминаются жалобные ноты в ворчании недовольного чиновника, припоминаются его бескорыстные желания быть любимым, замеченным, отмеченным предметом своей любви. Как ни глуп его чайльд-гарольдовский наряд (рваный плащ, в который он закутывается, стоя у подъезда своей возлюбленной), как ни пародийны его вздохи и мечты оказаться в будуаре Софи (в которых есть примесь откровенной «собачатины», как в письмах Меджи), мы чувствуем, как эта душа приниженная разгибается, как она выпрямиться хочет, как она сквозь эту *литературу* и напомаженность хочет вырваться на свободу — на свободу чистого чувства, свободного чувства.

Голос героя Гоголя как бы раздваивается в этом ретроспективном воспроизведении, когда мы, пораженные воплем: «Я — король!», невольно оглядываемся назад. И тогда мы видим: жалкая форма, ничтожные одежды, спесь неутоленная — это все одежды его состояния, а внутри уже слышится призыв человека, который потом с такой силой ударит по нас в финале повести. Комедия как бы скособочится, начнет прихрамывать, смех ее, как бы запинаясь, начнет перепадать в плач, и великое гоголевское сострадание и сочувствие выплеснется в наконец освободившейся исповеди Поприщина. Да, скачок, который совершает герой Гоголя, — не только скачок через головы их превосходительств, по и освобождение от позорных одежд этой иерархической мечты, от низости ее исканий, от всего, чего, кажется, желал на первом этапе своего сумасшествия Поприщин.

Его забота и тревога при «воцарении на престоле» — спасти «нежный шар Луны», на которую грозится сесть Земля. Мечта сумасшедшего, полное отключение от действительности? Да. Но и *высшая идея* тоже. Ибо почувствовать на расстоянии нежность и непрочность холодного, мертвого шара Луны может только тот, кто сам не холоден и не

бесчувствен. Тот, кто стоит любви и способен на любовь. «Матушка моя! Царица небесная! — было записано в черновом варианте «Записок сумасшедшего». — За что они мучают меня за любовь?» И все, что говорит Поприщин в последней записи своего дневника, есть подтверждение этих слов. Это крик любви, обращенный к матушке, к родине, к детству, ко всему, к чему бы хотел вернуться герой Гоголя. Точнее, его душа, откликнувшаяся на «струну в тумане».

Еще Александр Блок писал об этой загадочной «струне в тумане», без которой не понять не только Поприщина, но и всего Гоголя. Откуда она взялась? Что это такое? Что это за неожиданный звук, прорезающий бред сумасшедшего, на который откликнутся колокольцы его тройки?

И тут мы возвращаемся к истоку повести и ее первоначальному замыслу. Дело в том, что «Записки сумасшедшего» в первом своем варианте назывались «Записками сумасшедшего музыканта» и под таким заглавием даже были внесены Гоголем в список «Арабесок». Потом заглавие изменилось и изменился герой. Из дублера героев Гофмана и В. Одоевского, из сумасшедшего музыканта он превратился в обыкновенного чиновника департамента, но не утратил идеализма и возвышенности своего прообраза. «Музыкант» в Поприщине остался, чуткость к прекрасному, идеальные порывы юности, сближенные в финале повести с родиной искусства Италией (тройка Поприщина, возвращаясь *домой,* проносится «мимо Италии» — и это не только маршрут человека, спешащего из Испании в Россию, но и закономерность движения безумной мысли героя), наконец, его космический порыв сострадания к холодной Луне и отклик на «струну в тумане» — все говорит об этом.

Есть в повести и остаток старого замысла. Поприщин, останавливаясь перед домом, где живет Фидель (это дом Зверкова), говорит: «Этот дом я знаю... Там есть и у меня один приятель, который... играет на трубе». Приятель музыканта, естественно, должен был быть тоже музыкантом. Он им и остался, в то время как сам герой превратился в столоначальника. Только Гоголь мог соединить безумца чиновника, помешавшегося на иерархической мечте о чинах, с безумцем иного рода, с гением непонятой и отвергнутой любви, которая, не нашедши отклика в людях, обращается в космическое пространство. Она проникает и туда, она освещающе-теплым лучом достигает далеких космических тел и одушевляет их, приобщая к теплому миру человека. И те как бы отзываются им, как отзывается на призыв Поприщина таинственная «струна в тумане».

Сверхзамысел повести о сумасшедшем, связанный с музыкальной идеей ее, станет ясен, если обратиться к контексту всего сборника «Арабески», где она появилась. Начинается этот сборник со статьи «Архитектура, живопись и музыка» (где утверждается идея первенства музыки среди

искусств, первенства именно в способности постижения внутреннего мира человека) и заканчивается повестью о сумасшедшем чиновнике, где та же музыка венчает его сумасшествие.

2

Все, что пишется Гоголем в промежутке 1833— 1835 годов, есть утверждение двойственности, контрастности человеческой природы и природы вообще, трагическое воспроизведение разрыва между «мечтой» и «существенностью» и идеальная попытка воссоединить их. Воссоединение, как считает Гоголь, возможно лишь в искусстве, и поэтому большинство его размышлений этого времени отданы искусству и его назначению в жизни человека: этому посвящены и две другие повести «Арабесок» — и «Невский проспект», и «Портрет», и все статьи, составляющие две его части.

В это время в Гоголе происходит перелом — перелом к реальности, к материалу действительности, которая ранее отсутствовала в его сочинениях. То есть она была и поначалу даже в самых своих прозаических проявлениях, но над нею преобладала иная действительность, действительность романтического «Ганца» или романтических «Вечеров», действительность мечты, воображения, действительность литературы, влияния которой не избег Гоголь.

На этом переломе происходит не только склонение чаши весов в сторону действительности жизни, но и сближение этих двух действительностей на страницах гоголевской прозы, сближение не механическое, а органическое. Поручик Пирогов и художник Пискарев несоединимы, и все же они соединимы на какой-то миг. Невский проспект и сказка Невского проспекта (которая потом оказывается грубой реальностью) соединяет их. Так же соединяются на миг и автор Портрета и безумец Чартков — соединяются в ту минуту, когда Чартков, поняв божественную красоту картины, привезенной из Италии, сам силится освободиться от чар бесовского и *сознает* свое падение. Это высшие минуты его жизни, и недаром он пытается изобразить на полотне отпадшего ангела. Отпадший ангел — сам Чартков. Не выдерживая этого разрыва прозрения, он сходит с ума и кончает с собой.

Но в том же «Портрете» остается жить другой художник — противоположность Чарткова, который, пройдя через искушение зла (именно он изобразил на холсте зловещего старика), побеждает это зло в себе и побеждает в творчестве. Нарисовав на стене храма Богородицу, выходящую к томящемуся народу, он как бы стирает черты старика с портрета, и на том остается какой-то пейзаж. Преодоление и возвышение происходит в обновлении духа, в вере. Этой же темой пронизаны и «Старосветские помещики», повесть, которую Гоголь более всего любил из им написанного.

Здесь происходит гармоническое соединение реального и идеального, прозы с поэзией, которая тем же звуком струны отдается в сердце читателя, когда он закрывает книгу. Найти любовь в этом захолустье, разглядеть ее среди поедания пряничков и коржичков, увидеть ее на дворе, обсыпанном гусятами, среди запахов солений и варений, жужжания мух и храпения престарелых супругов, — для этого понадобилась величайшая сила веры Гоголя в идеальное в человеке.

Что там Тарас Бульба и Остап, или даже Андрий, которых окружают романтические обстоятельства и которые, хочешь не хочешь, вынуждены вести себя соответственно, ибо ни фон, ни сама история им иначе вести себя не позволят (история, смешанная с легендой). А вот попробуй здесь устоять, возвыситься и попрать *привычку,* оставшись верным романтическому *началу,* как остались верны эти старики своей молодости, когда Афанасий Иванович был еще молод и крутил ус, а Пульхерия Ивановна была красивенькой молодой девушкой. Как сопоставить «Бульбу» и повесть о двух миргородских помещиках? Вторая кажется пародией на старое запорожское казачество, тем более что по облику, по одеянию даже они еще сохранили сходство с ним. Те же усы и бритые головы, широкие шаровары, плотоядие и полная свобода физической жизни. Ружье Ивана Никифоровича, которое вывешивает сушить на веревке старая *баба,* — это пародия на подвиги Бульбы и его сподвижников, которые не допускали к своему оружию женщин, и оно служило им в битвах. Бульба все время на коне, в походе, он спит не в доме, а в степи, подложив под голову седло. Его потомок Иван Никифорович валяется день-деньской в тени в чем мать родила, а про езду верхом он забыл — дай бог пешком добраться до дома городничего или уездного суда. Да и то в дверь этого суда его туша не пролезет — разжирел очень.

Странно раздваивается мир Гоголя в этих повестях. С одной стороны, яркие краски «Бульбы» расцвечивают полотно, с другой — жаркое солнце реального Миргорода (тоже бывшего когда-то полковым городом Малороссии) выжигает все яркое, и оно, как выцветшие доспехи Ивана Никифоровича, выглядит застарело-тусклым, заношенно-ненужным.

В *том* мире бьются за Христову веру, за честь и свободу, *здесь* ссорятся из-за бурой свиньи и ружья, которое не стреляет. Оно заржавело, это ружье, и оно такой же маскарад музейный, как и шаровары Ивана Никифоровича и его мундир, который он носил когда-то в милиции. *Там* погибают от любви и идут из-за нее на смерть и предательство отечества — *здесь* увеличивают население Миргорода и сожительствуют с дамами, зады которых сформированы на манер кадушек.

Там слышится звон мечей и пенье стрел, музыка битвы — здесь шелестят гусиные перья, выводя поносные слова жалоб и ябед, и

погибают не на плахе или в пламени костра, а от тоски и скуки стоячего бытия, которое беспросветно, как небо в конце повести о двух славных мужах Миргорода. Там богатыри и рыцари, славные мосии шило и перепупенки, легко расстающиеся с жизнью, — здесь пародийные инвалиды 1812 года, игры на ассамблеях у городничего и поджигание бумажек на головах обедневших дворян. Там прекрасные женщины, окутанные тайной неизвестности, неземной красоты и недоступности, — здесь босые и полуголые девки, бабы, задирающие подол на виду у всего света, и пренебрежение женщины к мужчине, как к сосуду обжорства и пьянства.

Этот *контраст* мечты и действительности отныне навсегда прорежет творчество Гоголя. Много раз его перо будет склоняться то в одну, то в другую сторону, и перевешивать, кажется, будет груз действительности или, наоборот, мираж мечты, но нет — искусство примирит их, соединит под одной крышею, не нарушая целостности и единства строения. Кажется, непроходимой межою — отделяющею и разделяющею — проляжет в сочинениях Гоголя эта двойственность, эта несоединимость реального и идеального, но вглядитесь внимательней, и вы не увидите этой межи, этой прочерченной будто границы, ибо сливаются и переливаются друг в друге идеальное и реальное, и само идеальное вырастает и вырывается из реального, как бы питаясь им и преображая его на наших глазах.

Идея мира господствует в гоголевском МИРГОРОДЕ, она венчает его, как купол, хотя под куполом этим бушуют страсти и «порождения злого духа». Эта идея — главная философская идея Гоголя, и, может быть, никакая другая книга так отчетливо, как «Миргород», не выражает ее. Да и само контрастное построение этого сборника, нарочитое соединение в нем четырех несовместимых друг с другом по материалу и духу повестей говорит об умысле автора.

«Старосветских помещиков» сменяет «Бульба», «Вия» — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Гоголь как бы листает человеческую жизнь. Бульба, кажется, сам делает историю, в «Старосветских помещиках» и «Повести о том, как поссорился...» история проходит где-то стороной, мимо жизни героев — буквально *мимо,* как прошел мимо Миргорода при их жизни легендарный Наполеон. В «Старосветских помещиках» Гоголь пишет: «...по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор,

и ссора объемлет наконец города, потом веси и деревни, а там и целое государство».

Тут заключена некая историческая печаль Гоголя, которую не способно заглушить полыхание «Бульбы». И фантастический «Вий», кажется, удаленный и от истории, и от настоящей жизни, поднимающий из бездны сознания самые темные силы его, черной вспышкой духовного разрывающий сам дух, тоже вписывается в этот сюжет размышлений Гоголя о судьбе человеческой, о бытии человека в себе и вне себя, сгорающем в минуту или протягивающемся в вечность. Мысль его колеблется, ищет выхода и умиротворения, союза двух стихий, которые как бы разрывают, раздирают человека в то время, как он вышел из гармонии и должен возвратиться в нее.

История действительно «горит» под пером Гоголя в «Бульбе» — горит крепость, подожженная снарядами Бульбы, горит монастырь в ночи, горят хаты, горит сам Бульба на костре, разложенном ляхами. В «Старосветских помещиках» Гоголь над *такой* историей посмеивается. Он иронизирует над великими историческими событиями, цель которых есть убийство. Он смеется не над Бульбою, а над Наполеоном, который уничтожил миллионы людей, а кончил тем, что завоевал… один остров. Ради чего лилась кровь? И что в этих деяниях великого? Бульба защищал веру и дом, но и он временами напоминает «разбойника». Его жестокость страшна. Ради веры он бросает в огонь детей и женщин.

Философия истории по-своему осмысляется Гоголем в «Миргороде». Кажется, этот сборник посвящен быту, и эпиграф у него нарочито бытовой, успокаивающий: в Миргороде столько-то водяных и ветряных мельниц, в нем выпекаются вкусные бублики. Но под обложкой Миргорода клокочут страсти и льется кровь. На весах исторического суда как бы колеблются два образа жизни, две участи, уготованные человеку. И если в одной из этих жизней возмущение врывается как счастье, как желанная встряска, «разоблачающая» все силы души и весь высокий строй ее, то в другой (у Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича) оно пародийно. В нем нет ярких красок, оно тускло, как выцветшая зелень на осенних полях, которые видит Гоголь, *уезжая* из Миргорода. Этот отъезд с грустным чувством на душе, со знаменитым восклицанием «Скучно на этом свете, господа!» относится не только к истории Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Это реплика и картина, венчающие весь сборник. Это сказано в конце книги, где напечатаны «Бульба» и «Вий». Скучно и то и другое, потому что жизнь, какая бы она ни была, пресекается смертью. Потому что уходят, погибают, разрушаются и герои и страсти, и кипучая кровь и ясная любовь под ясным небом.

И все же любви, *мгновенью* истинного чувства, Гоголь отдает предпочтение в истории. Перед ним меркнут и бури, и битвы, и великие

исторические события. История, взятая сама по себе, ничего не стоит в сравнении со стоном Афанасия Ивановича на могиле Пульхерии Ивановны, с поцелуем, который сливает уста Андрия и прекрасной полячки. Тут прекращается течение ее и настает тот миг, который стирает ощущение времени и вообще выпадает из цепи закона и логики. Он над логикой, над историей, над сцеплением причин и следствий и, естественно, над теорией. Событие истории может лишь помочь личности выявиться, проявиться, если же личность страдает, то и «великое событие» уже не великое.

То мгновение любви (а в историческом исчислении оно именно мгновение), которое Гоголь запечатлел в повести о малороссийских Филемоне и Бавкиде, выше и значительней любого мирового переворота или катаклизма.

И пусть Гоголь называет эту любовь «привычкой». Она в тысячу раз выше романтической «страсти», высмеянной им в той же повести. Такая страсть ничего не стоит, ибо она недолготерпелива, она корыстна — в такой страсти человек любит себя и свое чувство, а не другого человека. Пульхерия Ивановна, умирая, думает не о своей жизни, а о том, кого она оставляет на земле. В свою очередь, Афанасий Иванович идет за ней, как только раздается ее призыв, он откликается, отзывается, не страшась того, что этот отклик означает его смерть. Жизнь не нужна ему, раз нет той, которую он любил и которая любила его.

Отзыв Пушкина по прочтении этой повести был краток: «идиллия, заставляющая нас смеяться сквозь слезы грусти и умиления».

В «Миргороде» и «Арабесках» Гоголь нашел себя как поэт. Перейдя в прозу, он остался поэтом. «Миргород» имел подзаголовок: «Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Но они лишь по материалу были их продолжением. В продолжении уже заключалось иное начало; переходя из мира сказки в мир реальности, Гоголь соединял оба эти мира, воссоединял их в своем воображении и пытался помирить. Он наводил мосты над бездной, над пропастью, пролегающей в душе самого человека.

«Старосветские помещики» стали торжеством согласия и примирения, торжеством меры и равновесия между реальным и идеальным, прозаическим и поэтическим, быстропроходящим и вечным. Кажется, весь человек был объят Гоголем на мгновение в этой поэме — поэме о бессмертии чувства.

3

Что же писала критика? Она хвалила «Миргород» и ругала «Арабески». В «Миргороде» Гоголь, по ее мнению, оставался Пасичником, в «Арабесках» он замахнулся бог знает на что, его ученые статьи,

помещенные в соседстве с повестями, вызывали улыбку. «Библиотека для чтения» сравнивала его с Гёте, который тоже дорожил каждым своим клочком и завещал его потомству. «Автор пишет обо всем в свете… об Истории, Географии, Музыке, Живописи, Скульптуре, Архитектуре… и предлагает переписки собачек». «Быть может, это арабески, — заключал журнал Сенковского, — но это не литература».

Гоголя похвалили за «сказки» («Бульбу» и «Вия») и советовали и впредь «легко и приятно» рассказывать «шуточные истории». Последнее относилось к «Старосветским помещикам».

«Но какая цель этих сцен, — писала «Пчела», имея в виду повести «Арабесок», — не возбуждающих в душе читателя ничего, кроме жалости и отвращения?.. Зачем же показывать нам эти рубища, эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены? Зачем рисовать неприятную картину заднего двора жизни и человечества без всякой видимой цели?»

Даже «Московский наблюдатель» хвалил Гоголя только за простодушие смеха и «беспрерывный хохот», за мастерство «щекотать других». Вот что писал автор статьи С. П. Шевырев: «До сих пор за этим смехом он водил нас или в Миргород, или в лавку жестяных дел мастера Шиллера, или в сумасшедший дом. Мы охотно за ним следовали всюду, потому что везде и над всем приятно посмеяться».

И все упорно тянули Гоголя в Малороссию, на малороссийский материал, убеждая его, что тот — его призвание. Даже в обращении к петербургским темам, к образам немцев в Петербурге Шевырев увидел влияние Тика и Гофмана, влияние немецкое. Он восхищался Бульбою (что, кстати сказать, делали и «Пчела», и «Библиотека для чтения») и называл «Старосветских помещиков» яркими портретами во вкусе Теньера, снятыми верно с малороссийской жизни. Да, Бульбу хвалили все (малороссийский колорит! Яркость характеров! Эпос!), но никто не видел эпоса в любви Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, грустного эпоса в жизни Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, великой художественной «идеи» «Портрета» или «Невского проспекта», великого обобщения в лице поручика Пирогова или сумасшедшего столоначальника Поприщина. «Гений» Поприщина никем не был замечен. «В клочках из записок сумасшедшего есть также много остроумного, *забавного,* смешного и жалкого. Быт и характер некоторых петербургских чиновников схвачен и набросан живо и оригинально», — писала «Пчела».

Лишь один голос — голос из Москвы — отозвался пониманием. Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», явившейся в «Телескопе», увидел в смехе Гоголя грустную сторону. Анненков вспоминал, как счастлив был Гоголь, прочитав ту статью.

Рассматривая Гоголя как итог движения русской прозы начала столетия, Белинский ставил его наравне с Пушкиным, объявляя, что теперь именно Гоголь делается «главою поэтов». Пушкинский период в русской литературе сменялся гоголевским.

Можно было говорить о юном таланте и молодом даровании, обещавшем успехи, когда речь шла о «Вечерах» (хотя и там уже чувствовался зрелый гений), но новая проза Гоголя окончательно ставила его рядом с Пушкиным. Белинский не преувеличивал. Пушкинский мир как бы отходил в прошлое, скрывался в туманной дали, напоминая о себе чудесными звуками угасающих пушкинских песен, дисгармонический мир Гоголя заступал его место.

Гоголевский талант был выделен в статье Белинского крупно и не только на фоне русской, но и мировой литературы. Малороссийский Поль де Кок и сочинитель забавных историй во вкусе Теньера превращался под пером Белинского в великого трагикомического писателя, достойного Гёте и Шекспира. Поручик Пирогов, в котором, как писал Белинский, заключена целая нация, стоил Шейлока и Фауста, а «Записки сумасшедшего» заключали в себе «бездну философии». «Что такое почти каждая из его повестей? — писал критик «Телескопа». — Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконец, *называется жизнию»*.

Комедия жизни — вот тема Гоголя, провозглашал Белинский. Не бездумный и забавный смех, а комическое самой жизни, ее грустной оборотной стороны, заключенной в краткости отпущенного нам срока и краткости человеческих чувств. «О бедное человечество! жалкая жизнь! — писал Белинский. — И однако ж вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! вы *плачете* о них (выделено Белинским. — *И. З.),* о них, которые только пили и ели и потом умерли!»

«Только пили и ели и потом умерли...» Сколько в этом иронии и сострадания одновременно! «...этот уродливый гротеск, — писал он о записках Поприщина, — эта странная, прихотливая греза художника, эта добродушная насмешка над жизнию и человеком... эта... *история болезни* (выделено Белинским. — *И. З.)* ...удивительная по своей истине и глубокости, достойная кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех *растворен горечью;* это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит и возбуждает сострадание».

Миф о творце «смешных историй», приятных анекдотцев и побасенок был развеян. Гоголь был поэт жизни, а не комик. Ему не давали советов, куда направить свой смех. Сам смех в его творениях был признан полноценным, ибо получал имя поэзии. «О, эти картины, эти черты, — писал критик о «Старосветских помещиках», — суть... драгоценные

перлы поэзии, в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших доморощенных Бальзаков настоящий горох!»

Гоголь мог торжествовать. Та минута, о которой он мечтал, явление которой лелеял еще в Нежине, наступила. Наконец он мог взять книжку журнала и бросить ее тем, кто называл его пустым мечтателем. Нате, читайте! Не верили? Теперь уверьтесь! И не самые похвалы были приятны ему (в те годы и Кукольника сравнивали с Гёте), а существо похвал. Не знал и не гадал Гоголь, посылая экземпляр своей книжки для передачи в Москву Надеждину, что именно в его журнале появится такая статья. Он скорее мог рассчитывать на критиков «Московского наблюдателя». Он их недвусмысленно просил «изъявить» свое «мнение» где-нибудь в печати. Но, как всегда бывает, мнение это пришло с иной стороны. «Комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти» — вот что сказал Белинский о природе его смеха. Лучше нельзя было сказать. Слова эти не только защищали смех Гоголя и объясняли смех Гоголя, но и как бы поднимали завесу над смыслом его следующего веселого творения — комедии «Ревизор».

Глава вторая. «Русской чисто анекдот»

Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия!

Гоголь — М. П. Погодину, декабрь 1835 года

Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия.

Гоголь — М. С. Щепкину, апрель 1836 года

1

1835-й удался на славу! Столько о Гоголе еще не говорили и не писали, столького он еще никогда не печатал, и так ему еще не жилось и не писалось. «Ей-богу, — пишет Гоголь Максимовичу, — мы все страшно отдалились от наших первозданных элементов. Мы никак не привыкнем... глядеть на жизнь как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате тропака?.. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина... Жажду, жажду весны, — заканчивает он свое письмо. — Чувствуешь ли ты свое счастие? знаешь ли ты его? Ты свидетель ее рождения, впиваешь ее, дышишь ею, и после этого ты еще смеешь говорить, что не с кем тебе перевести душу... Да дай мне ее одну, одну — и никого больше я не желаю видеть, по крайней мере, на все продолжение ее, ни даже любовницы, что, казалось бы, потребнее всего весною...»

Гоголевское торжество увенчивается новой поездкой на родину. Вырабатывается уже какая-то закономерность в этих посещениях Васильевки. Он едет туда только с удачею, он является собственной персоною, пустив вперед себя свои книги и славу, печатные отзывы газет, брань и похвалы.

Так и в этот раз. Он въезжает в пределы родной Полтавщины автором «Миргорода», человеком, которого местные обыватели побаиваются, как ревизора или генерал-губернатора. Кто знает, какая тайная дана ему власть и какое задание из Петербурга: может быть, осмотреть губернию и уезд и потом *описать* все это? Он уже описал Миргород, и ему позволили. Теперь опишет весь уезд. Сегодня тронул безымянных Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и городской суд, а завтра доберется и до «личностей».

Рассказывают, что в этот приезд на родину Гоголь пожал весь букет российского успеха. Его боялись принимать дома, считая, что он если и не подослан, то, во всяком случае, облечен правами все замечать и вносить в свои записные книжки. Он был уже не сын Марии Ивановны и Василия Афанасьевича, не скромный коллежский асессор, а некое доверенное Лицо, которому сам государь разрешает так описывать своих соотечественников.

В свободном смехе Гоголя для земляков его заключалась какая-то тайна, какие-то непонятные и пугающие их привилегии, которые простому смертному не могли быть даны. Заглянет невзначай в дом, все осмотрит, увидит, ничего не скажет, а потом в комедию вставит, и отвечай тогда перед всем светом!

Мария Ивановна к тому времени уже считала Никошу «гением» и прямо писала ему об этом. Гоголь вынужден был ее урезонивать, прося «никогда не называть» его «таким образом, а тем более еще в разговоре с кем-нибудь». Но почти те же слова он услышал, проезжая через Москву, где его почитатели устроили ему чуть ли не овацию.

В тот раз он коротко и уже на всю жизнь сошелся с Аксаковыми — милым семейством московских бар, близких к литературе. Глава его, Сергей Тимофеевич Аксаков, в молодости был секретарем Державина, потом служил в Межевом институте, был цензором, покровительствовал Белинскому. Его сыновья Константин и Иван стали известными литераторами. Здесь познакомился Гоголь и с адъюнктом университета и поэтом С. П. Шевыревым, и с братьями Иваном Васильевичем и Петром Васильевичем Киреевскими. Иван Киреевский издавал в 1832 году журнал «Европеец», Петр собирал народные песни.

Мгновенно оценил Гоголь гостеприимство Москвы, радушие Москвы, незлобивость Москвы. Здесь готовы были любить за один талант, не признавая чинов и званий, петербургского чванства, разделения на

классы, петербургской холодности. Пожалуй, один Шевырев показался ему суховатым (он несколько лет прожил в Европе, был знаком с Гёте и гордился этим), остальные же — особенно Константин Аксаков, Киреевские, Михайло Семенович Щепкин — распахнули перед ним двери своих домов.

Тут же перешел он с ними на «ты» и уже не оставлял этого тона, как бы ни менялся он к Москве и как бы ни менялась к нему Москва.

«Мы с Константином, — вспоминал С. Т. Аксаков, — моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что, кроме присяжных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте». И хотя Гоголь был в Москве на пути домой недолго, молва эта не могла не достичь его ушей, он, что называется, увидел ее воочию. Когда он вошел в ложу Аксаковых в Большом театре, «в одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам».

Все это подмывало его несколько потешиться своим положением и (вспомнив унижения на почтовых станциях в 1832 году) некоторым образом припугнуть своих обидчиков. Заехав по дороге в Киев к Максимовичу, Гоголь держал далее путь с Пащенко и Данилевским. «Здесь была разыграна оригинальная репетиция «Ревизора», — пишет В. Шенрок, — которым тогда Гоголь был усиленно занят. Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведет на станционных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он просил Пащенко выезжать вперед и распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки. Пащенко выехал несколькими часами раньте и устраивал так, что на станциях все были уже подготовлены к приезду и к встрече мнимого ревизора. Благодаря этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все три катили с необыкновенной быстротой, тогда как в другие разы им нередко приходилось по несколько часов дожидаться лошадей. Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необычайной любезностью и предупредительностью. В подорожной Гоголя значилось: адъюнкт-профессор, что принималось обыкновенно сбитыми с толку смотрителями чуть ли не за адъютанта Его Императорского Величества. Гоголь держал себя, конечно, как частный человек, но как будто из простого любопытства спрашивал: «Покажите, пожалуйста, если можно, какие здесь лошади, я бы хотел Посмотреть их» и проч. Так ехали они до Харькова».

История литературы приписывает сюжет «Ревизора» Пушкину. Как вспоминал П. В. Анненков, Пушкин жаловался близким: «С этим малороссом надо быть осторожнее, он обирает меня так, что и кричать нельзя». Существует письмо Гоголя к Пушкину от 7 октября 1835 года, в котором тот прямо *просит* сюжет комедии: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать... комедию». Ответного письма или хотя бы записки Пушкина на это послание не сохранилось. Пушкин был в Михайловском и вскоре вернулся в Петербург. Он мог передать сюжет устно. Гоголь в «Авторской исповеди», написанной десять с лишним лет спустя, утверждал, что «Ревизор» подсказан Пушкиным. Но Гоголь был мастер сочинять. Например, историю появления «Современника» на свет он приписывал отчасти себе. «Грех лежит на моей душе, — писал он Плетневу, — я умолил ею. Я обещался быть верным сотрудником... Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили».

Конечно, Пушкин мог вспомнить анекдот, записанный у него в дневнике, где речь идет о некоем Криспине, который приезжает в губернию на ярмарку и которого принимают за важное лицо. Такой случай был со Свиньиным, и тот сам рассказал о нем Пушкину. Да и сам Пушкин попал однажды в подобную историю, когда во время путешествия в Нижний Новгород и Оренбург его приняли за человека, присланною ревизовать губернию.

Но к тому времени, когда Пушкин мог предложить этот сюжет Гоголю, существовала уже и комедия Квитки «Приезжий из столицы», где была обыграна точно такая же история. А в 1834 году в «Библиотеке для чтения», которую, как показывают факты, усердно читал Гоголь, появилась повесть А. Вельтмана «Провинциальные актеры», где опять-таки все напоминало *тот же* сюжет. Актер Зарецкий, не успевши переодеться в обычное платье, прибывает в уездный город в костюме генерала Лафайета. Будучи сильно пьян, он вываливается из брички на окраине города, и подобравшие его люди принимают его за настоящего генерала. К тому времени в городе ждут генерал-губернатора. Решив, что это он и есть, чиновники и обыватели приходят в ужас.

Прибытию Зарецкого предшествует описание именин в доме городничего. Песельники пожарной команды поют отцу города многие лета, а купцы преподносят его жене кулечки для пополнения домашней экономии. Почтмейстер, как ученый человек, заводит разговоры о Наполеоне Бонапарте-с. В разгар торжества в комнаты врывается уездный казначей, который первым обнаружил Зарецкого, и объявляет, что генерал-губернатор уже в городе. Разражается паника. «В одно мгновение непроспавшаяся полицейская команда поставлена на ноги; письмоводитель с синим носом сел составлять рапорт о благосостоянии

города и список колодников, содержащихся в остроге, другие побежали ловить на рынке подводы и рабочих людей для очищения улиц». Городской лекарь при мундире и шпаге является к все еще пьяному Зарецкому. Городничий, сопровождавший его, почтительно остается у двери. Не понимая, что вокруг происходит, Зарецкий сыплет монологами из пьесы «Добродетельная преступница, или Преступник от любви». Поскольку имена действующих лиц пьесы и имена присутствующих совпадают, это производит ошеломляющий эффект. Все поражены, что «генерал-губернатор» знает каждого в лицо. Возвышенный тон его речей, их обличительные и неистовые интонации приводят всех в трепет. И лишь разоблачение мнимого генерал-губернатора, совершающееся с приездом в город остальных актеров, спасает положение.

Зарецкого в его костюме с фольговыми звездами везут в сумасшедший дом. Он сидит там на кровати и декламирует, то «воображая себя честолюбцем Фиеско», то «маркизом Лафайетом». Несчастный пьяница, принятый за значительное лицо, а затем за бунтовщика, и вправду сходит с ума. Отныне его сцена — камера в желтом доме, а зрители — сумасшедшие. Они «забывают свою манию... и ...внимательно, безмолвно, разинув рот, дивятся исступленному искусству Зарецкого».

Пусть почтенная публика, что называется, судит, где и у кого Гоголь почерпнул сюжет для комедии. Была ли это мысль Пушкина, так счастливо обыгранная им, переделка и преображение уже прочитанного и услышанного, или сама действительность подбросила Гоголю этот «русской анекдот».

Ситуация, описанная Квиткой и Вельтманом, содержащаяся в сюжете Пушкина, повторялась ежечасно на русских дорогах, в уездных и губернских городах, а также в самой столице, где перед появлением ревизора из ревизоров — императора — все приходило в блеск и трепет.

Что ж, и государь в своем государстве зависел от страха ближнего. Воспитанный в страхе перед теми, кем он правит, он должен был лелеять этот страх и наращивать его. И обязанность превращалась от многократного повторения в удовольствие. Но услаждаться видом страха может только тот, кто сам боится, кто бесстрашие и свободу чувств почитает за неполноценность, за ущербность. Страх, наполняющий все поры государственного организма сверху донизу, делает как бы совершенным этот организм, отрицательно полноценным.

Идея ревизора у Гоголя гораздо шире, нежели идея отмщения за ложь, за «злоупотребления», за обирание городничим купеческих «бородок» (которые, в свою очередь, обирают кого-то), за взятки, за пренебрежение служебными обязанностями. Это идея взаимного рабства наказуемого и

наказующего, их кровного родства, их жалкой участи повторять друг друга друг в друге.

Было ли все это в комедии Квитки, в повести Вельтмана, в сюжете Пушкина? О последнем мы даже не знаем, в каком виде он был передан Гоголю. Сюжет все же носился в воздухе, он уже был почти что фольклорным — оставалось сесть и записать его. Но нужен был особый дар Гоголя, чтоб в уже имеющихся и даже обнародованных фактах увидеть то, что никто до него не увидел.

Хлестаков родился под его пером задолго до 1835 года (когда могла состояться передача сюжета), до 1834 года (когда появилась в печати повесть Вельтмана), до 1833 года (когда Гоголь мог прочитать в рукописи комедию Квитки). «Ревизор» не был бы написан им, не напиши он до этого «Владимира III степени», повести о сумасшедшем титулярном советнике, «Женитьбы», «Игроков», «Невского проспекта». В отрывках, оставшихся от «Владимира» (которые Гоголь потом назвал «Отрывок», «Тяжба», «Утро делового человека»), уже был Хлестаков; он просматривался в Собачкине — молодом петербургском хлыще, живущем на фу-фу и мечтающем о карете от Иохима, в Ихареве, который с помощью крапленой «Аделаиды Ивановны» (колоды карт) надеялся выиграть двести тысяч; он высовывался из поручика Пирогова с его ухаживаниями и с его способностью туг же забыть, что с ним произошло, из Поприщина, из героя «Носа», который чрезвычайно любил прогуливаться по Невскому проспекту, Они говорили его языком, думали его мыслями.

Соединяя эти факты, мы можем сказать, что «Ревизор» уже был у Гоголя на уме, когда он обратился к Пушкину за помощью. Отделывая для театра почти готовую «Женитьбу», набрасывая драму из английской истории и разрабатывая одновременно еще один русский анекдот — о мошеннике, перекупщике мертвых душ (тоже подарок Пушкина), он не переставал думать о комедии — о большой комедии, которая не состоялась у него в пору кризиса 1833 года. Тогда его перо испугалось цензуры. Сейчас он готов был посмеяться *над всем* — такую силу он вдруг в себе почувствовал.

К тому времени он окончательно «расплевывается» с университетом. Он не профессор, не чиновник, он вновь «вольный козак». Блаженная плетка вдохновения — бедность, блаженный бич, подгоняющий русских литераторов и заставляющий их создавать шедевры! Сколь мы обязаны ему, сколь должны быть ему благодарны! Тут впору сложить оду бедности, долгам и отсутствию гроша в кармане, ибо, если б не они, недосчитались бы мы многих великих созданий, среди которых блещет не один «Ревизор». «Ум и желудок мой оба голодают», — писал Гоголь Пушкину. Пиршественные сны Хлестакова в сцене вранья родились за пустым столом, за скудной трапезой нищего поэта, до носа которого,

может быть, долетали роскошные запахи из ближайшего ресторана Дюме.

Комедия была готова в месяц. 6 декабря 1835 года Гоголь сообщал Погодину, что третьего дня окончил пьесу.

Исполнились его обещания, которые он давал, еще находясь летом в Васильевке, Жуковскому: «Сюжетов и планов нагромоздилось во время езды ужасное множество... и только десятая доля положена на бумагу и жаждет быть прочтенною Вам. Через месяц я буду сам звонить колокольчик у ваших дверей, крехтя от дюжей тетради...»

2

Это свойство и привычка Гоголя — думать в дороге. Дорога была лучшим отвлечением с детства, она же была временем, когда наиболее интенсивно работал его глаз, когда схватывалось на лету незнакомое и поразившее словечко, лицо, одежды, пейзаж и облик проносящихся мимо селений. Дорога как бы вырывала Гоголя из привычного состояния и меняла мир на глазах, жадно притягивая к себе этой своей способностью обновлять и менять. Дорожный сюжет сам по себе коренной сюжет Гоголя (то он, как путник, присутствует в повествовании, то герои его обязательно куда-то едут), но дорога его кормилица и вдохновительница и в жизни. В дороге он весел, свеж, деятелен, он впитывает, впитывает и впитывает.

Поздние критики Гоголя писали, что он не знал уездной России и, в частности, в «Ревизоре» изобразил то, что не мог видеть, а точнее, видел мельком во время своих проездов по России, при которых он не задерживался в одном городе дольше чем на несколько часов. Они забывали о жизни Гоголя в Полтаве, о семи годах, проведенных в Нежине — типичнейшем уездном городе России. Что же касается думания в дороге и придумывания в дороге, то тут они правы. Как в первую свою поездку в Малороссию он задумал на пути между Петербургом и Васильевкой «Владимира III степени», так и сейчас какой-то «русской чисто анекдот» мог стать одним из тех планов и сюжетов, которые нагромоздились у него «во время езды».

Был ли это сюжет «Мертвых душ» (дорожного романа), или сюжет «Ревизора» (дорожной пьесы), мы не беремся судить. Оба эти сюжета — в особенности второй — вполне могли прийти ему в голову. Они могли замаячить в его воображениикак идея, как некий вариант дорожного приключения или что-то в этом роде. От Гоголя требовали смешного, и он должен был смешить. Он и Пушкину писал, что сюжет начатых им «Мертвых душ» «сильно смешон». Он и насчет комедии, сюжет которой просил, обещал, что та будет «смешнее чорта». Смеяться *над всем* — и над своей неудачей на научном поприще, и над унижениями на пути к нему, и над брюзжанием журналов, и над чванством станционных

смотрителей, и просто над собой, над двусмысленным своим положением в мире, когда тебя принимают не за того, кто ты есть (тебе, например, плакать хочется, а тебе говорят, что ты комик, ты уже постиг глубины природы человека, а тебе говорят, что чин на тебе небольшой), над людьми, дурачащими себя этим обманом, наконец, над жизнью, которая все так *смешно* устроила, — вот чего он жаждет. Из этого желания и рождается «Ревизор», из этого настроения подъема, взлета вдохновения и взлета судьбы Гоголя. И оставляется дальняя дорога Чичикова, и берется ближняя дорога Хлестакова, вернее, Ивана Александровича Скакунова, как назывался будущий герой комедии в ее первом варианте.

Скакунов — это свидетельство дорожного происхождения «Ревизора», дорожной его идеи. Скакунов — это человек, скачущий по России, человек без места, без капитальной идеи в голове и капитального состояния. Он здесь и там, он легок на подъем, потому что поднимать ему нечего и сняться с места ничего не стоит, как и перелететь, перескакать на другое место. Идея скачущего по России «инкогнито» видится в этой первой фамилии героя, идея некоего громоподобного стука копыт, который с виду страшен, а на самом деле выбивает пыль из разбитой щебенки российского тракта и пылит, пылит...

Все вокруг затмевается этой пылью, пропадает в пыли, и, пуская эту пыль всем в глаза, проскакивает Скакунов дальше. Куда? Неизвестно. Так же неизвестно, откуда он явился, кто и где его породил, потому что породили его дорога, пространство, бесконечность российская, в которую он и уносится. Лишь бы проскакать, пронестись, мелькнуть, взбудоражить, напугать, оставить по себе загадку, вопрос, недоумение, а там хоть трава не расти.

«Ревизор» — перевал на пути Гоголя, который он, кажется, *пролетел,* как и его герой, не успев ничего заметить, ничего запомнить. «Эй, залетные!» — этот крик Осипа так и слышится в настроении Гоголя того времени, ибо он на самом деле летит, его песет на крыльях его вдохновение, его удача. Некогда передохнуть, некогда оглянуться. Как в лихорадке пишется первая редакция комедии, затем вторая, она вновь доделывается и переделывается, дописывается и переписывается, и тут настает пора давать ее читать, сдавать в цензуру, и вот уже хлопоты докатываются до дворца, вот уже обер-шенк двора его величества граф М. Ю. Вьельгорский (по просьбе давних ходатаев Гоголя Пушкина и Жуковского) просовывается с этой комедией к императору и просит его высочайшего заступничества.

Может быть, поэтому так стремителен ее ход по этажам чиновной лестницы. *27 февраля* 1836 года «Ревизор» отправлен в III отделение для разрешения к представлению. *2 марта* Дубельт наложил резолюцию: «Позволить». Цензор Ольдекоп как будто и не читал

комедии. Он нацарапал спешно рукой: «Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного». *13 марта* «Ревизор» был разрешен к печати. *19 апреля* его смотрел в Александрийском театре весь Петербург во главе с Николаем.

Стремительные темпы и горячка чувствуются за всем этим. Это горячка безумной *деятельности* Гоголя, который из тихого обитателя чердака превратился вдруг в автора, которого приглашают на репетиции, о котором знает двор. Гоголь выбирает актеров, Гоголь выбирает костюмы, Гоголь вписывает и вписывает новые ремарки и реплики в свою пьесу, а она тем временем печатается в типографии, ее разучивают театры, пишутся декорации, готовится издание пьесы отдельной книжкой.

И в это *же* время Гоголь пишет статьи для «Современника», возможно, «Коляску», готовит к печати «Нос», всю библиографию будущего пушкинского журнала. Выход первого номера «Современника» и премьера «Ревизора» почти совпадают.

Сколько волнений! В такие минуты раскрывается весь человек, обнаруживаются все его силы, даже глубоко запрятанные, скрытые от глаз людских. Это та самая мину та, которую переживает в «Ревизоре» его герой и которая, быть может, является лучшей минутой его жизни, самой счастливой минутой, хотя он в эту минуту лжет.

Пик судьбы Хлестакова в комедии да и во всей его жизни — это сцена вранья, которая призвана, кажется, смешить зрителя, сбивать с ног преувеличениями, в которые впадает герой, его глупостью, тупостью и оголтелой наглостью. Он пьян — и это вдвое усиливает смех. Чего человек не наврет спьяну? Меж тем Хлестаков выкладывается в этой сцене до конца. Так же как Поприщин в своем сумасшествии, он разоблачается здесь и разоблачает свой гений. Поприщин превращается в испанского короля, Хлестаков — в члена Государственного совета и почти что государя. Раз его Государственный совет боится, как он говорит в конце своего монолога, то он, считай, почти что государь.

Каждый мечтает о том, что ему доступнее по понятиям, что ему кажется великим и важным. И есть какая-то ненасытность в этом мечтании — сначала хочется кареты от Иохима и фрака от Руча, а потом и «тридцати пяти тысяч курьеров». И все растет и растет жажда, и увеличивается аппетит, и уже, кажется, нет пределов для воображения, исчерпавшего возможное земное могущество, как вдруг... лопается пузырь, и мы слышим голос, жаждущий сострадания: «Что нужно человеку? Уважение и преданность, уважение и преданность...»

Тем страшней было разочарование Гоголя, когда он увидел на сцене водевильного шута. Дюр играл Хлестакова в традициях, которые были ему внушены, и смешил зрителя как мог, смешил от души, но смех резал

по живому, он был животный смех, грубый смех. Гоголь почти тут же бросился писать оправдание, объяснение своей пьесы, из которого потом родился «Театральный разъезд». В первый же вечер он схватился за перо и бумагу, чтоб объяснить тем, кто его не понял, *что* он написал и *зачем* смеялся.

Все его хвалили, присутствие государя увеличивало вес успеха, но ничто не радовало Гоголя. Николай, как известно, пошел за кулисы, благодарил актеров. Но где был в это время Гоголь? Никаких свидетельств о его встрече с царем не сохранилось. Можно предположить, что он бежал и от этого успеха, и от позора, который, быть может, чувствовал только он один.

То были позор и обида непонимания, глухоты публики, глухоты актеров, глухоты театра. Вновь все сбивалось на забавное приключение, где сам смех и действующие лица (а заодно и автор) были забавны, приятны, смешны и только ужаса немой сцены никто не постиг. Ужаса положения героев никто не заметил. Хлестаков казался смешным вралем, а не трагическим человеком. Городничий — тупым чинушей, ловко обманутым столичным пройдохой. Жена и дочь городничего — куклами, которых надула другая кукла. Все движения героев на сцене, их интонации были фарсовые — это была заговорившая кунсткамера, какой-то зоопарк, который хоть и был одет в российские костюмы, но представлял отвлеченную забаву для столицы, которая смеялась вовсе не над собою; то была комедия из жизни дикарей, уродов и монстров, которых автор собрал для потехи в так называемом уездном городе.

Вот что писала по этому поводу «Пчела»: «Ну точь-в-точь на Сандвичевых островах во времена капитана Кука! Нас так легко не проведешь, — продолжала она, — таких купцов, чиновников, провинциальных женщин *нет*. Нет и такого города...» Сандвичевыми островами была для Петербурга вся страна, начинавшаяся за последним шлагбаумом где-нибудь в Павловске или Гатчине.

В вечер премьеры в зале сидела избранная публика. Партер был усыпан звездами, ложи сверкали от драгоценных камней. Гоголь вжимался в свое кресло, вжимался между тайным советником Жуковским и камергером князем Вяземским, сидевшими по бокам его, и чувствовал себя мухой, утопающей в дорогом соусе. Фрак торчал на нем колом, хохол выбивался и загибался набок, руки в перчатках потели, сильно накрахмаленная манишка резала шею. Он ерзал и вертел головою, с испугом ловя реплики и вдыхая запах французских духов и помад.

Слева был генерал, справа генерал, сзади министр, впереди член Государственного совета. Коллежскому асессору было не по себе. А вверху где-то, в раззолоченной ложе, возвышался царь. Темя Гоголя горело, стыд и неловкость жгли и душили, а от взрывов глупого и

грубого смеха он подпрыгивал, как будто его кололи чем-то острым. Усы, усы, усы... бакенбарды, дамские веера, и зевки, и раздражение, нарастающее от реплики к реплике, и опять смех, смех и смех...

Четыре часа мучения, которые вынес Гоголь в тот вечер, — четыре часа горького прозрения по части отношений с русской «существенностью», которая отныне, даже хлопая ему и приветствуя его, будет хлопать кому-то другому, а не ему. Он ждал, что обрушится потолок, — не обрушился. Он ждал катарсиса, взрыва душевного отчаяния, покаяния, озарения истиной, увиденной в ее горько-печальном лике на сцене. Но ничего не случилось. Царь захлопал — и все захлопали. Царь засмеялся и все рассмеялись. Царь сделал вид, что ничего не произошло — и все сделали вид.

Вот тогда-то он и бежал — бежал, не дождавшись конца, выхватив у швейцара шинель и не зная, куда бежать, кому поведать свою беду. Гоголь направился к Прокоповичу, к Красненькому (как звал он его еще в Нежине за румяные щеки), к другу нежинскому, который мог его утешить. Едва он вошел к нему, как Красненький протянул только что вышедшую книгу «Ревизора» и сказал: «На, полюбуйся на свое дитя». Его дитя — это верно было сказано. Разве не лелеял он его, не вскармливал и не вспаивал в тишине ночей на своем чердаке? Разве таким он готовил его миру, разве так представлял он себе его торжество? «Никто, никто, никто не понял!!!» — твердил в отчаянии Гоголь, упав головою на стол.

Спросим себя: могла ли сидящая в театре публика понять Гоголя? И ответим его же словами, обращенными к матери: «Очень трудно это искусство! Знаете ли, что в Петербурге, во всем Петербурге, может быть, только человек пять и есть, которые истинно и глубоко понимают искусство, а между тем в Петербурге есть множество истинно прекрасных, благородных, образованных людей. Я сам, преданный и погрязнувший в этом ремесле, я сам никогда не смею быть так дерзок, чтобы сказать, что я могу судить и совершенно понимать такое-то произведение. Нет, может быть, я только десятую долю понимаю...»

Конечно, на премьере «Ревизора» сидели отнюдь не одни только генералы — носы и поручики Пироговы. Не были глупы и министры, и царь, и остальная публика. Но слишком велика была дистанция между их пониманием искусства и тем, что они видели. Искусство должно было веселить (искусство комическое, раз на сцене идет комедия) — и оно их веселило. Посмеяться же над тем, кто стоит ниже тебя на лестнице чинов и званий, всегда полезно. Этот смех как бы раздается с высот великодушного Олимпа, куда не достигают стрелы сатиры. Раз на чиновниках, осмеянных автором, были мундиры, обличающие их небольшие чины, то что они могли иметь общего с теми, кто сидел в зале? Мог ли предположить начальник, что он слеплен из того же теста,

что и подчиненный? И более того — что каков подчиненный, таков и начальник?

Известен анекдот о том, что Николай сказал: «Тут всем досталось, а больше всего мне». Эта реакция говорит об его умении держаться в невыгодной для себя ситуации. Николай, впрочем, был не так умен, чтоб понять, что вмешательство жандарма в события и прибывшая свыше власть (то есть посланная им, царем) есть чистый призрак в пьесе, да к тому же страшный призрак, ибо все мертвеют при его явлении.

Именно слова «по именному повелению из Петербурга...», которые произносит жандарм и которые относятся к полномочиям следующего за ним ревизора, приводят всех в ужас и заставляют застыть на месте. Немая сцена в комедии есть электрическое действие страха, замыкающего в одно мгновенье всю Россию — от дворца до уездного города Н. «Он знак подаст — и все хохочут...» Николаю, безусловно, льстил этот сокрушающий гром при упоминании «именного повеления». Присутствуя в зале, он как бы присутствовал и в пьесе, витал в ней, как невидимый дух, который тем не менее все видит и все знает.

3

«Ревизор» идет на сцене чуть ли не ежедневно. Правда, театральная дирекция принимает его за обыкновенную «фарсу» и смело ставит рядом со своим обычным репертуаром. Комедия Гоголя чередуется все с теми же водевилями и пьесками, которые он спародировал в «Ревизоре». 22 апреля «Ревизор» идет после водевиля «Сто тысяч приданого», 24-го ему предшествует комедия «Двое за четверых», 28-го — комедия «Первая любовь», 1 мая — пьеска «Дебютант». После нее дают комедию Гоголя, а после Гоголя водевиль под завлекающим названием «Две женщины против одного мужчины».

В такой аранжировке начинает «Ревизор» свою жизнь на русской сцене. В этом нет ничего удивительного: публика на одну пьесу и не пошла бы. Театр — развлечение, театр — проведенный не зря вечер, а не зала, где воспитываются чувства и образуется сознание. Одному хочется серьезного, другому смешного. А скорей всего одному и тому же хочется и того, и другого, и третьего. В «Ревизоре» нет любовной завязки, ее компенсируют комедии и водевили, названия которых говорят сами за себя. Ну а то, что в один вечер получается три комедии кряду, — это ничего. От смеха не умирают.

В те невеселые для Гоголя дни и зародилась у него статья о петербургской сцене, которую он позже опубликует в «Современнике». С грустью сравнивает он в ней Петербург и Москву — эти два коренным образом отличающиеся друг от друга города России — и называет Петербург «магазином». Балет и опера — царь и царица петербургского

театра, пишет он. Позабыты величавая трагедия и строго обдуманная комедия, «производящая глубокостью своей иронии смех, — не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубою толпою общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический живительный смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, *прямо от души,* пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом». Это, безусловно, самохарактеристика.

Но какое же здесь спокойное наслаждение? — спросит читатель. Разве не раздражение, не ожесточение, не озлобление противу пороков и уродств движет сочинителем, разве не те же чувства призван пробуждать и его смех, жалящий, как стрела, напоенная ядом? Нет, отвечает Гоголь. И отвечает не только в своей статье, но и в самой комедии, где Хлестаков в финале ее, чуть не плача (а то и плача!), говорит, обращаясь в зал: «Мне нигде не было такого хорошего приема». Смех Гоголя не казнит, а милует. Есть ли в «Ревизоре» гармония, не дисгармоничен ли он, не о разорванности и расчлененности ли человеческого существования он говорит? Да, об этом. Но движет пружину авторское желание очищения и сближения; спокойное наслаждение радующимся в своем избытке смехом тоже является ее истоком. «Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, — пишет далее Гоголь, — тешат народ средней руки, благо смешлив... Какое обезьянство!.. Где же жизнь наша? где мы со всеми современными страстями и странностями?.. Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия! Никогда еще не выходил из театра зритель растроганный, в слезах...»

Публика тешилась, тешился и царь, а журналы пьесу ругали.

То ли зависть взяла господ литераторов, то ли искренне не могли они понять, что «Ревизор» даже не «Горе от ума», что то была сатира, а это — нечто другое.

Позже, в статье «Горе от ума», Белинский точно разграничит эти два явления в русской драматургии. Он укажет, что цель сатиры Грибоедова находится *вне* сочинения, цель «Ревизора» — в нем самом. Это не просто быт и язвительные насмешки над бытом, но и фантастика действительности, которая действительнее самой действительности, ибо передает не факты ее, а дух. «Гений есть высшая действительность в сознании истины», — скажет Белинский, отведя Грибоедову роль таланта (цель — действительность, реальность действительности) и назвав Гоголя гением — творцом высшей действительности. В «Ревизоре», напишет Белинский, есть идея как высшее проявление духа, в «Горе от ума» есть лишь ум автора, точно видящий быт.

Сном о двух крысах, пишет Белинский, имея в виду начало «Ревизора», «открывается цепь призраков, составляющих действительность комедии». Для городничего, продолжает он, «Петербург... мир фантастический, которого форм он не может и не умеет себе представить». Поэтому и Хлестаков — «сосулька» — для него вполне может быть представителем этого мира: может быть, там именно такие «сосульки» и правят всем? Вывод Белинского: «Ревизор» «более походит на действительность, нежели действительность походит сама на себя, ибо все это — художественная действительность...».

Но все это будет напечатано в 1840 году, а сейчас пресса талдычит совсем иное. «Нас так легко не проведешь! — откликнулся на премьеру Булгарин. — Даже последний писарь земского суда, в самом отдаленном городишке, разгадал бы того мнимого ревизора». Конечно, соглашался Булгарин, взятки у нас берут. «Берут, но умно, дают еще умнее». Невдомек ему было, что Хлестаков никаких взяток не берет, он *одалживает,* он искренне верит, что понравился чиновникам, что личными своими качествами завоевал их доверие и любовь. «Нужно только, чтоб тебя уважали, любили искренне» — эти его слова относятся и ко взяткам. Ему-то кажется, что из любви дают, из расположения, ибо он-то знает, что никакая он не «особа». Но Булгарин твердит: «Хлестаков только коллежский регистратор, а в этом чине не поручается осматривать губернии, что известно всем подканцеляристам в русском царстве». Да, конечно, автор все это придумал, придумал, чтоб повеселить публику, но к России это не имеет никакого отношения. «Подобного цинизма мы никогда не видели на русской сцене... грязное двусмыслие... уши вянут...» А как же аплодисменты царя?

Странные вещи иногда творятся: правая рука не знает, что делает левая, а иногда левая сознательно делает не то, что правая. Иные называют это политикой, другие — неразберихой, третьи, как Гоголь, — великой путаницей. Эту-то путаницу он и изобразил в «Ревизоре», где все смешалось и перемешалось: страх с подобострастием, чувство вины с желанием выскочить в генералы (городничий) , ханжество и доносительство — с чтением Пушкина. Только опытные пройдохи, как герои «Ревизора», могли попасться на удочку простодушия и естественности, которую закинул им, сам того не ведая, Иван Александрович Хлестаков. Да поведи он себя иначе — тут же спросили бы они у него подорожную и нужные документы, отвели бы в часть и заставили бы платить трактирщику. Но он вел себя настолько натурально, так бесстрашно-невинно, что эти щуки и караси клюнули. Им это показалось высшей игрой, высшим искусством в роли инкогнито, ибо само слово это наводило на них затмение ума и сердца.

Клюнули на простодушие, на искренность, которая показалась сверхложью, притворством, черт знает какой дьявольской искусностью.

Недаром городничий говорит: «бес попутал, с каким дьяволом породнились». Хлестаков — дьявол, потому что дьявольски притворчив, наивен, почти дитем сумел представиться, а они-то его и поняли! Явись им плут, плут их же породы, только рангом повыше, они бы так не дрожали. Они бы тут же ему цену установили и по цене бы приняли («Видывали мы всяких ревизоров», — говорит городничий), сколько надо дали бы или, наоборот, не дали бы, притворились бы святошами, ползали бы на коленях.

«Берут, но умно, дают еще умнее» — в этом Булгарин был прав. Но тут он становился на точку зрения Земляники и городничего, ибо, попадись ему такой же «инкогнито», он бы слишком легкомысленного его вида тоже испугался. Привычно бояться страшного, но непривычно иметь дело с нестрашным. А оно-то, оказывается, вызывает еще больший страх. Хлестаков есть нарушение традиции, разрушение стереотипа, он полная аномалия в представлениях о ревизоре и ревизующих.

Коллежский регистраторишко надул город, а его автор, чуть чином повыше, надул Россию. Она-то думала, что он ей фарс подсунул, малороссийскую сценку или историю из жизни Сандвичевых островов.

«Чему смеетесь?» — этого вопроса городничего, обращенного к залу, еще не было в тексте 1836 года. Но его задавал себе не один ум. Над кем мы смеялись? Уж не над собой ли?

Было о *чем* задуматься и от чего почесать в затылке. Какой-то мальчишка (Гоголь был на три года старше Хлестакова), наверняка обедающий за счет того же аглицкого короля и кропавший до того статейки (точь-в-точь как его герой), позволил себе посмеяться над теми, на которых — встреться он с ними в их кабинетах — не посмел бы и глаз поднять.

Меж тем вот что думали о комедии некоторые из его единомышленников. 19 января 1836 года Вяземский писал Александру Тургеневу: «Вчера Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор». Петербургский департаментский *шалопай,* который заезжает в уездный город и не имеет чем выехать в то самое время, когда городничий ожидает из Петербурга ревизора. С испуга принимает он проезжего за настоящего ревизора, дает ему денег взаймы, думая, что подкупает его взятками и прочее. Весь этот *быт* описан очень *забавно* и вообще *неистощимая веселость;* но действия мало, как и во всех произведениях его. Читает мастерски и возбуждает «беглый огонь» раскатов смеха в аудитории. Не знаю, не потеряет ли пьеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и *карикатурно,* описывает наши административные нравы. У нас он тем замечательнее, что, за исключением Фонвизина, никто из наших

авторов не имел истинной *веселости*. Он от избытка веселости часто завирается, и вот чем его веселость прилипчива».

На чтении 18 января 1836 года (оно происходило у Жуковского) «барон Розен один из всех присутствующих не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во все время чтения *катался от смеха»*. Кто еще, кроме Жуковского, Пушкина и Вяземского с Розеном (все — костяк будущего «Современника»), был на этом чтении, достоверно неизвестно. Возможно, Крылов (пришедший потом на премьеру), В. Ф. Одоевский, Кукольник... «Кукольник и Розен, — пишет И. И. Панаев, — не любившие друг друга, в оценке Ревизора сошлись совершенно».

Отзыв Пушкина неизвестен. Пушкин смеялся — не смеяться было нельзя. Но что он говорил о пьесе — не дошло до нас. Косвенно он отозвался на нее статьей Вяземского в «Современнике», уже тогда, когда Гоголя не было в России.

Комедия в кружке Пушкина была принята, конечно, благосклонно. Именно отсюда она порхнула и выше, добралась до дворца и так легко проскользнула мимо Дубельта. Вполне возможно, что на первом чтении присутствовал и М. Ю. Вьельгорский, который стал ее заступником перед царем. Но главное впечатление слушавших пьесу в тот вечер выражено Вяземским: «неистощимая веселость». Никакой оборотной стороны смеха не подмечено. Никакого переворота в русском театре и русской литературе не угадано. Гоголь ставится вслед за Фонвизиным, Грибоедов не поминается. «Неистощимая веселость», «истинная веселость» (тут Вяземский почти повторяет отзыв Пушкина о «Вечерах»), «избыток веселости»... Гоголь проходит по разряду *комика,* который этим и красен, этим и занимателен. Ничего более.

Надо сказать, что та редакция комедии, которую Гоголь читал у Жуковского, и даже та, которая явилась потом на сцене, сильно отличается от текста «Ревизора», привычного нашему глазу и уху. Мы сейчас имеем дело, по существу, с четвертым вариантом пьесы, законченным в 1842 году. «Ревизор» образца 1836 года был и «грязнее» и «смешнее», нежели тот, к которому мы привыкли. Он еще как бы наполовину увязал в том смехе, в том безотчетном состоянии веселья, которое овладело его автором в конце 1835 года. Он писался лихо, быстро, и смех в нем действительно «завирался», как завирается гоголевский Хлестаков.

Из Скакунова он превратился в Хлестакова, и связь этих двух фамилий очевидна: Скакунов *скачет,* Хлестаков *нахлестывает.* И тот и другой подгоняют жизнь, торопят события, спешат, готовые надорваться в спешке. Так же спешил и их автор. Но уже и в этих черновых вариантах

«Ревизор» был «Ревизором». Он присутствовал в них со своей идеей и своим сверхзамыслом. Из Хлестакова так и *хлещет,* но хлещет не только вранье, но и желание понимания. У него слезы льются, как у мальчишки.

Позже Гоголь уже ваял «Ревизора», он сбивал резцом лишние куски мрамора, он *линию* выводил, гармоническое соответствие частей выстраивал. Такова судьба многих гоголевских творений. Так писался «Портрет», так делался «Бульба». Так создавались и «Мертвые души».

Гоголь здесь, говоря его словами, «развернулся» (про Хлестакова у него сказано: «он развернулся, он в духе»), пустил музу наугад и смело вверился ей. Он часто писал так, заглатывая куски, не успевая переварить их, отделать, он оставлял это на потом, ему важно было не упустить минуту, схватить ее, как ухватывает Хлестаков свой «миг» в пьесе.

Упусти его, дай времени провиснуть, обмякнуть — и комедия лопнет, лопнет пружина ее и пружина характера Хлестакова. «Я в минуту», «я вмиг», «я сейчас», — твердит он, и мы чувствуем лихорадочность гонки за временем. Ему, может быть, даже хочется опередить ход часов, выскочить за пределы их, ибо, пойди все как положено, то есть вступи в свои права быт, не быть Хлестакову и не быть его «мгновению». Тут «чудеса», тут «неестественная сила», тут «ход дела *чрезвычайный»*. Темп скачки чувствуется в «Ревизоре». Тройка ждет Хлестакова за окном. Он тут проездом, он на минуту задержался и в минуту же развернулся и сгорел, как падающая звезда. Миг вспышки его судьбы и есть время пьесы. Могла ли она писаться иначе, как не «единым духом» и не в один присест, как и обещал Гоголь Пушкину?

Но почему именно «Ревизор» стал вехой на его пути? Это было, по существу, его первое публичное объяснение с русским миром, если считать русским миром и Россией ту образованную и полуобразованную часть нации, которая шла в театр. Театр тоже был кафедра, но с этой кафедры Гоголь мог говорить не только с кучкой студентов. В театре были царь, министры, но там была и галерка. Сюда шли и купец, и чиновник, и слуга, и военный. Русский мир причудливо смешивался в театре и являлся в своем многообразии, в том числе в многообразии мнений.

Гоголь хотел влиять. Он хотел учить эту публику, призывать ее к своим идеалам и смеяться над тем, что ему кажется смешным. Читателя он своего в глаза не видел (если исключить родственников и литераторов). Книги кем-то раскупались и где-то читались. Отзывы прессы, как правило, ничего не стоили, там все было предопределено: хвалили своих, ругали чужих. При ничтожном числе журналов и газет они все же

распределялись по «партиям», и статья Белинского, скажем, была исключением: партия шла на партию, и это была «критика».

В театре зритель смеялся, хлопал и свистел в присутствии автора, и тот мог видеть, *чему* смеются, чему хлопают и что освистывают. Он ждал какого-то единого *порыва,* какого-то объединения в переживании. Ему казалось, что «Ревизор» объединит Россию. Но произошло наоборот. Он почти перессорил всех своей пьесою. Министр негодовал на одно, чиновник на другое, литератор на третье, купец на четвертое. Да и те, кому пьеса нравилась, понимали ее совсем не так. В громе смеха тонула идея — тот призыв к очищению, который скрывался в глубине комедии.

Это был удар не только по самолюбию. Это было поражение Гоголя-учителя, Гоголя-пророка, Гоголя-проповедника. Он говорил потом, что хотел собрать все дурное в России и разом над ним посмеяться. Но он собрал в «Ревизоре» и все лучшее в себе, чтоб, как мог на этом этапе, до конца высказаться.

Удар был настолько силен, что его можно сравнить только с эффектом немой сцены в комедии. Рвутся постромки тройки, и она с размаху, с разбегу расшибается об эту немоту, как расшибается горестно гоголевский смех о состояние отчаяния.

Оставалась одна надежда — журнал. И хотя Гоголь задумал уже бежать, с журналом его связывают обязательства перед Пушкиным. Может быть, здесь удастся, думал с сомнением он, правя по вечерам корректуру свежих листов и вымарывая лишние строки. Он печатал в первом номере «Коляску», «Утро делового человека», рецензии и статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». Из 319 страниц текста 119 принадлежали Пушкину, 82 — Гоголю. Плечом к плечу с Пушкиным можно было себя чувствовать спокойнее. Все-таки Гоголь был не один: те самые пять-десять понимающих в искусстве людей, на поддержку которых он мог рассчитывать, окружали его.

Глава третья. **Пушкин**

Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живей к сердцу то, для чего он уже простыл.

Гоголь — П. А. Плетневу, декабрь 1846 года

1

Пушкин давно задумал издание, которое должно было противопоставить торговому направлению в литературе строгую меру искусства. Журнал должен был быть не только литературным, но и, как сейчас говорят, общественно-политическим. Идея о нем зародилась еще во времена «Литературной газеты», которой так и не удалось стать

подлинной газетой Пушкина. Ее узколитературный характер, отсутствие прозы и критики сделали ее пищей одиночек: подписчиков не было, популярности тоже.

По подсчетам вездесущей «Пчелы», в то время в России один журнал издавался на 674 тысячи человек. В то же время во Франции — на 52 тысячи, в Англии — на 46 тысяч, в Париже — на 3700 человек, в Берлине — на 1070. Даже в отсталой Испании один журнал обслуживал 50 тысяч человек. С журналами и читателем в России было худо. Берясь за издание «Современника», Пушкин вступал на неблагодарный путь борьбы с массовым спросом и массовым потреблением, уже зарождавшимися тогда в России.

Сенковский поставил дело литературы на широкую ногу. Номера редактируемой им «Библиотеки для чтения» выходили вовремя и поспевали к подписчику к сроку, что было невиданным делом на Руси, где книжки журналов привыкли опаздывать на месяц-два, а то и на полгода. Даже Гоголь должен был поставить в заслугу Осипу Ивановичу Сенковскому эту оперативность. Тем более он негодовал на «Московский наблюдатель», который выходил нерегулярно, поворачивался медленно и не мог соперничать хотя и с толстою (по величине объема), но поворотливою «Библиотекой». Как ни прискорбно это признать, но «Библиотека» была первым массовым журналом в России. Да и пушкинский «Современник», может быть, никогда не состоялся бы, не будь этого раздражающего факта существования пошлой «Библиотеки».

Нужен был орган, который помог бы подлинной литературе обрести своего защитника и покровителя. Нужно печатное мнение, противопоставленное мнениям «Библиотеки» и «Пчелы». В начале 1836 года Пушкин получает разрешение на издание «Современника». Он приглашает в ближайшие сотрудники Гоголя, Одоевского, Вяземского, Розена, ведет переговоры с литературною Москвою, думает о привлечении Белинского. Гоголь в этом списке занимает первое место. И не только потому, что Пушкин рассматривает его как автора, но и оттого, что Гоголь берется вести библиографию и критический отдел журнала. Это предполагает уже большую короткость отношений между ним и Пушкиным.

Но… одно дело — литературное единомыслие перед лицом Булгарина и Сенковского, высокий контакт поверх личных отношений, контакт в сфере искусства; другое — когда вместе берешься делать журнал. Журнал один, и мнение у него должно быть единым, одним, как и политика в отношении литературных соперников, и оценка конкретных явлений словесности. Тут раздваиваться, противоречить себе весьма опасно. Литературная политика, какая она ни есть, все же политика, а та требует ущемления личного мнения и личного вкуса во имя единства.

Вот это-то *испытание единством* и предстояло выдержать Пушкину и Гоголю, когда они сошлись над составлением первого номера «Современника». И здесь надо отметить различие, которое все явственней проступало меж ними во взглядах, в характерах и в течении их несхожих судеб. Если Гоголь на исходе 1835 года заряжен желанием смеяться (что он и осуществляет в «Женитьбе» и «Ревизоре», «Носе» и «Коляске»), если он полон жизни и надежд на нее («все трын-трава»), то Пушкин полон иным:

Поредели, побелели

Кудри, честь главы моей...

Сладкой жизни мне не много

Провожать осталось дней:

Парка счет ведет им строго,

Тартар тени ждет моей.

Не воскреснем из-под спуда,

Всяк навеки там забыт:

Вход туда для всех открыт.

Нет исхода уж оттуда.

Холод, охлаждающий эти стихи, исходит из той неведомой бездны, которая видится уже поднявшемуся на перевал своей жизни Пушкину. Перед лицом этой беспощадной истины он все ищет спасения, ищет выхода и помышляет о *бегстве*. Пушкин пишет стихотворение «Странник», где герой бежит из города, из дома, от семьи, бежит от жизни самой, чтоб там найти и покой и свет. «Давно, усталый раб, замыслил я побег...» — писал Пушкин в 1834 году. Но тогда он хотел бежать в «обитель дальную трудов и чистых нег». Теперь перед ним открывается еще более дальняя даль. Там свет неясный светит и спасенья «тесные врата».

Странник, как и герой «Пророка», «безверием томим». В пути ему встречается юноша, который читает Книгу — ее страницы и освещены тем таинственным светом, который манит странника, и юноша указывает ему путь к спасенью.

Как раб, замысливший отчаянный побег...

духовный труженик... —

пишет о страннике Пушкин.

«Усталый раб» и «духовный труженик» — одно лицо. Это поэт, который силится порвать круг земной жизни и страшится пустоты.

«Я осужден на смерть и позван в суд загробный —

И вот о чем крушусь: к суду я не готов,

И смерть меня страшит».

«Коль жребий твой таков, —

Он возразил, — и ты так жалок в самом деле,

Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»

И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»

Тогда: «Не видишь пи, скажи, чего-нибудь», —

Сказал мне юноша, даль указуя перстом.

Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,

Как от бельма врачом избавленный слепец.

«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.

«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света;

Пусть будет он тебе единственная мета,

Пока ты тесных врат спасенья не достиг,

Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

Стихотворение «Странник» написано по мотивам книги Д. Беньяна «Странствие паломника», но, как всегда, Пушкин вкладывает в чужой сюжет свою судьбу. В обстоятельствах жизни странника много общего с обстоятельствами жизни Пушкина. То же непонимание со стороны дома и города, то же деспотическое желание близких удержать его возле себя.

Побег кончается возвратом, возвращением в круг жизни и круг искусства.

В Михайловском, где Пушкин получает запрос Гоголя о сюжете комедии, он пишет «...Вновь я посетил». Ни тени веселого настроения, которого ждет от него Гоголь, нет в нем. Эти стихи тоже прощание, но светлое, просветленное, открывающее дорогу тем, кто идет вослед. «Племя младое, незнакомое» уже заслоняет побелевшую главу Пушкина. Он это чувствует, но не ропщет. Среди этого племени — Гоголь. Пушкину тридцать шесть лет, Гоголю двадцать шесть. Эти десять лет, как пропасть, разделяют их.

Как раз в те дни, когда готовился к печати первый номер журнала, Пушкин уехал в Святые Горы. Он поехал туда хоронить мать. Он положил ее рядом со своим дедом и бабкой, возле стен Святогорского монастыря. Небольшое кладбище все поросло травой. На крутогорбых его склонах ютились могилы монахов с безымянными каменными надгробьями. И здесь Пушкин выбрал место для себя:

...но ближе к милому пределу

Мне все б хотелось почивать...

Он уже думал о том, что там, Гоголь еще весь был здесь.

Позвав Гоголя в журнал, Пушкин рассчитывал на его молодость, на трудолюбие, на разносторонние таланты. Он рассчитывал и на его преданность и послушание.

Но он забывал о характере Гоголя, о его самолюбии, о том, что Гоголек, как называл его Жуковский, был не тот Гоголек, который наведывался к нему из Павловска со своими тетрадями и робко ждал, когда они с Натальей Николаевной встанут от чая, а *Гоголь,* который при всем благоговении к своему кумиру уже чувствовал право говорить с ним как равный.

Гоголь пришел в журнал, чтобы помочь Пушкину, чтоб быть рядом с Пушкиным, чтобы отстоять дело Пушкина. То было святое дело искусства, высокого искусства, которое одно только и могло удовлетворить их. Но ничто высокое не обходится без вязкого, ничто великое не рождается на чистом месте — оно порой из грязи растет, из навоза, оно на журнальном суглинке восходит, на перегное. И нужны годы, чтоб оно выросло. С этой простой истиной не хотел считаться молодой сотрудник Пушкина. Он сразу взял круто, он взял ту неимоверно высокую ноту, которая грозила сорвать все дело, изолировать «Современник» от текущей литературы и обескровить его как журнал. Доселе не являвшийся на страницах периодических изданий (за исключением нескольких мельканий), Гоголь решил громко сказать свое слово и разом очистить поле литературной брани.

Меж тем тут требовалось умение лавировать, маневрировать, учитывать и другие самолюбия, и реальность борьбы. Вести ее в одиночку было невозможно. Нужны были хитрость, осторожность, возвышение над страстями, но возвышение не высокомерное, не абсолютистское, а дипломатическое, тактическое.

При всех своих житейских способностях к дипломатии, к маневру и обвораживанию нужных лиц Гоголь не показал той же гибкости на поприще журнальном. Он тут же открыл огонь из всех батарей и, главное, во все стороны, не щадя ни противников, ни сочувствующих, ни

возможных союзников «Современника». Он написал статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», в которой не оставил камня на камне от всего, что производилось русским печатным станком. В маленьких рецензиях, которые должны были составить библиографический отдел журнала, он тоже был крайне строг. Так он, например, почти начисто списал, как ничтожные, «Исторические афоризмы М. Погодина», на которого Пушкин рассчитывал как на свою важную опору в Москве. Досталось от Гоголя и комедии Загоскина «Недовольные;). Этот юноша писал о далеко не юноше Погодине, что у того виден «юношеский порыв». Про комедию Загоскина было сказано, что она никакая не комедия и «действия» в ней «нет вовсе». Гоголь потешался над жалкими изделиями литературной кухни, давая волю воображению. Про альманах «Мое новоселье» он написал: «Какое странное чувство находит, когда глядим на него: кажется, как будто на крыше опустелого дома, где когда-то было весело и шумно, видим перед собою тощего мяукающего кота». Он перечислял авторов этого альманаха и добавлял: «кроме того, написали еще стихи буква С., буква Ш., буква Щ.», а повести некоего Я. А. «Убийственная встреча» отвел две убийственных строки: «Эта книжечка вышла стало быть где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее».

Пушкину пришлось большинство из этих рецензий снять. Снял он и отзыв Гоголя о комедии Загоскина. Но то же самое позволил себе Гоголь и в статье, и никакая правка уже не могла спасти ее — скрепя сердце Пушкин должен был согласиться на печатание ее, хотя понимал: хлопот не оберешься.

Нож гильотины упал прежде всего на Сенковского, и голова барона Брамбеуса под крики и завывания смеха покатилась с плахи на площадь. Две трети статьи Гоголь отвел «Библиотеке для чтения». Он даже помиловал «Северную пчелу» и «Сына отечества» и их издателей — Булгарина и Греча, и весь свой гнев обратил на «слона между... четвероногими», как он назвал журнал Сенковского.

Гнев был направлен и на Сенковского лично, и на его способы редактуры, и на дух издания, отдающего литературным рынком, и на ученость Сенковского, и на художественные сочинения Сенковского, и на монополию Сенковского. В черновом варианте статья была еще резче, но и того, что осталось, было достаточно. Булгарин, которого, повторяем, Гоголь помиловал (всего лишь назвав «Северную пчелу» «корзиной, в которую сбрасывал всякий, что ему хотелось»), замер в шоке. Он долго не мог сообразить, кто же автор статьи — сам Пушкин, князь Вяземский или еще кто-то. На Гоголя даже не пало его подозрение, он не мог предположить, что такую дерзость позволит себе самый молодой из сотрудников. Доброжелательно предупреждал он Пушкина, что трудно будет поэту вести журнал, доброжелательно

оговаривал свое расположение к будущему изданию (когда вышли в свет объявления о подписке на «Современник»), надеясь втайне, чтов нем ни тронут его, — и на тебе!

Что же говорить о Сенковском, которого в статье обвиняли в жульничестве, в коммерции на почве литературы, в плагиате, в отсутствии знания Востока, в наглости, в невежестве, в потакании своим литературным приятелям. Обиделась и Москва, новый журнал которой — «Московский наблюдатель» — Гоголь назвал вялым и неповоротливым, неспособным противостоять «Библиотеке». О редакторе «Московского наблюдателя» В. П. Андросове говорилось, что его имя слишком неизвестно, ибо стоящий во главе журнала «должен быть видным лицом». Не заслужил одобрения и восславивший Гоголя «Телескоп». И ему ставилось в вину, что он недостаточно сильно действовал против Сенковского, который, пока его противники разворачивались, собрал пять тысяч подписчиков.

Такое отделение всей журналистики от «Современника» не было на руку Пушкину. Он почувствовал это, как только вернулся в Петербург из Михайловского; из Москвы уже шли слухи о недовольстве статьей Гоголя. Никто не знал автора статьи, но все приняли ее за программу журнала. Пушкину пришлось поспешно отступать. Гоголь требовал только великого, то есть подобного себе, и это был его юношеский просчет — так считал Пушкин.

Он объявил об этом открыто в третьем номере «Современника», напечатав реплику некоего А. Б., будто бы присланную из Твери, — в ней говорилось о несогласии со многими положениями автора статьи «О движении журнальной литературы». Пушкин в сноске к реплике и от своего имени замечал, что мнения эти «выражены с юношескою живостию и прямодушием» и оттого не могут быть сходны с его собственными. А. Б. называл статью Гоголя «сбивчивой», в некоторых местах — забавной, а в некоторых — невежественной, и советовал молодому автору: «Врачу, исцелися сам!»

Реплика А. Б. появилась, когда Гоголя уже не было в России. Но нарекания и обиды в связи со статьей он пережил, еще будучи сотрудником Пушкина. Кто знает, что стояло за правкой статьи, за безжалостным вымарыванием из нее дорогих сердцу автора мест, за снятием подписи Гоголя (вначале она была), за устранением из текста упоминаний о тех оскорблениях, которые нанес г. Гоголю редактор «Библиотеки для чтения».

У Гоголя были основания гневаться на Сенковского. Тот назвал его в «Библиотеке» писателем «грязным», он зарезал главу из его романа по причине ее подражательности неистовой французской словесности (которой сам подражал), он в рецензии на «Ревизора» невинно

предлагал изменить финал комедии, женить Хлестакова на Марье Антоновне. Он играл именем Гоголя, выставив это имя на обложке своего журнала и не напечатав ни одной его строки. При этом он широко публиковал Пушкина, Жуковского и превозносил их до небес, как бы вдвое унижая их молодого единомышленника. Он ни во что не ставил его, даже не стремясь залучить Гоголя в свой журнал, хотя, казалось бы, должен был это делать для подписки. Для него Кукольник был Гёте, а Гоголь — Поль де Кок.

Да и маменька, без ума влюбленная в сына, писала ему, что сочинения Брамбеуса, которые ей так нравятся, наверное, принадлежат Никоше, но только он скрывает свое авторство. Гоголь мог предполагать, что такого рода догадки она высказывала и другим. Вся Полтавщина могла считать его сочинителем бездарных творений барона.

Конечно, журнал Сенковского был *журнал*. В нем присутствовали и смесь, и наука, и финансы, и политика, и изящная словесность. В нем даже являлись недурные философские статьи. Это было чтение, способное занять самые разные вкусы и сословия в долгие зимние вечера, в дороге, в деревенском безделье, в кондитерской, когда скучающий городской человек только делает вид, что занят, а на самом деле смотрит в окно и выглядывает, не пробежит ли мимо какая-нибудь шляпка. «Библиотеку», не моргнув, можно было закрыть на любом месте и открыть на любом месте, не неся никаких потерь, она, как приправа к обеду, не мешала есть обед. А иное воображение могло найти в ней для себя обильную пищу.

Рядом с сочинениями Пушкина, Жуковского, Державина, Вяземского, Ершова, Даля, Одоевского, Дениса Давыдова, Лермонтова, Козлова, с обстоятельными статьями о хлебопашестве оно могло отыскать и пикантные страницы из повестей самого барона.

В повестях этих описывались *страсти*. Тут влюблялись в женщин-мертвецов, мрачные разбойники нападали на женщин и мертвецы вели записи в дневниках, тут лица взрывались «судорожною игрою жил», «челюсти» прекрасных героинь «сощелкивались» и «корчь крючила» их пальцы. Более всего отличался барон по части клубнички. Он писал об «обуреваемых роскошию грудях», о «душе женщины, испаряющейся из тела в горячий туман любви». «Почему такая душа, — рассуждал он, — не попадает в жесткое, медное мужское тело, а душа мужская — смелая, гордая, брыкливая, жадная крови, увлаженная началами всех высоких добродетелей и всех нечистых страстей, душа без страха... не завалится случайно в тихое, роскошное, пуховое тельце девушки?» Срывая покровы с сокровенного, барон описывал «гром, молнию, удар и дождь», которые возникают как следствие «наэлектризованности» героя и героини.

Одним словом, противно было читать. Но — читали. «Вкуса никакого», — писал Гоголь о повестях Брамбеуса, и это относилось не только к вкусу самого Сенковского, но и раскупавшей его толпы. Драматизм ситуации состоял в том, что, защищая Сенковского, Пушкин косвенно вынужден был защищать и вкус толпы — то самое отношение к литературе, которое ему было чуждо, враждебно.

Гоголь это знал. Он понимал, как противоречит себе Пушкин, как он уступает обстоятельствам, — он судил Пушкина, он был молод.

2

Еще до этого инцидента Гоголь позволял себе пикироваться с Пушкиным, посмеиваться над ним, иронизировать на его счет. Сочинения самого Гоголя той поры дают нам лучшие представления о природе их отношений. В них видны и бытовые расхождения, и поэтические, расхождения в тактике, в привычках, в понимании задачи и облика поэта. Пушкин в этих сочинениях поминается не раз. И всякий раз стрелы Ученика пролетают как бы *мимо* Учителя, но вместе с тем весьма близко от него. То поручик Пирогов невзначай роняет фразу о Пушкине, приравнивая его в своих вкусах к Булгарину и Гречу, то Поприщин, переписывая бездарный куплет, замечает: «Должно быть, Пушкина сочинение», то Иван Александрович Хлестаков признается целому уезду, что он с Пушкиным на дружеской ноге.

Тут и пародия на самого себя («Помните ли вы адрес? на имя Пушкина в Царское Село»), и намек на неразборчивость Пушкина в знакомствах, на доступность его личной жизни взгляду толпы, на некоторую публичность ее. В той редакции «Ревизора», которую слушал в исполнении Гоголя поэт, Хлестаков рассказывал, как Пушкин пишет стихи: «А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного австрийского императора берегут, — и потом уж как начнет писать, так перо только тр… тр… тр… Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник с ума сошел, когда прочитал. Того же самого дня приехала за ним кибитка и взяли его в больницу…»

Реплика эта поразительно совпадает со строками из письма Пушкина к жене от 11 октября 1833 года из Бол-дина: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: Как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет писать! — Это слева».

Но образ пишущего Пушкина впоследствии трансформировался совсем в другое лицо — в некое подобие человека, мимо которого проскакивает, пробегая по вверенному ему департаменту, Хлестаков. «Я только на две минуты захожу… с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а

там уже чиновник для письма... пером только: тр, тр... пошел писать...» Это отчасти и о себе. Это сам Хлестаков (как и Гоголь в свое время), чиновник для *переписывания:* и писание и переписывание смешиваются здесь не случайно, образуя двойной оборот иронии, направленной и на низкое уважение публики к труду литератора, и на Пушкина *косвенно.*

Гоголь позволяет себе так *играть* с Пушкиным в своей комедии.

Безусловно, это игра, это обыгрывание пушкинской известности с примесью гоголевской иронии по отношению к этой известности, гоголевского снижающего юмора. Тут и смех, и слезы, и неразгаданная улыбка Гоголя, который, почитая Пушкина, все же позволяет себе и щекотать своего кумира.

Демократ Гоголь иронизирует над аристократом Пушкиным, про которого он почти в то же самое время пишет Данилевскому: «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах».

Гоголь как бы и в бытовом смысле отталкивается от Пушкина, противопоставляя его шумному образу жизни уединение одинокого художника. Тут не сходятся уже не два разных гения, но и два типа творца, один из которых — удачливый, гармонический и гениально-беспечный Пушкин, второй — весь жертва искусству, изгой света и обычаев его, обитатель чердака, лишенный женского общества, — Гоголь. Скрытая, очень глубоко скрытая ирония и критика слышится здесь у Гоголя, она весело задрапирована гомерическими подробностями о роме, который берегут только для австрийского императора, и о цене этого рома («по сту рублей бутылка»).

Смех и ирония падают как будто бы на всех этих поручиков Пироговых и Хлестаковых, на их вкусы, мешающие Булгарина с Пушкиным, Сенковского с Пушкиным, и т. д., но и по касательной проходят и по самому поэту. Таково уж свойство гоголевского смеха: он как бы обращен в две стороны — в сторону тех, кто судит о предмете, и на сам предмет.

Гоголь благоговеет перед Пушкиным, но он видит и незавидную *участь* поэта — участь быть игрушкой в руках судьбы, которая, вознося, может и унизить. Поворачиваясь к нам комической стороной, Пушкин в сочинениях Гоголя (в этих обмолвках и репликах по поводу его) одновременно и трагичен, ибо его имя игрушка в руках света, в руках толпы.

Так играла в то время с именем Пушкина булгаринская «Пчела», именуя Пушкина «нашим Поэтом», «нашим Гением». Она присваивала Пушкина, указывала на свои права на него, как демонстрируют эти права поручик Пирогов и Хлестаков. Пушкин в их рассказах — средство

похвастаться «высоким» знакомством, может быть, близостью к царю, с которым поэт лично беседует. Это все равно что похвастаться своим знакомством с графом Кочубеем, который тоже стоит в перечне «знаменитостей» у Хлестакова, и знакомством с которым, как мы помним, хвастал перед маменькой и провинцией сам Гоголь.

Так что, как ни близки были Пушкин и Гоголь в то время, как ни сталкивала, ни сводила их за одним делом судьба, они и дело-то это понимали уже каждый по-своему, мудрость Пушкина не сходилась с нетерпимостью Гоголя, с его преувеличениями, с его амбицией.

И сам Гоголь был иным, вовсе не тем, за кого его принимали и читатель, и зритель, и критика, и опять-таки Пушкин. Еще в статье «Несколько слов о Пушкине», вошедшей в «Арабески» и бывшей сплошным панегириком Пушкину, он определил это различие. Защищая Пушкина от остывшей к нему публики, от упреков тех, кто винил Пушкина в отходе от высоких тем его поэтической молодости, Гоголь защищал и себя, и свое право на «обыкновенное» в искусстве. Конечно, писал он, какой-нибудь горец или иной романтический герой «гораздо ярче какого-нибудь заседателя» или «нашего судьи в истертом фраке, запачканном табаком», но «они оба — явления, принадлежащие к нашему миру». Конечно, описывать «заседателя» невыгодно с точки зрения успеха у публики, но, черпая со дна жизни, поэт «ничуть не теряет своего достоинства», а «даже, может быть, еще более приобретает его».

В этой статье Гоголь впервые обосновывал свою главную поэтическую идею — извлечь «необыкновенное» из «обыкновенного». Это уже была цель Гоголя, а не Пушкина, как, впрочем, судья в истертом фраке и заседатель были героями Гоголя, а не Пушкина. Пушкин мог коснуться их, обежать их жизнь сочувственным взглядом, но понять их изнутри, как Гоголь, он уже не мог. Точнее, у него была другая задача.

«Чем предмет обыкновеннее, — писал Гоголь в статье о Пушкине, — тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное...» И это «тем выше» относилось не столько к Пушкину, сколько к автору статьи.

Сходясь, Гоголь и Пушкин отталкивались, в сближении самоопределялись, ясней видели каждый свое назначение. Пожалуй, Пушкину в этом смысле и не нужен был Гоголь (он когда-то так определялся по отношению к Державину), но Гоголю нужен был Пушкин.

Отсюда его намеки и наскоки, его амбициозные параллели и прозрачные оговорки. Все в них — и близость и далекость, и солидарность и соперничество. Точно так же поступит с Гоголем позже Достоевский. В первой же своей повести «Бедные люди» он не только

выразит несогласие с его «Шинелью» (в оценке Девушкина), но и спародирует гоголевский стиль в творениях бездарного литератора Ратазяева. Самоопределяясь, Достоевский будет отталкиваться от Гоголя. Наследуя, он будет противоречить ему, поклоняясь его авторитету, посягать и на авторитет.

Итак, за всеми этими «играми» скрывалось нечто серьезное. Свершилось это все на отрезке 1833—1836 годов, во время наиинтенсивнейшего *сотрудничества* Пушкина и Гоголя, их прямого союза на литературной почве.

И не только литературной. Гоголь бывает у Пушкина (Пушкин реже — у Гоголя), читает ему свои повести и пьесы, Пушкин правит корректуру «Арабесок» (и, может быть, «Миргорода»), пишет рецензии на «Вечера», хвалит «Ревизора» и через Вяземского и Жуковского хлопочет о постановке того на сцене. Пушкин смеется «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Женитьбе». Он в курсе всех дел и планов Гоголя.

Чуть что Гоголь отправляет к нему слугу с запиской, чтоб Пушкин то-то прочел и, если надо, *выправил* (да, да, так и просит «поправить»). Наконец, Пушкин привлекает Гоголя к участию в «Современнике». И не просто привлекает, а делает его главным автором и сотрудником журнала. Это ли не доверие и не близость?

Пушкин — заступник Гоголя на житейском поприще. Именно Пушкин печатает в «Современнике» не принятые нигде сцены из «Владимира III степени» и отвергнутый всюду «Нос». Чего же еще? «Чего же боле?» — можем мы сказать словами самого Пушкина. И... тем не менее все далее отходят поэты друг от друга, отходят и творчески и лично, что выливается во внезапный отъезд Гоголя за границу, отъезд без прощания с Пушкиным.

3

Пушкин вернулся из Михайловского в те дни, когда «Ревизор» репетировался в театре. Он обещал Гоголю побывать на премьере, но не смог — траур по случаю смерти матери все еще держал его дома. Он и делами «Современника» не мог как следует заниматься, хотя надо было готовить в печать материалы второго номера. Едва управившись со вторым номером, Пушкин выезжает в Москву, чтоб на месте внести разъяснения по поводу нападок Гоголя на московские журналы. Он успокаивает Погодина, «наблюдателей» — авторов «Московского наблюдателя), ищет знакомства с Белинским, которого хочет привлечь в журнал.

Кстати, имя Белинского было упомянуто в черновом тексте статьи Гоголя, но не появилось в печати. О Белинском Гоголь писал: «В

критиках Белинского, помещающихся в «Телескопе», виден вкус, хотя еще не образовавшийся, *молодой* и *опрометчивый,* но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении». Самое удивительное, что в письме А. Б., за которым скрывался Пушкин, было повторено то же самое, почти слово в слово, только молодость и опрометчивость были поставлены в упрек Гоголю как и *неупоминание критик Белинского.* «Жалею, писал А. Б., — что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду...» У Гоголя, когда он прочитал это письмо, были основания обижаться на Пушкина: ссылки на молодость и юношеские заскоки автора статьи «О движении журнальной литературы» почти выдавали и имя автора ее — самым молодым сотрудником Пушкина был Гоголь. Вполне возможно, что с текстом письма А. Б. (или, во всяком случае, с его идеями) Пушкин был вынужден познакомить в Москве и Погодина и Шевырева.

Так или иначе, по он отмежевывался от Гоголя, и Гоголь, если не знал это, то чувствовал. В своей статье он косвенно задел и А. Ф. Смирдина, а со Смирдиным Пушкин уж вовсе не хотел ссориться. И несмотря на льстивые замечания в статье Гоголя о деятельности книгоиздателя Смирдина, несмотря на видимое отделение Смирдина от Сенковского, статья все же била и но Смирдину — прибыль от издания «Библиотеки» извлекал и он.

Было ли произнесено имя Гоголя как автора нашумевшей статьи в Москве и Петербурге, неизвестно. Думаем, что Пушкин скорей всего сохранил тайну авторства Гоголя, чтоб не подвести его. Об этом говорит тот факт, что Булгарин, откликнувшийся на первый номер пушкинского журнала в статье «Северной пчелы» от 6 июня 1836 года, еще не знал, по ком бить. Он бил наугад, он разил всех, на кого накопился его гнев, но более всего налегал на издателя, подозревая все же его в нанесении «Пчеле» кровных обид. «Пчела» заступалась не только за себя, но и за Сенковского, она гоголевские упреки в незнании Сенковским Востока переносила на Пушкина и ядовито спрашивала: «А разве вы, г. Издатель, в «Путешествии в Арзрум» обнаруживаете это знание?» На замечание гоголевской статьи о том, что у нас отстает поэзия, она восклицала: «Довольно странная жалоба со стороны Поэта!»

Нет, Булгарин явно грешил на Пушкина, и это еще раз объясняет необходимость появления в «Современнике» письма А. Б.

И тем не менее Пушкин, находясь в Москве, занимается делами Гоголя. Он встречается со Щепкиным и хлопочет о постановке на московской сцене «Ревизора». Он пишет в Петербург письмо Наталии Николаевне о том, чтобы она позвала Гоголя и передала ему, что в Москве его любят и лучше поймут и поставят его комедию.

Гоголь откликается через Щепкина, что ему все равно, что он уже остыл к «Ревизору» и как его поставит Москва — ему безразлично. Щепкин зовет его в Москву, просит лично почитать актерам текст комедии, он отказывается. Есть ли причина отказа только «Ревизор» и его неудача на сцене Александринки? Или Гоголь не хочет являться в Москву *после* Пушкина, после его отмежеваний от Гоголя?

На поверхности все было хорошо. Первый номер пушкинского журнала демонстрировал единство Пушкина и Гоголя, их тесное сотрудничество. Рядом со стихами Пушкина, с «Путешествием в Арзрум» были напечатаны повесть Гоголя и драматические сцены Гоголя. Налицо был союз — ни одна тучка не омрачала его. В этом же номере Пушкин обещал читателям в скором времени отозваться на новую комедию Гоголя «Ревизор», он печатал заметку о «Миргороде» и «Арабесках» и называл «Тараса Бульбу» творением, достойным Вальтера Скотта. Он объявлял, что «г. Гоголь идет вперед...».

Но г. Гоголь уже печатал в «Санкт-Петербургских ведомостях» объявление о своем отбытии за границу. В прибавлениях к этой газете 17 мая 1836 года появилась строка: «...Николай Гоголь, 8-го класса; спрос.[ить] в Малой Морской, в доме Лепена, 1». 1 — это означало, что он едет один, без слуги и близких. Рядом с его именем стояли имена каких-то французов и француженок, был даже мещанин Дмитрий Донской с Выборгской стороны, граф Мусин-Пушкин с дворовым человеком, камергер Г. фон Нордин, некто Викториано де ля Кусета из Испании и другие. Через педелю в этих списках появилась и фамилия Данилевского — Гоголь уговорил и его прокатиться по Европе.

А во все стороны летели письма Гоголя, объясняющие внезапное решение покинуть Россию. Надо было растолковать его маменьке, Москве, извиниться перед Загоскиным, что он не смог сам прибыть на обсуждение своей пьесы, перед Щепкиным — за то, что не приедет читать «Ревизора» актерам Малого театра, перед Аксаковым — за то, что возложил на него хлопоты по постановке комедии. Всем им (москвичам) он обещает, что по возвращении поселится в Москве, что отъезд ему необходим ввиду полного непонимания, которое он обнаружил в холодном Петербурге, что к тому зовут его и личные огорчения и недуги. «Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне, — пишет он Погодину. — ...Я не оттого еду за границу, чтобы не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровьи, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постояннее пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с большим размышлением».

Но это уговоры, заговоры, не вся правда слышится тут. Гоголь утаивает часть правды, ту правду, которая тоже обратила его мысли к отъезду, — правду о неудачном сотрудничестве с Пушкиным. Он и раньше держал всех в неведении относительно своей близости к изданию Пушкина, он и до этого делал вид, что лишь сочинениями своими участвует в «Современнике», так что и отступать в этом смысле ему теперь было легче. Легче на словах, в письменных объяснениях с приятелями, но не перед самим собой. Потому что это было, безусловно, еще одно *поражение*. Так же как после истории с «Ганцем», после провала надежд занять кафедру в Киеве, после несостоявшегося профессорства в Петербургском университете (откуда его просто уволили в связи с упорядочением штатного расписания) он имел основание для отчаяния. Он вновь сходил с кафедры, и так же, как тогда, «неузнанный» и, пожалуй, освистанный, если принять в расчет прием «Ревизора». «Все против меня, — жаловался он Щепкину. — Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого... Полицейские против меня, купцы против меня, *литераторы* против меня...»

Как всегда, он преувеличивал, раздувал в собственных глазах размеры несчастья и сам же раздражался от создания собственной фантазии, но таково уж было свойство его воображения: что оно создавало, то и было для Гоголя действительностью.

Он зря досадовал и на Пушкина, он забывал, в каком состоянии Пушкин затеял журнал. Впрочем, мог ли он понять Пушкина? Пушкина, который, вернувшись 23 мая из Москвы, где он улаживал свои издательские дела, сразу же отправился на дачу, где его жена ждала — уже четвертого — младенца, Пушкина, уставшего и «простывшего», Пушкина, не имеющего ни минуты, которую бы он мог уделить своему молодому соратнику?

Что делать? Ему было не до Гоголя, во всяком случае, не в такой степени до Гоголя, как хотелось бы Гоголю и на что он имел право рассчитывать как единственный его достойный Ученик. Он давно уже вышел из-под крыла Учителя, но вместе с тем все еще находился под ним, оно его согревало, защищало, и позже, говоря о том, что светлые минуты его жизни были минуты, в которые он творил, Гоголь добавит: «Когда я творил, я видел перед собой Пушкина».

Нет, не так просто ему было отрываться от Пушкина, оставлять его одного в России. Еще в ту пору, когда маменька писала ему отзывы о его сочинениях и восхваляла их, он советовал ей: «Не судите, моя добрая маменька, о литературе. Потому что, может быть, в самом Петербурге литературу умеют ценить и понимать какие-нибудь пять человек». Среди этих пятерых первым был Пушкин. Отрываться от него — значило отрываться от надежного берега, от светящего над гобой солнца, от

воздуха, которым дышишь. Все было гиль и суета по сравнению с тем, что рядом жил и творил Пушкин.

Он с болью рвал эту нить, и это, быть может, была самая сильная боль, какую он ощущал при расставании с родиной.

6 июня 1836 года, когда корабль, перевозящий пассажиров в Кронштадт, отчалил от Английской набережной, увозя за границу Гоголя, Пушкин был в Петербурге. В июне он еще жил на Дворцовой набережной, то есть в получасе ходьбы от того места, откуда отплыл Гоголь. Ни Пушкин, ни провожавший княгиню Веру Федоровну и сына Павла, уезжавших в одной партии с Гоголем, князь Вяземский, ни Гоголь не знали, чтоподписчикам уже разосланы, а в кондитерских и книжных лавках появились на столах свежие оттиски «Северной пчелы» со статьей Булгарина «Мнение о литературном журнале Современник, издаваемом Александром Сергеевичем Пушкиным на 1836 год». Это был прощальный залп Фаддея Венедиктовича в сторону Гоголя, последнее яростное изрыгание его бессильных мортир в адрес безымянного автора беспардонной статьи.

Выстрел Булгарина не докатился до ушей Гоголя. Он стоял на палубе маленького кораблика (в Кронштадте их ждал большой корабль «Николай Первый») и грустно глядел на отплывающий гранит. Вяземский махал ему платком. Отплывал гранит, дворцы на набережной, шпиль Петропавловки, видный из окон квартиры Пушкина, и сам Пушкин.

«Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься, — напишет Гоголь Жуковскому в первом письме из-за границы, — впрочем, он в этом виноват».

Часть четвертая. СТРАННИК

Мне бы дорога теперь, да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света.

Гоголь — М. П. Погодину, октябрь 1840 года

Глава первая. Чужбина

...В сердце моем Русь...

Гоголь — М. П. Погодину, Женева, сентябрь 1836 года

1

1836 год резко делит жизнь Гоголя на две половины. Как отдалялся от него гранит петербургской набережной, прямой чертой отсекающий Неву от города, так отдалялась от него сама Россия, и начиналась эра странствования — того странничества, о котором писал мудрый Пушкин в 1835 году: впереди ждала дорога, дорога, дорога...

Путь его лежал через Вену, Париж, пестрые итальянские города, через высокомерно-скучный Берлин, фрондирующую Женеву, полные бездельничающими господами курорты. Если взглянуть на заграничный паспорт Гоголя, то можно подумать, что это документ какого-нибудь коммивояжера, коммерсанта, или, как тогда говорили, негоцианта. Только в Риме он живет по полгода и больше. Жизнь в Риме падает на осень и зиму, а весной или в начале лета Гоголь снимается с места и начинает колесить по Европе, переезжая из страны в страну и нигде не задерживаясь подолгу. Нет страны, где бы он не побывал.

Чего же ищет Гоголь в этих путешествиях? Забвения, узнавания новых наций и новых мест? И этого. Еще его гонят в дорогу болезни. Слабый от природы, он рано начинает сдавать физически, особенно сдают нервы. Гоголь ездит лечиться на воды, пользуется услугами европейских врачей, пробует те и другие средства. Но еще его гонит из города в город, из страны в страну одиночество. В Европе более, чем в России, он лишен общества, лишен дружеской поддержки и внимания. Оставив «Петербург, снега, подлецов, департамент», он оставил по ту сторону черты и себя — свое детство, свою Васильевку, «одноборщников», Пушкина.

Только в Риме, тихом солнечном Риме находит он успокоение и сходство с милой ему Малороссией: все патриархально здесь, все в стороне от шума Европы, от ее меняющихся прихотей. Именно здесь, на улочке, которая носит название «Счастливой» — Via Felice, — найдет он две комнатки, выходящие на южную сторону, комнатки с «ненатопленным теплом», где в равновесии и забытьи и завершит свой великий труд.

Гоголь писал Погодину, что едет за границу «развлечься». В гоголевском словаре это слово означает «отвлечься». Но и развлечься он тоже ехал. Побывать в театрах, послушать лучших в мире певцов, посмотреть на новые города, поторчать в картинных галереях, погулять, черт возьми, по Елисейским полям. Перед ним открылись залы оперных театров, лучших сцен Парижа, Лувр — все, все, что могла предложить русскому путешественнику умеющая развлекаться Европа. Ему казалось, что она только и делала, что развлекалась. Развлекалась торговлей, развлекалась отдыхом, развлекалась… политикой. «Здесь все политика, — писал он Прокоповичу, — в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякой хлопочет, нежели о своих собственных».

В Петербурге был один Невский, Париж же был весь Невский проспект. Тут на всякой улице торговали, выставляли на продажу сладости и картины, вещи, мебель, бюсты писателей и героев, зазывали что-то купить, чем-то насладиться. Сворачивая с Невского, ты попадал в темноту неосвещенных улиц, и твой ум, твое воображение могли

успокоиться, прийти в себя. К полночи Петербург вымирал. Здесь жизнь только начиналась в эти часы. И магазины и лавки, кажется, не закрывались, их освещенные газом внутренности сияли зеркалами, мрамором, яркими цветами угощений, материй, разных товаров. Имена хозяев лавок писались прямо на стенах домов, в глазах рябило от надписей и вывесок, притом это были не те вывески, которыми тешил жителей Санкт-Петербурга цирюльник Иван Яковлевич на Вознесенском проспекте («...и кровь отворяют»), а целые художественные сонаты, симфонии.

«Неплохая собака этот Париж», — скажет Гоголь, попав в столицу мира, но скоро заскучает в ней и запросится в свою келью. «Для меня нет жизни вне моей жизни», — признается он в первом письме из-за границы Жуковскому, и это означает, что краток срок его «развлечения», что пора уже и за дело, без которого он не он, а простой путешественник. «Клянусь, — пишет он Жуковскому, — я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст».

Отшельник остается отшельником. И пусть шум парижских улиц еще звучит в его ушах, пусть мелькают огни магазинов, пусть поют и веселятся и рисуют прямо на мостовых легкомысленные французы, он уже не слышит и не видит их — развертывается лента дороги, пылит щебенка, и едет по этой дороге Павел Иванович Чичиков (странная фамилия, смешная фамилия! Есть в ней что-то детское: чик-чик, что-то птичье: чик-чирик), но отчество у него, как и у всех гоголевских героев, коренное русское: *Иванович,* а чином он самый старший из всех — коллежский советник (полковник), правда, потерпевший по службе, пострадавший, как он говорит, за правду, чей челн разбился о бурные волны житейского бытия. Куда он едет и зачем? Об этом не знает еще и сам Гоголь. Далеко открывается перспектива, и воздух продернут туманом, а в том тумане уже проклевывается слабый звук струны, настраивается музыкальная нота, ибо не роман пишется, не приключения пройдохи и подлеца («пора, наконец, припречь и подлеца!»), а поэма, хотя начинается она с рассуждения мужиков о колесе брички и скучного пейзажа по сторонам, наводящего грустные мысли своей пустынностью.

2

Граф Бенкендорф, оставивший записки о важнейших событиях в Русском царстве, происшедших при его жизни, в главе о 1837 годе ни словом не упоминает о смерти Пушкина. «Зима 1837 года, — пишет он, — была в Петербурге менее обыкновенного шумна. На праздниках и балах отозвалось еще не совсем восстановившееся здоровье Государя, и все гласно выражали единодушное желание, чтобы он поболее берег

себя, как единственный оплот благоденствия России и вместе как страшилище для всех народных волнений». Записки велись не для печати — для потомства, но и потомству Бенкендорф не счел нужным сообщить ничего о том, что произошло в квартире на Мойке в пятницу 29 января.

Правительственные «Санкт-Петербургские ведомости» 30 января ни словом не обмолвились о смерти Пушкина. Лишь «Пчела» напечатала короткую заметку. «Пораженные глубочайшею горестью, — писала «Пчела», — мы не будем многоречивы при сем извещении». 31 января в самом низу второй страницы мелким шрифтом, по соседству с сообщениями о наградах, новых назначениях в должность, о курсе монет в Валахии и водевиле «Женщина-лунатик», идущем на столичной сцене, «Санкт-Петербургские ведомости» дали объявление: «СПБ, 30 янв. ...Вчера, 29 января, в 3-ем часу пополудни, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина».

Не знаем, читал ли царь этот некролог перед сдачей его в печать, но именно этого хотел он — *присвоить* себе посмертно Пушкина, оставить его в истории при своей особе, как состоял при особе его брата покойный Карамзин.

Все знали, что Карамзин был ближайшим советником императора Александра. Он не занимал никаких постов (кроме поста историографа, и то — что это за пост?), но Александр часто призывал Карамзина к себе и выслушивал его советы. Такого же второго Карамзина (в европейском варианте — Вольтера) хотел иметь в лице Пушкина — уже после его смерти — Николай. Он не смог сделать это при его жизни, он попытался сделать это после его гибели.

Впрочем, о смерти Пушкина нигде не говорилось как о гибели. Никакие намеки не указывали на то, как и отчего умер поэт. Это была тайна — дуэли были запрещены, — но и из тайны сумели извлечь выгоду авторы некролога.

На первой странице тех же «Санкт-Петербургских ведомостей» жирно сообщалось о кончине великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха-Франца. Император высочайше повелел наложить траур при высочайшем дворе. Россия должна была оплакивать этого Фридриха-Франца, а не Пушкина. И лишь дерзкий «Инвалид» в «Литературных прибавлениях» позволил себе обвести известие о смерти поэта в траурную рамку. И хотя помещено оно было над «Смесью», хотя рядом с ним писалось бог знает о чем (о том, как французы добывают сахар из каштанов), здесь была искренняя боль: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался...» Издателя «Прибавлений» А. А.

Краевского призвали к Бенкендорфу и сделали выволочку. Николай гневался. Доныне с солнцем сравнивали в печати только его.

Страшная весть донеслась до Парижа в дни великого поста. Она опередила почту с газетами, «...одного я никак не мог предчувствовать, — скажет Гоголь позже, — смерти Пушкина, и я расстался с ним, как будто бы разлучаясь на два дни». Это было признание своей вины перед Пушкиным, вины гордости, вины самолюбия.

Париж, несмотря на пост, веселился. Полны были улицы, в каретах показывались разноцветные маски. Из домов доносилась музыка. Безбожники французы, породившие убийцу Пушкина, и знать не знали, что произошло в России.

И лишь в некоторых домах, где жили русские, повисла тягостная тишина. Люди не находили слов, чтоб объясниться, чтоб оправдаться в глазах друг друга за это несчастье. Вина, кажется, лежала на всех.

Никто из нас не протянул ему руки, никто не вник в его душу, скажет Гоголь о Пушкине. Никто не откликнулся на его нравственные мучения, которым мы все были свидетелями. И опять-таки это будет упрек себе.

Тщетно станет он искать в опоздавших газетах хоть какое-нибудь упоминание о судьбе тела Пушкина, об отпевании, о похоронах. Ни звука более не издаст русская печать о нем. И не будет знать Гоголь — или другой русский, — пробежав глазами ничего не значащие строчки, напечатанные 9 февраля в «Прибавлениях» к петербургским «Ведомостям»:

«Выехавших из столичного града СПБ февраля 3 и 4 дня 1837 года...

...в Остров, камергер Тургенев

...в Монастырь Св. Горы, корп. жандармов кап. Ракеев...» —

что это и есть последняя весть о Пушкине, весть о последнем его пути из «юдольной сей обители»[8].

Непосвященному читателю эти строки не говорили *ни о чем*. Ну, выехали камергер Тургенев и капитан корпуса жандармов по своим делам или по казенной надобности, но каждый по *своим* делам и по *разным* надобностям. Пункты-то назначения разные... А ехали они на самом деле вместе, *по одному делу* и в *одно и то же место,* и при них-то, рядом с ними — в одном обозе или поезде — ехал гроб Пушкина, *ехал Пушкин,* несся, меняя лошадей, вон из города, где его убили. Но как будто не было этого факта, как будто и Пушкина не было: умер — и растворился, исчез бесследно, безымянно, неизвестно куда пропал, как нос с лица майора Ковалева, о пропаже которого отказались дать объявление в газете.

«Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово».

Так писал в марте 1837 года Гоголь Погодину.

Теперь-то он это чувствовал. Пушкин заглянул в его детскую душу, как светлый луч, когда он, едва разбирая слоги, стал читать. Пушкин обогревал своими стихами его юность. Пушкин заставлял тянуться вверх, верить в великое, прекрасное, в искусство, в красоту. Пушкин приласкал его в пору безвестности, пушкинский «Годунов» заменил ему университет. Близость Пушкина, присутствие Пушкина в том же городе, в нескольких минутах ходьбы были радостью. Пушкин был жизнь, надежда и суд — только суд Пушкина он признавал над собой и, восставая на судию, знал: судья есть.

Пушкин был все для одинокого Гоголя, не имевшего ни света, ни женщины, ни иных житейских наслаждений. Все отдал он единственной жене своей — Музе, и она-то призвала их обоих пред свое лицо и там, на иной ступени, *избрав* и отделив от других, поставила рядом.

Со смертью Пушкина Гоголь оставался один. Вот когда почувствовал он полное одиночество свое в литературе и в мире! Вот когда образовалась вокруг истинная пустыня, которую нечем было восполнить! Сбывались слова Белинского, которые в минуту их произнесения тешили его самолюбие: он заступал место Пушкина. Но каким горьким оказался этот шаг! Каким роковым. И какой груз взваливал он на свои плечи!

Он еще не сознавал, какая отныне тяжесть перекладывается на него и какую тяжесть нес на своих плечах, казалось, так легко живший Пушкин. Освобождалось место, но и освобождался груз, освобождалась та непосильная для простого смертного ответственность, которую оп, сам того еще не ведая, брал на себя. Слишком много уходило с Пушкиным, слишком многое держалось в России и в русской литературе на нем, и в том числе он, Гоголь. Как будто основа обрушилась и образовался провал, над которым не на чем было стоять, не за что держаться, не на что опереться. Пушкин был Антей, и держал он небесный свод...

Теперь под этот свод должен был встать Гоголь.

Пушкин ушел, оставив ему те вопросы, которые не разрешил, перед которыми остановился, от которых, может быть, отвернулся, как отвернулся он в последних стихах от непонимающей и уже начавшей освистывать его толпы. Пушкин вернулся в круг поэзии, в круг искусства:

…Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать…

«Никому отчета не давать». Но через две недели Пушкин пишет другие стихи. Гоголь прочтет их, получив первый после смерти Пушкина номер «Современника». Они будут оттиснуты на заглавном листе книжки журнала пушкинским почерком:

Отцы-пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

В конце жизни Гоголь вспомнит эти стихи Пушкина и напишет сестрам: беспрестанно молитесь молитвой Ефрема Сирина: «Дух же терпения, смирения, любви даруй мне!»

Это был завет Пушкина Гоголю. Никто в России об этом не знал, и сам Пушкин не знал, когда писал эти стихи, и Гоголь не знал, когда читал их[9], — далек еще был его путь, но так было, так получалось, так жизнь складывалась — и передавал все это Пушкин ему, Гоголю.

Так, поверх их отношений, помимо «Современника» и журнальных обид, через все заставы и шлагбаумы, отделявшие уже мертвого Пушкина от Гоголя, передавалась эта бессмертная связь, эта нить, так зажигалось пламя свечи Гоголя от пламени свечи Пушкина. Именно в Гоголе оно не погасло, не замутилось, а разгорелось еще ярче. Нет, никого не было роднее и ближе Гоголю, чем Пушкин. Пушкин завещал ему не только сюжет «Мертвых душ» (они «его создание», — писал Гоголь), но и сюжет судьбы, которая была не только лично его, гоголевской, судьбой, но и судьбой их отечества.

Не сразу Гоголь это поймет, но в тот час, когда раздастся страшный звук колокола, оповещающий о смерти Учителя, он бессознательно примет его права. Он вздрогнет и осознает ответственность...

3

Надо было идти по оставленной Пушкиным дороге — идти, сжав зубы и не надеясь ни на кого. Не было иного спасения и утешения, чем труд, хотя не было впереди и «награды» — награды в виде смеха Пушкина, одобрения Пушкина, поощряющей улыбки Пушкина, «...что труд мой? Что теперь жизнь моя?» — восклицает в отчаянии минуты Гоголь и в сердцах даже решает навсегда оставить Россию. «Сложить мне голову свою не на родине», — пишет он Погодину. «...Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине!» «В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей — никогда».

И тут же признается: «Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам... Ни одной строки не мог посвятить я чуждому».

Участь его в этом смысле решена и предрешена, как ни отталкивается он мысленно от России, в которой теперь «нет Пушкина». И в ее сторону устремляется его взгляд, и к ней протягивается его просящая о помощи рука. Он просит у тех, у кого не хотел бы просить, у тех, у кого одалживал и Пушкин, потому что не у кого более одолжить, потому что никто в чужой земле не положит в его шляпу ни франка, а он — нищий.

Непреодолимая цепь приковывает его «к своему» и здесь, и, мучаясь, страдая, ломая свою гордость, он пишет слезные письма Жуковскому с просьбой замолвить словечко, вымолить пенсион. Последний дьячок русской церкви в Риме, пишет он, обеспечен лучше его. Деньги, вырученные за «Ревизора» и за второе издание «Вечеров», кончились: жить не на что.

«Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим предстателем... Скажите, что я невежа, не знающий, как писать к его высокой особе, но что я исполнен весь такой любви к нему...» Не эти ли строки, зачитанные вслух, рассмешили царя? Не от них ли он заливисто хохотал? «Я писала ему, — хвасталась маменька Гоголя А. А. Трощинскому, — почему не пишет о монарших к нему милостях... Недавно я слышала, что он послал г. Жуковскому занять ему три тысячи рублей, что он ему скоро возвратит, — и в таком смешном виде написал, что тот показывал многим придворным и, наконец, дошло до Государя. Он изволил потребовать письмо, много смеялся, читая его, и велел послать ему четыре тысячи рублей — и притом сказал: «пусть еще напишет такое письмо, и я еще пошлю ему денег».

* * *

Первые письма Гоголя из Рима говорят о настроении, с каким пишутся и переиначиваются «Мертвые души». Что-то уже было написано в России, что-то писалось в Швейцарии и Париже, но смерть Пушкина прервала писание. Мысли Гоголя, как и его душа, сделались «печальнее» и «обнаженнее». Веселая история о проходимце, дурачащем на этот раз не один городок и даже не уезд, а губернию, и не одну, а там, смотришь и всю Русь, так хорошо покатившаяся, так смешно начавшаяся, прерывается. Теперь и смотрит Гоголь на своего героя иначе. Отдалившись от него, скрывшись за Альпами от холодных пространств России, он и на свою поэму начинает смотреть по-другому, желая отделиться в ней от проклятой современности и не в силах этого сделать. Кругом вечное — Рим, развалины Колизея, дворцы и живопись. Сама природа, кажется, застыла со времен цезарей в том же покое и ясности, в недвижимости, неизменяемости.

Александр Андреевич Иванов, с которым он познакомился здесь, пишет картину о явлении Мессии. Давно задумал и давно пишет, и не видно конца его работе, потому что велика и необъятна тема и далек художник от всего мелко-текущего, преходящего.

И великая идея зарождается в уме у Гоголя. Это идея преображения ничтожного в великое, преображения в падении, в унижении и постижении на дне падения великого и прекрасного в себе. Глядя на наброски Иванова, он думает о тех, кого обратил Христос. О грешниках и неверующих, о сомневающихся и нищих духом.

Все это еще пока мерещится ему, как в полусне, как серебряная дымка римского воздуха, как синеющие вдали горы и марево над вольной Кампаньей. Тут есть простор, есть безбрежность, соединенность с прошлым на каждой улочке, в виде из окна, за которым высится купол собора святого Петра, в самом воздухе, который врачует душу.

Две идеи соперничают у истока «Мертвых душ» — идея современная и идея вечная. Гоголь остается Гоголем. Несмотря на урок, данный «Ревизором», он все же пишет о России и для России. И хотя он уверяет своих друзей, что «мертв для текущего», что в виду должно быть одно потомство, а не подлая современность, об этой современности ему писать и писать. Такой уж он писатель.

Поэма о плуте? Новый «Ревизор»? Апология обличения и разоблачения, борьба с злоупотреблениями и упрек соотечественникам? Да. А как же великая и божественная *идея?* Она лишь вырисовывается, она грозно маячит вдали, не имея контуров, как призрак, как облако, из которого и должен грянуть спасительный дождь. Так маячит на горизонте ивановской картины фигура Христа — она-то более всего и не дается ему, ее-то он пишет и переписывает, и подолгу сидит Гоголь в мастерской художника, глядя на эти *муки идеи,* которые еще предстоят ему.

А пока он сам пишет. Пишет и переписывает, пишет и... читает. В Париже у него образуется новый круг слушателей. Александра Осиповна Смирнова-Россет (она вышла замуж, муж ее дипломат), семейство Карамзиных — дети историка Андрей и Софья и их мать Екатерина Андреевна, Репнины, Балабины (у которых он когда-то давал уроки их дочери Марии Петровне), княгиня Зинаида Волконская, с некоторого времени живущая в добровольном изгнании за границей, красавица, умница, «царица муз и красоты», как называл ее Пушкин. Сначала он читает себе, потом в собрании слушателей. Перемаранное раз, перемарывается вновь, и каждое новое чтение приводит к следующим перемаркам. По взглядам, по выражению лиц, неуловимым и ему лишь одному видным жестам он угадывает, где недописал, где переписал. Чтение как бы выявляет скрытые огрехи текста, которые не открылись ему наедине и лишь в этом публичном испытании на слух треснули и подались. И отпадают грязь и шелуха, отстраивается еще не совсем стройное здание, и уже спокойно ложится перебеленная страница на страницу, ожидая лишь одного — печатного оттиска.

«Мертвые души» как бы выплывают стихийно из «Ревизора» и зачинаются в стихии его — в стихии смеха, в стихии, и материально воспроизводящей стихию комедии, — тот же городок (только побольше), тот же проезжий, те же подробности, та же интонация и, кажется, тот же герой. Но... нет, с героем что-то произошло. Как, впрочем, и с автором.

Отойдя на расстояние от «Ревизора» и от прежних своих творений, созданных на родине, он останавливается в раздумье. Жажда совершенства овладевает им. Называя свои прежние творения незрелыми (письма на эту тему летят в Москву и Петербург), Гоголь имеет в виду прежде всего их неотделанность, неряшество и торопливость в их оформлении. Гармония Рима, чистота и прозрачность

живописи Рафаэля (кажется, сама божественная рука водила его кистью!), величественная законченность скульптур великого Микеланджело, эпическая простота Леонардо да Винчи — все отвечает его возросшему отношению к себе, его все набирающему рост максимализму. Начав с легкой поездочки Чичикова по городам средней России, он начинает строить здание «Мертвых душ», все более заботясь о вечности и прочности строения. Вечное же не может быть сработано в час, в миг. Оно должно отстаиваться годами, вылепливаться, отливаться в вечные формы, которые увековечили бы быстро меняющееся содержание. Вот почему он примеривает и осматривает каждый камушек, каждый кирпич, вот почему сад Плюшкина — это уже не русский сад, не запустенье во владениях русского помещика, живущего неподалеку от обеих столиц, а какой-нибудь сад Волконской в Риме или сам Рим, застывший в каменном совершенстве своем. Это античный сад, уставленный русскими деревьями. Он недвижим, он застыло-прекрасен, он как бы отлит из бронзы. Это писалось уже в Италии.

«Мертвые души» распадаются на части, написанные до Италии и после нее, точнее, в ней же, но с опытом ее знания. Лишь в первой главе мелькнет иронически тема Италии — Гоголь пишет об итальянских видах, висящих на стенах гостиницы, где остановился Чичиков. Тут Италия приравнивается к закопченным окорокам и натюрмортам, выглядывающим с тех же стен, и грудастой нимфе. Но, уже приближаясь к деревне Манилова (в третьей главе), Гоголь как бы начнет пробовать крепость своего пера, и открывающийся Чичикову вид — вид дома Манилова, бугра, на котором он стоит, и всей перспективы, — обозначит новый звук струны, натянутой автором.

Новое настроение автора «Ревизора» сказывается не в одном лишь восхищении Римом. Не в том лишь, что тот вдохновляет его на подвиг великой отделки и переделки. К этому обязывают и столь же стихийно завязывающаяся идея книги, ее размеры, ее масштаб. Как бы давая некоторые выходы лирическому разгулу, который не умещается в «Мертвые души», он вновь переписывает «Бульбу» и столь же строго отделывает его. Идет переработка «Портрета» — сочинения, до сих пор не оцененного в гоголевском творчестве, вторая редакция которого (пишущаяся одновременно с первым томом «Мертвых душ») дает ключ не только к самим «Мертвым душам», но и ко всему последующему Гоголю. В то же время он пишет повесть «Рим», где создает образ вечного города. Он противопоставляет его кипящему Парижу и всей остальной Европе, которая или танцует, или курит табак, или занята своими мелкими делишками. И в это же самое время он задумывает драму из запорожской жизни.

Запорожцы и Чичиков? Вольные казаки, гуляющие на просторах новороссийских степей, и ...Коробочка? Да, все это пишется одною рукой

и в *одно* время. «Еще один Левиафан затевается», — сообщает он своим корреспондентам в Россию, не поясняя ни размеров, ни облика этого Левиафана. Впрочем, раз Левиафан — значит, великан. Левиафан — это нечто вселяющее страх. Но страх у Гоголя может вселять и прекрасное. Даже уродства жизни, возведенные, как говорил он, в перл создания, могут заставить онеметь зрителя при виде их совершенства — того полного воплощения безобразия, которое и без-образное претворяет в образ. «Идеалами огрубения» назвал Гоголь образы бессмертной комедии Фонвизина.

Но обратимся к самим «Мертвым душам», пора вспомнить об их герое, покачивающемся среди российских просторов в своей бричке, на облучке которой позевывает Петрушка, ведет свою беседу с пристяжным Селифан, и, закрыв глаза, забыть про сияющий и теплый Рим, про воздух Кампаньи и вдохнуть запах сырости только что смоченных дождем полей, запах коней, упряжи, кожи и сам запах России, так и тянущий с каждой строки этой поэмы.

***Глава вторая*. Мертвые души**

...«Мертвые души», преддверие немного бледное той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит, наконец, загадку моего существования.

Гоголь — А. С. Данилевскому, май 1842 года

1

«Мертвые души» часто сравнивают с «Илиадой». Да и сам Гоголь не очень спорил с теми, кто сопоставлял его поэму с поэмой Гомера. Косвенно он давал понять, что сходство есть — не в материале, а в *масштабе, в* замысле и в духовном просторе, который он стремился обнять. Простор накладывался на простор. Чичиков в отличие от своих предшественников *вырывался*. До него, может быть, один Тарас Бульба смог это сделать. Колдун в «Страшной мести» пытался, но уперся в стену Карпатских гор. Поприщин улетал на тройке в воображении, Хлестаков — где-то за сценой и не так уж далеко — в Саратовскую губернию. Чичиков же, судя по его подорожным, сумел везде побывать — и на севере, и на юге, и на Волге, и бог знает где. Он и на границе служил, и Малороссию объездил, и в Белоруссии и Польше побывал. Он вольный казак в отличие от своих прикрепленных к департаментским стульям предшественников. Оп перекати-поле, он «запорожец» в некотором роде, хотя и носит чин коллежского советника. По чину ему положено было бы сидеть на месте, расти на этом месте и произрастать, накапливать крестики и оклад, пенсию и движимое-недвижимое. Он же волею судеб брошен в житейское море и носится по его бурным волнам, как челн (мы повторяем этот образ потому, что он образ Чичикова),

ломая в щепы борта и обрывая парус, прибиваясь и не прибиваясь то к одному берегу, то к другому.

Чичиков, надорвавшись на легких предприятиях (имевших, правда, в перспективе капитальную цель), ищет покоя и прочности. Он хочет осесть, перестать ездить — и для того ездит.

Сравнивая его с прежними гоголевскими героями, мы видим, как противоположен он им, как замешен совсем па иных дрожжах, как даже готов отречься от них, посмеяться над ними, над всеми их воздушными замками, несуществующими невинными красавицами, Испаниями, орденами Владимира III степени. Он «хозяин», «приобретатель», не вертопрах. Я бы назвал его реалистом в отличие от Хлестакова, Поприщина, майора Ковалева и даже поручика Пирогова.

Те были романтики. Они пускались за шлейфом женского платья, который, как тот снег, который черт напускает в глаза голове в «Ночи перед Рождеством», приводил их *не туда,* обещал им конфуз и посмеяние. Они начинали с неопределенных мечтаний и упований на случай, на бог знает что — Чичиков начал с копейки. С одной-единственной, неделимой, которую превратил в пятьсот тысяч. Не в том смысле, что копейку эту пустил в оборот (на самом деле была полтина, которую оставил ему отец), а копейку души своей положил в основание того Дома, который он собирается строить где-то в Херсонской губернии.

Вспомните дорожную шкатулку Чичикова — это же поэма! Это поэма о приобретательстве, накопительстве, выжимании пота во имя полумиллиона. Там все в порядке, все разложено по полочкам — и чего там только нет! И сорванная с тумбы городская афишка, и приглашение на свадьбу, и театральный билет, и какие-то записочки, счетца. И гербовая бумага лежит отдельно, и деньги в потайном ящичке, и приспособления для туалета. И романчик всунут на случай праздного препровождения времени. Та же *куча* Плюшкина, только не растрепанная, неорганизованная, бессмысленно наваленная, а приведенная в симметрию, где каждый предмет — к делу, где все спланировано, лишнее отметено, нужное не позабыто. Куча Плюшкина — это бессмысленное накопительство и уничтожение накопленного, шкатулка Чичикова — уже предвестие деловитости Штольца, да и сам Чичиков говорит, как бы обещая гончаровского героя: «Нужно дело делать».

Да, Чичиков реалист, да, он не Хлестаков, не Поприщин, не Собачкин, не Ковалев. Да, его надуть трудно. Сам он надувать мастак. Но *мечта* Чичикова в той ситуации, в которой он действует, — разве не мечта? Разве это тоже не некая ненадежность, некий воздушный замок, хотя и выстроенный, кажется, на прочном фундаменте миллиона? Почему же

то и дело сгорает и прогорает гоголевский герой, почему его аферы, сначала так возносящие его вверх, всякий раз лопаются, не удаются? Риск, закон риска? Конечно. Ведь он плутует, а плут не может не рисковать. И из взлетов и падений состоит жизнь плута — таков уж закон. Но все же, но все же...

Смог ли бы отъявленный и прожженный плут так *довериться* Ноздреву, так ему сразу и ляпнуть насчет «мертвых»? Разве не понял бы он, что Ноздрев все разболтает? Афера Чичикова фантастична, романтична, потому что действует он в фантастической стране, и он вынужден, несмотря на логику своего «приобретательства», подчиняться законам действительности. Он вынужден увлекаться против своего желания, он не может иначе, потому что дело делать там, где он плутует, по законам дела немыслимо. Потому что тут, с одной стороны, — Собакевич, который все понимает и будет врать до конца, который молчун и себе на уме, а с другой — пребывающий в именинах сердца Манилов, который может брякнуть об деле совсем не по-деловому, или Коробочка, которая вовсе не понимает, что на свете происходит, и простодушно отправляется в город, чтобы узнать, не продешевила ли она «мертвых».

Тут хаос, неразбериха, никакого закона — и потому незаконен при этих условиях пытающийся «законно» плутовать Чичиков, плутовать по своему внутреннему «закону» плутовства, то есть в согласии с логикой и расчетом. Логика и расчет прекрасная вещь, но они отказывают там, где только безумие и несообразность могут спасти, русское авось, как расцепляются вдруг, сами по себе, неизвестно отчего сцепившиеся на дороге тройка Чичикова и шестерня губернаторской дочки, и не могут им помочь в этом бестолковые усилия дяди Митяя и дяди Миняя.

Задумывая свое очередное «дерзкое предприятие» — аферу на таможне, — Чичиков математически вычисляет его, готовит, подготавливает. Он не надеется на случай, на какое-то постороннее вмешательство чудесных сил. Он не сидит и не ждет (как Подколесин, например), что счастье само свалится на него с неба. «Тут в один год он мог получить то, — пишет Гоголь, — чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы». Но как ни строил это предприятие Чичиков, как ни мастерил и ни подстраховывался заранее, полетело прахом ловко задуманное предприятие и исчез, как облако, уже схваченный им миллион. И из-за чего? Из-за пустяка, *из-за бабы.*

Началось все, как в повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. «Чорт сбил с толку... перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а, *может быть, несколько и выпивши,* Чичиков назвал другого чиновника (своего компаньона по «предприятию» — *И. З.)* поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему — обиделся жестоко... «Нет, врешь: я статский советник, а не попович, а вот ты — так попович!» И потом еще

прибавил ему в пику для большей досады: «Да, вот, мол, что!» Последовал донос, но и «без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа...». В итоге «бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев», а Чичиков и его оскорбитель были изгнаны со службы и взяты под следствие.

Ну скажите, какой же тонкий плут себе такое позволит, какой «хозяин» так неосторожно осечется? Да он обласкает этого дурака статского советника, скажет ему: «Конечно, не ты, а я — попович, и возьми себе на здоровье эту бабенку, только мои полмиллиона при мне оставь» (впрочем, последние слова он произнесет про себя), он его до дому доведет, если тот выпивши, и спать уложит. «Холодные приобретатели» так не горячатся. Тут страстность видна, амбиция, тут о чести вспомнилось — и взыграла кровь. Да и слабость — слабость к женскому полу — подвела. Тому, кто решается на миллионное предприятие, это не к лицу. Сжав зубы, должен он отказаться не только от бабенки, но и от отца родного. Это романтик себе может позволить, мечтатель, а не тот, кто задумал в один год перескочить двадцать лет. Реалист Чичиков срывается на романтизме, на недостаточной холодности, железности. Неся в себе все черты «подлеца», он все же подлец какой-то странный, с заскоками, с отклонениями в чисто русскую сторону (взяли, выпили — и рассорились), в какие-то хлестаковские прыжки и поприщинские безумства.

А история с губернаторской дочкой? Разве не она подвела его окончательно? Разве не на ней он срезался и выпустил из рук, может быть, уже готовое порхнуть ему в руки счастье? Не пренебреги Чичиков вниманием городских дам, обделай он свой интерес к губернаторской дочке тонко, тайно, не публично — все было бы прекрасно, и, глядишь, сосватали бы его те же дамы и под венец отвели, да еще говорили бы: «Какой молодец!» А он рассиропился, он на балу свои *чувства выказал* — и тут же был наказан. Не ополчись на него губернский женский мир, сплетни Ноздрева и россказни Коробочки ничего бы не сделали. Те же дамы снесли бы их в мусорный ящик. Но пламя разгорелось из-за них.

Как всегда у Гоголя, в дело встряла женщина, и полетело вверх тормашками дело, лопнула логика, рухнуло предприятие, затевавшееся ловким мужским умом.

Застыл наш герой перед куклой-красавицей (Гоголь называет ее и статуей, и игрушкой из слоновой кости — все сравнения мертвые), неосмотрительно потерялся, замешкался на *миг* и заварил кашу. Сначала он об этой губернаторской дочке как-то отвлеченно подумывал, вроде того «славная бабешка!», но мысли те за пределы расчета и «на всякий случай» не выходили. Засек в памяти ее лицо, отложил в свою внутреннюю шкатулку и покатил дальше. Это по-хозяйски, по-чичиковски. Но «пассаж» на балу, восстановивший против него всю

женскую половину города, — это уже из другой оперы. Так забыться мог разве Иван Александрович Хлестаков или какой-нибудь Пискарев, а не Чичиков.

То и дело срывается герой поэмы в эту стихию своих предшественников и собратьев, срывается с холодных высот эгоизма и беспредельного нюха на реальность. Так вываливается он однажды буквально в грязь, когда подвыпивший Селифан, сбившись с дороги, заезжает со своей тройкой в канаву.

Падения Чичикова позорны и конфузны, они напоминают падения гоголевских хвастунов и мечтателей, испанских королей и разочаровавшихся идеалистов. Но в отличие от них он вновь берется за дело.

Обтерев грязь со своего фрака и припрятав кое-какие оставшиеся деньжонки, он в который раз начинает с нуля, не отчаиваясь, не сдаваясь, а лишь «съеживаясь» и собирая свою волю в комок. Эти героические усилия Чичикова выдают в нем в некотором роде героя, хотя героизм Чичикова комичен — он преследует ничтожные цели. Да и сам приступ неприступной крепости миллиона выглядит в поэме пародией на героику, ибо штурмуется все-таки миллион.

Вся поэма есть некая гигантская пародия на исторические события в мировом масштабе и, являясь русской Илиадой, вместе с тем иронически осклабливается в сторону старца Гомера. Сама история в форме ее чрезвычайных и героических проявлений, кажется, является объектом пародии Гоголя, ибо в его «истории» все обыкновенно: и герой, и местность, и масштаб, и предмет раздора.

Историческая тема, можно сказать, въезжает вместе с Чичиковым в город NN. Не успевает он расположиться в трактире и заказать себе сосиски с капустой, как на него взглядывают с исторических полотен исторические лица, которым предстоит созерцать его русский обед. Чичиков поедает свои сосиски, мозги с горошком, пулярок и пирожки, а исторические герои, смотрящие с картин, только облизываются. История встречает его и в столовой Манилова: дети хозяина оказываются Алкидом и Фемистоклюсом, и между ними разыгрываются военные действия, состоящие в том, что Фемистоклюс кусает Алкида за ухо. Чичиков даже поднял несколько бровь, пишет Гоголь, услыхав это «отчасти греческое имя». Появление античных имен в соседстве с соплей, которую готов уронить в суп Фемистоклюс (в этом прибавлении к имени Фемистокла «юс» есть нечто бесконечно снижающее исторического Фемистокла), и бараньей костью, которую грызет Алкид, обмазывая себе щеки жиром, в мирнейшей и сахарнейшей Маниловке производит комический эффект.

Но тема истории не прерывается на этом. Даже на стене дома Коробочки, куда уже ей (истории) вовсе незачем заглядывать (Манилов все-таки бывший офицер), висит не кто иной, как *Кутузов,* напоминая Чичикову о славных делах своего отечества, на которые так мало похожи его, чичиковские, неблаговидные поступки.

Как тени сопровождают Чичикова в его странствиях образы всяческих всадников и полководцев, вождей революций и мировых знаменитостей. В доме Собакевича «на картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах *т* мундире, с очками на носу, Миуали, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился *Багратион,* тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу...».

И все время, пока между Собакевичем и Чичиковым идет деловой разговор, пока они торгуются и не сходятся в цене на «мертвых», эти портреты (тоже в некотором смысле «мертвые души») смотрят на них со стен, принимая участие в торге. «Багратион, — пишет Гоголь, — с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку...» Бедная история! Ей ничего не остается делать, как принимать то, что совершается на ее глазах, — она даже съеживается, уменьшается от смущения.

Когда Чичиков попадает к Ноздреву, воинственная историческая тема сходит с картин на землю. Разыгрывается сражение между шулером хозяином и хитрецом гостем, который отказывается играть с ним в шашки. Ноздрев приступает к лицу Чичикова с кулаками, как молодой поручик, воображающий себя *Суворовым,* штурмующим какой-нибудь Измаил. Но через минуту этого «Суворова» берут под арест «по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами, в пьяном виде». «Суворов» попадает в руки капитан-исправника, а Чичиков, в котором дамы города NN найдут впоследствии «что-то даже марсовское», вскакивает в бричку и несется что есть духу прочь, радуясь, что сохранил бока и весь свой род для грядущего «потомства».

Впрочем, чичиковские Бородино и Троя еще впереди. Главное сражение будет дано им в городе, где и свершится тот самый «пассаж», о котором предупреждал автор читателя, пуская своего героя в поездку по губернии. Полем сражения сделается бал — бал у губернатора, где сойдутся все враждующие армии и где Чичиков будет произведен в «Марсы», а потом низвергнут, вновь поднят и опять опущен в неведомые глубины. Тут-то запляшут и затанцуют в поэме древние греки и «рыцари», все эти Зевесы и Прометеи, жрецы Фемиды и местные Маврокордато. Но до того Гоголь как бы еще раз произведет ревизию города и ревизию истории в его лице, совершив вместе с

Чичиковым обход «сановников» и «властителей», палат и частных домов, где закрепится и получит законное основание его покупка.

И тогда-то и возникнет перед нашими взорами храм Фемиды — палата, где в председательском кресле восседает некто, подобный «древнему Зевесу Гомера», а в залах и передних толкутся кувшинные рыла и их жертвы. До этого мы еще побываем в страшном «замке-инвалиде» — доме Плюшкина, от которого пахнёт на нас пародией на средние века, столь же мало щадимые Гоголем, как и эпос греков. Замок Плюшкина с его «кучей» так же смешон, как «турецкие кинжалы» на стенах дома Ноздрева, выделанные «мастером Савелием Сибиряковым». Столь же смешон и жалок Зевес — председатель, объедающийся семгой, выловленной другим героем поэмы — «чудотворцем» и «отцом города» полицмейстером, выловленной не в реке, а в лавках купцов, славящих своего «благодетеля». Этот полицмейстер, между прочим, участвовал в кампании 1812 года и «лично видел Наполеона». Тощий Багратион на стене дома Собакевича не герой из сказки, он современник Собакевича. Все эти Колокотрони и Миуали — тем более. Да и Суворова он еще мог застать. Во всяком случае, Суворов — современник Плюшкина, которому за шестьдесят.

Эта близость великой войны и великих событий еще более усиливает пародийность происходящего. Там настоящие Багратионы и настоящие Кутузовы скакали на конях и размахивали саблями, здесь сабля мирно ездит в бричке вместе с Чичиковым — ездит «для внушения надлежащего страха кому следует». Позже тема 1812 года всплывет в рассказе почтмейстера о капитане Копейкине, и тут мы услышим, как зазвучит в ней тоска Гоголя по героическому и жажда его.

Но то, что Гоголь называет в поэме «пассажем», очень далеко от исторических битв и напоминает тот «пассаж», который произвел в уездном городе Иван Александрович Хлестаков. Только он вложил в это дело свой гений — у Чичикова все произошло помимо его воли. Точнее, он сознательно этого не хотел, не желал, даже противился бы этому, если б узнал, что так случится. Ибо Хлестаков — человек публичный, а Чичиков — человек тайный. Он привык обделывать свои операции в тишине, ему блеск и слава не нужны, не нужны ни слушатели, ни зрители. Но такова уж оказавшаяся сильнее его сила страха. Мертвые души, соединенные с приездом нового генерал-губернатора, потрясли город. Как будто какой-то «вихорь» пронесся по мирной глади вод. И повставали со дна их тюрюки и байбаки, вылезли из своих нор какие-то Сысои Пафнутьевичи и Макдональды Карловичи, а «в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, *такого высокого роста,* какого даже и не видано было».

Фантастика чичиковского предприятия порождает и фантастическую реакцию. Все имевшее доныне в глазах читателя (и героев)

обыкновенные размеры начинает стремительно расти — растет сюжет о «мертвых душах», растет и преображается Чичиков, растут слухи, растет страх, растут неразбериха и путаница, растет и сама фантазия. Обнаруживается, что в губернии, где губернатор вышивает по тюлю, идут настоящие сражения, крестьяне бунтуют и убивают чиновников, что купцы на ярмарках дерутся насмерть и по дорогам валяются мертвые тела. А в городской тюрьме вот уже третий год сидит некий пророк, явившийся неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, и возвестивший, что грядет антихрист. Мигом всплывают наружу в преувеличенном виде все грехи, преступления, злоупотребления законом и властью. И про дам станет известно, что многие из них способны на «другое-третье» и нет среди них той, которая не мечтала бы, чтоб ее увез какой-нибудь Ринальдо Ринальдини, за коего они и принимают на одном из этапов своего заблуждения Чичикова.

Чичиков в воспаленном воображении дам и отцов города приобретает последовательно несколько ликов. Сначала его принимают за «приятного человека», «благонамеренного человека», за «ученого человека», за «дельного человека», за «любезнейшего и обходительнейшего человека», потом возникает словцо «миллионщик», уже несколько заставляющее Чичикова *подрасти* в их глазах. Затем миллионщик превращается в «херсонского помещика», а с момента заваривания «каши» рост Чичикова становится каким-то лихорадочно-страшным: вот он уже и советник генерал-губернатора, и «шпион», и делатель фальшивых ассигнаций, и «разбойник», и Наполеон, бежавший с острова Святой Елены, и, наконец, сам Антихрист. В какие-то сутки с Чичиковым случается та же история, что и с Хлестаковым, — из скромной «барки, носимой волнами», он превращается в грозу губернии.

Весь город, пишет Гоголь, был решительно взбунтован. За немою сценою и ошеломлением (их в поэме несколько, каждая следует за новым известием о Чичикове) проносится этот «вихорь» бунта, который все вокруг ставит вверх ногами. На поэму, мирно сопровождающую мирно делающего покупки дельца, надвигается темная туча, и из нее следует удар за ударом — рядом сменяющих друг друга ошеломлений и пробуждений от ошеломления Гоголь доводит свою историю до трагического конца: все завершается смертью прокурора.

Первый удар раздается на балу, когда Ноздрев произносит уже в предгрозовой ситуации (при нарастающем недоброжелательстве дам к Чичикову) роковые слова: «мертвые души». Слова эти начинают работать уже сами за себя — через строку повторяет их автор, повторяют сбитые с толку герои, и вот они уже пишутся Гоголем в разрядку — мертвые души, — как будто это не просто слова, а некие письмена, загоревшиеся на пиру Валтасара. Магия произнесенного слова,

явленной в нем миру тайны начинает действовать, производя тот же переворот в умах, что и словечко «ревизор» в «Ревизоре».

Вот когда начинает укрупненно играть в поэме фон — все эти исторические полотна с Колокотрони и Бобелинами, с Кутузовым и Багратионом, с «кричащими солдатами в трехугольных шляпах и тонущими конями», которые висят в кабинете у Плюшкина. Да, даже у него, у этой прорехи на человечестве, есть некое историческое честолюбие и причастность к мировым событиям — через эти картины, которые соседствуют, впрочем, с изображениями арбузов, кабаньей морды и висящей вниз головой утки.

2

Называя себя «историком предлагаемых событий», Гоголь как бы высмеивает и свою роль летописца, русского Гомера, который вынужден повествовать не о великих деяниях своей нации, а о делах мелких, суетных и столь ничтожных, что люди, участвующие в них, выглядят не более мухи — с мухами и мушками Гоголь не раз сравнивает как живых, так и мертвых героев поэмы. Как мухи, облепившие рафинад, ползают и перелетают с места на место губернские жители на балу; как мушки, налеплены в списке умерших крестьян Плюшкина их фамилии. Сам Плюшкин сравнивается с пауком, оплетающим паутиною все живое, что находится вблизи его.

Порой содрогаешься от внутреннего холода описаний и портретов, который пронизывает первые главы «Мертвых душ». Холод «охлажденного сердца» Чичикова, кажется, веет и на пейзаж и на людей. Как некий «болоид», проносится экипаж Чичикова сквозь всех этих Маниловых, Коробочек, Собакевичей, и отстраненный взгляд героя, схватывающий их безжизненные черты, есть глядящий из замораживающей дали взгляд Гоголя, уже тоже почувствовавшего угасанье и холод в сердце.

Взгляните на Манилова: голова сахару, а не человек. Все в нем сахарное: и глаза, и улыбка, и губы, и речи. Коробочка — чучело, недаром в ее огороде стоит чучело, на которое надет чепец хозяйки. Собакевич весь *из дерева* вырублен, хватила природа топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, и, не обскобливши, пустила в свет. Большим сверлом *ковырнула* в его деревянном лице — вышли глаза. «Деревянное» и лицо Плюшкина. Даже у губернаторской дочки — предмета воздыханий Чичикова — не лицо, а только что снесенное яичко — и чисто оно, и прозрачно на свет, и как будто в нем жизнь светится, но от этого света холодом отдает; мертво-круглое оно, гладкое, как будто нарисованное. И разве только «молодец» Ноздрев живой — с краскою во всю щеку, с белыми, как снег, зубами и цветом лица, про который говорят «кровь с молоком».

Сам же Чичиков стерт, как-то усредненно-обезличен: он «господин средней руки», и все в нем среднее: средний чин, средние лета, средний вес, средний голос. И лицо среднее — не то чтоб очень полное, но и полноватое, не тощее, но и не толстое, лицо как город, в который он въехал: город так себе, *как все* города. И трактир здесь *как везде,* и номер в гостинице, и кушанье, которое подают в трактире, и городской сад, и вид домов (серое с желтым), и сами «сановники» города как везде — во всяком губернском городе России. Никто и ничто здесь не выдается, не высовывается, не кричит о себе необыкновенной особенностью, крупною чертой: и лавки те же, и сидельцы в лавках, и самовары, и пряники, похожие на мыло, и мыло, похожее на пряники. Чичиков точно такой же, как город: в его лице ни отметинки, ущербинки, ни мушки, ни бородавки — круглое лицо, ровное лицо, и пахнет Чичиков не своим незаменимым запахом, как Петрушка, а запахом французского мыла, голландских рубашек и душистой водой — бог знает чем, только не человеком.

Но вот доезжает наш герой до дома Коробочки, въезжает в ворота измокший, грязный, как истинная барка, выброшенная на сухой берег волею Зевеса. Выспавшийся и обсохший, приятно забывшийся в толстых перинах, предложенных ему хозяйкой, он садится утром за стол, поедает ее блинцы, совершает сделку и готовится отправиться дальше. Мысленно подмигивая глядящему на него со стены Кутузову и смеясь над простодушной «дубино-головой» Коробочкой, он готов покинуть ее дом, о существовании которого через минуту уже забудет, ибо что можно помнить о Коробочке?

Но тут автор останавливает его. Наступает неожиданная пауза в поэме, которая как будто растворяет двери повествования, и в него входит сам Гоголь. Идет лишь третья глава, а он уж здесь — уже не выдерживает его смех, и «грозная вьюга лирического вдохновения» возникает на горизонте. Ничего не произошло: просто настала тишина, просто герой окаменел и отодвинулся куда-то в глубь сцены, и вместо него заговорил автор. Дрогнуло сердце комика, и он сам взял слово. Взял его для вопроса, для странного и неуместного восклицания, которое совсем не идет к ситуации, не соответствует блаженному состоянию Чичикова, довольного покупкой и тем, что он так ловко отделался от лишних расспросов хозяйки.

Это второе явление Гоголя в поэме. Первое было как бы мимоходом и вскользь; рассуждая о косынках, которые носят на шее холостяки, Гоголь оговаривался: «Бог их знает, я никогда не носил таких косынок». Позже эта тема холостяка, *бессемейного путника,* не имеющего постоянного пристанища на земле, разовьется в поэме, и уже не Чичиков станет олицетворением этого путника, а сам автор.

Пауза на пороге дома Коробочки — это пауза поэтическая, придающая поэме лад *поэмы,* переводящая комическое описание, сопряженное с холодом наблюдательности, в иное русло — в русло комически-героического или трагикомического эпоса, в который и превращаются с третьей главы «Мертвые души». Вот это отступление: «Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилов ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда Бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: «Да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами... Но мимо! мимо! Зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя? Еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...»

Кажется, это не отрывок из «Мертвых душ», а страница из «Тараса Бульбы». И мы не ошибемся, если предположим, что писались они, может быть, в одну ночь или, по крайней мере, друг за другом, ибо именно в эти дни приступил Гоголь к переделке своей поэмы о запорожцах. Мы вновь слышим прежнего Гоголя — Гоголя «Бульбы», «Старосветских помещиков» и «Записок сумасшедшего». Как будто оглянувшись на дом Коробочки, вспомнил он вдруг другую помещицу — Пульхерию Ивановну и подумал: это она стоит на крыльце, она, оставшаяся без Афанасия Ивановича и ушедшая от этого в свои котлеты и шанежки, в пух и перо. И у нее были свои светлые минуты, была юность, была любовь...

Смех Гоголя разбивается об это горькое и сострадательное «зачем?», которое он потом задаст почти каждому герою поэмы (Собакевичу, умершему прокурору, самому Чичикову) и которое отныне станет сопровождать его до самого конца. Эта пауза не отпадет сама собой, не выпадет из действия поэмы, а, надломив ее ритм, станет новым ритмом и интонацией повествования, новой чудной струей, вливающейся в охлажденные ее волны.

Отныне не половой будет поддерживать под руки Чичикова, а сам Гоголь возьмет на себя эти функции, правда, в переносном смысле — он не тело Павла Ивановича будет поддерживать, а разжигать в нем угасший дух. Останется ли его герой один на один с Собакевичем, он и о Собакевиче *задумается,* взглянет ли в глаза Плюшкину, как увидит мелькнувший в них на мгновение *теплый луч.* Заснет ли, укачиваемый

бричкой, как приснится ему собственное детство, бедное на радости, и иным светом озарится лицо самого Чичикова.

Иная чудная струя, слившись со струей смеха, даст сплав, который есть сплав, присущий только Гоголю и, пожалуй, в чистом виде только «Мертвым душам», в которых более, чем где-либо, выразятся его отчаяние и его надежда. Рыцари, которых дамы города NN вышивают шерстью на подушках и носы у которых выходят «лестницею, а губы четвероугольником», рыцарь Чичиков, празднующий труса в сцене с Ноздревым, рыцарь-будочник, настигающий на ногте «зверя», — это верх смеха Гоголя над упованиями своей юности и романтизмом ушедшей эпохи. С грустью признается он: «и на Руси начинают выводиться богатыри» — и тут же пытается вызвать их тени из прошлого, но перед ним не прошлое, а настоящее, а Чичиков не Бульба, не Остап и даже не Андрий, которых, если читатель помнит, он любовно называет в своей повести «рыцарями».

Богатыри появятся в поэме, но в списках мертвых, а не в списках живых, в буквальном смысле мертвых, которых уже нет на свете и которые лишь по ревизским *сказкам* числятся пока живыми. Любопытный разговор происходит между Чичиковым и Собакевичем. Собакевич расхваливает продаваемых им крестьян. «Но позвольте, — сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей... — зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это все *народ мертвый.* Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

Да, конечно, мертвые, сказал Собакевич... впрочем и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? — мухи, а не люди.

—Да все же они *существуют,* а это ведь *мечта.*

—Ну нет, не мечта!.. нет, это не мечта!..»

Чичиков, которому положено от имени *существенности* подтрунивать над мечтой, пропустит эти слова Собакевича мимо ушей. Но потом он вспомнит их — вспомнит, перебеливая списки купленных им мертвых крестьян и представляя каждого из них поименно. И вновь из-за плеча Чичикова выглянет Гоголь. «Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то *странное, непонятное* ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и чрез то, как будто бы самые мужики получали свой собственный характер... Все сии подробности придавали какой-то особенный *вид свежести:* казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря *долго* на имена их, он *умилился духом* и,

вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, *сердечные мои,* поделывали на веку своем? как перебивались?»

Откуда это в «охлажденном» Чичикове? Откуда эти чисто русские, в сердцах сказанные восклицанья, в нем, всегда прячущемся за книжные обороты, за вытверженные, из «светского» обихода фразы, за стертый язык гостиных и канцелярий? «И глаза его, — продолжает Гоголь, — невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто... Мастер ли ты был, или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? В кабаке ли, или среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? — Пробка Степан, *плотник, трезвости примерной* (выделено Гоголем. — *И. З.).* — А! Вот он, Степан Пробка, *вот тот богатырь,* что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба, да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог. Где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. — Максим Телятников, *сапожник* (выделено Гоголем. — *И. З.).* Хе, сапожник! *Пьян, как сапожник* (выделено Гоголем. — *И. З.),* говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик... и был ты *чудо,* а не сапожник... Григорий — Доезжай-недоедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши *тройку* и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу Богу или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или приглядělись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь и поминай, как звали? Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью! — «А вы что, мои голубчики? — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены *беглые* души Плюшкина: ...И где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги?.. По тюрьмам ли сидите, или пристали к другим господам и пашете землю? — Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита. Эти и по прозвищу видно, что хорошие бегуны... — Аба-кум Фыров! Ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?.. Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова, или задумался так, *сам собою,* как задумывается *всякий русский,* каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об *разгуле широкой жизни.* И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани,

подрядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни; *кипит* вся площадь, а носильщики между тем, при криках, бранях и понуканьях, нацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой и далече виднеются по всей площади кучи наваленных в пирамиду, *как ядра,* мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не *понесется* гусем, вместе с весенними льдами, *бесконечный флот*. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь *за труд и пот,* таща лямку под одну, бесконечную, как Русь, песню!»

Перечитайте эти страницы еще раз и сравните их со страницами новой редакции «Тараса Бульбы»: одно перо! Тот же тон, тот же напев и тот же «широкий разгул жизни». Как будто стихия XVII века ворвалась в меркантильный и дробный XIX век и, оживив мертвых, оживила и живых, которые давно уже почитались мертвыми, хотя и существовали на свете.

Чичиков говорит о купленных им мертвых душах: «несуществующие». Он не решается назвать их мертвыми, это слово режет его слух, но «несуществующие» — это безошибочно, это и иносказательно, и по его словарю совершенно точно: для него, приобретателя, есть только то, что существует и не существует. Остановившийся перед ожившей мечтой, он и себя не узнает, и в себе слышит какие-то странные чувства, и сам как будто просыпается, восстает из мертвых.

Поэт не могильщик, он не может погребать или довольствоваться созерцанием смерти, он, как добрый сказочник, кропит действительность живою водой — и оживают давно умершие и еще живые, но мертвые душой — он воскрешает их для *иного* бытия. Так поэма о плуте превращается в поэму о восстании из мертвых, в поэму, где разыгрывается сражение духа с материей, идеала с действительностью, высокой «мечты» Гоголя с низкой «существенностью». В «Мертвых душах» оно приобретает вселенский масштаб и вселенский смысл. Сами пространства России порождают мысль о колоссальности усилий и размерах гоголевского замысла, само желание показать Русь не с одного боку, а «всю», соответствует этой идее. И ритм гоголевской прозы, почти переходящей на гекзаметр, как бы навевается бесконечностью русских просторов, которые он лишь за несколько глав до этою так высмеивал в речах Чичикова: «Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика...» И вот на этом пространстве, казалось бы, осмеянном Гоголем,

начинают гулять Абакумы Фыровы, Пробки Степаны и Никиты Волокиты, которых вызвали из небытия его же глаз, его же воображение! Как будто казацкая вольница гуляет у днепровских порогов, поет и веселится в Сечи, а не русские мужики, пьющие горькую и кончающие свою жизнь в проруби или под забором. Недаром включил Гоголь в эти списки и *беглых* — беглыми крестьянами были, по существу, и его любимые запорожцы, из них, из беглых, и образовалось их вольное племя.

А вот еще один комический персонаж — капитан Копейкин. Повесть о капитане Копейкине рассказана в поэме не Чичиковым и не Гоголем, а почтмейстером — известным в городе «философом» и говоруном, который более, чем кто-либо из его коллег, читает книги, — но какая это *ода* среди комического повествования о пирушке у полицмейстера, среди ревизоровской толкотни и суетни — недаром Гоголь называет ее «целою поэмою», поэмой в поэме, и героем ее выступает не кто иной, как участник войны 1812 года капитан Копейкин — с одной стороны, персонаж народного эпоса о разбойнике, с другой — копейка, последний человек в государстве, или «нуль», как говорит о нем автор. От чичиковской «копейки», с которой он начинает свою миллионную деятельность, до капитана Копейкина — один шаг.

Вновь этот вырванный Гоголем из серого цвета обыкновенности человек оказывается у подножия раззолоченной лестницы, вновь пытается он подняться по ней, протягивая руку за помощью (не только за пенсией, но и за пониманием), и вновь его сбрасывают оттуда и уводят из кабинета вельможи, сажают «в тележку» и с фельдъегерями отправляют домой. Но отмщение и здесь не медлит последовать. «Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но... вот тут-то и начинается, можно сказать, нить завязки романа... не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь ты мой, не кто другой...» И на этом обрывается повесть о капитане Копейкине. Бунт города отзовется в «бунте» Копейкина, который не захочет смириться со своей участью и подастся в разбойники. Он вольется в стихию разбойничества и «разгула», которая вдруг заплещется и заволнуется вокруг покоящегося во сне существования города. Стихия начнет расшатывать этот картонно-искусственный порядок, эту подрумяненную под древних греков жизнь, и зашатаются столпы, рухнут основы, и заколеблется все здание. Его подроют Чичиков и капитан Копейкин.

Разбойники они оба, да с разною душою, ибо Копейкин грабит по душе, Чичиков наживает. Он разбойник степенный и о делах государства менее всего беспокоится — его собственные дела интересуют, и обида его на жизнь другая. Копейкин скорей смыкается с племенем тех мужиков,

которые описаны выше, с каким-нибудь Абакумом Фыровым, который, может, и приютился в его шайке, поскольку он не мертвый, а беглый. Копейкин, проведший кампанию 1812 года, бывший опорой ее (как опора русской жизни все эти Пробки Степаны и Максимы Телятниковы) — и как бы вычеркнутый из списков, — и есть один из самых живых героев в поэме, слишком уж переселенной мертвыми — как в прямом, так и в переносном смысле.

3

В финале поэмы к многочисленным смертям (на обложке первого издания поэмы рукою Гоголя было нарисовано множество черепов) прибавляется еще одна смерть — смерть прокурора. Именно смерть этого «незначущего» человека вдруг *остановит* бричку Чичикова и перережет ей дорогу на выезде из города. Прокурор, умерший от страха, не выдержавший напора слухов о Чичикове и сотрясения всей жизни, — это как бы продолжение немой сцены в «Ревизоре», это паралич, перешедший в смерть, и это — как ни парадоксальна сия операция — есть оживление его в глазах читателя. Что было в этом человеке до факта его смерти? Ничего. Брови и подмаргивающий глаз. Это был какой-то манекен, кукла с заводным механизмом — без души, без дыхания. А как «хлопнулся со стула навзничь», и прибежали и увидели, что он уже одно бездыханное тело, — «тогда только *с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа,* хотя он, по скромности своей, никогда ее не показывал… левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то *вопросительным выражением.* О чем покойник спрашивал: *зачем* он умер, или зачем жил, — об этом один Бог ведает».

Вопрос на лице мертвого прокурора, при жизни не задававшего никаких вопросов, уже есть его посмертная жизнь в поэме, и она-то дает повод для нового отступления автора, для очередной и, быть может, самой значительной паузы в ней, когда, остановив движение «сюжета», Гоголь прерывает повествование и обращается прямо к читателю.

«Но это, однако ж, несообразно! Это несогласно ни с чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело! Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях, или назовут *бедных чиновников* дураками, потому что щедр человек на слово дурак (выделено Гоголем. — *И. З.)* и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему… Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, *что* делается *внизу,* где человеку виден только близкий предмет. И во *всемирной летописи* человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, *вычеркнул* и уничтожил, как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не

сделал и ребенок. Какие *искривленные,* глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону, *дороги* избирало человечество, стремясь достигнуть *вечной истины,* тогда как перед ним весь был открыт *прямой путь,* подобный пути, ведущему к *великолепной храмине,* назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями; но мимо его, в глухой темноте, текли люди. И сколько раз, уже наведенные *нисходившим с* небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за *болотными огнями* (огни миллиона. — *И. З.),* умели — так и добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: «ГДЕ ВЫХОД, ГДЕ ДОРОГА?» Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, *смеется* над неразумием своих предков, не зря, что *небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква,* что отвсюду устремлен *пронзительный перст* на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки».

В поэме о плуте, о злоупотреблениях по службе, о взятках и скупке «мертвых душ» вдруг эта великая цель? Уже во «всемирную летопись» вписывается замысел Гоголя и его герои, которых читатель, поддавшись сарказму автора, склонен был считать ничтожнейшими из ничтожнейших. Как считал он до сей минуты ничтожнейшим прокурора, смертью своею давшего повод к этому рассуждению. Нет, *не хочет вычеркивать Гоголь свое время и свой век из всемирной летописи,* наоборот, он смело вписывает их на ее страницы. Он в ничтожно влачащейся жизни видит *великое заблуждение*. Вырисовывается в перспективе этого отступления вся даль гоголевского замысла и контуры уже обещанных им читателю последующих частей поэмы, которые должны вывести ее и героев на прямой путь, ибо лишь он и есть выход, есть восхождение к храмине.

Народу в поэме отдана роль зрителя, и лишь в списках мертвых он выступает как подлинный герой и подлинная Русь, к которой обращается в конце поэмы Гоголь. Мужик-зритель, мужик-резонер, мужик — автор комических реплик, иронизирующий над Чичиковым и его партнерами, оживает, и выясняется, что вовсе он не безразличен, не покорен и историческое безмолвствование его в поэме — молчание до поры до времени.

Почесыванье в затылке, которым то и дело занимается чичиковский Селифан, всегда означающее бог знает что, — таинственный жест. Селифан *не торопится* — это его Чичиков подгоняет, велит спешить, как подгоняет он и «разбойников» кузнецов, нарочно канителящихся

полдня с его рессорою. Кузнецы-разбойники — кузнецы-хитрецы, они знают свое дело, но им охота поморочить барина да содрать с него подорожe, их роль — ироническая, как и у Селифана. Да и разве хочется Селифану уезжать из города, где завелась у него, быть может, любовь, и было «вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью, и плетет тихие речи разночинный, отработавшийся народ...».

Неожиданный лиризм, проглядывающий в этом куске о Селифане, кажущемся фигурой комической, забубённым пьяницею, как бы высветляет другим светом этого мужика, волею судеб оказавшегося кучером Чичикова. Нет, этих людей Гоголь не собирается «вычеркивать» из истории, как ни необъятна она, как ни величественны пишущиеся в ней «письмена» — тем более мы знаем его отношение ко всем этим Колокотрони и Наполеонам, да и сам Селифан дает нам лишний повод улыбнуться в их адрес: осерчав на своего пристяжного Чубарого, он кричи г ему в сердцах: «Бонапарт проклятый!» Бонапарт, запряженный в бричку Чичикова, да еще рядом с Заседателем (так зовут другого коня), — это смешно! Это насмешка и над Чичиковым — «переодетым Наполеоном», — и над императором французов, который, завоевав полмира, должен теперь в образе этого Чубарого тащить «подлеца», а может быть, своего двойника — по крайней мере, очень похожего на него внешне.

Кажется, это Чичиков ищет свой миллион и свой «клочок» земли в Херсонской губернии, но это Гоголь плутает вместе с ним по дорогам России и по дорогам его души, которая и не подозревает, какой простор заключен в ней. «Какой же русский не любит быстрой езды!» — этот возглас Гоголя относится и к Чичикову. Ибо и Чичиков может чувствовать нечто «странное». И он искатель и путешественник, который не только версты глотает и ассигнации подсчитывает, но и способен на «отступления» и «паузы». Преодолевая огромные пространства России, Чичиков движется со своей бричкой как бы и в ином измерении, по дорогам непознанного в человеческой душе. Там нет верст и шлагбаумов, там все бесконечно и невидимо для равнодушных очей, и загадка бессмертия таится в этой дали. Недаром, задумываясь о душе Собакевича, спрашивает себя Чичиков: а ведь есть и у Собакевича душа. Только где она? Зарыта где-то глубоко, как у Кощея *Бессмертного*.

Тема смертности и смерти, тема «существенности», которая всегда смертна и конечна, пересекается здесь с темой бессмертия и неограниченности духовного простора, который становится полем действия поэмы Гоголя. Оттого в ней, как в «Страшной мести», далеко -делается видно во все концы, но взор уже не упирается в стену

Карпатских гор: горизонт ничем не ограничен, да и нет, собственно, горизонта, а есть ужас и восторг бесконечности, объемлющий автора и героя: «И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь в глубине моей...»

Нет, не только Чичиков, как и его автор, способны в поэме на поэтические вопросы. Их задает даже Собакевич — этот «медведь» и поедатель трехаршинных осетров, от которого до поэзии, кажется, как от земли до луны. «Хоть и жизнь моя? — говорит он. — Что за жизнь? Так как-то себе...» Более ничего не может он к этому добавить (кроме того, что живет пятый десяток лет и «ни разу не был болен»), но тоска слышится в его словах, хотя и комически звучит вопрос Собакевича и сам он, кажется, смеется над ним. Но у Гоголя всюду так — по форме смешно, а по существу — грустно. И почему-то грустно становится от этого признания Михаила Семеновича и уже «другим светом» освещается его лицо.

Само движение Чичикова в поэме представляет загадку. Куда он торопится и зачем? За новыми мертвыми душами, за капиталом, за имением в Херсонской губернии, где ждет его идеал Выжигина, все это уже давно получившего? Нет, Чичиков в поэме *едет куда-то не туда,* он явно несется в своей тройке назад — не к будущему, а к прошедшему, к детству своему, к началу, описанием которого и заканчивается первый том «Мертвых душ». Странный круг описывает герой Гоголя. Начав с конца, он движется к своим истокам, как бы подбирая по дороге то, что растерял с юности. Тема возврата, возвращения и обретения молодости звучит в этом финале поэмы. И как грозное напоминание о необходимости этого движения, перерезает на выезде из города дорогу Чичикову траурная процессия.

Смерть в своем реальном лике встает здесь на пути героя, чтоб напомнить ему о суде, о возмездии. Смерть до этого являлась на страницах «Мертвых душ» лишь метафорически, переносно — здесь гроб прокурора просажает перед глазами Чичикова. Идея «страшного суда», так комически обыгранная в рассказах о слухах про похитителя губернаторской дочки, с этого момента начинает звучать серьезно. Страшный суд — это ответственность за те «кривые дороги» и «болотные огни», на которые не раз льстилось человечество (и польстился гоголевский герой), это идея возмездия, которое неминуемо для тех, кто предал «лучшие движения» своей души, отказался от них, попрал их. Расплата за них уже видится Гоголю в старости и угасании — предвестии физической смерти и факте смерти духовной.

Вот почему начинает звучать в поэме параллельно с темой страшного суда тема молодости, юности, свежести, как той поры в жизни человека, когда *еще не поздно* познать себя и спастись. Как бы с вершины этого — грядущего для каждого человека — суда раздается его обращение к

читателю в главе о Плюшкине: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, — забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: *«здесь погребен человек»;* но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости».

Именно после Собакевича Чичиков должен был заехать к Плюшкину, потому что уже сложилось в его душе это странное состояние — состояние вопроса, уже задал он его сам себе и читателю, — и неминуем был грозный перст предупреждения в лице Плюшкина — перст, приводящий его к встрече с подлинной смертью в конце поэмы. Весело-прозаически начиналась она: въезд в город, объезд чиновников, приятные разговоры, приятные вечера. Потом следовал комический Манилов, не вызывающий пока никакой тревоги, потом Коробочка, когда *что-то* шевельнулось влевой стороне груди у героя, а точнее, у автора. Потом как бы глушащий эту тревогу балаган Ноздрева — и вот Собакевич с его душой, спрятанной на дне тайника, и *образ старости,* предвещающий Смерть.

Комическое путешествие заканчивается трагически, и трагизм пронизывает заключительные строки «Мертвых душ» о летящей в неизвестность тройке. Она пока *как бы* еще *без ума* летит, *абы куда* летит, и Гоголь наслаждается самим ее полетом, вихрем движения, но вопрос «зачем?» все же не заглушается этим поднимающим пыль вихрем. И вовремя попадается навстречу тройке фельдъегерь, готовый съездить Селифана по усам за то, что не посторонился, не увидел, кто скачет в ней: Гоголь помнит, кто едет в бричке, и куда едет, и где пролегает дорога. Это не конец, а начало ее, и апофеоз «быстрой езды» не ответ на вопрос: «Где выход? Где дорога?»

Перед этим финалом Чичиков засыпает, успокоенный своим удачным бегством из города, и будто бы во сне видит собственное детство — о нем рассказывает нам автор, как бы заворачивая Гнедого, Заседателя и Чубарого на несколько десятилетий назад, в то время, когда Павлуша Чичиков еще не был Павлом Ивановичем, а Россия не знала нашествия Бонапарта. Этот-то рассказ о детстве Чичикова и даст потом разгон его тройке, подхватит ее как на крыльях и понесет к неведомому второму тому.

***Глава третья.* Россия**

Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы.

Гоголь — МП. Погодину, март 1837 года

Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные года, мою юность, мою невозвратимую юность и, мне стыдно признаться, я чуть не заплакал.

Гоголь — М. П. Балабиной, сентябрь 1839 года

1

В мае 1839 года в Риме почти на руках у Гоголя умирает юноша — двадцатитрехлетний Иосиф Вьельгорский. Юноша, талант которого был признан всеми, чье будущее рисовалось в блестящих красках, умирает от чахотки, Гоголь ухаживает за больным, ведет с ним разговоры, а чаще сам говорит, ибо слабеющий Вьельгорский не может говорить — он пишет свои вопросы и ответы на листках блокнота. От тех недель общения остались клочки гоголевских записок, названных впоследствии «Ночами на вилле». Они полны «сокрушительной жалостью» к умирающему, жалостью глубоко личной, обращенной именно к Вьельгорскому и ко всему прекрасному и молодому в жизни, как и к самой жизни, которая похищается неумолимой смертью.

Письма Гоголя об этом событии тоже пронзительно тоскливы. Мысль о неизбежном конце сквозит в них. Ужас уничтожения природой своего же собственного создания — и прекрасного! — поражает его. Усиливающееся его собственное болезненное состояние как бы сближает судьбу Гоголя с судьбой рано уходящего Вьельгорского. И он переносит сострадание и жалость на себя, видя конец своей молодости и угадывающийся конец собственной жизни. Он пишет об этом Вяземскому, вспоминая о посещении могилы его дочери, похороненной в Риме; Данилевскому, Погодину, своей бывшей ученице М. П. Балабиной. То и дело мелькает в них выражение «неумолимая смерть» и говорится о «запахе могилы». «Я ни во что теперь не верю, — пишет он, — и если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него... «Оно на короткий миг», шепчет глухо внятный мне голос. Оно дается для того, чтобы существовала по нем вечная тоска сожаления, чтобы глубоко и болезненно крушилась по нем душа».

И возникает перед ним образ собственной утраченной юности, покинувшей его свежести, невозвратимого начала жизни, когда безбрежен был горизонт и ничего темного не виделось на нем, а лик проносящейся мимо старости пугал, ужасал, но все же заглушался смехом. «Я глядел на тебя. Милый мой молодой цвет! — пишет он в «Ночах на вилле». — Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую *мертвящую остылость* чувств, чтобы я вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь».

Это настроения последних глав первого тома «Мертвых душ». Это настроения не автора-рассказчика, а самого Гоголя, который вступает в

пору своих тридцати лет, о которых он напишет: «роковые 30 лет, гнусный желудок и все гадости потухающего черствого рассудка». Попыткой вернуть молодость, возвратиться в нее хотя бы мысленно, душевно становится работа над «Тарасом Бульбой» и писание драмы из запорожской жизни.

Делая записи к драме, Гоголь создает образ главного героя ее, который голосом автора произносит свой лирический монолог. И он, этот монолог, обращен к юности, к свежести: «Отдайте, *возвратите* мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня, меня свежего, того, который был! О, невозвратимо все, что ни есть в свете!»

Тоска, веющая от этого предвестия конца, начинает все чаще посещать его.

В конце 1838 года в Рим вместе с наследником приезжает В. А. Жуковский. «Первое имя, произнесенное нами, — пишет Гоголь В. Н. Репниной, — было: Пушкин». Жуковский стоял у постели умирающего Пушкина, он видел его смерть и долго сидел у изголовья умершего, когда все присутствующие при страшном событии разошлись. Более всего поразило Гоголя в рассказе Жуковского терпение Пушкина, его просветление накануне смерти. Страдая от страшных болей в животе, он старался отвлечь всех от своей боли — и пуще других жену. То светлое выражение на лице умершего Пушкина, выражение успокоенности и глубокой, как бы все понимающей и обнимающей мысли, которое увидел Жуковский и которое запечатлела даже посмертная маска, потрясли Гоголя. Что же постиг Пушкин за этой роковой чертой? «Давай выше, выше, ну... пойдем!» — сказал Пушкин Далю, когда тот стал приподымать его на подушках. Куда он поднялся и куда поднималась в тот миг его душа, сознававшая, что она излетает из тела?

Часто, очень часто поминает Гоголь в это время в своих письмах Пушкина. Тень Пушкина преследует его. То являясь ему в светлом своем лике — как радость, как окрыляющее воспоминание, то как мысль о конце, о неизбежном конце всего прекрасного. То строчка пушкинская промелькнет в его отзыве о чем-то, то попадется на глаза свежий номер «Современника», вышедший уже *без* Пушкина, но с его стихами — например, с теми стихами, о которых он не знал, когда писал «Ревизора»: «...Вновь я посетил», и болью сжимается его сердце.

Дневник, который вел аккуратист Жуковский в Риме, почти весь заполнен Гоголем. «7/9 дек., середа... У скульптора Текерани, у Овербека, на Монте Пинчио, Рафаэлева вилла, вилла Боргезе. К Пилати, у Бруни... Все осмотры вместе с Гоголем».

Вечером того же дня Жуковский и Гоголь на вилле у княгини Зинаиды Волконской. С ними Шевырев.

«Шевырев вечно на кафедре, — записывает Жуковский, — и все готовые, округленные школьные мысли; *Гоголь весь минута.* Он живет Италиею, а в то же время, кажется, *видит, что ему недолго жить;* всегда живописец и часто забавный. Живет близ Пиацца Барберини, где, как говорит, прогуливаются только козлы и живописцы».

Несколько дней Жуковский проводит в высшем обществе русских. Через два дня Жуковский у Гоголя на Виа Феличе. Его несколько шокирует вид замазанной служанки, которая открывает ему дверь. Статский генерал Жуковский смущен этой близостью Гоголя к римскому простонародью и к женщине — такого он за Гоголько м не замечал. Запись об этом факте появляется в дневнике Василия Андреевича.

«17 дек., — пишет далее Жуковский, — вечер у великого князя, *неудачное чтение Гоголя...»* Жуковский хотел ввести Гоголя в царский дом и расположить его в пользу поэта. Но Гоголь, по-видимому, сорвал его замыслы. Он конфузился, чувствовал себя не в своей тарелке, он оделся как-нибудь неловко, не знал, куда деть руки, как школьник, вызванный на средину залы отвечать экзамен. Так и не пришелся он никогда *ко двору,* не мог поладить с двором. Мерк его юмор, стеснялась свобода, и будь у него в кармане черт, как у кузнеца Вакулы, он бы сказал ему: «Выноси!» — и оказался бы подальше от царских покоев.

В альбомах Жуковского сохранились рисунки, которые он делал в те дни. На них есть и Гоголь: то он стоит в плаще и шляпе на какой-то террасе и вдали виден Рим, то сидит, положив одну ногу на перила балюстрады, и смотрит вдаль: плющ вьется вдоль колонны, стоящей рядом, видны горы, крыши города. Рисунки Жуковского по тщательности и верности натуре напоминают рисунки Гоголя — в них нет приблизительности, нарушения пропорций, смещения симметрии. И вместе с тем есть в них какая-то неоконченность, неотделанность, легкое касание пера или карандаша, оставляющее желание дописать, додумать их в воображении, и веет от них свежестью уже почти весеннего римского воздуха, оживающей зеленью и молодостью самого Гоголя. Жуковскому пятьдесят шесть лет, Гоголю тридцать. У Жуковского впереди «Одиссея» и женитьба, рождение детей, новая жизнь. И кажется, что это его жизнь начинается, а Гоголя — уже движется к концу...

Пока в Риме гостил Жуковский, пока они лазали по музеям, развалинам, зарисовывали Колизей, римские виды, толклись у художников, осматривали город, ездили по окрестностям, участвовали в знаменитом карнавале (весной 1839 года), Гоголь дышал и жил этой близостью, общением, нежной заботливостью Жуковского, его участием и приязнью.

Но кончились карнавальные торжества, опустел город, уехала свита наследника, а с нею и Василий Андреевич, и вновь затосковал Гоголь, вновь впал в ипохондрию и ностальгию. Возбуждение и оживление этих месяцев (в которые он почти каждый день был с Жуковским) спали; стали давать о себе знать одиночество, отрыв от дома.

Все чаще пишет Гоголь в эти годы об угасании сил, о своих болезнях. «Увы! здоровье мое плохо! И гордые мои замыслы... О друг! если бы мне на четыре, пять лет еще здоровья... Пожалей о мне!» (Погодину, август 1838 года), «...Я... приготовил на одиночество остаток своей жизни» (Данилевскому, август 1838 года), «Зачем мне не дано здоровье?» (Погодину, декабрь 1838 года), «Мы приближаемся с тобою (высшие силы! какая это тоска!) к тем летам, когда уходят на дно глубже наши живые впечатления и когда наши ослабевающие, деревянеющие силы...» (Данилевскому, февраль 1839 года), «Право, странно: кажется, не живешь, а только забываешься или стараешься забыться. Забыть страдание, забыть прошедшее, забыть свои лета и юность, забыть воспоминание, забыть свою пошлую текущую жизнь» (Данилевскому, апрель 1839 года), «Не житье на Руси людям прекрасным» (о Вьельгорском), «Здоровье мое... хуже нынешней русской литературы» (Балабиной, май 1839 года), «...мне тяжело будить ржавеющие струны во глубине моего сердца... тяжело очутиться стариком в лета, еще принадлежащие юности. Ужасно найти в себе пепел вместо пламени и услышать бессилие восторга» (Балабиной).

Состояние это гонит Гоголя вон из Рима, гонит по дорогам Европы, ни в каком из углов которой он не может найти успокоения. Только вернувшись снова в Рим, он, кажется, опять становится спокойным и способен приняться за работу.

Гоголь жил в Риме как поэт, как художник Иванов, с которого он писал героя новой редакции «Портрета». Тот ходил в простой блузе и запачканных краскою штанах, в широкополой шляпе, защищавшей его от римского солнца, никогда не заботясь о своем наряде, о том, как он выглядит со стороны. Римский климат, римские нравы располагали к домашности, к свободе, никто здесь не обращал внимания на то, как одет его сосед, и бедняки мало отличались от художников, от иностранцев, которые тоже быстро подстраивались под римский лад, от потока всех сословий, который протекал через эту столицу католичества.

Более всего народа толпилось у собора святого Петра: там можно было увидеть папу, там было пышное богослужение, и земное богатство католической церкви было представлено во всем своем великолепии. На праздники перед окном дворца собиралась густая толпа, которая ждала явления папы. Гоголь любил эти торжественные сборища, передвижения толпы, которая движется будто сама собой и вместе с тем

согласно строгому распорядку праздника, зная свой путь и в самом вакхическом возбуждении не нарушая гармонии празднества.

Во время карнавала Рим превращался в театр: тут все переодевалось, в окнах появлялись флаги и цветы, лица превращались в маски, маски разъезжали в экипажах по улицам и всюду рассыпали конфетти, муку, цветные бумажки, гирлянды, ленты. Это были желанные минуты слияния, единения, которые радовали Гоголя, всегда мечтавшего о каком-то общем веселье, общем торжестве, общем переживании.

Он и сам еще умел повеселиться, как бывало, разойтись во всю Ивановскую, дернуть по улице трепака: именно таким описывает его в своих воспоминаниях П. В. Анненков, присутствовавший при минутах торжества Гоголя (когда писалось и удавалось написанное), при вспышках озорства, ребячества и актерства, в которых обнаруживал себя его неиссякаемый дар смеяться и смешить.

Писалось — и веселилось, легко шла работа — легко и жилось. Да и молод еще он был, и душа и ум его были в полном цветении.

Не хилися явороньку,

Ще ты зелененькій...

Погодин вспоминает, что, когда они путешествовали по Европе, «Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по всей Европе под разными предлогами. Так и при нас, не дает да и только: начнет спорить, браниться и, смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать на чем свет стоит его императора австрийского, его министерство... но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения, и повторяет тихо: Signore, passaporti! Так он поступал, когда паспорт у него в кармане, и стоило только вынуть его, а это случалось очень редко; теперь представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен наконец искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадется под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предположить никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: на тебе паспорт, ешь, его и проч., да и назад взять не хочет. Преуморительные были сцены».

То был тоже Гоголь — веселость била из него, как струя из фонтана, и в радужных брызгах ее играло солнце.

Но он любил и уединение. Он находил тихие церковки и молельни, где стояли или сидели две-три фигуры и душа оставалась один на один с тишиною, которая усиливала ощущение общения с чем-то высшим и неизвестным. После палящего римского солнца и дышащей раскаленным камнем улицы тут хорошо было сосредоточиться, остыть, уйти в сердечную глубину и к ней прислушаться.

2

Конец 1839 года — это сборы Гоголя в Россию. Не хочется ехать — и надо ехать. Нужно брать сестер из Патриотического института и устраивать их. Маменька на это не способна. У нее нет сил, уменья — она никогда не бывала в столицах. Снова нужно отказываться от вольного расписания и браться за гадкое и реальное дело — предстоит поездка в Петербург, искания и просьбы у знатных знакомых, попытка прилично пристроить выпускниц, оставить их или в Петербурге, или в Москве, чтобы не попали они опять в провинцию, не засели в Васильевке со своим французским, который им вовсе не нужен для сеяния гороха, наблюдения над дворней и распрей с маменькой. Да и какая их ждет на родине женская судьба? Какие женихи? Какая партия?

В марте 1839 года в Италию приезжает Погодин. Они лежат в теплый солнечный день на траве внутри круга, очерченного Колизеем, и Погодин, разнежившись, говорит Гоголю: «Оставайся, брат, здесь, я понимаю, что ты мог зажиться».

Но надо ехать. И Гоголь нехотя, кружным путем, через Мариенбад и иные немецкие курорты, через Вену, приближается к России. Что ждет его на родине? Сердце бьется — три года отсутствия, и столько событий. И Россия ждет тоже. И она за эти три года переменилась. «Северная пчела» уже имеет десять тысяч подписчиков, а не пять. Растет доход «Библиотеки для чтения». Увеличились тиражи, умножился читатель, а главное, освободилось место духовного вождя поколения: Пушкина нет. «На нашем веку, — писал в эти годы Вяземский, — литературное первенство долго означалось в лице Карамзина. После него олицетворялось оно в Пушкине, а по смерти его верховное место в литературе нашей праздно… и нигде не выглядывает хотя бы литературный Пожарский, который был бы, так сказать, *предтечею* и поборником водворения законной власти». Это писалось в 1838 году, накануне приезда Гоголя в Россию.

Но Вяземский ошибался. Не «предтеча», а законный глава уже существовал в русской литературе. Пока он был далеко, Россия это не сознавала. Когда он вновь ступил на ее землю, она встретила его чуть ли не колокольным звоном.

Привез Гоголя Погодин. Они вместе въехали на Поклонную гору, и здесь Гоголь велел вознице остановиться. Вышли из коляски. Гоголь снял

шляпу. Вдали блестели на солнце золотые купола и кресты, виднелись главы церквей Новодевичьего монастыря. Поклонились в пояс Москве-матушке.

Москва ликовала: «Гоголь здесь! Гоголь приехал!» «Я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, — писал Щепкин С. Т. Аксакову, — даже до того, что едва ли не сухо его встретил; вчера просидел целый вечер у них (Гоголь остановился у Погодина. — *И. З.)* и, кажется, путного слова не сказал; такое волнение его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал».

Максимович благодарил Погодина из Киева: «Ты говоришь, привез Гоголя. Спасибо великое тебе за это все говорят здесь». «Вы привезли с собой, в подарок русской литературе, — откликался один из знакомых Погодина из Петербурга, — *беглеца* Пасичника, знаете ли, что известие об этом возбудило у нас энтузиазм. *Теперь только разговоров, что о Гоголе...* Только и слышим, что цитаты из Вечеров на хуторе, из Миргорода, из Арабесков. Даже вздумали разыгрывать «Ревизора». Любители петербургской жизни и петербургского общества завидуют теперь москвичам... Вот что значит побыть несколько временя за границею, возбудив перед тем всеобщее внимание. Петербург жалеет, что потерял одного из достойнейших литераторов, и возвышает цену произведений Гоголя. Ревизора едва можно достать, и то не меньше, как за пятнадцать рублей. Потрудитесь предостеречь Гоголя, чтоб он не медлил изданием своих творений, если не хочет возбудить против себя ярости почитателей его таланта».

Он не ждал ни такого приема, ни таких упований. В театре, куда его уговорил прийти Аксаков и где давали «Ревизора», Гоголь не высидел до конца представления. Смущенный взорами, обращенными на него, и ожиданием его выхода на сцену, он бежал, озадачив Аксакова и обидев директора московских императорских театров М. Н. Загоскина. Пришлось Гоголю оправдываться и писать письмо, что он якобы узнал в этот момент о болезни своих близких и вынужден был покинуть зал. Ничего этого не было, никто из близких Гоголя не был болен, да они (в частности, маменька) и не знали еще, что он на родине.

В то самое время, когда Гоголь гостил у Погодина на Девичьем поле и разъезжал по московским знакомым, в Полтаву, а оттуда в Васильевку шли письма с пометкой «Триест», «Вена», в которых сын предупреждал Марию Ивановну, что еще неизвестно, будет ли он в России. Лишь в конце октября — через месяц после прибытия в Москву — он написал ей будто из Вены: «Я сегодня выезжаю. Решено, я еду в Россию...»

Не очень-то ему хотелось показывать матери свою бедность и зависимость от московских знакомых. Как ни был он знаменит и желанен в их домах, жил-то он в чужих людях и почитай что на чужие

деньги. Приходилось занимать у тех же доброхотов москвичей, занимать почти по-хлестаковски, говоря: я сию минуту, я завтра, я сей час отдам. Но надежд на быструю расплату с долгами не было. Он был должен и Аксакову и Погодину — последнее его особенно огорчало.

Погодин был не из тех, кто давал из слепого бескорыстия, из любви к таланту. Увлеченный общим восторженным отношением к Гоголю и гордясь тем, что Гоголь остановился именно у него, он все же скоро предъявил и свои права на постояльца. В руках Погодина был журнал, он хотел от Гоголя отрывков, публикаций, он рискнул заикнуться об этом. Гоголь был взбешен. Так пробежала между ними первая тень, которой не могло быть на расстоянии, когда Гоголь жил в Петербурге и имел с Погодиным платоническую переписку, или за границей, где он жил на средства, занятые ему Погодиным. В характере Погодина было что-то собакевичское. Если уж что-то попадало ему в кулак, то он не выпускал ничего. И внешне он походил на гоголевского героя: неладно скроен, да крепко сшит. Сын крепостного и сам в юности крепостной, Погодин, выбившись в профессора Московского университета, до этого прошел путь унижений на поприще учителя в богатых домах, домах московской аристократии, где его никто не почитал за равного. У него была хватка человека, который все нажил сам, все завоевал и обрел собственными трудами, каких бы потов и низких поклонов в адрес сильных мира сего это ему ни стоило. Издание «Московского вестника» приблизило его к Пушкину, но, как ни пытался Погодин и в литературном отношении подняться до круга «аристократов», не получилось — таланта не хватило. Пушкин, считаясь с его влиянием в Москве, не трогал самолюбия Погодина, даже хлопотал, чтоб тому разрешили писать историю Петра, но хлопоты не удались — Николай не очень-то ценил авторов верноподданнических статеек во всяких «Ведомостях». Так же не удалось ему и занять важного места при министре просвещения, как он ни добивался этого. Оставалась частная инициатива и почти полуторговая деятельность, к которой он выказал недюжинные способности человека, привыкшего сызмальства кормить себя и не надеяться ни на папеньку, ни на маменьку.

Этот человек, не лишенный эстетического чувства и добрых порывов, был все же в отличие от Гоголя чисто земной человек, не чуткий в отношении странностей ближнего и не считавшийся с особым устройством художнической натуры. Он почитал за спесь гоголевское нежелание печататься в «Москвитянине», его отказы давать что-либо в печать, а потом уже посчитал это и неблагодарностью за предоставление крыши и стола, за бесплатное житье у него. Гоголь, конечно, пользовался Погодиным, как привык пользоваться он всеми при случае, но при этом не мог платить ему тем, на что тот в минимальной мере претендовал, — откровенностью в своих творческих делах и материальным вознаграждением, опять же в виде допуска до своих

литературных (и душевных) тайн, которых более всего требовал Погодин. Он не денег от Гоголя требовал, а этой откровенности, а то была плата, гораздо более неприятная для Гоголя, нежели ассигнации.

Все это обнаружилось не сразу, в этот приезд Гоголя отношения их еще не омрачались молчанием, недоверчивостью и открытыми ссорами, Гоголь лишь начинал вступать в круг семьи Погодина, но первые облачка непонимания и недовольства уже появились на горизонте их отношений.

Приходилось думать о заработке, об издании своих сочинений и кабале у Смирдина, который, конечно же, не даст за них много, понимая, что более не у кого издаваться. Скряга Смирдин уже видится Гоголю хозяином его трудов — хозяином беспредельным и неоспоримым, которому он все-таки должен пойти поклониться: ради себя, ради сестер, ради маменьки. Поэтому он спешит, Он спешит отбыть свой срок, отдать дань вежливости гостеприимной Москве, куда-то распихать своих институток и скрыться с глаз долой.

Еще в декабре 1838 года он писал из Рима Погодину: «Литературные разные пакости и особливо теперь, *когда нет тех, на коих почиет надежда* (речь о Пушкине. — *И. З.),* в состоянии навести большую грусть, даже, может быть, отравить торжественные и вдохновенные минуты души. Ничего не могу сказать тебе в утешение. Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести тому, кто благородно вооружен одною только шпагой, защитницей чести, против тех, которые вооружены дубинами, дрекольями. Поле должно остаться в руках буянов. Но мы можем, как первые христиане в катакомбах и затворах, совершать наши творения...» Если сам он и был способен на такой образ жизни, то, приехав в Москву, он убедился, что и Москва жаждет, чтоб он вышел из катакомб.

3

Тридцатые годы подходили к концу, истаивали, и вместе с ними уходило то время, когда в литературе велись порой и ожесточенные схватки, но все же схватки на правах чести и где шпага еще считалась оружием. В новые битвы вовлекались уже новые виды оружия и новые люди, ситуация изменилась — читатель на Руси увеличился и на месте стычек из-за самолюбия, зависти неталанта к таланту и за кусок земли под литературным солнцем стали возникать распри *идейные,* народились течения, направления, каждое из которых хотело первенствовать не только на поприще тиражей и успеха торгового, но и в умах молодежи, в умах просвещенной части общества, завоевывать эти умы и вести их куда-то.

Одним словом, Гоголь столкнулся с совершенно новой ситуацией. Через три дня после приезда в Москву он пишет письмо Плетневу: «Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому. Грустно и не хотелось

сильно!.. Как странно! Боже, как странно. Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург и Пушкина нет. Я увижу вас — и Пушкина нет. Зачем вам теперь Петербург? к чему вам теперь ваши милые прежние привычки, ваша прежняя жизнь? Бросьте все! и едем в Рим».

Тридцатые годы канули в вечность. Все изменилось — наступали сороковые, и Гоголь инстинктивно чувствовал, что сменяется не просто десятилетие, но меняется эпоха. Грядущие сороковые годы уже вглядываются в Гоголя, в его облик, ища в нем преемника Пушкина. Они как бы обращают — еще бессознательно, стихийно — на него «полные ожидания очи». Петербург без Пушкина пуст, пуста без него и Россия. И вот является Гоголь, и оказывается, что он у России один и более поклониться некому.

Письма Белинского той поры все полны Гоголем. Чуть ли не через строчку в них цитируется Гоголь, поминается Гоголь. Его словечки и фразы, фразы и словечки его героев, разумеется, становятся летучими, обозначающими типические чувства, типические мысли — Гоголь входит в плоть и кровь русского сознания, как некогда Пушкин. Так он сам цитировал Пушкина когда-то. И не только письма Белинского, но и переписка молодого Ю. Ф. Самарина, Константина Аксакова, вся бесцензурная литература русской почты полна Гоголем. И это не только господство гоголевского стиля, гоголевского языка — это торжество его образа мышления, его понимания русского характера и России.

Пушкинский «Современник», попавший сначала в руки нескольких редакторов и издававшийся в пользу семьи поэта, выдыхается и чахнет. Вокруг него завязываются нелитературные споры из-за гонораров и прав вдовы на доходы со статей. Соиздатели не находят общего языка, и сменивший их редактор Плетнев ничем не может поднять престиж журнала. Иссякли пушкинские архивы, печатать стало нечего, державной руки и почерка бывшего редактора не чувствовалось, и пушкинское стало умирать вместе с детищем пушкинским. Умер в апреле 1839 года П. П. Свиньин, у которого печатался Гоголь в «Отечественных записках». Сами «Записки» перешли в руки А. А. Краевского — бывшего сотрудника «Современника» и издателя «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду».

Краевский получил права на «Записки» еще до смерти их основателя и тут же написал большое письмо Гоголю с призывом сотрудничать. Гоголь не ответил. Он хорошо помнил Краевского по «Современнику» и не доверял его призывам воевать против «булгаринско-сенковской» партии. Но в Петербурге на вечере у Одоевского к нему подсел смущающийся Белинский — молодой сотрудник «Отечественных записок». Он только что переехал в новую столицу из Москвы, разошедшись с «наблюдателями» и своим московским кружком, куда входил и Константин Аксаков.

Пока Белинский лишь приближался к новым идеям, отходя постепенно от своих гегельянских очарований, от влияния М. А. Бакунина и германской философии. В ту пору он еще печатал статьи, где писал, что истина выше человека, и ставил человечество выше отдельной личности, делая исключение лишь для гения, который стоял выше и человека и человечности. Да и будущие радикальные идеи, апологетом которых он станет через несколько лет, еще осмеивались им. Вот как, например, он писал в статье «Менцель, критик Гёте» о французской революции: «Явилось множество маленьких — великих людей и со школьными тетрадками в руках стало около машинки, названной ими la sainte guillotine[10], и начало всех переделывать в римлян». Статью эту Белинский писал еще в Москве, а заканчивал в Петербурге. Ее выход совпал с приездом Гоголя в Петербург. Они с Белинским явились туда почти одновременно — с разрывом в несколько дней.

Их пути, до этого шедшие где-то вдалеке друг от друга, скрестились, и Белинский вглядывался в своего кумира. Кумир отшучивался и не отвечал на вопросы. Мог ли он знать, как близко проходили их пути? Оба они были провинциалы, оба явились в столицы с наполеоновскими замыслами (один в 1828-м, другой в 1829 году).

Но Белинский был сын военного лекаря, лишь к концу службы приобретшего дворянство.

И социальные страсти, бушующие в груди неистового героя его драматического первенца «Дмитрий Калинин» (1830 год), — это страсти провинциала и изгоя в дворянской среде Белинского, терпевшего нужду и унижения в детстве и прибывшего в Москву с тощим рекомендательным письмом и почти без гроша в кармане. У него не было такой маменьки, как у Гоголя, которая могла бы снабжать его на первых порах деньгами и теплыми чулками, у него не было двоюродного дядюшки-генерала и родственника-министра (у деда Белинского была одна крепостная душа, а мать его была дочерью артиллерии сержанта), ему приходилось все завоевывать самому. Его первые письма из Москвы так же честолюбивы, как и письма молодого Гоголя. «В моей груди сильно пылает пламя тех чувств, высоких и благородных, которые бывают уделом немногих избранных — и при всем том меня очень редкие могут ценить и понимать», — пишет он домой. «Смейтесь, хохочите, — когда сердце Ваше разрывается на миллионы частей, пойте, — когда душа Ваша желала бы вылиться рыданиями и воплями; пляшите, — когда судороги отчаяния начали бы сводить Ваши члены. Поступайте так, и я буду гордиться тем, что я Ваш сын», — пишет Белинский матери. Вспомним письма молодого Гоголя — и мы увидим, как близки они были в то время. Близки и непоправимо далеки друг от друга.

В 1839 году, когда они встретились в Петербурге (сначала у Прокоповича, потом у Одоевского), Белинский был уже не безвестный студент, исключенный из университета и дававший (как и некогда Гоголь) уроки в богатых домах. Он прошел школу Надеждина, школу «Телескопа», его заметил Пушкин, его позвали в Петербург сотрудничать в лучшем журнале. Булгарин, встретя на Невском Панаева, спросил того, имея в виду Белинского: «бульдога-то это вы привезли меня травить?»

Белинский приехал в Петербург не громить Булгарина (тот уже сошел с литературной арены), а развенчивать Марлинского, писать о Лермонтове, о «Ревизоре», преодолевать свое гегельянство и излечиваться от любви к отвлеченной истине. В то время слово «действительность» как бы мучает его — внутри этого понятия происходят перемены, теперь это не действительность вообще, не философская действительность, а русская жизнь, с которой он в своих писаниях сближается все тесней и тесней. Да, он должен был проделать этот параболический путь — от грязных стен чембарского училища, от ремня пьяницы отца, больно секшего его, от отсутствия теплой шинели, через высоту заоблачных вершин царства духа и отвлеченной истины, которая, повторяем, выше человека, через «гармонию и самонаслаждение духа», чтоб со страстью потом сорваться с этой высоты.

«Идея для тебя дороже человека», — напишет он М. А. Бакунину и обратится к *человеку,* к реальному человеку в себе и в литературе, и на этом-то переломе и застанет его уже «охлажденный» Гоголь. Белинский, конечно, начнет вербовать его в свой журнал, где печатаются лучшие стихи и проза (в том числе «Герой нашего времени», пока означенный лишь главами) и, конечно, критика. Но Гоголь, давший себе слово отказываться от всех предложений такого рода (идея: не принадлежать никому) и привыкший сначала все обсмотреть и обнюхать, отделывается какими-то туманными обещаниями. «Гоголь хандрит... — пишет Белинский В. П. Боткину, — и все с ироническою улыбкою спрашивает меня, как мне понравился Петербург».

Но Гоголь присматривается и к Белинскому, и к другим журналистам: список его знакомств растет за время пребывания на родине. В Москве его везут к Чаадаеву: он едет, забирается в угол на диван и, слушая все, что говорят, делает вид, что дремлет. Его однокорытник Редкий, ставший профессором Московского университета, или Погодин сводят его с Т. Н. Грановским — это уж из другой оперы, это нить, тянущаяся к Герцену, Огареву.

Все будущие деятели и герои сороковых годов как бы проходят перед его глазами — и братья Киреевские, и Аксаковы (в том числе сыновья старика Иван и Константин), и Ю. Ф. Самарин, пишущий диссертацию о

Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче, и А. С. Хомяков, и Д. Н. Свербеев, и С. П. Шевырев (все ядро начавшего выходить через год «Москвитянина»). Конечно, из этого списка выпадают несколько лиц (в том числе Герцен и Станкевич), но все же для внимательного взгляда Гоголя этого уже достаточно. Как достаточно ему двух месяцев пребывания в Петербурге, чтоб с грустью почувствовать, как выходят «из игры» прежние отцы и творцы общественного мнения, осколки пушкинской эпохи — Вяземский, Жуковский, Плетнев.

В Петербурге он живет сначала у Плетнева, потом переезжает к Жуковскому, который имеет квартиру в Шепелевском дворце, Гоголь пробует писать у него, но холод и пустынность комнат дворца гнетут его. О чем они говорят в длинные зимние вечера, когда остаются один на один или едут к Карамзиным, В. Ф. Одоевскому, А. О. Смирновой-Россет, Гончаровой? Вот запись Жуковского сразу после возвращения в Петербург из заграничной поездки в 1839 году: «Дворец, чудно воздвигнутый в один год (речь идет о Зимнем дворце, сгоревшем *в* 1838 году) : совершенный образец России, огромно, без точности, без общей связи, выражение одной общей воли, которая, повелевая, рабствует. Во всех мелочах отражается тот характер, который дал России Петр Великий: *скорей во что бы то ни стало*. Мы не идем вперед, а скачем от пункта к пункту, вперед ли, назад ли, все равно».

Идея, соответствующая идее «Мертвых душ», главы из которых Гоголь читает всюду, где он бывает с Жуковским. В эти месяцы Гоголь предстал перед встречавшей его радушно Русью (опять-таки это были дома ею знакомых, некоторые аудитории зачитывавшихся им студентов, в частности, учеников училища правоведения в Петербурге) заявляющим о каком-то новом вкладе, который он вот-вот внесет в русскую жизнь. Уже отодвигались вдаль и «Ревизор», и «Миргород», и «Арабески» (хотя их читали и перечитывали), уже здание «Мертвых душ» заслоняло собою их, оно как бы делало Гоголя выше, укрупняло его в глазах публики и ценителей и обещало, обещало.

4

Чтоб понять чувства Гоголя, надо пережить вместе с ним и это свалившееся на него ликованье Руси, и успех, и вихрь вечеров, вечеринок, встреч, знакомств, похвал, и неуютность бедности, зависимости, отсутствия собственного места и дома на родине, которые он ощутил вместе. Ему не на что было одеть и обуть сестер. С. Т. Аксаков рассказывает, как смущался он перед ним, пока не открыл своей тайны: денег нет ни гроша, вдобавок к этому потерял кошелек с последними ста рублями, а сестрам нужны платья, они девушки, их надо куда-то поместить, где-то пристроить. Добрый Аксаков почти прослезился, увидев это страдальчески-просительное выражение на лице Гоголя, его

смущение, которое было так странно в нем, застенчивость, боровшуюся с гордостью, — он занял для Гоголя две тысячи рублей.

Начались поездки по магазинам, покупки платьев, белья — Гоголь ничего в этом не понимал, забывал, что надо купить, но некому было об этом позаботиться, кроме него. Сестры оказались «дикарками». Они неуклюже двигались в своих белых муслиновых платьях (одевал по своему вкусу), стеснялись. Он отвез их к генеральше В. О. Балабиной, они боялись выходить за стол, есть чужое и голодали, плакали, ели чуть ли не уголь, ибо фамильная гоголевская гордость жила и в них. Анет было девятнадцать, Лизе семнадцать лет.

На них уже заглядывались молодые люди, и сами они поглядывали на молодых людей; их слезы по поводу своего непрезентабельного вида тоже расстраивали Гоголя, как и их капризы, перемены в настроении и скучанье по институту.

В Петербург, как рассказывает С. Т. Аксаков, с которым Гоголь проделал путь из Москвы, он ехал веселый в Петербурге скис, подавленный массою свалившихся на него забот, холодом и грустными мыслями о своем будущем. Это отразилось и в дневнике Жуковского: «15, середа. Обедал у Вьельгорского с Гоголем. Рождение Анны Михайловны (младшая дочь Вьельгорских. — *И. З.).* Вечер у Вяземского. Спор. Гоголь *дикарь».*

К чему относится это — «дикарь»? К поведению Гоголя у Вьельгорских или у Вяземского? Жуковский вообще был в то время недоволен Гоголем. Он никак не мог смириться с гоголевской гордыней и бесцеремонностью, как он считал, в отношении приличий света. Когда у Гоголя возникла идея оставить своих сестер у А. П. Елагиной, матери братьев Киреевских и племянницы Жуковского, Жуковский возмутился этим и назвал Гоголя «капризным эгоистом». По его настоянию эта затея не состоялась. Вместе с тем добрейший Василий Андреевич возился с Гоголем, как никто. Именно от Жуковского и через него поступали к Гоголю основные суммы вспомоществования — так случилось и на этот раз.

22 ноября Жуковский записал в дневнике «О Гоголе с императрицею».

И вот радостная для Гоголя весть: «Жуковский достал для меня деньги 4000...» «Если бы вы знали, — пишет он Жуковскому уже из Москвы, — как мучится моя бедная совесть, что существование мое повиснуло на плечи великодушных друзей моих». И это правда.

Маменька с младшей сестрой Ольгой приезжает в Москву на деньги Данилевского. Нужно устраивать и маменьку. Нужны лишние комнаты для нее и для сестры, приходится опять одолжаться у Погодина.

«Погодина мы боялись», — пишет в своих воспоминаниях Елизавета Васильевна Гоголь (Анет и Лизу он привез с собою в Москву и тоже поместил в доме на Девичьем поле), он заставлял рано вставать. Его мать-старушка, добрейшее существо, любила играть в карты, сестры Гоголя участвовали в этой ее забаве. Погодин ловил их и кричал на мать. В своем бельведере — они жили в комнатах под самой крышей, — за столом, в кабинете Погодина, куда им удавалось иногда заглянуть вместе с его детьми, они чувствовали себя чужими, приживалками, нахлебницами, и нервное состояние брата, страдавшего еще больше, отражалось и на их состоянии.

«Редкий был у нас брат, — пишет Елизавета Васильевна, — несмотря на всю свою молодость в то время, он заботился и пекся о нас, *как мать*». Я подчеркиваю эти слова, потому что в тех же воспоминаниях Елизавета Васильевна не очень тепло пишет о матери, которая, хоть и была добра к ним, никогда не была так внимательна, так любовно заботлива (даже в мелочах), как брат. Это чувствуется и по письмам Гоголя из-за границы, где он нежно пишет сестрам «мои голубушки», «мои миленькие» и вспоминает эпизоды их жизни в Петербурге, в Патриотическом институте, вспоминает с такой пронзительной нежностью, какой трудно не покориться. «Душеньки мои, я о вас очень часто вспоминаю и хотел бы вас перецеловать много раз. Помните ли, как мы виделись с вами в этой узенькой маленькой комнате в институте, где стоит обыкновенно фортепиано... Я помню как теперь, как Лиза просит меня не позабыть о том, что скоро ее именины и что нужно купить орехов 4 фунта, конфектов два фунта, варенья две банки, желе банку, пряников, яблок, изюму и проч. и проч... И при этом у тебя, Лиза, пальцы были в черниле, и на переднике было чернильное пятно, величиною в месяц.

Все это я помню и помню даже, как Анет была больна и лежала в лазарете, и я у вас был; и потом помню, помню еще об одном, но не хочу говорить... о, я все помню!» «Посылаю вам безделушки: по кольцу и по булавке. Глядите на них больше, чем просто на кольца и булавки. К ним прижалась, прицепилась и прилетела вместе с ними часть моих чувств и любви моей к вам. Как эти кольца сожмут и обхватят пальцы ваши, так сжимает и обхватывает вас любовь моя. Как эта булавка застегивает на груди вашей косынку, так хотел бы я вас хранительно застегнуть и оградить, и укрыть от всего, что только есть горького и неприятного на свете, молодые цветки мои! отрада мыслей моих!»

Нежность Гоголя мешается с каким-то странным чувством стеснительности по отношению к сестрам, которых, вернувшись в Россию, он застал молодыми женщинами. «Я была трусиха, — пишет Елизавета Васильевна, — и часто просила брата, чтоб он посидел, пока я засну и потушил бы свечу, и он всегда исполнял эти прихоти, сядет, бывало, на кровать и ждет, пока я засну. Его я совершенно не

конфузилась и была с ним, как с старшей сестрой. Раз он нарисовал меня лежащую в ночном чепчике и кофточке — я рассердилась и долго приставала к нему отдать мне этот рисунок, который совершенно не был похож на меня».

Гоголь нанял Анет музыкального учителя и почти каждый день возил ее к нему на дом заниматься. Ему не хотелось тревожить и так недовольного Погодина. Ему очень хотелось — и это была заветная идея его жизни, идея долга перед сестрами и семьей, — чтоб из Анет и Лизы что-нибудь вышло, чтоб они были счастливы, и он сделал все для этого. Порываясь обратно в Рим, он с болью отрывал от сердца и этих своих «голубушек», судьба которых так и не устраивалась: Анет пришлось отправить обратно в Малороссию, а Лизу он оставил в Москве у малознакомой П. И. Раевской. Он отдавал их в чужие руки (даже в руки маминьки) с горечью, видя, что они будут жить не так, как бы ему хотелось.

Неоконченные работы тянут его в Рим, в уютные комнатки на Виа Феличе, под защиту римского солнца и тени, в тишину своего рая обетованного. На родине ему неуютно и холодно. Он пишет в Петербург Жуковскому о «странности своего существования в России», которое похоже на «тяжелый сон». Во всех письмах той поры он говорит об «окаменении», о «бесчувственно-сострадательном оцепенении», которое овладевает им. «Иногда мне приходило на мысль, — признается он тому же Жуковскому, — неужели мне совершенно не дадут средств быть на свете. Неужели мне не могут дать какого-нибудь официального поручения... Неужели *меня* не могут *приклеить* и засчитать в какую-нибудь должность». Сколько здесь иронии и горького идеализма! «Приклеить» — как приклеивают муху к бумаге, как бумагу приклеивают к бумаге, неся ее на подпись вышестоящему лицу.

Без должности нельзя. Кто ты? Отставной коллежский асессор, ездящий по своим надобностям? А что это за надобности? И входят ли они в надобность отечества, государства? В жалобе Гоголя слышится и крайняя степень давления на Жуковского, и желание подыскать местечко полегче, потеплее, и странная тоска по службе, по желанию быть полезным. Хоть какое-то «официальное поручение»... И это пишет Гоголь, который давно расплевался со всеми должностями и высмеял их в «Ревизоре»! Это пишет тот, кто уже не раз повторял, что наша единственная служба на этой земле — служба богу?

Но этот вопль внятен Жуковскому, который сам служит. Так и Пушкин служил, издавая «Современник» и собирая материалы к истории Петра, и Карамзин, и Державин, Фонвизин, Ломоносов. Русский человек без службы — странный человек, непонятный человек, как бы оторвавшийся от корня человек...

Но пора было ехать. Пора было собирать нехитрый багаж (мешок с книгами и дорожными предметами, чемодан и заветный портфель с рукописями) и грузиться в дилижанс, в который он и на этот раз грузился с попутчиком — добрым малым, влюбленным в него молодым родственником Аксаковых В. А. Пановым, согласившимся разделить с ним расходы до Рима. Гоголь дал смешное объявление в газету, но его не приняли. Объявление гласило: «Некто, не имеющий собственного экипажа, желает прокатиться до Вены с кем-нибудь, имеющим собственный экипаж, на половинных издержках. Оный некто — человек смирный и незаносчивый: не будет делать во всю дорогу никаких запросов своему попутчику и будет спать вплоть от Москвы до Вены. Спросить на Девичьем поле в доме Погодина, Николая Васильева Гоголя». Напечатали так: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках; на Девичьем поле в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильева Гоголя».

Прощание с Россией произошло на вечере в саду у Погодина 9 мая 1840 года. Это был день Николы вешнего, день ангела Гоголя. То был и обед и прием, потому что в сад Погодина собралась вся интеллигентная Москва, хоть и избранная, но в своей избранности вся: тут были и К. С. Аксаков, и А. И. Тургенев, и князь Вяземский, и профессора Редкий и Армфельд, М. Н. Загоскин, М. Ф. Орлов, Ю. Ф. Самарин, М. А. Дмитриев, Хомяковы, Чертковы, Свербеевы, Чаадаев, Глинки.

А. И. Тургенев записал в своем дневнике: «9 мая... к Гоголю на Девичьем поле у Погодина, там уже молодая Россия съехалась... Стол накрыт в саду: Лермонтов...»

О Лермонтове Гоголю прожужжал уши Белинский, только что вышел «Герой нашего времени», все журналы были полны стихами Лермонтова. О его светских похождениях шептались в гостиных.

Гоголь приглядывался к этому невысокому черноглазому поручику в пехотной форме (его ссылали за дуэль на Кавказ), всматривался в его глубокие темные глаза, посверкивавшие весело, и думал: кто ты? Метеор, которому суждено, прочертив небо литературы, сгореть? Или капитальное явление — новый Пушкин? Позже он напишет о Лермонтове: «он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставания, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые». Он напишет о безочаровании, которое внес Лермонтов в русскую поэзию, противопоставив его очарованью Шиллера и разочарованью Байрона. «Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него

отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать».

В то время когда Гоголь и Лермонтов встретились, «Демон» уже был напечатан. По существу, уже все было напечатано Лермонтовым из того, что он написал. Ему оставалось жить всего год.

Сад Погодина почтительно шумел. Рассаженные в клетках соловьи, искусно прикрытые ветвями огромных лип, пели как вольные, варились кушанья, шел нар от супов и котлет, сам Гоголь приготовлял в большом тазу жженку, в шутку именуя ее Бенкендорфом. Лермонтов улыбался. Он вообще был весел в тот вечер — весел и самоуверен, он не стеснялся Гоголя, как молодые москвичи, и проглядывал его — будто бы невзначай, будто бы мимолетом, «...может быть, — напишет Гоголь несколько лет спустя о Лермонтове, — ...отделался бы он... от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях Ангел, Молитва и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Незаметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья».

Две линии разделяли их: «круг», о котором пишет в том же отзыве Гоголь (имея в виду светский круг, который ненавидел, как и Пушкин, и в который стремился — по своему рождению, по привычкам — Лермонтов), и это «безочарование». Лермонтовский Демон показался Гоголю демоном головы, а не сердца, это был демон самолюбия, а не страдания — он взывал к состраданию, но сам не страдал. Но что он мог знать о душе, скрывавшейся под пехотным мундиром и как бы отделившейся от этого взгляда темных глаз — смеющихся и наблюдающих, пытающихся постичь и его, Гоголя, который сам привык всех постигать?

Они ходили по аллеям, прислушивались к голосам в саду, и говорили что-то друг другу, стояли возле пруда. Гоголь попросил Лермонтова почитать стихи, тот согласился. Читал он отрывок из «Мцыри» — сцену поединка молодого монаха с барсом, — страсти в ней было много, но страсти, как показалось Гоголю, опять-таки холодной. Да и день выдался нетеплым: тучи набегали на Москву, дул ветер, весна в тот год задержалась. Прошел дождь, загнавший всех под крышу, потом выглянуло солнышко, подсушило землю под деревьями, песок, все снова вышли в сад, и тут-то запели соловьи, в сумерках вспыхнуло голубое пламя жженки, и завязался общий шум.

На следующий день Гоголь и Лермонтов встретились у Е. А. Свербеевой. А. И. Тургенев оставил об этой встрече запись. «Лермонтов и Гоголь. До 2 часов». Почему засиделись поздно? Ни Гоголь, ни Лермонтов ни словом не поминают о той ночи. Встретились — и разошлись. Оба уезжали: один в дальние края, другой тоже в дальние, но не столь. Уже появился отдельно изданный «Герой нашего времени».

«Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой, — писал Гоголь об этом романе. — Тут видно больше углубленья в действительность жизни; готовился будущий великий живописец русского быта...» Живописец в устах Гоголя высшая похвала, благоуханная проза — его собственный идеал. Это Пушкин, переведенный в прозу, и эта запоздалая оценка Лермонтова (статья появилась в 1847 году) есть дань таланта таланту, который в ту майскую ночь прочеркнул небо Москвы, оставив впечатление тоскливое, смутное.

Новое направление «Ангела» и «Молитвы», которое Гоголь отметил в Лермонтове, может быть, искало своего продолжения, и на этом пути могли сойтись Гоголь и Лермонтов. Но... «В нашу поэзию стреляют удачней, чем в Луи-Филиппа», — скажет, узнав о дуэли в Пятигорске, Вяземский. Он был «похищен насильственною смертию... в поре самого цветущего мужества», — напишет Гоголь. И добавит: «и никого это не поразило».

В ту ночь тень *конца,* может быть, была уловлена Гоголем в лице Лермонтова. Презренье к своему таланту — это он почувствовал в Лермонтове тогда. Одни стихи не могли дать этого впечатления. Это надо было видеть. Ценя божий дар, как жизнь, Гоголь не мог не ужаснуться этому состоянию человека, который моложе его на пять лет. Почти юноша... «Монах» Гоголь, нашедший себе убежище за Апеннинами, и гусар Лермонтов, ищущий за горами Кавказа пули, которая могла бы усмирить его ненасытную гордость, — что могло быть между ними общего? Гоголь оставался, а Лермонтов уходил. Никто, кажется, не хотел разделить с ним его ношу — ношу ответственности за русскую поэзию, за саму Россию.

«Русь! чего же ты хочешь от меня?.. Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» — эти строки могли родиться только после поездки в Россию. Может, родились они в дороге, когда дилижанс, увозящий Гоголя снова в Рим, скрылся за горой Перхушкова, куда приехали проводить его Аксаковы, Щепкин и Погодин.

Гоголь отбыл в Европу, увозя с собой не только боли и обиды, нанесенные ему на родине (долги, невозможность устроить сестер, попрошайничество за них и за себя), но и тоску ожидания новой встречи

с нею, тоску отрадную и печально-щемящую, ибо он понимал: придется возвращаться.

Он бежит от Руси не так, как бежал в 1836 году — с негодованием и попреками, а с жалостью сына, покидающего остающуюся одинокой мать.

Глава четвертая. **Поворот**

Но я молюсь, молюсь сильно в глубине души моей… да отлетит темное сомненье обо мне, и да будет чаще сколько можно на душе твоей такая же светлость, какою объят я весь в сию самую минуту.

Гоголь — Н. М. Языкову, сентябрь 1841 года

1

Несмотря на грустные мысли, путешествие все же было незаметным: его скрашивал добрый спутник Панов. Ехали через Варшаву, в середине июня прибыли в Вену. Здесь Гоголь решил остановиться, ему советовали попользоваться вновь открытыми водами. Он снял комнату и засел за трагедию о запорожских казаках. Писалось. Тихая чинная Вена не мешала ему. Вечера он просиживал в опере, слушал любимых итальянских певцов или прогуливался по вылизанным уличкам австрийской столицы, в которой царил дух Меттерниха — дух приличия и порядка, искусственно удержанный в этом центре Европы. Жадно накинулся он на писанье, оголодав после российских хлопот и раздражений. Оставив «Мертвые души», он в который раз взялся за запорожцев и уже читал Панову первые сцены, весьма, судя по отзывам последнего, напоминавшие «Тараса Бульбу». Но, видно, не суждено было Гоголю стать автором трагедии. Что-то мучило его и внутри самого вдохновенья: писалось и смеялось, в груди жило чувство — иное надо писать, иное просится на бумагу: мучили «Мертвые». Он то и дело заглядывал в тетрадку, куда были записаны уже готовые главы, и его глаз перебегал в иное повествование, и иные мысли набегали на ум, тревожа и отрывая от писавшегося.

К тому же он набросился на эти воды… Он всегда верил врачам, верил на первых порах, когда они предлагали ему новое лекарство, азартно брался за дело, принимал пилюли, пил воду, но чуть ему делалось хуже, он сваливал это на новый вид лечения и с отвращением бросал его, бросал, не окончивши курса. Тут случилось так же. Сначала воды освежили его и подняли дух. Он почувствовал легкость в теле, ему не писалось, а почти пелось, и письма его в Москву и Петербург на первых порах веселы и обнадеживающи.

Но вот что-то сломалось в его настроении, что-то лопнуло: то ли сказалось напряжение, испытанное за месяцы пребывания в России, то ли перегрузка в труде, то ли лечение подействовало. Слабое отклонение

в здоровье — и все пошло прахом. Страх включился в работу нервов. Страх болезненного расстройства, которое не позволит ему закончить его труд (в первую очередь «Мертвые души»), страх слечь окончательно, страх новой болезни, которую он раньше не испытывал: воды разбередили желудок, потом все «бросилось на грудь», он почувствовал тяжесть в груди и давление. Раньше портилось что-то одно — сейчас все распустилось разом. Горела в сухом жару голова, дышать было нечем, ни есть, ни спать он не мог, и страх, нарастая как ком, катил его под гору.

Случилось это в какие-нибудь дни — он вдруг оказался на дне глубокой ямы, сверзившись в нее с высоты «радости и сладкого трепета», испытанного по приезде в Вену. Но и тогда уже его остерегал страх, что все это быстро исчезнет, что «может быть, это только мгновенье, может, это опять скроется от меня...». Он со слишком большой радостью ухватился за свое свежее состояние, слишком поверил в него, чтоб тут же не усомниться, а надолго ли оно?

Почувствовав «бодрость юности», он тут же испугался, что юность эта лишь обман, и стал цепляться за минуту, молить ее задержаться, остановиться, продлиться. Он не мог уже отдаться ей просто так, без оглядки, без вымаливания прав на нее, которых он, как ему казалось в его тридцать один год, уже не имел. Все это вместе и произвело раздражение нервов, которое привело к болезни. Страх потерять вдохновенье соединился со страхом смерти, точней, он перешел в него, и теперь Гоголя гнала вниз уже сама болезнь. «Если б я знал, что из меня решительно уже ничего не может быть (страшнее чего, конечно, ничего не может быть на свете)...» — писал он позднее, рассказывая о венской болезни.

Он бросает пить воды, ибо «лечение опасно». Он тащится к новым докторам, которые дают новые, совсем противоположные советы. «Остановившееся пищеварение... болезненная тоска... ни двух минут... в покойном положении ни на постеле, ни на стуле, ни на ногах». Вспомнился ему в эти минуты умирающий Иосиф Вьельгорский: того тоже охватывала в последние дни подобная же тоска, он метался, не находил места, как будто бы хотел бежать от своей участи, но уже не мог двигаться.

Он бежит из душного центра (на Вену навалилась жара) за город, гуляет в тени деревьев, лежит на траве. Он лечится, как зверь, самыми простыми способами — удалением от близких, свежею водою источника (обыкновенной водой — не минеральной), он пытается рассеяться — и каждый день смотрит в зеркало на свой язык, вглядывается в изменившийся Цвет лица и думает самое худшее. Сам воздух кажется ему «неприятным» — тень отца приходит в бессонные ночи, и он вспоминает, что, по рассказам матери, тот так же предчувствовал свой конец и, чтоб не привлекать в свидетели близких, уехал умирать из

дому. Умереть вдали от России, в чужой земле, среди чопорных австрияков, которым до него нет никакого дела, и быть погребену в чужой земле... Вот когда охватывает его тоска по России и по холмику возле церкви в Васильевке, где покоится прах его отца. Страх смерти соединяется со страхом остаться здесь *навсегда*.

Никогда еще смерть не подходила к Гоголю так близко, как на этот раз. И он понял, что боится ее, боится панически, боится ее холодных прикосновений, ее небытия. Физический страх, который потряс его в те дни, унижал и осквернял в нем человека. Дух как бы отлетел от плоти, которая оказалась неуправляемой, всесильной и стала на эти минуты всем: более ничего в нем не оставалось. «Малейшее какое-нибудь движение, незначащее усилие, и со мной делается чорт знает что. Страшно, просто страшно. Я боюсь. А так было хорошо началось дело. Я начал такую вещь, какой, верно, у меня до сих пор не было, — и теперь из-под самых облаков да в *грязь». Э*то написано в октябре 1840 года, несколько месяцев спустя после Вены. Это лишь остаточное состояние страха — что же творилось с ним там, когда он уже прощался с жизнью и даже «нацарапал тощее завещание»? Да, страх подвел его к этой черте, он вызвал доверенное лицо и продиктовал ему короткие распоряжения насчет своего имущества и долгов. Заметим, что долгов этих было ни много ни мало как одиннадцать тысяч. Он был *должник,* он всегда жил вперед, на не заработанное им, под аванс, который ему приходилось оправдывать. Ему давали, в него верили. Вера эта и ожидание, сопровождавшее ее, стали его погонялою и ямщиком, который гнал гоголевскую тройку, увязающую в колеях и обочинах, вперед.

Страх смерти, страх животный, «грязный», оскорбил духовное в Гоголе. Ему захотелось очищающего горного воздуха, возвышения над собой, в котором ничто не страшно и смерть не страшна. Он понял, что был рабом себя, пленником себя, что он слишком был в себе и для себя.

Венский кризис — более чем недуг, настигший Гоголя в дороге. Это та остановка в пути, которая выправляет весь путь. Полумертвый садится он в дилижанс и с последними надеждами на перемену места просит везти его в Рим. Он даже не в Рим теперь стремится, а просто прочь из Вены, прочь с того места, где настигло его предупрежденье божие (он уже так думает об этой болезни), — он готов хоть на Камчатку фельдъегерем ехать, лишь бы убежать. И, как всегда, дорога его спасает.

Робко пишет он в Россию из Рима: «если бы еще раз воскреснуть мне...» «Мне бы два года теперь... только два года...» — просит он робко у жизни.

Меняется и его отношение к России. Если раньше он твердил, что ездил туда по обязанности или — в лучшем случае, — чтоб обновить воспоминания и поднабраться «злости» (ибо негодование стало гаснуть

в нем вместе с остальными чувствами), поковыряться с пользой для книги в русском быте и подзапастись подробностями, то теперь он осознает это отношение к ней как грех, а бегство рассматривает как наказание. «Все дурное изгладилось из моей памяти, — пишет он 17 октября из Рима Погодину, — даже прежнее, и вместо этого одно только прекрасное и чистое со мною, все, что удалось мне еще более узнать в друзьях моих, и я в моем болезненном состоянии поминутно делаю упрек себе: и зачем я ездил в Россию. Теперь не могу глядеть я ни на Колизей, ни на бессмертный купол, ни на воздух, ни на все, глядеть всеми глазами совершенно на них, глаза мои видят другое, мысль моя развлечена. *Она с вами*». Конечно, он заговаривает себя (и судьбу), он старается замолить свой грех *в словах,* но и чувства его уже повернулись в *ту* сторону, и скоро-скоро и он сам, и другие поймут это, увидят воочию.

28 декабря он пишет С. Т. Аксакову: «Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и моей жизни!» И тут же, частью, выдает — что именно: «Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое переработываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем, дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей *чище,* величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем что-то *колоссальное,* если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести *незначащий сюжет...»*

Это очень важное признание. Оно свидетельство того, что заключительные главы первого тома, как и выстраивающаяся идея его, устремляющаяся в продолжение поэмы, писались и складывались уже после Вены и осветились светом ее.

«Здоров благодаря силе бога... много чудного... как угодно будет высшей силе... невидимая рука, ведущая меня...» Так писал он и раньше. Но то были фразы из головы или из восторженного молодого чувства, еще заносчиво-опрометчивого, еще не страдавшего, — теперь иное дело. Гимн богу за избавление от болезни, за предоставление возможности творить дальше становится выстраданно-личным, он перерастает в убеждение, которое многие поначалу примут за ослепление, за причуду, за очередную странность в «странном» Гоголе.

Именно в это время созревает в Гоголе мысль, что бог недаром совершил все это, что есть в этом не только всеобщая милость божия, но и снисхождение лично к нему, *избрание* его в число тех, кому доверено представлять высшее мнение на земле.

Продолжение «незначащего сюжета» подсказано этим выздоровлением, этим выходом из испытания, из страшной минуты, в которую ему было дано сурово осмотреть себя. Дойдя до второго тома «Мертвых душ», мы поймем, как именно сказался венский кризис на его идее, — впрочем, том этот, по утверждению Анненкова, приехавшего к Гоголю в Рим весной 1841 года, уже начал писаться, он уже в бумагах, и «продолжение» не мираж, а реальность. Оно уже выглянуло из туманной дали и перенеслось на бумагу.

Гоголь перебеливает «Ревизора», пишет вторую редакцию «Портрета». «В начале же 42 года выплатится мною все... — пишет Гоголь С. Т. Аксакову. — Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Все было дивно и мудро расположено высшею волей: и мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим — все было благо». Речь идет о выплате долгов, которые Гоголь собирается покрыть изданием «Мертвых душ» и собранием сочинений, но тут же говорится и о высшей плате — плате благодарности за спасение. *«Вся жизнь моя отныне — один благодарный гимн»*. Как благодарность за отпущенные ему лишние минуты он рассматривает теперь и саму жизнь свою, и труд свой. Отныне труд этот как бы не принадлежит ему — он весь расплата и счастливая дань тому, кто продлил дни Гоголя, кто указал ему на оставшуюся часть дороги и на саму дорогу. Идея эта и становится главной идеей второй редакции «Портрета».

Многое списано здесь с Италии, с ее натуры и фактуры, обогащено опытом знакомства с ее живописью и природой. Отвлеченная Италия первой редакции здесь оживает, художник, который поразил Чарткова своей верностью искусству и идеалу, начинает приобретать черты великого русского живописца Иванова, и «божественный сюжет» его картины — сюжет «Явления Мессии». Весь облик художника — бывшего соученика Чарткова по академии, уехавшего в Италию совершенствоваться в мастерстве и отдалившегося от искусов света, — списан с Иванова: и его костюм, и привычки, и изгойничество в среде даже самих художников, его влюбленность в Рафаэля и неутомимые труды по копированию классиков итальянского Возрождения, дающие ему возможность выработать свой цвет и свою линию.

Но самое важное во второй редакции «Портрета» — это судьба еще одного художника, того самого, который написал старика ростовщика и пустил его в свет на гибель и страданье людям. Этот художник должен пройти *путь искупления,* путь расплаты за свой грех (грех искусства, соблазнившегося яркостью зла, неотразимостью зла) — и он платит за него жизнями своих сыновей и жены. Но этого мало — и собственная жизнь художника с той поры меняется. Он удаляется в монастырь, где годами покаяния и отречения от мирского приближается внутренне к новой истине, к истине познания красоты добра, заключенной в

божественном образе. «Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен *прежде очистить свою душу,* чтоб удостоиться приступить к такому делу». В прежней редакции его сын-офицер приезжал к нему в монастырь и заставал отца иссохшим и далеким от мира старцем. Он пророчествует о пришествии антихриста и просит сына по истечении пятидесяти лет со дня написания портрета найти и уничтожить зловещий портрет. В новой редакции отец просветлен: «И следов изможения не было заметно на его лице, оно сияло светлостью небесного веселия».

И сын его здесь не офицер, а тоже художник, и является он к отцу за благословением перед отъездом в Италию — «лучшую мечту двадцатилетнего художника». Он, как и автор картины с «божественным сюжетом», сразившей Чарткова, избирает путь высшего служения искусству. Он приезжает к отцу как наследник его дела, чтоб, выслушав рассказ о страшном опыте страдания, выйти на свою светлую дорогу. «Спасай чистоту души своей, — скажет ему отец. — ...Пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом, в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь *чистилище* его души».

Эпоха чистилища открывается и в самой жизни Гоголя. Идеей чистилища видится ему отныне и второй том «Мертвых душ». И Чичиков ждет своего часа искупления вины и греха перед людьми и перед богом, и он нечист, и уже рука Гоголя поднимается, чтоб поднять его из «грязи», чтоб заставить его оглянуться окрест себя и оглядеть собственную жизнь. Вот почему переписывается «Портрет», переделывается «Бульба», шлифуются и получают иной ход «Мертвые души», и автор выходит к своим читателям и зрителям в «Театральном разъезде». Этот выход Гоголя предваряет грядущий его выход в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

«Всякий перелом, посылаемый человеку, чудно-благодетелен, — пишет он после венского кризиса. — Это лучшее, что только есть в жизни. Звезда и светильник, указующий ему, наконец, его настоящий путь».

2

Кажется, подыскивается ответ к вопросу «Где выход? Где дорога?». Он вырисовывается на исходе 1840 года, когда поздоровевший, пополневший и *успокоившийся* Гоголь вновь уединяется в своем Риме и пишет. Это счастливые минуты вознаграждения, освобождения в новом

его состоянии и упоения творчеством. Он ловит эту минуту, как птицу, способную выпорхнуть и улететь, он удерживает ее возле себя и в себе и благодарит, благодарит за то, что она пребывает с ним.

Эту-то минуту в жизни Гоголя и запечатлел на своем портрете Моллер. К ней можно поставить эпиграфом слова Гоголя: «И как путешественник, который уложил уже все свои вещи в чемодан и усталый, по покойный ожидает только подъезда кареты, понесущей его в далекий, желанный и *верный путь,* так я, перетерпев урочное время своих испытаний, изготовясь внутреннею удаленною от мира жизнию, покойно, неторопливо по пути, начертанному свыше, готов идти укрепленный мыслью и духом». В лице Гоголя на этой картине спокойствие и равновесие. Это пора равноденствия его жизни. Все умиротворилось в этом лице, пришло в согласие с душевным состоянием, все как бы нежно озарилось постигнутым внутренним светом. Это лицо доброе, светлое и *благодарное,* хотя загадочная гоголевская улыбка, прячущаяся в выражении его полных розовых губ и карих, глядящих раскрыто на зрителя глаз, придает этой гармонии одушевляющую индивидуальность: то лицо Гоголя, первого насмешника на Руси.

Темно-коричневый тон его шинели и сюртука, темный платок, подхватывающий под самый подбородок шею, как бы высветляют лик — его округло-правильные черты, его светлость («светлость, какою объят я весь в сию самую минуту»), его притягательную открытость. Да, Гоголь открыт в этом портрете, как ни в каком другом. Его льющиеся волосы мягко закрывают часть лба — высокого благородного лба, — и красивые дуги бровей дают его облику сходство с обликом женским, юношески не огрубевшим, может быть, детским. «О, моя юность! О, моя свежесть!» — кажется, они возвратились на эту минуту к нему, и их-то схватил и увековечил художник.

Кто хочет понять Гоголя той поры, должен вглядеться в этот портрет. Это портрет не столько лица и телесного сходства, сколько портрет души, так ясно отразившейся налице, так выразившейся, так вписавшейся и в гармонию композиции, и в музыку красок. Из темного вырастает, возвышаясь над ним, светлое, просветленное, прекрасно-одухотворенное, и вновь вспоминаешь Гоголя: «Смех светел». Это портрет идеального Гоголя и портрет идеала в Гоголе — того начала, из которого вышло все, что он написал до «перелома» и напишет после него. Просто здесь он на вершине, он облит солнцем Рима, он свеж еще. «Если вы сами собой проберетесь на русскую дорогу, — пишет он в те дни молодому К. Аксакову, — ее употребите, как лес, для поднятия себя на известную вышину, с которой можно начать здание, полетящее к небесам или просто на утесистую гору, с которой шире и дале откроются вам виды».

С этой вышины он и смотрит на нас. Он как бы достиг ее внутренне, и свет, озаривший его, смягчил его черты. Он смотрит с высоты и смотрит по-домашнему, близко, интимно, легкой улыбкой как бы скрашивая свой вопрос. Анненков пишет, что Гоголь, позируя Моллеру, нарочно придал себе саркастическую улыбку. Но в этой улыбке сквозит доверчивость, благодушие. Гоголь весело смотрит в неизвестное ему «далеко» и как бы говорит примиряюще: «У меня на душе хорошо, светло». Эти слова он напишет в одном из своих писем уже по возвращении в Россию, но отблеск того состояния будет лежать на них.

Каждая жизнь имеет свою вершину, свой перевал, когда на какое-то время силы как бы задерживаются в нас, как бы приходят в равновесие и с собой и с обстоятельствами. Как-то Гоголь написал из Рима — еще до венского кризиса, — что он «взамен того фонтана поэзии, который носил в себе… увидел поэзию не в себе, а вокруг себя». «Теперь мне нет ничего в свете выше природы», — добавлял он. Это ощущение себя счастливой частью природы как бы владеет им в зиму-весну 1840/41 года. Душа приходит в соответствие с тем, что ее окружает. Никакого восстания, возмущения, ропота на судьбу. Пусть это миг, но он светлым пятном остается навсегда в истории души, которая способна чувствовать светлое, сознавать себя светлой. В такую минуту сознания и застал душу Гоголя Моллер.

Улетит мгновенье, душа вновь погрузится в сомнения и страхи, действительность предложит новые загадки, вновь всколыхнется успокоившееся было море, но то уже будут иные волны и иные возмущения. Они ждут Гоголя на родине. Но сейчас засечем эту минуту, остановим ее и попытаемся внутри ее понять Гоголя на переломе. Или на этом отдыхе души, который есть одновременно и работа, созидание, строительство. Что в ней совершается, куда обращается дорога Гоголя и что сулит ему взошедшая над ним звезда? Лишь в глубине им написанного мы сможем найти ответ.

3

Лучше всего поворот и перелом в Гоголе виден в «Шинели» — впрочем, он коснулся и названных выше сочинений: о финале первого тома поэмы мы уже писали.

«Шинель» лежит па полпути Гоголя от первого тома «Мертвых душ» ко второму, она — связующая их станция и узловая почтовая станция на дороге русской литературы.

Здесь как бы на петербургский мотив переложены печальные ноты «Старосветских помещиков» — повести о тихом, невозмущаемом существовании, которое было довольно собой, ничего не жаждало в отместку за «не примеченную никем жизнь». Оно как бы в круге земном

видело круг счастья и даже, разрывая этот круг, находило успокоение и продолжение в любви и вере.

Добродушие смеха «Старосветских помещиков», его сострадательность и светлость смешиваются в «Шинели» с отчаянием гоголевского опыта истекших лет, с еще более углубившимся отчаянием от скоротечности жизни, от незнания человеком себя и своего «жребия». Настроения взрывчатого смеха времен «Ревизора», его отмщающей и непрощающей насмешки сталкиваются с идущей из глубины смеха жалостью к человеку. И не тою жалостью, которая, как говорят, унижает, а той преображающей и возвышающей жалостью, которая есть природа поэзии Гоголя, ее «неиссякаемо биющий родник».

Это его слова, и сказаны они в «Театральном разъезде» — пьесе, которая будет написана позже «Шинели». В «Театральном разъезде» Гоголь *объяснит* читателю и зрителю природу своего смеха: «Смех, который весь излетает из светлой природы человека... углубляет предмет, заставляет выступать ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе и он не вскрикнул бы, содрогаясь...» Так вскрикивает неожиданно в «Шинели» один молодой человек, который вместе со своими товарищами сыпал Акакию Акакиевичу на голову бумажки и смеялся над ним. Услышавши слова Башмачкина: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?», в которых звучало «что-то такое, преклоняющее на жалость», «он вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним... Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей... И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах *звенели* другие слова: *«я брат твой»*.

Такой же молодой человек есть и в гоголевском «Разъезде», и там он представляет интересы автора, как и некий «честный прямой человек», который фигурирует еще в «Петербургских записках 1836 года». Гоголь рассчитывает на молодость, на еще не тронутых жизнию и ее цинизмом людей, как рассчитывает он вообще на «юность» в человеке, на его детство, на детские — добрые — начала души.

«Ребенка» он видит и в Акакии Акакиевиче. «Умоляющим голосом ребенка» обращается он к портному Петровичу с просьбой как-то поправить «капот» и не шить новой шинели. И долго слышится этот голос в ушах читателя, как и в сознании того молодого человека, который «содрогнулся» своему бессердечию на всю жизнь.

Сам Акакий Акакиевич похож на прежних гоголевских чиновников. Он тот же вечный титулярный, что и Поприщин (правда, старше того — ему уже за пятьдесят), и имя у него смешное, и фамилия (что такое башмак? поносил, поносил да и выбросил), и произошел-то он из незнатного рода, и живет все в том же классическом четвертом этаже. Но одно отличие есть у него: он не честолюбец. Все его честолюбие ушло в любовь — в любовь к переписыванью, которое, как ни монотонно и бессмысленно оно (пустые, казенные бумаги), все же труд, и честный труд.

В любви Акакия Акакиевича к своим буквам (среди которых у него были «фавориты») есть что-то комически-возвышенное, какая-то пародия любви, которая тем не менее не может убить самой любви. Если предшественники Акакия Акакиевича (Поприщин, Хлестаков, Ковалев, Собачкин) больше прогуливались по Невскому проспекту, сидели в кондитерских и ничего не делали, то Акакий Акакиевич денно и нощно трудится. Он даже берет бумаги на дом, чтоб переписывать, и делает это не из услуги начальству, а из удовольствия. Он засыпает в своей каморке с улыбкой на устах — то улыбка от пред-вкушенья переписыванья, то улыбка дитяти, ждущего лишь радости от грядущего дня. В душе его спокойствие и мир. Она не возмущается восстаниями и честолюбивыми помыслами. Акакию Акакиевичу хорошо и на своем месте.

Его довольство можно принять за довольство раба: так доволен раб, который ничего другого не видел на свете. Но раб никогда не находит наслажденья в своем труде. Раб трудится из-под палки — Акакий Акакиевич делает это с охотою. Он очень похож в этом смысле на Петровича, страшного пьяницу и, кажется, пустого человека, но на самом деле мастера своего дела. Бывший крепостной, который благодаря искусству своему сумел освободиться (выкупиться) и стать мастеровым, он ироническая усмешка Гоголя в сторону тех «значительных лиц», которые во время службы курят сигарки и говорят бог знает о чем. Петрович хоть и пьет, но свое дело знает, он бос, у него вывески на дверях нет, но сидит он на голом столе, как «турецкий паша», а на табакерке у него, из которой он нюхает табак, часто щелкая по крышке ее пожелтевшим ногтем, изображен генерал. Какой генерал — не поясняется, да и нос у него продавился и пропал (от частого щелкания по нему), как и все лицо, которое на крышке было заклеено бумажкой. Этот генерал без лица, по которому запросто постукивает пальцем Петрович, — начало того мщения генералам, которое в сцене одергивания Акакием Акакиевичем шинели со «значительного лица» достигает своего апогея.

Петрович, конечно, тоже несколько поиспорчен русскою жизнию (тот, кто был рабом, любит прикрикнуть на слабого), он готов даже покуражиться на первых порах над бедным Башмачкиным, припугнуть

того высокой платой за шинель, но все же он добр, и он любит свою работу. Вспомним, как выбегает он вслед за Акакием Акакиевичем, чтоб посмотреть, ладно ли на том сидит сшитая им шинель, как он забегает на переулок вперед и глядит на эту шинель уже с новой позиции: это гордость мастера, это любование мастера. Вместе ходят они с Башмачкиным выбирать сукно, вместе отыскиваю! взамен куницы кошку на воротник, и переживания Башмачкина понятны Петровичу, он сердцем участвует в них.

Акакий Акакиевич для него «брат», хотя Петрович никогда, быть может, не произносил этого слова.

Сама шинель в повести не предмет гардероба, а нечто живое, жена, подруга Акакия Акакиевича, существо, его греющее не только в прямом, но и переносном смыслу, Она не обижает его, и потому он готов отдать ей все свои чувства, всю свою любовь. Все, что переносил он ранее на переписыванье, весь неистраченный запас желания разделить с кем-то свое одиночество, он отдал после появления шинели ей, и преображение Акакия Акакиевича в повести, его торжество и освобождение связаны с нею: «С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом все колеблющиеся и неопределенные черты». А когда новая шинель оказалась на его плечах, он даже усмехнулся «от внутреннего удовольствия». Уже не улыбка, а смех — свидетель освобожденья — заиграл на его лице.

И тут-то постигло его несчастье.

Гоголь отпускает своему герою всего лишь миг, минуту, в которую он может почувствовать себя на высоте, развернуться и усмехнуться жизни уже не робко, не просительно, не умоляюще, а широко и светло. И этот миг для Акакия Акакиевича не миг возвышения в «фельдмарш...», как у Хлестакова, не сон превращения его носа в статского советника, как у Ковалева, не обман обладания тысячами, как в «Игроках» у Ихарева, не безумный скачок в «испанские короли», а, в сущности, житейская минута радости и тепла, украшенная скромной вечеринкой у одного знакомого чиновника и гулянием по Петербургу в шинели, которую не продувает злой северный мороз.

Но и смех Акакия Акакиевича, и его радость как бы запретны, ненадежны, хрупки, как и вся человеческая жизнь. Сцена ограбления Акакия Акакиевича написана Гоголем как сцена полного одиночества Башмачкина в огромном Петербурге. Город как бы вымирает. Само движение Акакия Акакиевича сначала по освещенным ярко улицам, а затем по улицам, где уже слабее огонь фонарей, затем по каким-то пустынным переулкам, выводящим наконец на безбрежную пустыню площади, есть движение навстречу ошеломляющей пустоте и безответности, полной глухоте мира к воплю *одного* человека.

«Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая *казалась стоявшею на краю света...»* Тесное пространство Петербурга, пространство существования Акакия Акакиевича (дом — улица — департамент — дом) вдруг размыкается и пропадает в неизвестности. Ужасом веет из этого провала, на краю которого, как за пределами земли, мелькает какой-то огонек. Город мертв и пустынен, как мертва и пустынна в этот миг Россия, — они как бы оцепенели во сне. Лишь теплый комок сердца стучит под шинелью одного человека, но ничто не отзывается в ответ. Гоголевская страшная ночь и гоголевская кара ночи!

Она повторится потом в конце повести, когда уже Акакий Акакиевич в образе мертвеца станет сдирать шинели со всяких надворных, статских и иных советников, срывать их без *разбору,* как щиплет, «не разбирая чина и звания», людей петербургский мороз. Гоголевский смех встанет здесь на одну доску с морозом, и ему окажутся не страшны всякие советники, и даже те, «которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами».

Кого имеет в виду здесь Гоголь? Поди разбери. «Насмешки боится даже тот, кто уже ничего не боится на свете...» — писал Гоголь в «Театральном разъезде». Гоголевский смех достигает и их.

Может быть, против своей воли поднимается Акакий Акакиевич и на этот верх российской лестницы, на который не смели поднять глаза при жизни ни он сам, ни его предшественники. Никогда он не покушался на это.

И не было в его довольстве жизнью ничего неестественного: он радовался ей, как дитя, радовался тому, что явился на свет, радовался своему пребыванию в нем, радовался красивости выписанных букв, теплу шинели — никакой натяжки не было в этом чувстве. Но чувство это, как и жизнь Акакия Акакиевича, было прервано насильственным образом. И на насилие природа ответила насилием. Сдернутая с плеч «значительного лица» шинель — это не только месть Башмачкина «значительному лицу» («не похлопотал об моей, да еще и распек — отдавай же теперь свою!»), это месть природы посягающим на нее обстоятельствам, месть смеха Гоголя, раздевающего генерала на глазах у всей столицы.

Ох уж эти генералы! Они окружали Гоголя всюду. Всюду тыкали ему в нос генералом — и на почтовой станции, и в гостинице, и в присутственном месте, и на улице, где его дрожки должны были уступить место несущейся генеральской карете. Генералу быстрее выдавали паспорт, генерала не обыскивали чиновники на таможне, генералу приходилось уступать место в церкви. Как-то в гостях у московского губернатора И. В. Капниста Гоголя познакомили с генералом. Тот осклабился: «Мы с вами, кажется, еще не сталкивались?»

И как молния последовал гоголевский ответ: «А мне вредно сталкиваться, Ваше Превосходительство, я человек не совсем здоровый...»

Генералы кишмя кишели и в России и за границей. Нет, он не хотел занять их место, в генеральском мундире мог разве для потехи разгуливать его нос (в одном из писем Погодину он называет его нос «фельдмаршалом»), но тесно было от этих эполет, красных стоячих воротников, от чванства, застегнутого на золотые пуговицы. «Конечно, я не генерал...» — обмолвился Гоголь как-то в письме к А. П. Елагиной. Эти слова мог бы повторить и Акакий Акакиевич. Вот почему так жестока его месть генералу, а... может быть, кому-нибудь еще «и повыше».

Всюду смех Гоголя бродит где-то вблизи них, проникает в их будуары и кабинеты и хватает за носы в самое неподходящее для них время. То Поприщин выпрыгнет в испанские короли, то Хлестаков окажется в Государственном совете, то Нос майора Ковалева станет прогуливаться в Таврическом саду наравне с особой царской крови — принцем Хозревом Мирзой. Что это? Просто приметы эпохи, без которых не может обойтись реалист? Нет, то тоже отзвук гоголевского отношения к генералам, а точнее, к чину, без объявления которого, как он пишет, если представишь героя, то, значит, вовсе его не представил. Но чины-то он задевает самые высшие, самые-самые... Бедный Башмачкин, сам того не зная, выходит на верх российских верхов, ибо «значительное лицо», с которым сталкивает его в конце жизни судьба, очень напоминает другое значительное Лицо, которое, действительно, в его родном отечестве ни у кого не спрашивало советов.

Если сравнить внешнюю портретную характеристику «значительного лица» (о котором сказано: «какая именно и в чем состояла должность значительного лица... осталось до сих пор неизвестным») с такой же характеристикой Николая I, которую дает, например, маркиз де Кюстин в своей книге «Россия в 1839 году», книге, кстати сказать, писавшейся одновременно с «Шинелью», то мы найдем чуть ли не текстуальные совпадения. Та «беспокойная суровость», которую отмечает Кюстин в лице Николая и которая служит для устрашения ближних, пугая вместе с тем самого царя своей нетвердостью, способностью сломаться и снизойти до мягкости, — это комплекс, мучающий гоголевское «значительное лицо». Более всего боится он этой фамильярности с подчиненными, хотя в душе, как пишет Гоголь, он был «добрый человек». Вспомним, так он писал и о чиновниках в «Ревизоре»: «впрочем, все добрый народ». Почти те же слова повторены и о чиновниках в «Мертвых душах»: все они были добрые люди. Тут суровость является как искажение природы человека, как попрание ее. Эту черту я отмечает Гоголь в «значительном лице», говоря, что

положение его порой вызывало «жалость». Его крики на Акакия Акакиевича очень похожи на страх императора (о «постоянном его страхе» пишет Кюстин), страх дать волю низшему, дать возможность «независимости природы» (и это слова Кюстина) проявиться. «Как вы смеете? знаете ли вы, с кем говорите? понимаете ли, кто стоит перед вами?» — эти фразы «значительного лица» слишком значительны для генерала, в ведения которого, как сообщает Гоголь, находится всего десять чиновников.

Десять чиновников... и все же о канцелярии «значительного лица» сказано как о «правительственном механизме», и о поведении героя говорится не как о его личных причудах, а как о системе. «Приемы и обычаи *значительного лица* (Гоголь пишет эти слова курсивом. — *И. З.)* были солидны и *величественны,* но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», говаривал он обыкновенно... и держал свой «механизм» в «надлежащем страхе». Эту систему он и испробовал на Акакии Акакиевиче (которого, кстати, Гоголь сравнивает в повести с «мухой»), заставивши дрожать не только самого Акакия Акакиевича, но и своего приятеля, каковой в ту пору находился в его кабинете. Страх здесь наталкивается на страх (страх Башмачкина) и, вдохновившись видом страха, делается еще страшнее. Но, как и в случае у Кюстина, он направлен *в обе стороны.*

Многие другие черты «значительного лица» напоминают Николая I. И его «богатырская наружность», и «мужественный вид», и привычка репетировать перед зеркалом, прежде чем выйти к людям, и нежные качества супруга и отца, сочетаемые с содержанием на стороне некой Каролины Ивановны. Не станем утверждать, что Гоголь изобразил Николая (догадки такого рода всегда опасны), но позволим себе предположить, что в «Шинели» он прошелся весьма близко от него. Ибо, как говорит Гоголь в той же «Шинели», «так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника».

Акакий Акакиевич и «значительному лицу» высказал некоторые мысли насчет того, что «секретари того... ненадежный народ...» (собрав, правда, при этом «всю небольшую горсть присутствия духа»), и сквернохульничал на смертном одре, поминая его превосходительство.

Посмертную месть Акакия Акакиевича и его приобретение генеральской шинели Гоголь рассматривает уже как «награду» за «не примеченную никем жизнь». Именно после снятия шинели со «значительного лица» начинает *расти* мертвец, и теперь это уже не низенький чиновник с лысинкою на лбу, а привидение высокого росту с «преогромными усами», у которого кулак такой, «какого и у живых не найдешь». Весь Петербург *боится* теперь Акакия Акакиевича — будочники в своих будках дрожат, квартальные, вся полиция, все обладатели шинелей на

медведях, на енотах, с бобрами. Господином города, его главой и невенчанным монархом становится Страх. Скрываясь в последних строчках «Шинели» в ночной темноте, теряясь в пространстве, Страх этот грозится вернуться обратно — недаром гоголевский мертвец грозит преследующим его сначала пальцем, а потом кулаком.

И все-таки смех Гоголя преклоняется здесь на жалость. Мелькает в повести какой-то добрый директор, который надбавил Акакию Акакиевичу наградные и который вообще относился к своему подчиненному с добрыми чувствами (хотел даже однажды дать ему возможность выдвинуться — предложил переписать бумагу посложнее, да А. А. отказался) и, наконец, что-то трогается и в душе у «значительного лица» после смерти А. А. и особенно после жестокого ограбления на морозе. Перепуганный и раздетый вернулся тогда генерал домой и даже заболел от пережитого потрясения. С тех пор уже реже говорил он своим подчиненным грозные слова, чаще задумывался, и чиновник с лысинкой на лбу представлялся ему как укор и упрек. Возможность спасенья оставлена Гоголем и для этого героя. «Генеральский чин, — пишет он о «значительном лице», — совершенно сбил его с толку... он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть».

Вновь возникает здесь, как и в «Мертвых душах», *мотив пути,* который связывается с мотивом искупления своей вины, мотивом возвращения к потерянным на дороге добрым чувствам. Гоголь отныне постоянен в этом призыве. Он зовет читателя и героев своих вернуться, обернуться: прежде чем устремиться вперед, они должны оглянуться назад, чтобы понять, куда идти и с чем идти. «Ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке», — скажет он через пять лет. Но это понимание движения *вперед* есть уже и в «Шинели». Собственно, об этом она и написана, и ее трагический рефрен, возглас А. А.: «я брат твой!» — есть оклик Гоголя, обращенный ко всем, оклик, соединяющий всех и напоминающий разрозненному, раздробленному веку о спасительной силе любви.

Достоевский писал о «Шинели»: «он (Гоголь. — *И. З.)* из анекдота о пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужаснейшую трагедию». Трагичен и Башмачкин, взывающий о помощи, трагична и судьба тех, *кто не слышит.* То ли уши их заложило ватой, то ли до того огрубело сердце, что наросла на нем страшная непрогрызаемая *кора* (это образ Гоголя), что не докричишься до него, не достучишься...

«Чему смеетесь? над собою смеетесь!» — эта фраза городничего появилась в 1842 году — в год выхода в свет «Шинели». В этой фразе не только раздражение, но к горькое признание всеобщей комедии, в которую вовлечен не замечающий жизни человек. Ему кажется, что он крутится, суетится, делает дело, а он осмеян жизнью самой, так ловко

подсунувшей ему это мнимое кругообрщенье, эти пустяки и побрякушки, которые он принимает за благородный металл. Мошенник плачет здесь о своем мошенничестве, обманутом другим мошенником (обманутом бессознательно, по наитию), и мошенник же кается, обнаружив в себе слезы, способность прозрения на счет других и себя. Горький вопрос городничего обращен и к залу и к себе. Никогда не смеялся он над собой, а вот пришлось. Мог смеяться над низшими, презирать низших, помыкать ими (хотя без дальней злобы), мог тянуться на цыпочках перед начальством, но чтоб плакать и смеяться над собою — этого он не знал. Катарсис «Ревизора» — в этом вопросе городничего, в его способности задать вопрос. Неистовые угрозы Антона Антоновича в адрес щелкоперов проклятых, которых он готов упрятать в Сибирь, — бессильный крик существа, увидевшего себя голым.

Так голым видит себя и раздетое Акакием Акакиевичем па морозе «значительное лицо». Не шинель с него сдирают, а кожу, и вопиет обнажившаяся душа, просит пощады и сожаления.

Никто в городе не слышит Акакия Акакиевича, никто не слышит и вопля «значительного лица». Но их слышит автор.

«Шинель» выросла из анекдота, из пустяковой истории, которую рассказал как-то на вечеринке один из приятелей Гоголя. Было это, по свидетельству П. В. Анненкова, еще в тридцатые годы. Кто-то рассказал, как один чиновник, всю жизнь мечтавший иметь ружье, откладывая из своих скудных средств, совершил наконец драгоценную покупку. «В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив... ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, когда, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице...»

Анекдот оканчивался благополучно, и все посмеялись ему. Один Гоголь «выслушал его задумчиво и опустил голову». В тот вечер, быть может, и зародилась «Шинель». Явись она тогда, когда эта история была рассказана, она, по всей вероятности, была бы другой. «Чувство кипящей жизни и силы» (слова Анненкова), так мощно ощущавшееся Гоголем в те годы, могло увлечь и ее, увлечь по пути смеха, как и первую редакцию «Ревизора». В той «Шинели», которая явилась миру в 1842 году, слышится печаль. Слышится явственней, чем в Гоголе тридцатых годов, слышится как главенствующая нота, как преобладающий мотив.

Глава пятая. Раскол

У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет.

Гоголь — С. Т. Аксакову, август 1842 года

1

«Молодые лирические намеки», как называл Гоголь лирические отступления в «Мертвых душах», отдают печалью. Гоголь в позднейших письмах даже стыдился, что так открылся в них читателю. Оправдываясь перед С. Т. Аксаковым, он писал, что многие, может быть, не поймут этого откровения, сочтут его за ханжество или напыщенность. Ибо многим будет неясно, как это «человек, смешащий людей», вдруг решил непосредственно обратиться к их сердцу, заговорить на языке, ему несвойственном.

Публика деспотична. Сначала она хулит, потом превозносит. Она хулила Гоголя за смех, потом за смех, обращенный против нее, стала превозносить. Критика — зеркало этого настроения публики — сделала то же. Право на смех на осмеяние, на разоблачение «наших ран», как скажет Гоголь в «Театральном разъезде», утвердилось за ним, хотя не так уж это и нравилось, и иные предпочли бы смех полегче. Со славою комика Гоголь уехал, с этой же славой он и возвращался. Но вез он России вовсе не новую комедию, а поэму, которая и поэмой-то непонятно почему называлась и на что-то грядущее намекала — на что-то такое, что, казалось, отрицает сам гоголевский смех.

Гоголь предчувствовал это недоумение публики, эту растерянность *своего* читателя, который и к нему попри-терся, и себя сумел к Гоголю притереть, и ждал побасенок. Одни хотели очиститься под гоголевским смехом, другие видели в нем орудие разрушения, расшатывания старого: не желая ни о чем слышать, как только о *новом,* они и Гоголя воспринимали как пособника на пути к этому новому, как разрушителя. Третьи… впрочем, мы забегаем вперед.

Так же как и Пушкин, Гоголь с осторожностью примеривается к опыту Европы. Он не читает политических книг и газет — он смотрит. Его все засекающий глаз в мелочах видит идею целого. Слывший уже в те годы отшельником и монахом, как он сам называл себя, Гоголь отнюдь не проглядел своего века. Его необязательные вояжи по Европе, связанные будто с капризами здоровья и настроения, были вполне обязательными. По многу раз проезжал Гоголь и Германию, и Францию, и Швейцарию, заезжал, по слухам, даже в Испанию. И всюду его скользящий взгляд, взгляд путешественника, сонно полуприкрытый, ничего не оставлял без

внимания. Острое гоголевское око всегда было на страже, и ничто из «нового» не упустил он, ничто не прошло мимо него.

Первый том «Мертвых душ» и содержащиеся в нем призывы оглянуться, возвратиться были бы невозможны, если б Гоголь вот так, лицо в лицо, не увидел Европы, не увидел бы лица прогресса. Он ему не поклонился, но снял перед ним шляпы. Он перенес свои раздумья о нем в келью на Виа Феличе, 126 — в строки «Рима» и своей поэмы.

«Рим» — повесть философская, а не событийная. Два города противопоставляются в повести — Париж и Рим. Они полюса раздвоения современного мира: один — весь настоящее, другой — прошлое. Один — минута и яркость минуты, другой — вечность и постоянство вечности, ее глубокая красота, ее нетленность.

Это не просто символы, это живые образы двух цивилизаций и двух городов, каждый из которых исторически реален в своем облике. Париж — город движения, круговорота политических страстей. Рим — затишье раздумья, затишье искусства, которое, пребывая в спокойствии равновесия, и человека настраивает на равновесие, усмиряя в нем мятеж и тревогу.

Искусство и история, красота и одухотворяющая ее духовность как бы сходятся перед внутренним взором князя (который есть аналог автора), чтоб внушить ему мысль о преемственности, о наследовании, о цепи, которая тянется из далекого прошлого. Минута блекнет и вянет перед этим дыханием вечности, не имеющим, кажется, исчисления времени. Она комически подпрыгивает, как прыгает иногда на часах минутная стрелка, заставляя смеяться над верою в минуту, над поклонением ей.

И тут мы слышим отдаленные отголоски некой забавной игры Поприщина со временем. Уже тогда Гоголь позволял своему герою шутить с календарем, переставлять цифры его по-своему, устраивать из истории балаган со всеми атрибутами балагана — хождением вниз головой, сальто-мортале и т. п. Время, если мы помним, скачет в «Записках сумасшедшего», подпрыгивает, перескакивает через самого себя, самому же себе корча рожи. Оно пародийно, как и сословная иерархия, которую презрел Поприщин. Он не только выскочил из титулярных советников, он и из времени выскочил, выпрыгнул и теперь смеется над тем *свысока*. Скрещивая весну и осень (мартобрь), переставляя местами числа и месяцы, он просто глумится над ним в стихии своего «безумия».

Так бросает Гоголь усмешку в сторону самолюбия «настоящей минуты», в сторону ее относительности, прикрываемой гордостью. Тут именно минута высмеивается и все ставки на минутное, исторически преходящее, хотя и матушка-история понимается вольно. У нее, как бы говорит Поприщин, свое время, а у меня свое. У каждой личности свой

отсчет календаря, и это не астрономический календарь, не тот, что вешают на стенках и отпечатывают типографским способом, а тот, что начинается с истории души, появившейся задолго до рождения человека. Бессмертие души как-то не вяжется со смертностью времени, с его куцестью, его делением на месяцы и годы. Душа бесконечна, время конечно.

Так же конечна и история, если считать историей летосчисление того же календаря. С удивлением и радостью пишет Гоголь свои письма из Рима, выставляя на них не время XIX века, а какое-то более глубокое время: «Рим, м-ц апрель, год 2588-й от основания города». Он как бы хочет продлить настоящий день, продлить его еще далее в прошлое, вытянуть настоящую минуту во всю длину ее исторической неограниченности. Из этого далека смотрит он на пролетающий миг. Из него возникает и эпический ритм «Мертвых душ», и плавно текущая гоголевская строка, которая, кажется, противится рассечению, отсечению, точке и паузе.

И он считал себя историком в двадцать два года! Он силился охватить эту громаду смысла, не пожив еще нисколько, не повидав света и не рассмотрев хорошенько собственной души! Нет, недаром Пушкин сделал своего Пимена старцем. И Нестор был стариком, когда писал свою летопись. Он же, Гоголь, мчался вперед, как мчится бричка Чичикова, не задавая себе вопроса: куда и зачем? Теперь он стал оглядчив и нетороплив — впрочем, и ранее, когда его заносило, трезвость и ум шептали ему: погоди. А сейчас тем более.

Любимые словечки Гоголя той поры — надо все обтолковать, обговорить, обдумать как следует, Об-толковать, об-говорить, об-думать... Гоголь любит обойти предмет со всех сторон, обсмотреть его внимательно, присмотреться, взять в расчет большее число резонов. Две природы — хлестаковская и собакевичская — как бы соединяются в нем. Один любит все на фу-фу, пустить пыль в глаза, пройтись гоголем, проскакать гоголем, другой не спеша считает денежки и медленно ворочает мозгами, обходя в размышлении предмет. Зато и *строит* Собакевич надолго — неуклюже, но крепко — никаким ветрам не сломать, никаким дождям не источить. Как-то Гоголь признался А. А. Иванову с горечью: «русские лишены от природы база, на котором можно было бы все безопасно ставить и строить». Вот его центральная идея тех лет! *Ставить и строить*. Ибезопасно, так, чтобы стояло на века. Но как строить, когда в голове «фай — посвистывает»! Когда французский легкий дух уже налетел на умы и закружил головы, когда все грезят Францией, бредят Францией, ее правом говорить все, что ей вздумается. Русскому дай эту свободу — так он пойдет в кабак...

Со всеми этими мыслями и с «Римом», «Мертвыми душами» и начатою «Шинелью» и прибывает Гоголь на исходе 1841 года в Россию. Он едет морем, через Петербург, но не задерживается в столице надолго, ибо

спешит в любезную ему Москву, где ждут его переписчики, друзья и, как он надеется, благосклонное внимание цензуры. Он вновь поселяется в доме у Погодина и тут же переправляет рукопись «Мертвых душ» в Московский цензурный комитет. Время выбрано удачное, и если рукопись начнут сразу печатать, то ее успеют до лета раскупить книгопродавцы, а за ними и читатели. И критика, у которой тоже есть свои каникулы, успеет на нее откликнуться. К тому же в Москве печатанье обойдется ему дешевле, а он — великий должник. (Всего его долги к тому времени составляют 17400 рублей, из них 7500 он должен Погодину.)

Но то, что хорошо в расчетах, всегда спотыкается на деле. Московская цензура несколько онемела перед тем, что ей дали на рассмотрение. Необычным было все: и жанр сочинения, и материал его, и само название. Цензор И. М. Снегирев (профессор Московского университета) быстро прочитал и доложил, что ничего недозволенного нет. Но тут стал читать помощник попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастов, и по Москве пошли толки. Очень быстро добрались они до дома на Девичьем поле, смутив покой Гоголя и его хорошее настроение.

Голохвастов, а за ним и другие цензоры решили с печатанием подождать. Причины? Они переданы самим Гоголем в письме к Плетневу: «Как только... Голохвастов услышал название: Мертвые души, закричал голосом древнего римлянина: — Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья». Голохвастову растолковали, что речь идет о «ревижских душах». — «Нет, закричал председатель... Этого и подавно нельзя позволить... это значит против крепостного права...» «Предприятие Чичикова, — стали кричать все, — есть уже уголовное преступление». «Да впрочем и автор не оправдывает его», — заметил мой цензор. «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев... Теперь следуют толки цензоров-европейцев... «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков... цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого, хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая, она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет».

Сбывались страхи, которые мучили его, когда он писал «Мертвые души». Сбывались и прямо высказанные им в поэме опасения: не поймут. Не понимали, не хотели понимать, и ропот его на это непонимание был справедлив: Москва-матушка, расположенная к нему,

не поняла, что же скажет Петербург? Он уже нервничает, он уже хочет переправить рукопись туда, ибо в Петербурге Плетнев, Одоевский, Смирнова, там Вьельгорский, а значит, ход к царю, во дворец. Надеясь на повторение истории с «Ревизором», он думает о том, как бы подсунуть «Мертвые души» его величеству. Тогда все цензоры прикроют рот и закричат: гениально! Как кричали в 1836 году, сами не ведая, что кричат. Он любил поворачивать дело решительно, хуже всего было ожидание и неизвестность, а кто в России мог решать окончательно и бесповоротно? Только царь.

И тут как нельзя кстати подворачивается курьер. Им оказался Белинский, приехавший в Москву на рождество. Белинский приехал из враждебного Москве Питера и остановился у людей, далеких от круга тех, у кого бывал Гоголь. Но Гоголь нашел к нему пути. Тайно от своих кредиторов и поклонников он встретился с Белинским и передал ему рукопись «Мертвых душ». Белинский был наиудобнейший курьер: он тут же возвращался обратно и мог из рук в руки вручить рукопись Одоевскому, а тот — Вьельгорскому и так далее. Важна была эта эстафета и соблюдение фактора немедленности, непрерывности.

Вслед за Белинским (и вместе с ним) полетели письма Гоголя в Петербург во все адреса. Их призыв: сделайте все, чтоб рукопись как можно скорее была разрешена. Время не ждет. Истекла осень, идет зима, во всех отношениях промедление смерти подобно. Если нужно, пишет Гоголь Плетневу, употребите для этого «каких-нибудь *значительных людей*». Надавите на Уварова (министр просвещения), на Дондукова-Корсакова (попечитель Санкт-Петербургского учебного округа) и, если понадобится, доставьте рукопись к государю.

Так внешне складываются дела с поэмою. Внутренне же Гоголь чувствует обострение обстановки, насторожившей его еще в прошлый приезд. Он видит, как вокруг него сжимается кольцо партий, как каждая из них жаждет видеть его в своих рядах. Все это выглядит гораздо откровенней, чем прежде, ибо и размежевание уже произошло, и точки зрения определились.

2

С 1842 года начинает выходить «Москвитянин», орган Москвы, журнал «восточной», или славянофильской, точки зрения на будущее России. В Петербурге провозвестником «западной» идеи становятся «Отечественные записки». И те и другие дают Гоголю почувствовать, что хотели бы не только видеть на обложке его имя, но и заполучить от него реальные доказательства его участия.

Но чего хотел Петербург и что желала Москва? Еще в «Петербургских записках 1836 года» Гоголь писал: «Она [Москва] еще до сих пор русская борода, а он [Петербург] уже аккуратный немец». Этот шутливый

портрет обеих столиц выдавал, однако, не только внешнее их различие. Противоречия лежали глубже. Уже в те годы складывалась две точки зрения на исторический путь России. Процесс этот начался еще до 1812 года, но после него обострился. «Москва нужна России, — добавлял Гоголь в той же статье, — а для Петербурга нужна Россия». Москва — символ тысячелетнего существования Руси, Петербург — детище Петра, как известно, прорубившего окно в Европу и немилосердно обрившего Русь.

При всей относительности этих символов (и в Москве и в Петербурге жили люди разных направлений) вопрос стоял так: способна ли Россия идти своим собственным, независимым от Запада путем или должна она неумолимо следовать по той дороге, по которой пустил ее Петр?

К моменту возвращения Гоголя в Россию эти два взгляда уже открыто дебатировались как в московских, так и в петербургских гостиных, из-за них люди расходились, вчерашние друзья становились врагами. Вот что пишет Герцен, автор «Отечественных записок», очевидец и участник споров тех лет: «Рядом с нашим кругом были паши противники, наши друзья-враги или, вернее, наши враги-друзья, — московские славянофилы... Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви».

Впрочем, оговаривается он, «важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех *стихиях* (здесь и далее выделено Герценом. — *И. З.)* русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации... В их решении лежало верное сознание *живой души* в пароде... Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно оно ни было, — *не смертельная болезнь*. ...Выход за нами — говорили славяне — выход в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство, *воротимся* к прежним нравам».

Такие «сильные личности», как Константин Аксаков, Юрий Самарин, как братья Киреевские, Алексей Хомяков, по мнению Герцена, *«сделали свое дело*. С них начинается *перелом русской мысли»*.

«Да, мы были противниками их, — добавляет Герцен, — но очень странными. У нас была *одна* любовь, но не *одинакая*.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей псе существование любви к русскому народу, русскому быту, русскому складу ума...

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла».

На одном полюсе («западном»)были Герцен, Белинский, Грановский, преподававший всеобщую историю в Московском университете, на другом — семейство Аксаковых,поэт II. М. Языков, братья Киреевские, А, С. Хомяков, издатель «Москвитянина» Погодин и ведший в этом журнале критику Шевырев, Д. Н. Свербеев и другие. Между этими двумя точками зрения и людьми, их представлявшими, и разрывался Гоголь.

Погодин ходил вокруг его портфеля, как кот вокруг сала, выглядывая кусок покрупнее. Белинский намекал из Петербурга, что «Отечественные записки» готовы принять его в свои объятия. И от Москвы и от Петербурга он зависел. От северной столицы — судьбой рукописи, от Москвы — своими долгами ей, своим нахлебничеством, своими обещаниями: «я ваш, душа у меня русская», «отныне я житель столицы древней».

Он не хотел бы ссориться ни с «восточными», ни с «западными», он хотел бы мира — его втягивали во вражду. «В начале сороковых годов, — писал Герцен, — мы должны были встретиться враждебно — этого требовала последовательность нашим началам... Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, — а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной».

Не пройдет и года, как эти столкновения выльются в публичное объявление войны — Грановский прочтет в Московском университете курс лекций по истории средних веков. «Москвитянин» ответит ему статьей Шевырева «Публичные лекции об истории средних веков г. Грановского», где лектор будет обвинен в пристрастии к западному развитию.

Гоголю еще предстоит попасть в полыханье этих страстей, но и сейчас он чувствует их накал. Аксаковы осуждают Белинского и «Отечественные записки», Погодин требует, чтоб Гоголь печатался только у него в «Москвитянине». Плетнев просит хоть что-нибудь для осиротевшего «Современника». Он дает Погодину «Рим», Плетневу посылает вторую редакцию «Портрета», а «Отечественным запискам» не дает ничего.

Более всего, пожалуй, был обижен на него Белинский. Он честно исполнил просьбу Гоголя — отвез рукопись «Мертвых душ» в петербургскую цензуру. Взамен он ждал благосклонности Гоголя к журналу или хотя бы откровенности. Но Гоголь при встрече пытался уйти от вопросов, которые горели на устах у Белинского. Ему хотелось выяснить отношение Гоголя к Москве и «москвичам» — тот отмолчался. Ему хотелось поговорить о литературе, о новых именах в поэзии и прозе

— и тут он не получил вразумительного ответа. Раздражение Белинского на Москву, на Аксаковых Гоголь принял спокойно. Он вовсе не собирался принимать чью-либо сторону. У него была *своя* сторона.

Отзвук этой неудачной встречи слышен в письмах Белинского из Петербурга, где прорывается досада на Гоголя. Белинский шел к нему с открытой душой, с жаждой понять своего любимца и, может быть, просветить его, но Гоголь не принял этого вызова. Он замкнулся, перевел разговор на другое, опять заговорил о погоде, о петербургском климате, московских морозах и прочем.

Эта встреча критика и поэта как бы положила начало их последующим разногласиям, непониманию — или нежеланию понимания, — которые в конце концов привели к прямому конфликту.

3

Для понимания того, что их развело, надо вернуться к 1840 году, когда в Италии умер друг юности Белинского Николай Станкевич. Так же как и Иосиф Вьельгорский, он умер молодым. Смерть эта поразила Белинского. Предчувствуя и свою недолгую жизнь, он пишет в том же 1840 году Боткину: «Он живет, скажешь ты, в памяти друзей, в сердцах, в которых он раздувал и поддерживал искры божественной любви. Так, но долго ли проживут эти друзья, долго ли пробьются эти сердца? Увы! ни вера, ни знание, ни жизнь, ни талант, ни гений не бессмертны! *Бессмертна одна смерть...*» В этом же письме он цитирует «Оду на смерть князя Мещерского»: «Где ж он? — он там. Где там? — Не знаем» и добавляет: «Видишь ли, какая разница между прошлым и настоящим веком? Тогда еще употребляли слова там, туда, обозначая ими какую-то «terram incognitam»... теперь и не верят никакому там и туда... *Скучно на этом свете, а другого нет!»* Последние слова — буквальная цитата из Гоголя, но цитата лишь наполовину. «Скучно на этом свете, господа», — пишет молодой Гоголь и ставит точку. Белинский продолжает: «а другого нет».

Это новое мироощущение Белинского, мироощущение, к которому он начинает обращаться после смерти Станкевича. Сходясь с Гоголем в констатации истины, Белинский расходится с ним в выводах. Именно с этого момента начинается отход Белинского от идеализации действительности, от Гегеля, от «Москвы» и вообще от всякого «идеальничанья», как он скажет в 1842 году. Слова «идеальность», «идеал», «идеализм» становятся в его словаре бранными словами. Вот его взгляд на Москву после встречи с Гоголем: «Питер — спасибо ему! — протрезвил меня от московской дури и «пьяных надежд». Москва «преглупый город, стыдно вспомнить, чем я там был. Там все гении и пет людей; все *идеалисты* и нет к чему-нибудь годных *деятелей*... Вид Москвы произвел на меня странное действие: ее безобразие измучило

меня, а по возвращении в Питер красота его мощно охватила мою душу... Москва гниет в патриархальности, пиитизме и азиатизме, там мысль — грех, а предание — спасение...»

Здесь уже точно выражено разногласие между Москвой и Петербургом, между Белинским и его бывшими друзьями «москвичами». Предание воспринимается им как нечтопротиворечащей «мысли» (то есть движению), как нечто цепляющееся за полы нового ипытающееся удержать его. Москва гниет, Петербург дышит, Москва увядает, за Петербургом (и его мыслью) — будущее. Петербург — это не просто Петербург, город имярек, это точка зрения на действительность и искусство, которые отныне исповедует Белинский. Реальная точка зрения в отличие от «идеальной». Еще вчера (в статье «Менцель, критик Гёте») посмеивающийся над маленькими великими людьми, сооружавшими гильотины, Белинский сегодня уже превозносит... Робеспьера. «Тысячелетнее царство божие, — пишет он тому же Боткину, — утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов...» Слово «террор» то и дело мелькает в его письмах. «Лучшее, что есть в жизни, — это пир во время чумы и террор».

«Восстание» Белинского на свои прежние взгляды происходит столь же бурно, как и его увлечение Гегелем. Он столь же решительно отрекается от веры, как три года назад пытался веровать.

Отчаяние порождает желание действовать, влиять на эту действительность, грозить ей — хотя бы со страниц журнала. И Белинский бурно обращается *против* нее, меняется и его взгляд на искусство, в котором он теперь прежде всего видит «содержание», то есть идею. Еще в 1841 году он писал Боткину: «Начинаю бояться за себя — у меня рождается какая-то враждебность против *объективных созданий искусства*». И в 1842 году: «Да... глуп я был с моей художественностию, из-за которой не понимал, что такое содержание». Это-то содержание (помимо художественности) и должно «переделывать» действительность, менять ее, бросать вызов природе к обстоятельствам, которые индифферентны к существованию личности.

Таков «бунт» Белинского, в истоках своих имеющий то же начало, что и «мир» Гоголя, но резко расходящийся с последним. Могли ли они при этом договориться или хотя бы понять друг друга? Белинский искал в Гоголе ожесточения, следов ожесточения, вычитанного им в «Ревизоре» и других сочинениях. Оп искал в Гоголе союзника не только по литературе.

Но Гоголь отмалчивался. И это было больнее всего. Спорь он, отстаивай противоположную точку зрения, Белинский был бы по-своему счастлив:

он был создан для таких «драк», в них раскрывался его нетерпеливый талант, он расцветал в такие минуты и чувствовал свою силу. Сильное противодействие вызывало и сильный ответ — тут-то и было его поприще, и он мог *показать* себя. Но Гоголь уклонялся. То справлялся о петербургских новостях, о Никитенке (своем будущем цензоре), расспрашивал, что нового вышло из-под пера Булгарина, как поживает Одоевский. Он предлагал ему темы «светские», и Белинский увядал и опадал в бессилии. Так и не поговорили они тогда, Гоголь-то и до встречи знал, что не поговорят, но Белинский и после еще надеялся. К тому же у него была рукопись Гоголя: способствуя ее скорому появлению, он рассчитывал на благодарность.

Но и за эту услугу Гоголь не заплатил. Его отношение к призывам примкнуть к «Отечественным запискам» осталось прежним: тем не досталось ни строчки. У Гоголя были резоны, не хотел ссориться с «москвичами». Достаточно того, что они обиделись на него за трюк с рукописью. Когда слух о том, что в Петербург ее повез Белинский, достиг дома Аксаковых и других, поднялось возмущение. Любовь Москвы была деспотична: она ласкала, но и заласкивала.

4

Все это отвращало его от Москвы, хотя он полюбил Москву. Он любил стоять возле широкого окна своей комнатки на втором этаже дома Погодина и смотреть на очищающееся от снега Девичье поле. Скоро оно покроется гуляющим народом — минет великий пост, грянет пасха, настанет его любимая пора — весна. Грачи будут виться у глав Новодевичьего монастыря, у куполов Смоленского собора, над крестами u стенами, видевшими в своей жизни многое.

Русская история слишком ощущалась в Москве — за то и любил он ее, здесь, как и в Риме, все вырастало из корня, на корне стояло и подпиралось преданием. Тут он чувствовал себя русским. Петербург казался ему из московского уединения немцем — он как мундир, сшитый по заказу: все ровнехонько, строчка к строчке, все открахмалено (белые стоячие воротнички), и пуговицы, и золотой узор на месте, но холоден, мертв. Москва как-то беспорядочно толпилась, домики наезжали один на другой, было много полудеревенских дворов с хлевами, где мычали коровы, курятниками, конюшнями. Бестолковость и теснота Москвы вдруг взмывали к высотам Кремля, Воробьевых гор, с которых видно было далеко вокруг. Особенно полюбил он Кремль, Ивана Великого, замкнутое пространство площади перед Архангельским и Успенским соборами. Тут творилась русская история.

В Москве хорошо думалось. Хорошо думалось под акающую и круглую московскую речь, под крики извозчиков и гомон грачей. Здесь говорили мягче, ласковей, не скакали фельдъегеря, не маршировали солдаты. В

театрах было по-домашнему, в салонах не пахло салоном. И хотя он скучал в гостях, даже сама эта скука была не та, что в Петербурге: там она раздражала, здесь давала отдых. Гоголя в те месяцы видели во многих домах — у Аксаковых, Д. Н. и Е. А. Свербеевых, А. С. и Е. М. Хомяковых, у А. П. Елагиной, Щепкиных, у своих добрых римских знакомых А. Д. и Е. Г. Чартковых. И все помнят его не очень-то веселым. А когда уж пригласил его к себе генерал-губернатор князь Д. В. Голицын (хотел поинтересоваться знаменитостью), он и вовсе нахохлился. Не хотел ехать, отговаривался болезнью, недомоганием — не помогло. Нарядили в чужой фрак (своего не было) и повезли. Читал он князю «Рим», князь слушал, ничего не понимая, хлопал, хлопали и остальные.

«Рим» появился в третьей книжке «Москвитянина» за 1842 год. Он сразу поставил Гоголя в ряд консерваторов. Белинский из Петербурга отозвался гневным письмом. «Страшно подумать о Гоголе, — писал он Боткину, — ведь во всем, о чем ни написал, одна натура, как в животном. Невежество абсолютное. Что он наблевал о Париже-то!» Боткин не преминул передать Белинскому отзыв Гоголя. Как-то, говоря о Белинском, Николай Васильевич сказал, что критик он хороший, но не слишком уважительно относится к святыням русским, в частности к Державину. Белинский тут же откликнулся: *«Неуважение к Державину* возмутило мою душу чувством болезненного отвращения к Гоголю: ты прав — в этом кружке он как раз сделается органом «Москвитянина», «Рим» — много хорошего; но есть фразы, а взгляд на Париж возмутительно гнусен».

Они уже делили его. «Москвитянин» кичился перед «Отечественными»: Гоголь наш. «Отечественные» решили сделать Гоголю последний запрос — не пойдет ли он с ними, не бросит ли Погодина и «Шевырку» (как называл Шевырева Белинский), не примкнет ли к «молодому» и «новому». И на этот раз полномочным посланником Петербурга был избран Белинский. Ломая свою гордость (надо знать Белинского, чтобы представить, чего ему это стоило), он пишет письмо к Гоголю — первое в своей жизни письмо к автору «Ревизора». Письмо это дипломатическое и умоляющее, в нем виден сотрудник «Отечественных записок» и представитель *партии,* но виден и человек. Все же не мог побороть Белинский своего художественного чувства к Гоголю, своей любви к нему. Перенося свою привязанность с Гоголя-поэта на Гоголя-человека, он все еще не понимал, какая пропасть разделяет их — их, таких близких и по природе своей, и по желанию «отзыва».

О том, скольких трудов стоило Белинскому решиться на этот шаг, говорит тот факт, что он переписывал письмо не один раз. Он даже несколько экземпляров его составил и один — черновой — послал (для контроля) Боткину. «Прилагаю черновое, — писал он, — из него ты увидишь, что я повернул круто — оно и лучше: к чорту ложные

отношения — знай наших — и люби, уважай; а не любишь, не уважаешь — не знай совсем. Постарайся через Щепкина узнать об эффекте письма».

Но Белинский не получил даже ответа. Через Прокоповича Гоголь передал, что на обратном пути через Петербург он встретится с Белинским и «потрактует» лично.

Но не до того ему было. Вся весна 1842 года — это дни переживаний по поводу затерявшейся рукописи, которая застряла где-то в столах петербургской цензуры, хотя та ее уже прочла и разрешила. Какие-то неведомые приключения случились с нею. Посланная в Москву, она в Москву не дошла: никто толком не знал, где она, Гоголь подозревал, что она у Погодина, который мог прикарманить ее для «Москвитянина». Ведь вернуться она должна была на погодинский адрес. Как всегда быстро впадающий в тоску, Гоголь начинает обстреливать Петербург посланиями самыми отчаянными. Летят письма к Смирновой-Россет (она вхожа к царю), Плетневу, Одоевскому, А. В. Никитенко. Он пишет даже послание С. С. Уварову, хотя знает, как признается Плетневу, что «Уваров всегда был против меня». Ему приходят на ум подозрения, что тут не в почте и нерасторопности цензурных чиновников дело, а в чем-то другом, таинственном, ему неизвестном, и он уверяет Плетнева, что против него «что-то есть». Это «что-то» звучит очень неопределенно: тут можно заподозрить и козни царя, не желающего выхода «Мертвых душ».

Письмо Гоголя к Уварову — образец того, как *он просит* и каков он в этой позиции перед «значительными людьми». Слава богу, что это письмо не дошло до министра (его вмешательства не понадобилось), но ежели бы дошло...

«Все мое имущество и состояние заключено в труде моем, — начинает Гоголь. — Для него я пожертвовал всем, обрек себя на строгую бедность, на глубокое уединение, терпел, переносил, пересиливал сколько мог свои болезненные недуги в надежде, что, когда совершу его, отечество не лишит меня куска хлеба... Я думал, что получу скорее ободрение и помощь от правительства, доселе благородно ободрявшего все благородные порывы и что же?.. Неужели и вы не будете тронуты моим положением?.. *Подумайте: я* не предпринимаю дерзости просить вспомоществования и милости, я прошу правосудия, я *своего прошу: у меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба.* Почему знать, может быть, несмотря на мой трудный и тернистый жизненный путь, *суждено бедному имени* моему достигнуть *потомства.* И ужели вам будет приятно, когда правосудное потомство, отдав вам должное за ваши прекрасные подвиги для наук, скажет в то же время, что вы были равнодушны к созданьям русского слова и не тронулись положеньем бедного, обремененного болезнями писателя, не

могшего найти себе угла и приюта в мире, тогда как вы первые могли бы быть его заступником и меценатом».

Человек просит и даже как будто унижается, но когда вчитаешься как следует, то непонятно, кто ниже — он, просящий, или тот, у кого просят. Напоминание о суде правосудного потомства звучит уничтожающе. Если тебя и помянут в потомстве, говорит между строк Гоголь Уварову, то только в связи со мной. И представляешь, как ты будешь выглядеть, если мне сейчас откажешь! Уваров был достаточно умен, чтоб все это понять. А Гоголь столь же неглуп, чтоб не понимать и как и кого он *дразнит*.

Так он *просил* у «значительных лиц». Так он перед ними сгибался. Бедное имя, бедная жизнь, бедный писатель — пишет Гоголь. Но это письмо не бедняка, а богача страшного (гоголевское определение гения) к бедняку настоящей минуты, точнее, к ее богачу, который, властвуя над минутой, не властен над вечностью. Суд потомства в этом исчислении прав министра оказывается как нельзя кстати.

Но ни это письмо, ни письмо к князю М. А. Дондукову-Корсакову, от которого непосредственно зависело разрешение «Мертвых душ», так как тот был инспектором Санкт-Петербургского учебного округа и председателем цензурного комитета, ни иные мольбы и просьбы Гоголя не понадобились. Дело разрешилось само собой. Рукопись прочитал Никитенко и ничего недозволенного в ней не нашел. Пострадал только «Копейкин». В нем цензор уловил некоторые неприличные намеки на правительство и покойного государя. Пришлось «министра», одного из действующих лиц «Копейкина», переделать в «вельможу», а «государя» выбросить. И кое-что снять из того, что могло бы подействовать на высочайший слух (впрочем, как выяснилось позже, Николай так внимательно читал «Мертвые души», что путал их с «Тарантасом», а Гоголя с В. Соллогубом). «Копейкин» — чудо его кисти, выпестованный, выношенный, обдуманный и отделанный до последней точечки, — должен был перемарываться. Смеху подрезались крылья, и душа болела.

«Какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте», — писал Гоголь М. И. Балабиной. Даже те, кто хвалил его, не понимали. Не понимали хвалившие, не понимали хулившие, не понимали далекие, не понимали близкие. Тем, к кому он близок, казалось, что он настолько близок, что они — с короткого расстояния — лучше других видят его. Те же, кто стоял в отдалении, считали, что, наоборот, взгляд отдаленный помогает им судить беспристрастно. Поэму прослушали в его чтении всего с десяток людей, но он уже знал, что не поймут — и публика не поймет, и свет, и критика, и цензура. Никитенко, приславший ему восторженный отзыв о рукописи, тоже не понял.

Позже он напишет Шевыреву из Рима: «Разве ты не видишь, что еще и до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и тени сатиры и личности, что можно заметить вполне только после нескольких чтений». Но и тот же Шевырев, защищавший в «Москвитянине» «Мертвые души» от нападок противников, писал, что книга бы выиграла, если бы гоголевский комизм перекинулся и на высшую часть общества — то ость на «свет». Чего же желал он от автора, как не обличений «света»?

Наконец, и «Копейкин» — выправленный — вернулся с разрешением цензуры в Москву. Здесь его ждали набранные давно листы первых глав. Печатанье пошло быстрее. Хлопоты по изданию поэмы взял на себя Николай Прокопович. Важно было не упустить времени и напечатать книгу, пустить ее в оборот до лета, а там снарядить с Прокоповичем и Белинским (от его услуг он не думал отказываться) собрание сочинений, которое хоть отчасти покроет долги. Он задумал его издать еще в Риме и надеялся все окончить в Москве. Три тома были сделаны, но четвертый из-за волнения по поводу «Мертвых душ» отстал. Четвертый том завершался «Театральным разъездом», а тот лежал непереписанный с 1836 года.

5

Как и в прошлый раз, его пребывание в России завершилось обедом в саду Погодина. 9 мая собралась здесь вся литературная Москва. Были С. Т. и К. С. Аксаковы, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин, М. Н. Загоскин, Д. Н. Свербеев, Т. Н. Грановский и другие.

На именинном обеде Гоголь объявил, что вернется на родину через... Иерусалим. Гости знали об этом его решении, он говорил об этом и раньше. Но торжественность, какую он придал этому событию, смутила всех. Не верили, что Гоголь делает это искренне, подозревали, что это очередное чудачество, прихоть, актерство. Пусть подурачится, пусть уверует в то, что и мы верим, доверяем ему, думали они. Пусть порисуется, наконец. Даже Аксаковы — самые страстные его почитатели — уехали домой недовольными. Гоголь был в своей роли — вел себя «странно». Но что это — игра, презрение к желанию откровенности со стороны любящих его от души людей, поза? Все можно было подумать, но ни один ответ не давал объяснения поступку Гоголя. Пришлось, вздыхая, смириться, что Гоголь есть Гоголь и надо принимать его таким, каков он есть.

Меж тем его решение было искренним. Оно зародилось в нем еще до приезда в Россию. Он верил, что отныне им руководит высшая сила, что его спасенье в Вене и время, отпущенное на окончанье труда, который он благополучно завершил и сейчас выдал свету, — уже не им исчисленное время, оно отпущено тем же, кто даровал ему жизнь и

талант и определил «дорогу». И он должен был отблагодарить и прийти к гробу господню с даром в руках — с конченым полным творением, то есть всеми частями своей поэмы, которая уже, как и жизнь его, не принадлежала ему одному.

Таковы были чувства Гоголя. И потому он все происходящее вокруг видел как бы сквозь туман, может быть, от этого и не замечал, что чувствуют другие, не брал этого в расчет — он настолько жил своим, что *иное, не его* уже и не тревожило его глаз.

Первые экземпляры поэмы были уже отпечатаны и переплетены. Гоголь вручил часть из них друзьям в Москве, другую взял с собою в Петербург — для друзей же и для царской фамилии.

Он уезжал через Петербург, и это раздражало «москвичей», которые видели в сем поступке подвох, уловку Гоголя, не пожелавшего доверить издания своего собрания Москве. Он указывал на быструю работу петербургской цензуры — они не верили. Он говорил, что не хочет загружать их лишними заботами, — не верили тоже. Москва ревновала его. «Гоголя любят все, — писал В. И. Даль Погодину, — для него между читателями нет партий». Но вот выяснялось, что любят, да с прицелом.

Ему было больно видеть эти раздоры и подозрения. Идея нового «двенадцатого года» — года, в который весь народ встал «как один», — уже витала в его воображении. Да и сама поэма уже мыслилась ему не как поэма, а как продолжение собственной жизни, как то, что оп должен был строить не вне себя, а в себе. Но для последнего, как он говорил, он был еще не готов. Ему предстояла перестройка, выход в новое сознание и обретение для выражения этого сознания «нового языка». Ножницы: «Отечественные записки» — «Москвитянин» — были слишком узки для него.

Он уже думал о другом. Выписав свой «Ад», он приближался к *«Чистилищу»,* за которым открывался в далекой дали светлый «Рай». Он строил в мыслях свою поэму, как Дант — «Божественную комедию». Мертвые души должны воскреснуть, но для того, как твердит он почти в каждом своем письме, им (как и автору) нужно *очиститься,* набраться чистоты душевной, достичь «небесной чистоты нравов». Он и «Ревизора» хотел бы «пообчистить», и в поэме «пропеть гимн красоте небесной».

Открывалась эпоха чистилища — она открывалась не только в его бумагах, но и в его судьбе.

Часть пятая. ПЕРЕВАЛ

Я чувствовал всегда, что я буду участник сильный в деле общего добра и что без меня не обойдется примиренье многого...

Гоголь С. П. Шевыреву, май 1847 года

...Событие, во мне случившееся, случилось не во вред искусству, но к возвышению искусства...

Гоголь — А. О. Смирновой, май 1847 года

Глава первая. «Антракт»

...Никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — найдет и сочинение.

Гоголь — П. М. Языкову, июль 1844 года

1

Первые письма Гоголя по отъезде из России — о России. Все, с чем сплелась жизнь его, вокруг чего она кровно обернулась, к чему пристала навеки, оставалось здесь. И даже эти распри, споры, отчуждения, заблуждения и мерзости. Отрываясь от России, он сознавал, что отрывается, что порывает с тем, с чем нельзя рвать, и что это надрывает что-то и в нем, и в деле его, которым он оправдывал свое удаление. Он без умолку молит своих корреспондентов писать ему, писать больше и чаще, и писать о родине, о том, что она думает, как живет, как дышит и что у нее на уме насчет него, Гоголя. Многим из тех, к кому он обращается, это желание Гоголя знать, что о нем думают, кажется суетным. Они видят в нем нетерпение славолюбия, жажду эгоистическую. Что ему — мало? — рассуждают они. — Что он — новичок, который тиснул свои первые стихи и ожидает проснуться знаменитым? Или чесотка славы так сильна и у гениев?

А он ждет привета с родины, привета даже в виде хулы, неодобрения, порицания. Ему сам ропот российский по поводу его книги нужен оттого, что он российский ропот. «Записывайте все, что когда-либо вам случится услышать обо мне, все мненья и толки обо мне и об моих сочинениях, и особенно, когда бранят и осуждают меня», — пишет он М. П. Балабиной. Такие же просьбы летят и к Данилевскому на Полтавщину, и к Плетневу в Петербург, и к Шевыреву в Москву. Он как бы раскидывает свою сеть, чтоб хоть что-то поймать в нее. Шевырева он просит откликнуться на «Мертвые души», Прокоповича — передать Белинскому, чтоб тот откликнулся. Он тревожит в его семейном уединении Жуковского (который хоть и живет не в России, но — Россия, Россия пушкинская), требуя от того обстоятельного отзыва о поэме. Лишивши себя возможности видеть Русь в глаза, он хочет слышать ее голос. Точней — голоса. Голоса многих, может быть, всех. Поэтому ему интересны мнения всех партий, точки зрения всех направлений, всех поколений и всех слоев. Позже, в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ», он обратится ко всем читающим в России с призывом высказаться не столько о его сочинении, сколько о вопросах, поставленных в нем.

В этом разноголосом эхе, в котором аукнулась бы ему Россия со всех сторон — от дворца до глухой деревушки на Миргородчине, — он жаждет увидеть ее многоликое лицо, которое уже стал позабывать. Мост ко второму тому поэмы тянется теперь через эту письменную связь, через это непрочное воссоединение, через оклик и посылающий свой запрашивающий зов голос.

Но не одна эта отдаленность от родины ставит свои препятствия писанию продолжения поэмы. Тоска по России сливается с желанием очищения, чистки душевной, некоего переворота в себе, без которого он не мыслит нового величественного строительства.

«Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать... великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования...» И загадка его поэмы, добавим мы. Кажется, поднявшись в ней — и вместе с нею — на невиданную высоту, на ослепительно яркий верх, он все еще чувствует себя... у подножия лестницы.

«Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей... что чаще и торжественней льются душевные мои слезы и что живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях».

Уничиженье — паче гордости, но это не уничиженье, а сознание своего несовершенства, которое было путеводной его звездой с юности. Нет совершенства творенья без совершенства творящего, нет сил подняться на духовную высоту в искусстве, если и в себе самом не преодолел это восхожденье.

Так рассуждает Гоголь. А что же думает Россия? Знает ли она, что происходит с ним, подозревает ли? Чувствует ли чуткая и безотрывно-милая родина, что повернул уже с прежней дороги ее признанный вождь, ее единственный живой авторитет? Или дремлет она в неведении? Или все еще движется за ним по инерции, им приданной? И читает его, как читала вчера, как смеялась вчера, как ожидала вчера от него новой насмешки над нею же самой?

Он ждет от Руси необыкновенного, какого-то ответа («Русь, куда ж несешься ты, дай ответ?»), а Русь должна жить, вести свои дела — она не может заниматься только Гоголем. Книгопродавцы вместе с его книгами должны сбывать и тысячи других (типографский станок подбрасывает и подбрасывает), критики — писать не только о нем (хоть он и в «моде», как пишет он сам, хоть он один на всю Россию). Купцы должны торговать, государственные мужи — заседать в сенате, крестьяне —

пахать и сеять, а помещики — доглядывать за крестьянами. Дипломаты должны плести сети политики, царь — царствовать, а чиновники — высиживать за своими столами от сих и до сих

Им не до Гоголя. Да и где он? Полыхнул, как метеор, заехал, уехал — только его и видели. Какая-то пыль осталась от быстро вертящихся колес его брички. Для России он заезжий, приезжий, почти что иностранец, потому что живет в чужой земле, в чужой земле пишет и в чужую землю скрывается.

И он понимает, как важно *быть дома,* присутствовать при родах и смертях, не оплакивать близких издалека, как было с Пушкиным, а скорбеть воочию, воочию терпеть унижения, как терпел он с «Ревизором», не отдалять своих отношений с чуждой ему толпой, а втираться в нее, терпя оскорбления и насмешки, потому что самое это присутствие есть факт русской жизни, факт, влияющий на нее, — а Гоголь желает влиять.

В Европе его никто не читает, никто не знает. В Европе он синьор Гоголь, который занимает место в гостинице или в дилижансе. Немцу или французу (и итальянцу) наплевать на то, что он там сочинил, немец или француз заглядывают в его кошелек, а не в портфель. Этот мусью, или герр, если и сунет нос в его книгу, то вряд ли что-то поймет. Какие мертвые души? Какой Чичиков? Какой Манилов?

Нет, надежды только на Россию.

Они видны и в самой поэме. То не чичиковская тройка срывается с места в ее последней главе, а нетерпенье Гоголя рвет постромки и выносится навстречу *читателю*. Прозревая законы художества, строгие законы приличия в искусстве, не позволяющего автору уж слишком далеко выходить из своего сочинения, Гоголь бросает в лицо России свои вопросы и восклицанья. Его слово и его ожидание «ответа» как бы опережают бег тройки, и ими она влечется вперед, за ними устремляется вихрь повествования. То не копи запряжены в несущееся тело поэмы, а *вопросы, идеи,* гоголевские сомненья и прозренья. Они — тройка Гоголя, и тройка Чичикова, и тройка Руси.

«Его ода — вопрос», — написал о Гоголе Белинский в 1835 году. Он мог бы повторить эти слова и по выходе в свет «Мертвых душ». Жажда «отзыва» здесь слышится всюду: недаром текст поэмы на треть полемика и обращения к читателю. Всякое новое слово Гоголем здесь оговаривается, обставляется авторскими объяснениями, оправданиями. Всякая вольность, всякий комический или лирический выпад тут же получают в подкрепление некий резон, который должен отвести от них критику, защитить их. Гоголь, кажется, каждой своей картине готов выставить оправдательный аргумент.

Такова поэтика «Мертвых душ» и таково начало новых отношений русской литературы с читателем. Именно с Гоголя начинает она так активно заботиться о читающем, обращаться вовне, имея в виду внутреннюю цель. Изгоголевского полемизма вырос полемизм Достоевского. Но в те поры, когда явился первый том «Мертвых душ», это была новость.

Автор искал критик, возражений — он их получил. Не замедлили откликнуться и печатная критика и устная. Выступили все главные издания и партии — «Русский вестник», «Библиотека для чтения», «Северная пчела», «Москвитянин», «Современник». В Москве вышла брошюра К. Аксакова, где Гоголь назывался русским Гомером. К. Масальский в «Сыне отечества» писал: «Правда, что между Гомером и Гоголем есть сходство: обе эти фамилии начинаются, как видите, с *Го*». Букет был полный. Многочисленные адресаты Гоголя докладывали об отзывах провинции. Прокопович писал: «Все молодое поколение без ума… старики повторяют «Сев. пчелу» и Сенковского…

Все те, которые знают грязь и вонь не понаслышке, чрезвычайно негодуют на Петрушку, хотя и говорят, что М (ертвые) Д(уши) очень *забавная штучка;* высший круг, по словам Вьельгорского, не заметил ни грязи, ни вони и без ума от твоей поэмы.

Один офицер (инженерный) говорил мне, что МД *удивительнейшее сочинение,* хотя *гадость ужасная*. Один почтенный наставник юношества говорил, что МД не должно в руки брать из опасения замараться: что все, заключающееся в них, можно видеть на толкучем рынке. Сами ученики почтенного наставника рассказывали мне об этом после класса с громким хохотом. Между восторгом и ожесточенной ненавистью к МД *середины нет*… Один полковник советовал даже Комарову[11] переменить свое мнение из опасения лишиться места в Пажеском корпусе, если об этом *дойдет до генерала,* знающего наизусть всего Державина…»

Повторялась история с «Ревизором». Казалось, разыгрывался еще не опубликованный, но написанный «Театральный разъезд». Гоголь все это предвидел. На «свет» (высший круг) надежды не было. Свет что: ему и запах Петрушки не страшен — он не слышит этого запаха. Он готов посмеяться над «забавной штучкой» именно потому, что она его не касается: опять какие-то уроды, кикиморы, живущие в своих поместьях… Свету вообще не было дела до русской литературы — он читал только французскую. Поэма Гоголя могла ему показаться в лучшем случае пикантной, как свежий, хотя и сальный анекдот. Что же до «молодого поколения», то и его восторги не тешили авторского самолюбия. В письме к С. Т. Аксакову, сообщавшему ему об успехе «Мертвых душ» у молодежи, Гоголь писал: молодость всегда горяча, всегда оппозиционна; что не нравится старикам, нравится ей. Она за

новое, еще не зная как следует цены этому новому. Подождем суждения зрелых умов, добавлял Гоголь.

Но и зрелые умы — из тех, кто мог высказаться, — высказались. Одни печатно, другие в дневниках, разговорах, письмах. Где-то на Басманной «негодовал» Чаадаев. Против чего он негодовал — против Гоголя или против его апологетов? Разлад среди «москвичей» по поводу «Мертвых душ» зафиксировал Герцен. В своем дневнике в июле 1842 года он писал: «Толки о «Мертвых душах». Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апофеоза Руси, Илиада наша, и хвалят, след., другие бесятся и говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апофеозу смешно, видеть одну анафему несправедливо».

За месяц до этого, еще в Новгороде, прочитав впервые поэму, Герцен записал в том же дневнике: «...горький упрек современной Руси, но не безнадежный... Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена *во всей полноте;* не типы отвлеченные, а *добрые люди,* которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле, и там и тут *одно утешение в вере* и уповании на будущее; но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование «ins Blaue» (на небеса), а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пением, они едут на лодке; крик, свист, шум. Немцу и во сне не пригрезится такого гулянья; и потом в бурю — какая дерзость, смелость: летит себе, а что будет, то будет. Взглянул бы на тебя, дитя — юношею, но мне не дождаться, благословляю же тебя хоть из могилы».

Были такие мнения и в «западном» лагере... А Д. Н. Свербеев, славянофил, говорил, что Гоголь опозорил Россию, выставив ее в таком виде перед Западом. Он делал то же, что и Кюстин, но тот француз, шаромыжник, а этот свой, русский. Негодовали в Москве, в Петербурге и в глуши. Негодовали и читали, расхватывали поэму, ссорились из-за нее и мирились. Пожалуй, не было со времени триумфа знаменитых пушкинских ранних поэм такого успеха у книги на Руси. Решительно нельзя было найти грамотного человека, который бы не прочитал ее. Даже царь оскоромился — пролистал поднесенный ему экземпляр. Позже он говорил Смирновой: я ценю его (Гоголя), он хороший писатель, но не могу простить ему грязных выражений.

«Ложь», «кривлянья балаганного скомороха», «побасенки» — вот далеко не самые крепкие определения из статьи Н. Полевого в «Русском вестнике». («Побасенки!.. — ответит ему в «Театральном разъезде» Гоголь. — А вон протекли веки, города и народы снеслись и исчезли с

лица земли, как дым унеслось все, что было, а побасенки живут...») Гоголь, по его мнению, «хочет учиться языку в харчевне», его «восхищает всякая дрянь итальянская» и он ненавидит русское, он судит свое отечество, как «уголовный судья». «Если бы мы осмелились взять на себя ответ автору от имени Руси, — писал Полевой, имея в виду обращения Гоголя к Руси: «Русь, чего же ты хочешь от меня?» — мы бы сказали ему: М(илостивый) Г(осударь), вы слишком много о себе думаете... вы... сбились с панталыку. Оставьте в покое вашу «вьюгу вдохновения», поучитесь Русскому языку, да рассказывайте нам прежние ваши сказочки...» В начале статьи Полевой советовал Гоголю бросить писать. Так откликнулись на поэму «старики» — патриархи журнальных баталий тридцатых годов, ныне списанные в архив. Они этого еще не признавали, они горячились, как и «молодые», по то была отрыжка бессилия.

Главные стволы заговорили позднее. В «Москвитянине» С. Шевырев объявил Чичикова «героем нашего времени». Не плут и мерзавец, а «поэт своего дела», своего рода гений предпринимательства, наступавший на Русь, виделся ему в образе гоголевского героя. Шевырев называл Чичикова «Ахиллом», способным на «самопожертвование мошенничества», что соответствовало истине.

Ну а Петербург? В «Санкт-Петербургских ведомостях» «Мертвые души» назывались «превосходным творением», «согретым пламенем истинного чувства», говорилось, что это сатира, но «глубоко грустная». Чичикову предсказывалась судьба шекспировского Фальстафа и мольеровского Гарпагона, ибо он, как и те в свое время, оказался «зеркалом» времени и заодно поднялся над ним.

Но все-таки Петербург еще молчал; он как бы ждал сигнала из Москвы, он хотел свести счеты с матушкой-Москвою, приголубившей Гоголя, приблизившей его, присвоившей его незаконно. Повод представился: вышла брошюра К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Гоголь, узнавши о ней и прочитавши ее, был недоволен. Он противился ее печатанию, но его волю не учли. Аксаков слишком теоретизировал там, где надо было отдаться здравому уму и чувству. Он хвалил Гоголя любя, слепо, не соотносясь с действительностью, в том числе с журнальною, литературною действительностью. Вместе с тем верные замечания и мысли тонули в облаках не изжитой еще гегельянской терминологии, что дало фору быстрому и опытному в журнальных драках Белинскому: тот немедля откликнулся на вызов Москвы.

Обещая Гоголю разбор поэмы в «Отечественных записках», Белинский так и не написал этого обзора. Он косвенно отозвался на выход поэмы, как бы расчищая себе место для будущих суждений о ней. В этой *заметке* Белинского видна смесь его противоречивых чувств по

отношению к Гоголю. Она писана уже после письма к Гоголю в Москву, после встречи в Петербурге, когда Белинский понял, что все надежды залучить Гоголя безнадежны. Он еще крепится, он еще держит себя на уровне объективности, шестым чувством сознавая, какую великую книгу написал Гоголь, но он уже негодует против его взглядов, против его «художественности», против некоторых намеков на особое призвание русской нации.

И тут К. Аксаков, его бывший друг и единомышленник, подкидывает в огонь горсть пороха. Белинский взорвался, вспыхнул, разразился статьей — не о Гоголе, а о тех, кто поднимает Гоголя, кто *не так* его истолковывает, кто, наконец, отнимает его у всех «современных людей». И спор его с К. Аксаковым стал той точкой, где столкнулись и сшиблись лоб в лоб «восторг и ненависть».

К. Аксаков писал об эпическом равновесии и спокойствии гоголевского творения, о его примиряющей полноте, о тайне, заключенной в нем и содержащей в себе, может быть, тайну существования России. Он сравнивал его с Гомером по величию эпического чувства, которое и низкое, смешное способно поднять до высот одушевления и там, на этой высоте, помирить нас с «низким». «На какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, — писал К. Аксаков, — вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образу и подобию Божию». Для Белинского эта «апофеоза» прозвучала вызовом. Со всей силой своего — уже успевшего закалиться в боях — опыта он обрушился на московское «умозрение». Сравнивая (иронически) «Илиаду» с «Мертвыми душами», он писал: «Илиада» выразила собою содержание положительное, действительное, общее, мировое и всемирно-историческое, следовательно, вечное и неумирающее: «Мертвые души», равно как и всякая другая русская поэма, *пока еще не могут* выразить подобного содержания, потому что еще негде его взять... В «Илиаде» жизнь возведена на апофеозу: в «Мертвых душах» она разлагается и отрицается...»

Это было недоверие не к содержанию поэмы Гоголя, а к содержанию русской жизни. Объявив войну «действительности», Белинский, кажется, готов начать с чистого листа; так как «содержания» в русской жизни — положительного, всемирно-исторического, действительного (!) — пока нет.

Тут уж спор не с К. Аксаковым, а с Гоголем и, пожалуй, с его поэмою, в которой видеть одну сатиру еще некоторое время назад Белинский почитал несправедливостью. «...Гоголь великий русский поэт, — писал он, теперь делая ударение на слове «русский», — не более; «Мертвые души» его — тоже только для России... Никто не может быть выше века и страны: никакой поэт не усвоит себе содержания, не приготовленного и не выработанного историек»...» А что же девять веков существования

России? Их Белинский списывал в недоразвившееся содержание, в нечто, недостойное называться содержанием и имеющее частный интерес. Он и Пушкину отказывал во всемирном значении. «Тут нечего и упоминать о Гомере и Шекспире, — настаивал он, — нечего и путать чужих в свои семейные тайны. «Мертвые души» стоят «Илиады», но только для России: для всех же других стран их значение мертво и непонятно». Говоря о «естественном таланте» Гоголя, он не оговаривался, что талант — и «великий талант», «гений», каким он признавал Гоголя, — уже есть в искусстве содержание, то самое содержание, на котором так беспомощно (и искренне!) замыкалась его мысль, К. Аксаков ответил в «Москвитянине»: «Рецензент говорит, Русский не может быть теперь мировым поэтом, Этот вопрос прямо соединяется с другим: надобно говорить о значении Русской Истории, современном всемирно-историческом значении России, о чем мы с петербургскими журналами говорить, конечно, не будем...»

Новый снаряд, выпущенный «Отечественными записками», полетел на Москву. Белинский бил по «объективизму» Москвы, по ее консерватизму, по презрению к «современным вопросам». Он и Гоголя винил в незнании современной жизни, в отсутствии чувства времени, в отставании от «умственной жизни современного мира».

Как далеко заходил он в своем увлечении! Как отрекался от своих прежних святынь, от постулатов своих же статей, где акт творчества, гений, талант уже означали и всемирное содержание, и высшую справедливость, и сами «идеи»! Он уже выговаривал Гоголю за то, что непосредственная сила его творчества «отводит ему глаза от идей и нравственных вопросов, которыми кипит современность», как будто бы можно отделить творчество от этих вопросов, и если уж есть налицо высокий акт творчества, то есть и эти «вопросы».

Теперь Белинскому этого было мало.

Даже «объективное изображение фактов» в поэме не устраивало его — в объективности он видел теперь врага, ему нужна была «современная» субъективность, то есть те же «идеи». Поэтому так подозрительны показались ему *обещания* Гоголя, сделанные им в «Мертвых душах», все эти лирические намеки на «русского богатыря» и «прекрасную девицу», которые выступят в следующих частях и уравновесят темный свет первого тома. «Много, слишком много обещано, — «тревожно» (это его слова) возвещал он, — так много, что *негде и взять* того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на свете...»

Так расходились великий критик и великий поэт.

Спор между Москвой и Петербургом из-за «Мертвых душ» был спором и за «Мертвые души», и за Гоголя, и спором двух России в одной России,

спором расколовшегося русского сознания, которое уже нельзя было воссоединить. Гоголь понимал это, хотя и искал середины.

Но середины, как правильно писал Прокопович, не было — русская мысль расходилась на полюса и там, на каждом из полюсов, ожесточалась против противоположной точки зрения. Не «Мертвые души» раскололи Россию, а Россия раскалывала «Мертвые души», призывая автора их то к немедленной переделке действительности, то отталкивая его от «настоящей минуты». Она зазывала en своими раздорами, выманивала из кельи, куда он заперся для перестраивания себя, переделки себя.

2

Годы после появления первого тома — годы растерянности Гоголя, годы разрыва между желанием откликнуться на призыв России и прийти ей на помощь и инстинктом самосохранения поэтического. Сам он назвал эти годы «антрактом». Это был антракт во всех отношениях — в отношении жизни, в отношении осознания себя и в отношении творчества, ибо писалось мало — более думалось и читалось.

Его искреннее убеждение, что бог даровал ему исцеление, чтоб продлилась его жизнь и его труды, настолько берет верх после печатания поэмы, что он весь отдается состоянию гимна в честь того, кто это позволил. Это состояние можно сравнить с опьянением, когда человек очень остро чувствует себя, заполнен собой и хочет о себе высказаться, но слушатели-то трезвы, они в другом мире, и им его откровения непонятны, они не готовы внутренне разделить его радость и его прозрение. Все-таки эти слушатели (то есть внешний мир) еще очень влияют на Гоголя, он страшно зависит от них при всей своей самостоятельности, хотя не понимает этого.

Во все концы России несутся письма, где он призывает знакомых верить его слову, ибо отныне высшею властью облечено это слово. Он призывает верить в его слово как в слово божье — так велико убеждение, что сам бог дал ему это право.

Он советует Аксаковым читать жития святых, Данилевскому (тот не служит, а сидит в деревне) менять образ жизни. Вяземскому писать историю Екатерины П. И всюду этим советам сопутствует один мотив — мне более, чем вам, дано знать о вас, я вижу дальше, я наделен способностью проницать судьбы людей. Это не от гордости — это от радости. От здоровья, от ожидания, что ему отпущен еще какой-то срок для исполнения планов.

Из Москвы и Петербурга запрашивают: когда второй том? Там на дело смотрят практически, профессиональное дело литератора, закончив одну книгу, писать другую. Книгопродавцы, критика, публика,

литераторы, прочитав один том, ждут нового. Автор здоров, время для трудов у него есть — отчего же не ждать?

Но Гоголь не спешит. Надоедающим ему он отвечает, что на сочинение следующей части понадобится по меньшей мере два года, а более близким пишет, что это дело нескорое, что он лишь у подножия лестницы, должной привести его к вершинам, обещанным в конце первого тома.

Знал ли он хотя бы план второй части, когда это писал? Вряд ли. Брезжилось что-то, угадывалось, лирический подъем толкал на преувеличения, голоса, вокруг раздававшиеся (вы у нас «один», вы дадите нам ответ на то, кто мы), усиливали это ощущение, и что-то росло в тумане его воображения. «Блаженство, может быть, *растет* такое на земле, — писал он в черновике письма С. Т. Аксакову, — о котором во сне и в самом невероятном мечтать не приходило еще человеку и которое обильно, но живительно нисходит на нас, если только в душах есть стремление, жаждущее принять ее». Вот об этом блаженстве и росте блаженства и собирался он поведать во втором томе своей поэмы, которая немела, казалось, перед грандиозной целью, немела и останавливалась.

С этих пор сознание Гоголя входит в полосу активных отношений с верой и богом — уже не по привычке, не по религиозному воспитанию и приличию, а в самом сущностном смысле — занятия «собой» (в которые и включаются эти отношения) как бы становятся между Гоголем и литературой, между «грязным крыльцом» первого тома поэмы и «храмом», то есть ее продолжением. Максималист Гоголь переживает этот душевный «антракт» не только как передышку на пути к свершению, но и как само свершение, может быть, самое трудное свершение, и оно-то забирает все его силы.

Дальнейшее писание не мыслится ему без этого промежуточного движения, без «очищения» в горниле любви и веры, «безгранична, бесконечна, беспредельней самой вечности беспредельная любовь бога к человеку», — пишет он. Именно такой любви он жаждет и такой любви не находит в себе.

Все это пока слова и рассуждения, но для Гоголя рассуждения никогда не отделялись от чувств, как бы далеко ни уносились его чувства, разум все же придерживал их, как хороший седок горячую лошадь.

Веруя в бесконечность любви и бесконечность жизни в любви, Гоголь вносит в свое верование много расчета. Конкретный факт — угроза смерти — и переживание, связанное с ним, повернули его мысль к богу, и в своей благодарности он конкретен, то есть он хочет платить любовью за оказанную ему любовь и милость. Опьянение верою и светлое

настроение соединяются в нем с сознанием, что без этих *усилий* он не смеет писать.

В годы стояния, бездействия литературного Гоголь принуждает себя писать, более того, он принуждает себя в минуты сомнений к той же вере. В этом проявляется всегдашняя незаурядная воля его: доверяясь стихии веры, он все же склонен управлять ею, возбуждать в себе светлое состояние, когда оно уходит, возвращать его.

Болезненные припадки, которые время от времени его посещают, нагоняют воспоминания о страшных минутах, пережитых в Вене. Заклиная других верить в его обещания, он заклинает и себя перед богом, внутренне страшась его гнева. «Весь бы я хотел превратиться в любовь», — пишет он в одном письме и в другом сознается: «тайное и страшное слово «Христос».

Он вновь прибегает... к логике, чтоб доказать С. Т. Аксакову, особенно настойчиво требующему от него отчета в душевных делах, что поступает по велению сердца, велению разума и здравого расчета, а не из-за каприза. Отвечая на вопрос о путешествии в Иерусалим, он пишет: «Так должно быть! Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею? Разве нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычаи предков, не разбирая, на лжи пли на правде они основаны, или увлечение новизною, соблазнительной для многих современностью и модой? Разве вы заметили во мне юношескую незрелость или живость в мыслях? Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся увлечение чем-нибудь?..» Но все равно — *сердцу не высказать себя*. Мысль не поспевает за чувством, слово за мыслью, да и иные слова нужны — не те, что обращаются между людьми, что в ходу, как стершиеся монеты, а те, которых еще нет у него, которых он еще не обрел.

Письма Гоголя той поры туманны и восторженны — это куски, как бы изъятые из лирических мест «Мертвых душ», и там они резали слух и вызывали подозрение, здесь, в чтении интимном, они кажутся еще нелепее. Письмо, в котором Гоголь пытался объяснить себя, объяснить себя как на исповеди, стало достоянием многих. Узнав об этом, он сетовал на доброхотов: зачем же вы? Я как на духу, а вы на улицу... Это и заставляло его обособляться, уходить в себя. И вместе с тем жгла жажда распахнуться, отдаться всем в слове.

Прав он был, когда писал Аксакову: значение «Мертвых душ» (и того, что мной написано) еще не скоро раскроется для людей, должно минуть время, да и сами мои сочинения нужно прочесть несколько раз. Ибо совершался внутри автора их *подвиг душевный*. Слово «подвиг» часто

упоминается Гоголем в те годы. Сто лет назад оно имело иной смысл, чем сейчас. И в устах невоенного человека Гоголя тем более. *Подвиг* — это не храбрость на поле боя, не риск жизни, а *подвижничество,* движение, шаг в будущее, сделанный незримо для других.

Подвиг подвигом, а жизнь жизнью. И она идет, газеты и журналы пишут о «Мертвых душах», корреспонденты шлют письма из Петербурга и Москвы, Гоголь лечится, пишет письма маменьке и сестрам, съезжается с Н. М. Языковым, которого давно знает и любит по Москве, пользуется с ним водами в Гастейне, потом направляется в Венецию и оседает к зиме в Риме.

Шевырев получает точные указания по выплате долгов и раздает их, Прокопович с Белинским вычитывают гранки его сочинений, славянофилы ссорятся с западниками, актеры спорят за право первыми разыгрывать его пьесы. Он отдает все права Щепкину, негодует по поводу своевольного представления на сцене в Петербурге «Мертвых душ», латает старые отрывки и дописывает «Театральный разъезд». 1842 год еще заполнен этим — кройкой и перекройкой старого, ожиданием выхода томов собрания сочинений, которое он поручил издавать Прокоповичу, перепиской и досылкой правки к корректуре. Гоголь трудится. Последнее его усилие в драматическом роде — «Театральный разъезд», хотя он сознает, что тот никогда не будет поставлен в театре. Этой пиесою он заключает четвертый (и последний) том, ставя точку на сделанном, подводя черту.

«Театральный разъезд», набросанный сгоряча после представления «Ревизора», теперь перемарывается и превращается в комментарий к сатире вообще, в некий общий расчет Гоголя со своим читателем и критикой. Появление этого сочинения Гоголя в январе 1843 года было новостью для русской публики. Им Гоголь как бы прощался с нею в том смысле, что все объяснял ей о себе и о своем смехе и предупреждал, что более объясняться не будет. Как он, однако, заблуждался! Великое объяснение еще ждало его, оно-то и стало тем чистилищем, через которое ему публично пришлось пройти в эти годы. Мы имеем в виду «Переписку с друзьями», которая явилась итогом и плодом «антракта».

3

Как ни глубоко спрятаны в Гоголе душевные перемены тех лет, как пи скрыты они за дымовой завесой невыработавшегося языка, все же и открыт он достаточно, все точные указания на характер перемен мы имеем в его же письмах. Показательно в этом смысле письмо к Данилевскому, с которым он никогда не лукавил, а если и лукавил, то менее, чем с кем-либо. Сам тон их отношений, установившийся с детства, не располагал к дипломатии,

На этот раз он пишет письмо-наставление, письмо-проповедь, которое, конечно же, должно было обидеть Данилевского. Но Гоголь в своем новом чувстве как бы отдаляется от Данилевского, как бы рвет личные нити, связывающие их, и оттого жестоки его приговоры, холоден дух письма, написанного как бы с горной вершины, с отдаленности снеговой. Точно такие же письма получают Д. Е. Бенардаки и П. В. Нащокин, но те не «ближайшие», те из многих.

«Увы! разве ты не слышишь, что мы уже давно разошлись, что я уже весь ушел в себя, тогда как ты остался еще вне?» — эти слова, сказанные с жестокостью прямоты и отбрасывающие того, к кому они обращены, в невозвратимую даль, не могли не отозваться болью в сердце Данилевского.

Здесь проявилась черствость и жестокость правды, ибо Гоголь был прав: Данилевский все еще метался по жизни, не найдя ни службы, ни призвания, ища опору и место свое, Гоголь давно *выбрал* и шел по *своей* дороге.

Все это было и раньше, но тогда Гоголь был милостив, он молчал или делал вид, что различия нет, что юность и воспоминания скрепляют их, что узы те неразрывны. Единственное, что скрашивало жестокость высказанного, — это искренность и сознание того, что Данилевский выдержит, что, обидевшись, он не до конца поймет, что сказал ему в приступе откровенности Гоголь.

Гоголь жаждал любви, любовь толкала его на узнавание (и высказывание) всей правды. Но в требовательности своей, не подготовленной никаким переходом в отношениях с другими людьми, он терял нежность. Получалось несправедливо. «Ты должен съежиться...», «одеваться ты должен скромно...», «ты не должен ни чуждаться света, ни входить в него», «ты должен сохранить всегда и везде независимость лица своего», «ты должен пренебречь многими мелочами», «ты должен быть теперь нараспашку в письмах со мною... со всей скукой, ленью, с заспанной наружностью...», «даю тебе одно из правил...», «отовсюду... я буду посылать к тебе слово...», «мудростью небес вложено мне в душу» познание.

Так может писать седовласый учитель своему бывшему ученику, поживший наставник подопечному, но не одногодок одногодку, приятель приятелю, земляк земляку. Увлечение, увлечение слышится здесь. Оно распространяется даже на письма к домашним, которые тоже теряют тепло и превращаются в списки выработанных для сестер и матери правил, а со старшей сестрой Марией, раздраженной его поучительством, Гоголь порывает. Порывает навсегда, не признав в ней сестру души своей. В своей бесконечной любви он отделяется от любви к

тем, кто окружает его, кто в ней более всего нуждается, он головой любит, но сердцем не растопляется.

Прекрасные намерения и сознание обращения в новую веру не совпадают с поступками — он это понимает, он казнится этим, но гордость, гордость и увлеченность собою (и новой идеей в себе) заставляют его забывать о близких.

Эта личная жесткость к людям в соединении со светлыми призывами «быть светлей» и верить в то, что все светлей и светлей становится будущее, не могла не дойти до людей, они, в свою очередь, ожесточались; от слов его, по их мнению, отдавало ханжеством и великой гордынею. Л он, может быть, и слов не находил: искренне искал, хотел «обрести язык», но съезжал на старое, на прописи и мораль, и стихия евангелического поучения, которое гораздо гуманнее в первоисточнике, смешивалась в его языке с речью какого-нибудь блюстителя нравов, им самим высмеянного.

Трагический парадокс! Гоголь, чувствующий смех, понимающий смех и смешное и в мгновение ока засекающий отскок серьезного в смешное, превращение истины в пародию на нее, сам шлет сейчас эти вдохновенно-сердечные пародии в Россию. Все шире расходится трещина между ним и Россией. «Жизнь моя давно уже происходит вся внутри меня... результат ее явится... весь в печатном виде», — обещает он Данилевскому.

4

В 1843 году М. Н. Катков, тогда еще молодой журналист, записывает: «Только и слышишь, что Гоголь да Гегель, да Гомер, да Жорж Занд». «Мода» на Гоголя не прошла — наоборот, она все более входит в силу: перечитывают «Мертвые души», читают сочинения и видят, что он не принадлежит ни той, ни другой стороне. Тот же Катков пишет А. Н. Попову: «Я здесь молчу и только слушаю; там слышишь, что Россия гниет, здесь, что Запад околевает, как собака на живодерне; там, что философия цветет теперь в России, здесь — что философия... сука, что она есть не более как выражение немецкого филистерства. *Но надо всем царит в непоколебимой высоте Гоголь»*.

Приятные слова, и Гоголь, не слыша их, догадывается об этом. Кажется, ничего добавлять к сему не нужно — он жив, он существует, он влияет... но ему мало. Его не понимают одинаково и «мурмолконосцы» (острота Хомякова в свой собственный адрес) и «западные» (Белинский). И он хочет вмешаться, объяснить и тем и другим высшую истину. Станьте «на высоту бесстрастья», призывает он москвичей, «соединитесь ради меня тесней и больше и сильней друг с другом».

Вместе с тем он перекладывает на них свои финансовые дела. Он шлет целую петицию Шевыреву с просьбой составить комитет по обеспечению его деньгами на ближайшие три года, в продолжение которых он будет получать от них по шести тысяч в год и писать второй том поэмы. По окончании его и возвращении в Россию он вернет долги и отплатит за услугу благодарностью. Но собравшиеся по этому случаю Шевырев, Погодин и Аксаков не могут найти согласия. Погодин, уже два года не переписывающийся с Гоголем, отказывает, Шевырев молчит, только Аксаков занимает для Гоголя деньги и шлет ему, Шевырев и Погодин ждут от Гоголя не обещаний, а тетрадей с новыми частями поэмы. Они ссылаются на публику, которая ждет того же. Об этом пишет ему и Прокопович. Гоголь ему отвечает: «Да и почему знает она (публика. — *И. З.*), что такое будет во 2 томе? Может быть то, о чем даже ей не следует и знать и читать в теперешнюю минуту, и ни я, ни она не готовы для 2 тома».

И опять призывает он оглянуться на себя и вырваться из круга журнальной литературы: «Но как только выберешься хотя на миг из этого круга и войдешь на мгновенье в себя, увидишь, что это такой ничтожный уголок... Вблизи, когда побудешь с ними, мало ли чего не вообразится?.. а как взглянешь с места повыше — увидишь, что все это на минуту... сегодня гегелисты, завтра шеллингисты, потом опять какие-нибудь исты... (выделено Гоголем. — *И. з.)*. Человечество бежит опрометью... пусть его бежит, так нужно. Но горе тем, которые поставлены стоять недвижно у огней истины... Не опровержением минутного, а утверждением вечного должны заниматься» они. Прежде «чем сразиться с миром», пишет Гоголь, надо «воспитать себя».

Все же мысль о *сражении* не оставляет его. Но как же тогда *стояние* у огней истины? Стояние — это неподвижность, сражение — движение. Впрочем, и стояние есть сражение, сражение в стоянии, в *отстаивании* того, что неразумное человечество хочет в своем беге смести. Пред Гоголем пример Жуковского, который, удалившись от света, от текущей минуты, переводит «Одиссею». В этом подвиге старого поэта, как и в художническом подвиге Александра Иванова, никого не пускающего в свою мастерскую, он видит поддержку избранному им пути. Выйдет поэма Гомера, падет покрывало с холста Иванова, и тогда всколыхнется минутное, поразится, падет ниц перед вечным.

«Останавливаясь», Гоголь тем не менее не стоит на месте. Годы «антракта» — годы чтения. «Когда я пишу, тогда уже ничего не читаю и не могу читать», — признается он. 1843 и особенно 1844 годы — это время углубленного «вхождения в себя» и через книги. Главным чтением Гоголя становится духовная литература. Он изучает отцов церкви, жития святых, читает «Памятник веры» и «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Чтение перемежается со штудированием

статистик, хозяйственных отчетов о состоянии экономики Руси, сборников русских песен, описаний русских обрядов, обычаев, деяний исторических деятелей. Но с одною книгою он не разлучается ни в дилижансах, ни в гостиницах, ни по пути к источнику в каком-нибудь курортном городке. Это Евангелие.

В его письме начинают ощущаться следы этого чтения: всегда плавная, а в лирических местах высокоторжественная гоголевская речь делается еще торжественней, еще величественней. Он обращается с нею уже не к читателям, а к частным лицам — он и в переписке переходит с интимно-дружеского топа на тон проповеди, тон поучения, в котором слышится некий благовест. Его рассуждения о жизни, о назначении человека, о том, какая кому предстоит дорога, приобретают ритм посланий святых апостолов.

Он много переписывает в свои тетради, выписывает, как бы заучивая заодно полюбившийся текст, приучая руку к поэтическому течению строк и проникаясь их духом. Вместе с чтением старинных русских книг на древне-славянском языке, в котором он видит корень языка русского, он получает от этого переписыванья приток дыхания для обновившегося своего сознания. Постепенно оно обретает язык, и в том языке сливаются стихии: собственно гоголевская, стихия стиля отцов церкви и стихия языка предшествовавшей ему русской литературы. Ибо вместе с выписками из святых книг он делает пространные выписки из Ломоносова, Державина, Крылова, Пушкина. Имея в своей библиотеке все изданные к тому времени в России сочинения Державина, он и их переписывает от строки до строки в тетрадь, как бы поднимаясь вместе с ними на то «место повыше», с которого далее видна жизнь. Высокий слог творца «Водопада» поднимает и его.

Поражает терпение Гоголя, тщание, с каким он производит эту, казалось бы, *пустую* работу, наконец, скрупулезность переписчика, ибо почерк его, в письмах не всегда ясный, торопливый, небрежный, здесь приобретает черты искусства: так мог переписывать Акакий Акакиевич. Ни одной помарки, кляксы, ни одного зачеркнутого слова. Ровно ложатся на бумагу строфы, витиевато-старинно выглядят заглавные буквы, каждая маленькая буковка читается чисто, как впечатанная, напечатанная.

Это тайное зерцало его внутренней работы, его бессонных ночей, невидимого приуготовления себя к строительству «храма». Тут и мастерская, тут и школа, тут и муки совершенствования. Так смотришь на чертежи великих зодчих, на их рисунки, на которых видны контуры будущего строения, его абрис, его идея, хотя все, что переписано Гоголем, уже осмотрено тысячами глаз. Тайны никакой нет, и вместе с тем это тайна, тайна, скрытая в правильности строк, в неуловимости духовного состояния, породившего эту чистоту, эту прозрачность.

Молчание не проходит в бездействии. Такая натура, как Гоголь, не может «стоять». Он развивается, он образовывается, и его публичные уверения в том, что он еще не готов, не пустые фразы. Внутри идет работа. Какая? Постороннему взгляду не обязательно знать. Надо отвести этот взгляд от тайника, указать ему ложные ходы, чтоб не совался он куда не следует, не торопил бы событий. Так птица отводит незваного гостя от своего гнезда.

К этому пристегиваются и чисто деловые интересы. Как ни величественно здание будущего храма, оно должно все же возводиться на земле и из земных материалов. Более того, это полностью русское здание, и Гоголь черпает конкретное знание Руси из источников, ему доступных. Тут на пего работают все — как прежде, Васильевка, Москва и Петербург, западники и славянофилы. Внимание Гоголя нацелено на центр России, то есть па места, где происходит действие «Мертвых душ» и где складывалась русская национальность, ее язык и облик. С малороссийской почвы его интересы перемещаются целиком на великорусскую, поэтому из тетрадей и записных книжек исчезает все, что касается Малороссии, и появляются «Слова по Владимирской губернии», «Слова волжеходца», описания обычаев этих мест, пословиц и поговорок, примет, трав, ветров, птиц, одеяний, узоров, лошадей и даже лошадиных пороков. Его занимают Владимир, Кострома, Волга, и не только их настоящее, но и прошлое. «В Костроме, — записывает Гоголь под рубрикой «Замечания для поручений», — *Ипатьевский* монастырь, жилище Михаила Романова, основан Годуновым; уцелели кельи, где скрывался он с матерью, в два жилья, выкрашенные шахматом, с изразцовыми печами и торцовыми полами. Двери соборные. Стенная живопись конца 17 века. Образа из 16 и 17 века с означением годов. *Архитектору и живописцу заказать снять»*. Видно, и в самом деле задумывал он в новом томе показать уже не «с одного боку» Русь, а со всех боков, проникнуть и в ее родословную, испить из ее истоков — из тех родников, из которых не пил раньше.

Так что, как ни затягивался «антракт», он не выглядел уж таким антрактом, ибо в антрактах принято скучать, перезевывать паузу, стирая в памяти впечатления минувшего представления и ожидая следующего. В антрактах ничего не делают, слоняются, пережидают — Гоголь активно живет. Он копит, он сгребает в кучу разрозненные мысли и картины, и на «переходе» своем не давая себе отдыху. И этот переход лишь с натяжкою можно назвать переходом, ибо ничего в жизни не бывает переходным, каждая минута ее — жизнь, жизнь, полная и полноценная, по крайней мере, для нас, а уж тем более для художника.

Еще одно из свидетельств воли Гоголя и подвига душевного — эта остановка в пути. Эта способность внешнего молчания, в то время как

публика готова глотать все, что ты ей ни кинешь, когда спрос на тебя велик и, стало быть, оплатится он щедро.

Гоголь вовсе не был бессребреником. Умело вел он свои дела, определяя сроки продажи книг, условия торговли с книгопродавцами, назначая цифры процентов и т. д. Лишь издалека ему трудно было руководить этим прихотливым процессом, и конфиденты его по этой части давали промашку. Но и тут он урезал себя, отказался от выгодного момента и замолчал надолго. Думал писать поэму — написал книгу писем. Думал строить «храм», но все еще продолжал строить крыльцо или переход от крыльца к храму — он и сам не знал, как это назвать.

Так складывалась его «Переписка с друзьями».

Книга родилась из писем, из переписки, которую он вел в эти годы с доверенными людьми, с теми, кто стоял рядом или попадался ему на пути, с кем столкнула его на перепутье судьба, — с невольными свидетелями и участниками свершающегося в нем переворота. И она стала свидетельством этого переворота.

Про свои письма Гоголь говорил, что они писаны на языке тех, к кому обращены, а не на его собственном языке. Это правда. Но это все тот же, один Гоголь поворачивается к разным людям разными своими сторонами, которые — при всей скидке на его неполную откровенность — есть все же стороны Гоголя. Среди этих людей были временные знакомые и давние, единомышленники Гоголя по литературе или духовным воззрениям, просто близкие, которым он (все-таки не полностью) доверял. Говоря «единомышленники», мы не должны забывать, что понятие это в отношении Гоголя условно, полным единомышленником его мог быть только он сам — бездна отделяла его даже от такого близкого ему во всех отношениях человека, как Жуковский, не только бездна бытовая, но и человеческая, поэтическая. Жуковский всегда был чистый поэт, он отделял искусство от действительности, хотя в действительной жизни был самым деятельным человеком. Он мог ходатайствовать за поэтов, вдов, сирот (сотни страждущих и алчущих защиты и помощи обращались к нему — и не безответно), но он никогда не давал превышающих его прав *советов,* не ставил себя в учители царя и народа, предпочитая тихую помощь и тихое творчество.

Но не таков был опекаемый им Гоголек. Тот рвался па кафедру, на возвышенность, с которой было бы видно дальше, чем с римского холма, ему нужна была высота, подобная той, с которой некогда раздался указующий *глас*. Ибо он, без всякого преувеличения, слышал уже в себе звуки того голоса. Как бы опробуя его на друзьях своих (будем называть их друзьями, раз книга названа «...из переписки с друзьями»), он писал свою будущую книгу. К Жуковскому, Языкову, Шевыреву, А. О.

Смирновой-Россет, М. Ю. Вьельгорскому, бывшему тверскому губернатору графу Александру Петровичу Толстому (который казался ему феноменом государственного человека — суров, строг, честен, не терпит лести, истинно верующий) обращены главы ее.

Самое крупное место среди адресатов «Переписки» занимает Николай Михайлович Языков. Стихи Языкова Гоголь полюбил еще до того, как познакомился с их автором. Он ценил их огненность, их страстность, их хмель. «Из поэтов времени Пушкина, — писал он в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», — более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга...»

Свет молодого восторга все более увядал в Языкове — он был болен. Болезнь ног привела его за границу, где они с Гоголем провели бок о бок несколько лет. Многое сближало их: тоска по любимой России, воспоминания, Пушкин. Часами лежали они па диванах в одной комнате и разговаривали, а то молчали, и в молчанье понимая друг друга. Языков был родом из Симбирска, из сердца России, Гоголь мечтал побывать на Волге, уже тогда рисовались ему картины второго тома «Мертвых душ», действие которого протекает вблизи великой реки. Он хотел погостить у Языковых, поездить по краю, в его тетрадях стали появляться записи словечек и обычаев крестьян Симбирской губернии.

Когда Языков в 1843 году вернулся в Москву (не выдержала душа, попросилась в родные стены), между ними завязалась переписка. Языков на некоторое время стал главным корреспондентом Гоголя в древней столице, оп же первый подал ему мысль собрать своп письма и издать их отдельной книгой.

Языков звал Гоголя в Россию: «Мы все здесь зовем тебя в Москву, полно тебе кочевать в странах нерусских и неправославных. Пора тебе домой, и если ты боишься Борея, то ведь русская земля не клипом сошлась: от Черного моря до Белого моря много климатов, выбирай любой и живи со своими». Он посылал Гоголю свои стихи, сообщения о новых книгах (и сами книги и номера свежих журналов), передавал предложения «москвичей» участвовать в их изданиях — в «Москвитянине», который на время перешел к И. В. Киреевскому, и «Московском сборнике». Он навел внимание Гоголя на повесть Ф. Достоевского «Бедные люди», только что появившуюся в «Петербургском сборнике».

Когда поэтический огонь вновь вспыхнул на миг в угасающем Языкове (болезнь его все усиливалась), он написал и послал Гоголю стихотворение «Землетрясение». В нем говорилось о высокой обязанности поэта в момент всеобщего потрясения умов. Гоголь

восторженно откликнулся: «Друг! перед тобой разверзается живоносный источник... Воззови в виде лирического сильного воззванья к прекрасному, но дремлющему человеку. Завопи воплем и выставь ему ведьму-старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердье, которая ни крохи чувства не отдает обратно. О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома «Мертвых душ»!»

Письмо это вошло в «Выбранные места из переписки с друзьями».

Переписка Гоголя с Языковым — это темы Москвы и Петербурга, раздора на родине, тема призвания поэта, выбора в критическую минуту между веком и вечным. Эти же темы присутствуют и в переписке Гоголя с Жуковским. Но Жуковский — и географически (он живет в Германии) и поэтически — далек от русского. Его труд «Одиссея», с Гогелом их общение идет на почве искусства, и письма Василия Андреевича (как и перевод им Гомеровой поэмы) как бы удовлетворяют в Гоголе его желание отвлечься от минуты, превзойти минуту.

Если Языков живет настоящим, горит настоящим (спорами славянофилов и западников, судьбой России), то Жуковский подает голос из прошлого, зовет в прошлое.

Об искусстве и о вечных темах беседует Гоголь с Александром Андреевичем Ивановым — Иванова он видит часто в Риме (они почти соседи), к тому же тот детски наивен в вопросах жизни, и Гоголь относится к нему, как нянька.

Его светские адресаты — А. П. Толстой, М. Ю. Вьельгорский — мишени для обращения «вельмож» в людей: им он читает наставления, как жить, как править губерниями. Здесь Гоголь двоится: то он проситель, то наставник, то человек не от мира сего, то государственный муж.

Иной он в письмах к старушке Н. Н. Шереметевой — его «духовной матери», как он ее называл. Эта добрая женщина, с которой он познакомился еще в 1840 году в Москве, помогла ему устроить сестру Лизу у Раевской, она взяла покровительство и над Гоголем. В благодарность Гоголь стал ей писать. Шереметева (ей было около семидесяти) много пережила в своей жизни. Все ее интересы были «в боге» — в Гоголе она нашла человека, понимавшего ее, слушавшего ее внимательно и готового в любую минуту откликнуться. Но как ни искренни были их отношения, все же это был не диалог сына с «духовной матерью», а скорей священника с исповедующейся. Круг корреспондентов Гоголя велик, и не все письма (и не ко всем лицам) вошли в его будущую книгу, но многолик и разносторонен оказался ее образ, во все стороны смотрел он и во все стороны обращался.

Гоголь как-то сказал, что женщина более благодарный слушатель, нежели мужчина. Женщина верит, мужчина все поверяет разумом. Мужчина холоден и эгоистичен, он не может долго жить духовной жизнью, ему нужна практическая деятельность, войны, участие в политике. Он грубее и в чувствах и в мышлении, он — каменистая почва, на которой может заглохнуть павшее на нее зерно. Женщина же — земля без терниев и без каменьев, где вдвое произрастает посеянное. Может быть, поэтому Гоголь и окружал себя всегда женщинами, его постоянными слушательницами и знакомыми были они — им передавал он свое учение, свои мысли о воспитании, о назначении человека в обществе.

Самой близкой из женщин к Гоголю была Александра Осиповна Смирнова-Россет — та самая Россет, с которой познакомил его Жуковский в 1831 году в Царском. Тогда красавица фрейлина плохо запомнила стеснительного «хохлика», который что-то забавно рассказывал и все жался к стенке, норовя стушеваться или удрать из дворца. Она запомнила только, что они в некотором роде из одних мест (у матери Смирновой было имение под Николаевом — туда ее вывозили ребенком) и что у него длинный нос.

Потом они встретились в 1836 году в Париже. Она жила на Рю-дю-Монт-Бланк, 21, ее муж был при посольстве, в их доме гащивали Карамзины. Гоголь, пишет Смирнова, «был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили. Все это странно, потому что мы читали с восторгом «Вечера»...» И тогда он ей не особенно запомнился, хотя у него за плечами были и «Арабески», и «Миргород», и «Ревизор». Все разделяло их: и родословная, и положение в свете, и воспитание (ее французский и немецкий, на которых по мог изъясняться Гоголь), ее близость ко двору. За ней ухаживали не только царь, но и все придворные: в восемнадцать лет у нее был роман с князем Голицыным — 54-летним стариком.

Получив второй шифр на выпускных экзаменах в Екатерининском институте, она стала фрейлиной императрицы-матери и пользовалась ее особым покровительством. Невысокая, смуглая, с правильным овалом живого лица, с такими же живыми черными глазами в обрамлении смолисто-черных волос, она выделялась еще и быстрым умом, умевшим схватывать все на лету, дерзким языком (за что Вяземский прозвал ее донна Перец) и, наконец, страстностью, приманивавшей к ней всех — от увешанных звездами стариков до гвардейских офицеров.

Ее отец, Осип Иванович Россет, был родственником герцогов Ришелье — герб Россетов красовался в Версале. Мать Александры Осиповны Надежда Ивановна Лорер по отцовской линии происходила от выходцев из Голштинии, пришедших на Русь во времена царствования Петра III.

Мать Надежды Ивановны была княжной Цициановой и состояла в родстве с грузинским царем Георгием XIII. Скромненький дворянский род Гоголей не мог тягаться с этим набором титулов, родства и званий.

Как ни счастливо складывалась ее судьба, замуж Александра Осиповна вышла не по любви. «Я продала себя за 6000 душ из-за братьев», — говорила потом она. Камер-юнкер Н. М. Смирнов был богач (22 тысячи десятин земли в Калужской, Смоленской и других губерниях), но человек неинтересный. «Красноглазый кролик» — называл его Пушкин. «Какую глупость вы делаете, — сказал ей Пушкин, узнав о согласии на брак. — Я его очень люблю, но он никогда не сумеет вам создать положения в свете. Он его не имеет и никогда не будет иметь». — «К черту, Пушкин, положение в свете. Сердце хочет любить, а любить совершенно некого». Тем страшней было то, что ей пришлось испытать потом, — роды за родами, смерть детей, сидение дома.

Мечась между потребностями сердца и ума, которые не насыщаются страстями, она и встречается с Гоголем в 1843 году в Риме. Ей 33 года. Гоголю 34. Для женщины XIX века это уже начало старения, это последний цвет, первые приступы хандры. Поэтому с такой силой просыпается в ней ум, вся ее неистраченная природа духовная, которую она глушила естественной жизнью, чтобы жить, *проживать* и наслаждаться жизнью. Настала пора, когда бывшая повелительница лучших умов России (ей посвящали стихи Жуковский, Пушкин, Вяземский, Лермонтов) стала чувствовать, что вокруг нее не так много людей, не так много мужчин, хотя она еще хороша собою и глаз ее свеж, а понимание человека стало совершенней и злее. Да, да, злее — к жестокости и жесткости отношения к ближним ее приучил двор, вся эта двусмысленность положения при дворе — положения «генеральши» уже с юного возраста (фрейлины считались по табели о рангах в четвертом классе) и вместе с тем рабыни повелителя дворца или его братьев — великих князей, рабыни их каприза и прихоти. Все это порождало презрение и к себе и к другим, давшим себя увлечь этой игрой, подчиниться ее правилам и, с другой стороны, презрение к донкихотству, идеальности, всякому благонравию, чистоте душевной.

Гоголь в этой ситуации открылся ей заново: он свалился на нее, как счастливый дар, она и не думала когда-либо, что так повернется к нему. Он сейчас лучше всего годился ей в друзья, потому что ничего страстного не могло быть между ними — при всем выросшем для нее авторитете Гоголя (особенно после «Мертвых душ») он оставался героем не ее романа, он был в некотором роде «моветон», как говорил ей о нем князь Гагарин еще в 1837 году в Бадене. Их сблизил Рим, Рим февраля 1843 года.

Гоголь чуть ли не бросился к ней с раскрытыми объятиями. Тут же составил он подробный план осмотра города, окрестностей. Он потащил

ее в Кампанью, облазил с ней купол св. Петра, где она на стене внутренней разглядела надпись царя: «Я здесь молился о дорогой России». Гоголь был расфранчен как никогда: серая шляпа, голубой жилет, малиновые (цвета малины со сливками) панталоны. Он, видимо, хотел понравиться ей. Она смеялась над ним в душе, над его неловкостью, безвкусицей, над тем, как он, не имея фрака, подкалывал булавками сюртук, входя под своды храма. Ему казалось, вероятно, что он выглядит комильфо, что он вровень с нею, и, когда она без желания обидеть спросила его: «А где же перчатки?» — он обиделся. Так и пахнуло на него холодом аристократизма и отдаленностью. На следующий день маскарад был снят, и он явился в обыкновенном платье.

Зато она оценила его познания, его точную ориентировку в мире древности, в мире искусства, в который он ввел ее на второй же день ее пребывания в великом городе.

Эта женщина была достойной собеседницей и оппонентом, с ней было интересно, кроме того, ее неувядшая красота волновала его. Не такой он был монах и отшельник, чтоб вблизи красивой, блестящей женщины не чувствовать ее обаяния, не смущаться, не тушеваться. Как ни высоко он ставил себя, как пи сознавал трезво невозможность какого-либо увлечения с обеих сторон, все же эти часы общения в Риме были не только беседами и прогулками двух добрых приятелей — они удовлетворяли и эстетическое чувство Гоголя.

С той поры потянется за ним слава пленника Смирновой. И Петербург и Москва (особенно Москва) станут подозревать его в романе, в слишком страстной привязанности к этой «сирене (как называл ее С. Т. Аксаков), плавающей в волнах соблазна». Что ж, она и была сиреной, по но только ею. Умная женщина, она понимала, что Гоголь не герой-любовник, и отдавалась дружбе с ним легко, просто, без чувства опасности. Опасность, впрочем, могла существовать лишь для него, но и этого она не боялась — слишком умен был и он, слишком скрытен, слишком горд. Опыт жизни подсказывал ей, что если что-нибудь и случится, то спутник ее никогда об этом не скажет, не подаст и вида и тем самым избавит и ее и себя от неловкости. И она была за эту сторону их общения благодарна Гоголю. С ним именно потому было просто, что во всех остальных случаях начиналось хорошо, а оканчивалось весьма пошло. Даже в Риме, когда они однажды ехали в открытой коляске вместе с В. А. Перовским (Гоголь в другой ехал сзади), Перовский (генерал, немолодой мужчина) пытался обнять ее и сорвать поцелуй. С Гоголем такого не могло быть *никогда*. Это давало свободу; и поняв оба, что именно эта свобода и есть лучшее приобретение их дружбы, они как бы молча согласились блюсти ее и дальше, охранять ее, культивировать и пестовать. А что было в сердце у Гоголя... Вся дальнейшая их переписка, их разговоры и встречи,

уровень откровенности, который они сами себе поставили — а он рос по мере их сближения, — говорят о том, что романа не было, был роман, но иного свойства.

Он завязался в Риме и продолжился в 1843—1844 годах в Ницце, где Гоголь и Смирновы жили бок о бок зиму. «Я тороплюсь прожить молодость, — писала Смирнова поэтессе Е. П. Ростопчиной, — мне кажется, что известный возраст есть гавань, в которой отдыхаешь после борьбы... Тогда только, когда сердце мое будет преисполнено одним-единственным божественным чувством, только тогда я найду покой в здешней жизни и только тогда смогу любить жизнь».

Смирнова и Гоголь сближаются на почве душевного единоверства, понимания внутреннего. Хотя причины тут разные, у нее пустота жизни, у него слишком полная жизнь. Он от полноты жизни поворачивается к вопросам, которые она начинает задавать себе от отчаяния, от желания спастись хоть этим в ускользающем из-под ее власти материальном мире. Слишком огромен соблазн этого мира для нее, отдавшей ему половину жизни, оттого и болезнен разрыв, попытка отдалиться, перейти в другое сознание.

Сколько стоит между ними! Прежде всего идеализм наставника и реализм наставляемой, чистый порыв Гоголя и лукавство женского «спасения». Тут-то и преткновение их отношений, их расхождение в близости, их ложность, если судить по высшему счету. Неужели Гоголь думал, что женщина в тридцать три года может обратиться против самой себя, забыть в себе женщину? Так не бывает.

И он это чувствовал. Но увлекался: Смирнова была действительно одной из тех, кто хоть отчасти понимал его. Может быть, понимала она его эгоистически, тогда, когда ей нужно было или когда попадал он па благоприятное для него настроение, но были такие минуты, действительность их он ощущал. Иначе не привязался бы он так к ней душою, не писал бы ей так часто, не настаивал бы на том, что она ближайший его друг.

Это произошло тогда, когда оказался он как будто бы без друзей: все бывшие друзья что-то от него требовали (одни внимания, другие рукописей, третьи посвящения в тайные замыслы), она не требовала ничего. Его пленяла в их отношениях независимость, в том числе независимость от чувств: они могли разъехаться, не видеться годами, она писала ему о своих беременностях, даже о любовных связях — это не влияло на дружбу, не рвало ее. Ни он не навязывался ей, ни она ему — тут было полное равенство, а об ином равенстве (скажем, светском) он и не помышлял. Оно просто не имело никакого значения.

Он понял ее тоже. Он понял страданье ее возраста, страданье пустоты женской, не заполненной любовью и ищущей хотя бы *иной* любви,

понял и страданья ума, как она сама сказала, или страсти ума, как он позже напишет. И хотя окрашены они были женским, из женского проистекали и в женское упирались, то все же были именно страсти ума, ибо ум Смирновой боролся с чувством, пытался победить или усмирить его на время, когда некуда было податься страсти, когда глохла она сама по себе, не находя применения. Ее душа на этом перепутье тоже искала, и это исканье Гоголь ценил в ней.

Они встретились в Ницце случайно, но в ту минуту, когда они понадобились для диалога, для поверения душевных тайн, и души их «узнали друг друга».

Было ли это абсолютное узнавание? Конечно, нет. Гоголя не покидала его наблюдательность, Смирнову ее осторожность. Светская женщина, обученная, как скаковая лошадь, ударам хлыста светского мнения, она и «самому ближайшему» другу своему, «брату» не могла открыться совершенно. Во-первых, это вообще невозможно между людьми (да и перед самим собой невозможно), во-вторых, инстинкт удерживал ее, и оба это чувствовали. Но и та мера откровенности, к которой они подошли, была редкостью в свете, оттого Ницца стала точкой отсчета в их «породнении». С этих пор они всюду поминают Ниццу, восхваляют Ниццу. Они много читали, говорили по душам, ничего смущающего, казалось, не было возле них, не мешало их духовному сближению. Впрочем, один случай внес тревогу.

Был жаркий летний день (летний по российским представлениям), Гоголь и Александра Осиповна сидели в гостиной, она вязала, он читал ей «Мертвые души». Внезапно налетел ветер, ударил гром. Стекло в окне со звоном разбилось. Гоголь в страхе отбросил книгу и бросился закрывать окно. Когда он вернулся, чтоб сесть возле нее, она посмотрела на него пристально. Она заметила, что он покраснел. «Признайтесь, Гоголь, — сказала она вдруг, впадая в кокетливый тон, — что вы немного влюблены в меня?»

Он встал, повернулся и вышел из комнаты.

Несколько дней они не виделись. Потом он явился, и все пошло по-старому. О грозе и о сказанных словах не было упомянуто — все исчезло, как та же гроза.

Но это были лишь тени на их отношениях, которые при всей их *литературности,* (что греха таить, был этот элемент) являют собою все же редкий феномен как в биографии Гоголя, так, думаю, и Смирновой. Недаром она всю жизнь, прожитую после Гоголя (а жила она долго), вспоминала о чистоте их «братства», о чистоте Гоголя и его превосходстве над своими современниками. Может, один Пушкин составлял исключение, ибо она признавалась, что не встречала в жизни человека, умней Пушкина. Но Пушкин был ее молодость, тогда она мало

разбиралась и в жизни, и в себе самой — с Гоголем судьба свела ее в иные годы. Тут была попытка сближения на духовной основе, попытка, во многом удавшаяся, хотя отчасти и искусственная.

Тут сказалось учительство Гоголя и его потребность учить, и они-то прежде всего важны нам, хотя и небезразлично, на кого они направлены. Смирнова была частицей России, частицей, изъятой на время из своей среды — из той среды, в какую на родине не был допущен Гоголь, но о которой он не мог не печься, как учитель и как пророк. «Свет» был его постоянной заботой, из «света» исходили все веяния и течения, которые, разносясь по России, диктовали ход ее жизни. Мы имеем в виду не тот «свет», где шаркают по паркету ножкой и режутся в вист, а окружение царя, к которому непосредственно принадлежала Смирнова.

Орудие гоголевского влияния проникло с нею и во дворец — разумеется, косвенно, разумеется, опосредствованно. Гоголь рассматривал Смирнову не только как задушевного друга (в искренности такого отношения к ней мы не можем сомневаться), но и как объект воспитания. Сама «испорченность» ее, ее грешность и порочность были надобны ему, ибо иначе нечего было бы перевоспитывать, нечего перестраивать. Он называл ее «больной», а себя «врачом», он и ее желал обратить во «врача», ибо вся Россия (и, в частности, «свет») представлялась ему теперь большим «лазаретом» или «больницей». То была и личная приязнь к умному другу, и опробование своей системы воспитания, которая, будучи направлена на самого Гоголя, искала себе применения и вовне — он не мог удовлетвориться собственной перестройкой, он и других хотел перестраивать.

С некоторых пор он выделяет для своей корреспондентки «час», который должен принадлежать ему, — час после обедни в воскресенье, когда она обязана садиться за стол, думать о нем и записывать для него факты как своей, так и чужой жизни. Этот час священен, он не может принадлежать никому другому, кроме Гоголя. За сим следуют советы, как вести себя в «свете», как влиять на мужа, на своих светских друзей (читай, и на царя), как противиться унынию и улаживать домашние отношения. Гоголь, как всегда, мелочен в подробностях, он любит все разложить по полочкам, расставить по параграфам, определить день и час исполнения и меру отчетности — даже так! Таков ужеего ум, как он оправдывается, ум, который, не вникнувши в каждый пустяк, укрытый от взора другого человека, не может сообразить целого и дать совет. Он советует ей не горячиться, не преодолевать все скачками, прыжками, как она привыкла при горячности своего южного темперамента, а приневоливать себя (это его слова) к терпению, к постепенному влиянию на человека и к самой… молитве. Он и на молитву призывает ее становиться насильно, чтобы вызвать в себе святое чувство, ибо

ничего не появляется само собой — тут нужно усилие, и не надо стесняться его. Эту систему приневоливания он применяет и в отношении себя — не раз в эти годы в его письмах звучит это слово «приневоливать», оно адресуется и к преодолению уныния, и к любви, и к творчеству.

Первое столкновение между ними произошло в 1844 году, когда Гоголь отдал распоряжение Шевыреву все деньги за собрание его сочинений передать на помощь бедным студентам. То поручение было дано одновременно Шевыреву, как представителю деловых интересов Гоголя в Москве, и Прокоповичу, как издателю этих сочинении. Посвящен в эту историю был и Плетнев. Более Гоголь никого не хотел посвящать, в том числе и Александру Осиповну, зная ее острый язычок и способность разнести самую наиинтимнейшую весть среди знакомых. На этот раз он обошел ее, и слух о его поступке (это был первый общественный поступок Гоголя на поприще его нового верования) добрался до нее окольными путями: ей просто пожаловались на Гоголя, который опять «чудит», снова ставит всех в недоумение, заставляя людей делать то, что они не желают, что, по их мнению, очередной перегиб и прихоть. Не смея сами ему это высказать, они пользуются посредничеством Александры Осиповны, и она выговаривает ему от их имени за то, что он лишает средств себя, не имеющего их, и маменьку, сестер, которые живут в надежде помощи от него, что, наконец, у него есть долги, что подобное не делается тайно, что в таких делах надо быть проще. В письме Смирновой чувствуется обида «брата», которого не посвятили во все «братское». С другой стороны, в нем слышен и ее трезвый ум — ум, не принимающий таких выходок, ум, с точки зрения которого поступок Гоголя — «донкишотство».

Столкновение это и непонимание, слышащееся в обвинениях в донкишотстве, побуждают Гоголя объясниться, хотя он сразу дает почувствовать другу, что его решение было послано «не на усмотрение», а *«на исполнение»* (выделено решительно Гоголем) и к этому вопросу он не намерен возвращаться. Тут искренний порыв Гоголя столкнулся с точкой зрения внешнего мира, который при первом движении его обновленной души отказал ему в участии, сочувствии. Внешний мир восставал против этого поступка ввиду его вызывающего характера, ввиду того, что Гоголь этим самым вновь ставил себя вне этого мира, над ним.

Давая урок своей корреспондентке, Гоголь пишет, что непонимание это давно стало его уделом, особенно со стороны людей литературы, которые всегда замкнуты на себе, считают свое литературное дело главным делом и не помышляют о том, что кто-то может ставить дело души выше литературы. На примере Плетнева он показывает, как складывались его отношения с литераторами, когда он начинал и они

принимали его как младшего. Уже тогда, пишет Гоголь, они не понимали меня до конца. «Я всегда умел уважать их достоинства и умел от каждого из них воспользоваться *тем, что* (выделено Гоголем. — *И. З.)* каждый из них в силах был дать мне. Для этого у меня был всегда ум. Так как в уме моем была всегда многосторонность и как пользоваться другими и воспитываться была у меня всегда охота, то неудивительно, что мне всякий из них сделался приятелем... Но никогда никому из них я не навязывался на дружбу... ни от кого не требовал жить со мной душа в душу, разделять со мною мои мнения и т. п... я уже и тогда чувствовал, что любить мы должны всех более или менее, смотря по их достоинствам, но истинным и ближайшим другом, которому бы могли поверять мы все до малейшего движения нашего сердца, мы должны избирать только одного бога». «Я бы никогда не мог высказать себя всего никому», — добавляет к этим словам Гоголь, внося в число непосвящаемых им в свои душевные тайны и... Пушкина. «И таково было положение дел до времени выезда моего из России. *Никто из них меня не знал».*

«С тех пор, как я оставил Россию, произошла во мне великая перемена, — пишет Гоголь. — *Душа* (выделено Гоголем. — *И. З.)* заняла меня всего...» Но этот процесс уже был скрыт от глаз приятелей. Когда же он вернулся... «они все встретили меня с разверстыми объятиями. Всякий из них, занятый литературным делом, кто журналом, кто другим, пристрастившись к одной какой-нибудь любимой *идее* и встречая в других противников своему мнению, ждал меня как какого-то мессию, которого ждут евреи, в уверенности, что я разделю его мысли и идеи, поддержу его и защищу против других, считая это первым условием и актом дружбы...». Так вели себя и Плетнев (которому «вообразилось, что он по смерти Пушкина должен защищать его могилу изданием «Современника»), так вели себя Погодин, Шевырев, Аксаковы, Белинский, «...началось что-то вроде ревности... Каждый из них на месте меня составил себе свой собственный идеал, им же сочиненный образ и характер, и сражался с собственным своим сочинением в полной уверенности, что сражается со мною. Теперь, конечно, все это смешно, и я могу, сказавши: «Дети, дети!», обратиться по-прежнему к своему делу».

Объясняя Смирновой их отношения, он ставит их над бранями и привязанностями вымышленными, литературными и пишет: «Разве мы с вами давали какие-нибудь обещания друг другу, разве из нас требовал кто-нибудь от другого одинакового образа мыслей... А встретились мы потому, что шли к *нему* (выделено Гоголем. — *И. З.)*. Но что тут говорить! *Растет* любовь сама собою; и поглощает потом все наше бытие, и любится нам уже оттого, что любится». «Друг мой, добрейший и ближайший моему сердцу, — заканчивает Гоголь это письмо, — будем смиренней в упреках, когда упрекаем других. Но не относительно нас с

вами. Мы люди свои... но все-таки *портрет* (выделено Гоголем. — *И. З.)* друг друга мы должны иметь пред глазами, когда мы пишем друг другу».

Все-таки и она подпала под разряд тех, кто *не совсем* понимал. Все-таки и ей он давал намеки, что не может открыться до конца, ибо посягновение ее на его *дела* уже казалось ему превышением дружбы. И все же он хотел не только дружбы, а братства. Называя некоторых из своих близких братьями, он уточнял: *«семья»*. «Моя семья становится чем дальше больше», — писал он Александре Осиповне, имея в виду не засевших в Васильевке сестер и маменьку, а ту семью, к которой теперь принадлежала и она, Смирнова, — семью воспитуемых, обращаемых, семью братьев и сестер в духе, а не по кровному родству. И он в одиночестве своем житейском искал эту большую семью, искал очаг, у которого мог бы согреться и где сам мог бы согреть кого-то. Одной литературы не хватало... Нужно было это живое участие, эти переписки, переезды и гощения у чужих людей, жизнь с ними бок о бок и взаимный обогрев.

Он и семейные распри Александры Осиповны с ее разрешения принимает близко к сердцу, советуя не бросать мужа на волю случая, искать в нем добрые стороны и влиять на них. Случай тому представляется: бывшего дипломата и соскучившегося от сиденья в посольствах богача посылают губернаторствовать в Калугу. Александра Осиповна готовится стать губернаторшей. Ей предстоит расстаться с любимым светом, с прекрасным домом на Мойке, со своими привычками и бытом. И тут оживляется в своем желании ободрить ее Гоголь: впереди и для нее светит дело, отныне покончено будет с бездельем, с избытком времени, с незнанием, куда себя деть. Каждый может приносить пользу на своем месте — убеждает он Смирнову. Ранее вы могли это делать в свете, в семье, в семьях ваших знакомых, теперь вы окунаетесь в чистую Русь, сама судьба опускает вас *на землю* — так проверьте же здесь, насколько сильна ваша любовь. Переезд в Калугу меняет в его глазах и саму Александру Осиповну. Он настоятельно просит сообщать ему о всех ее наблюдениях, о фактах губернской жизни, пороках администрации и положительных примерах из быта провинциальных чиновников. Подробные опросники, которые он ей составляет (еще до ее отъезда на место службы), пугают Александру Осиповну. Она чувствует себя подопытным животным, неким будущим персонажем Гоголя, что, кстати, и сбылось, и подстрекаемая словами Ю. Ф. Самарина, что Гоголь не может истинно любить ее, любить бескорыстно, не преследуя при этом свой «актерский» (то есть писательский) интерес, запрашивает того об этом. Гоголь отнекивается, но дело обстоит именно так. Не настолько погиб в нем Гоголь, чтоб он и у «ближайшего друга своего» не хотел бы чем-нибудь практически попользоваться. «На сочинениях же моих не основывайтесь и не

выводите оттуда никаких заключений о мне самом». В них только «кое-где хвостики душевного состояния моего тогдашнего».

Итак, и для ближайшего друга он остается закрыт.

А она «привыкла иметь при себе Николая Васильевича», она деспотически желает, чтоб в «породнении» он весь принадлежал ей. «Душу бы не запирала, как вы, в три замка... Сознайтесь, что все ваши недоразумения произошли от вашей молчаливой гордости...» — пишет она ему. А он на это молчит. И лишь в минуту отчаяния, болезни, когда ему кажется, что он вновь стоит у двери гроба, прорываются в нем и боль и нежность. Это удивительный момент, самый чистый и искренний момент в их отношениях. Тут уж не умствования, не софизмы, не цитаты из священных книг и литературы, а неподдельная скорбь по скорби другого слышится в письмах Смирновой, истинно чувствующей его как *брата.* «Душа моя хотела бы перелететь к вам, быть с вами неразлучно, пространдать около вашей и свои и ваши болезни...» Случилось это в начале лета 1845 года, когда вновь настигло Гоголя т о, когда опять перехватил его на пути недуг телесный, и настал новый кризис — еще более страшный, чем первый.

6

Что же произошло? Пауза подвела. Отсутствие дела сказалось. Три года он пережидал, писал и не писал: затягивался «антракт». Как ни благодатны занятия чтением, как ни плодоносен запас опытов и наблюдений над собой и над людьми, писатель должен писать. Пусть по сырым следам, но переносить свое душевное состояние и то, что наработала голова, на бумагу. Недаром Гоголь говорил: для меня не писать значит не жить. Приневоливание себя сказалось и на писании. Хотелось писать одну душевную книгу, а писалась другая — точнее, он заставлял себя, не думая о первой, писать вторую. И лишь в письмах находил он спасение от этого разрыва. Письма как бы отводили часть его напряжения, изливали его на других, и в ответах на них он ловил успокоение в том, что работает, что делает дело.

Но поэма стояла. То есть она писалась, но вяло, под нажимом, под строгим надзором автора, который и не хотел, а писал. До конца второй части было далеко, отъезд в Иерусалим откладывался (дал себе слово, пока не окончит второй том, не ехать), все это вызывало ощущение какого-то насилия над собой, ощущение вериг, которые он, не желая, надел на себя. Признаваясь себе в минуты полной искренности, что он поспешил со своим новым верованием, что слишком раструбил о нем всему свету и себе, он не мог найти выхода.

Вот отчего брала тоска, где сидела заноза, язвящая душу, а вовсе не природная слабость и угасание сил, как он пытался объяснить Языкову.

«Еду, а куда — и сам не знаю», — признается он Языкову и едет в Париж. Но и здесь живет «совершенным монастырем». Здоровье «слабеет и не хватает сил для занятий». Он уже подумывает, не изменить ли обету и не махнуть ли в Иерусалим и поездкой этой подкрепить дух и силы. Начинаются *колебания* — худший вид внутреннего состояния для таких натур, как он. От колебаний этих бежит он из Парижа во Франкфурт. Но и тут «занятия не идут никакие». «Я дрожу весь, чувствую холод беспрерывный и не могу ничем согреться. Не говорю уже о том, что исхудал весь, как щепка, чувствую истощение сил и опасаюсь очень, чтобы мне не умереть прежде путешествия в обетованную землю». Он на глазах начинал таять, худеть, ребра выступали наружу, и мысль о *конце* приходила, как званый гость. Все его развитие, все его идеи о том, что недомоганье нужно нам для испытания духа, отбрасывались этим страданьем телесного, страхом телесного, над которым дух не имел власти.

А вот и объяснение болезни: «Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно. И много, много раз тоска и даже чуть-чуть не отчаяние овладевали мною от этой причины... не готов я был тогда для таких произведений, к каким стремилась душа моя... Нельзя изглашать святыни, не освятивши прежде сколько-нибудь свою собственную душу...» И притом обязательства были взяты высокие. Обязательства не только перед собою и перед богом, но и перед людьми, перед Россией, которой он *публично обещал* нечто необыкновенное и прекрасное. Надо было обязательства выполнять. «Стыдно и лицо показать», — пишет он Смирновой о своем возможном приезде в Россию с *пустыми руками*. «Приехать в Россию мне хочется таким образом, чтобы уже не уезжать из России». И опять обет, опять запрет на естественное желание видеть родину, найти успокоение среди близких (хоть дома, в Васильевне, — все лучше, чем в неметчине), запрет на право рассеяться, забыть о своих тяжких обязанностях и обязательствах.

А что стоит — взял билет, сел на пароход и поехал! Две недели — и ты дома. Пусть не совсем дома, но в Петербурге, а оттуда на почтовых до Полтавы еще неделю. И никто тебя не найдет, мать расспрашивать не станет, да и власть над маменькой велика: не захочет сын — не спросит, не подойдет даже, лишь бы жил рядом, выходил к столу, улыбнулся в день разочек. Нет, только тогда ступлю я на родную землю, пишет он Смирновой, когда буду знать, что всем сумею помочь, когда всем буду родной и мне все будут родные. «Теперь же, покаместь, и мне все чужие, и я всем чужой».

В такую-то минуту сознания, что все им за эти три года написанное «дурно» и недостойно его нового верования, и сжигает он вторую часть

поэмы. Всю ли, не всю ли — мы не знаем. Лишь крайняя степень отчаяния могла заставить его это сделать. В который раз устраивал он это аутодафе написанному — сжигал без жалости, без возврата, не оставляя ни себе, ни другим хоть какого-нибудь клочка. То карающий огонь максимализма испепелял ни в чем не повинную бумагу. Раз написанное дурно, рассуждал он, то и я дурен, а если я дурен, то и написанное дурно: из этого круга не было выхода. «Говоришь беспрерывно, — признавался он Языкову, — и при всем том не в силах быть покойным, не в силах, сложа руки, опустить на них голову, *как ребенок,* приготовляющийся ко сну. Еще бы было возможно это, если б не соединялось с недугами это глупейшее нервическое беспокойство, против которого если понатужишься воздвигнуть дух, но самая эта натуга воздвигнуться производит еще сильнейшее колебание...»

«Силы мои гаснут», «силы исчерпаны» — болезненное состояние нарастает, и вера в спасенье ослабевает.

Можно приписать акт сожжения безумию страха, слепоте Гоголя. Меж тем то был подвиг, несмотря на всю жестокость меры, на ее необратимость и кажущееся со стороны безумие. Никому ни словом в те дни не обмолвился он о том, лишь в нарастании его болезни и заявлениях, что *не готов* он *был* писать *ту* книгу, можно уловить, что казнь совершилась. Как ребенок, хотел бы он спастись от надвигающейся опасности, как ребенок в минуту страха, «прижаться» к богу (это его слова), но и молитва ему не помогает: слишком сильно возмущение телесное, слишком оно преобладает в нем. Сжигая вторую часть поэмы, он с нею как бы расставался. Если суждено ему было умереть (а он в это верил), то ничего не оставалось после него. То было истинное преодоление себя, бесстрашие этого преодоления, ибо в преддверии смерти каждый из нас цепляется за прошлое, хочет удержать его, в нем ищет оправдания и спасения. Даже самоубийцы оставляют после себя записки и письма, чтоб как-то продлиться в сознании тех, кто их прочтет. То не только желание спять вину с безвинных людей, но и именно желание посмертного присутствия, как бы зацепка за жизнь в роли очевидца собственной смерти. Гоголь не оставлял себе и этой надежды.

У него уже и нос зеленей меди, и руки холодные, по мне можно изучать анатомию, пишет он. Как ни рассчитывает он на «помилование» со стороны высших сил, все же наступает момент, когда он вынужден позвать священника собороваться. Сохранилась его записка протоиерею И. И. Базарову: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю». Это пик кризиса, и написано это без сомнения после сожжения второй части «Мертвых душ». С пустыми руками, но не с пустой душой готов он идти к богу — как ребенок, не сумевший вернуться назад, в детство.

Молодой священник, год назад закончивший духовную академию, приехал к знаменитому «художнику-литератору», как называет он Гоголя, и застал его… на ногах, «…на мой вопрос, почему он считает себя таким опасным, он протянул мне руки со словами:

— Посмотрите, совсем холодные!

Однако мне удалось убедить его, что он не совсем в таком болезненном состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил его приехать в Висбаден поговеть, что он и исполнил».

Висбаден находился в нескольких километрах от Франкфурта, где жил в то время Гоголь. Он жил у Жуковского, в Заксенхаузене, на заречной стороне. В тихом доме Жуковского, где все (и дети) говорили по-немецки, где царила немецкая аккуратность и распорядок, ему было скучно. Протоиерей, которого он позвал к себе, был слишком молод — что он мог ему сказать? Что он мог понять в нем? И Гоголь применяет свой последний прием, последний способ излечения — бегство. Он едет сначала в Берлин, потом в Дрезден, встречается с врачами, просит у них решительной консультации. Они щупают его и находят, что у него увеличена печень. Печень — это ведомство знаменитых карлсбадских вод, ехать надо туда. И он тащится в этот городок, где некогда лечился великий Петр и где графы и князья проводят свои праздные дни, где вся знать Европы ищет продления земного существования.

Карлсбад лишь ослабил его, ничего не дал. Слазил он на гору, куда подымался Петр, посмотрел отель, который тот вместе с немецкими плотниками строил, погулял вдоль речки Теплой, написал шесть писем и, не закончив курса, отбыл. На этот раз он подался к Призницу, в Грефенберг, лечить не печень, а нервы, ибо, как ему сказали новые советчики — врачи, все его хвори происходят из-за расстройства нервов. Вода ли, разъезды ли, освежение в дороге, рассеяние и отвлечение от труда своего, о котором он не хотел вспоминать, вновь спасли его. «Друг мой, укрепимся духом! — писал он Александре Осиповне из Карлсбада. — Примем все, что ни посылается нам богом, и возлюбим все посылаемое, и как бы ни показалось оно горько, примем за самый сладкий дар от руки его. Злое не посылается богом, но попускается им для того только, чтобы мы в это время сильней обратились к нему, прижались бы ближе к нему, как *дитя к матери при виде испугавшего его предмета…*»

Испугавший его предмет была смерть, она вновь прошла близко, напомнив о себе, коснувшись его дыханием, холодом обвеяв лоб и руки. И… отпустила. В такие минуты он чувствует прилив благодарности к богу, и дух начинает лечить тело, они вновь вступают в согласие. В Карлсбаде ему показывали дом, где останавливался Гёте. Мудрый Готе как бы рассчитал надолго свою жизнь — он не спешил, он

уравновешивал на весах бытия свои страсти и свое писанье: он мог и любить и писать одновременно. И каждый год или через год регулярно приезжал в Карлсбад испить целительной водички. Он прожил восемьдесят три года, этот разумный немец, которому бог, отпустив гениальность, дал еще и расчет.

Гоголь же в самом деле чувствовал в себе угасание сил. Частью оно происходило от уныния, от одиночества, добровольного удаления от родины и от людей, от постоянного завышения целей, которые он ставил себе, но частью оттого, что слишком много он в молодости отдал, ему, Гоголю, видимо, была суждена вспышка. Последствия этой вспышки, забравшей львиную долю сил, он ощущал сейчас на себе. Ему не сиделось, не спалось, не лежалось. Но нужен он был еще России, следовало ему еще *послужить* ей — в этом его призвании никто не мог его разуверить.

Так появились «Выбранные места из переписки с друзьями». Из самой паузы Гоголь сумел сделать шаг — вся Россия встрепенулась, прочтя это откровение, этот неожиданный вызов ей. это дерзкое самообъяснение поэта, который *не мог молчать.*

Путь этот был завещан ему традицией русской литературы, всегда сознававшей себя участницей в «деле общего добра». Не к абстрактному читателю обращалась она, а к современному читающему русскому — и не только читателю, но и тянущемуся к грамоте, к познанию, к истине. Выражая себя, русский писатель все же при этом преследовал *цель* — облагородить русскую жизнь, привести ее хотя бы в некоторое соответствие с идеалом. Так поступали Херасков, Сумароков, Державин, Капнист, Фонвизин. *Идея службы* вдохновляла и Карамзина. Государственную ответственность мыслящего человека в России ощущал Пушкин.

Гоголь пошел далее своих предшественников. Он вывел дело литературы за пределы литературы, поставив на его место «дело души» и из последнего — на что никто не решался — сделав дело литературы. Он решился на обнародование своих писем, причем это были письма сугубо семейные, личные, частные, интимные. «Выбранные места» открывались «Завещанием» Гоголя, и не завещанием литературным, условным, направленным на то, чтобы завещать что-то читателю в сфере идей, а прямым завещанием человека, который перед смертью исповедуется и дает распоряжение о своем имуществе, о долгах и т. п. Такой откровенности никто до Гоголя в русской литературе себе не позволял.

Пушкин в письмах совсем не тот, что Гоголь: для него переписка с близкими не литература, а быт, Пушкин еще держится традиционного классического представления о литературе как о чистом творчестве, где

творец преображается, сохраняя себя, выступает под другими именами. Гоголь как бы срывает и этот последний покров условности: он выходит со своей обнаженной душою, допускает читателя в свою душевную жизнь.

Только в лирике (и особенно в лирике последних лет) Пушкин решился на это. Но и там он прятался то за Пиндемонти, то за Ефрема Сирина, то за Горация. Гоголь преступил эту черту. Разобьем этот «заколдованный круг» искусства, сказал в «Переписке» Гоголь, вырвемся из него. И это прямо относилось к Пушкину: «еще никто не может вырваться из этого заколдованного, *им* очертанного круга...»

То был круг поэзии. Недостаточность «грешного» языка ее сознавал и томимый «духовной жаждою» пророк Пушкина. И в нем возгорался огнь, готовый сжечь сердца людей и самого поэта. То был пророческий голос древней русской литературы, завет первых русских писателей, которые, как автор «Слова о полку Игореве» и «Жития протопопа Аввакума», в обнаженном глаголе своих писаний воплощали, кажется, само действие.

Гоголь воссоединялся с этими истоками.

***Глава вторая*. Несчастная книга**

Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противоположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому себе запроса: в чем же достоинство человека?.. Как осмеивать исключенья, если еще не узнал хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить на месте его новый. Но искусство не разрушенье.

Гоголь — В. А. Жуковскому, декабрь 1847 года

1

Книга писем Гоголя родилась на переходе от первого тома «Мертвых душ» ко второму и сама явилась неким переходом, мостом между этими двумя частями поэмы, которые можно рассматривать и как части жизни Гоголя.

Жанр писем уже присутствовал в первом томе, им были лирические отступления «Мертвых душ», в которых автор как бы поверх изображения обращался непосредственно к читателю. Но — что еще важнее — исканье «путей и дорог» к обновлению выведенных в первом томе героев было тем настроением и идеей, с которыми Гоголь завершал первую часть похождений Чичикова. На этом исканье он и

«остановился», ему были отданы годы «антракта», и из него-то явились «Выбранные места из переписки с друзьями».

Будучи книгой «переходной» (как называл ее сам Гоголь), «Выбранные места» отразили и переходность состояния автора, разбросанность его интересов, тем не менее, как к истоку пучка, устремляющихся к одной цели — к цели выработать в себе новое сознание и нового человека, дабы позже — в художественном продолжении «Мертвых душ» — иметь основания изобразить их.

Поэтому и стал Гоголь выскребать все из своей конторки, из тетрадей и конвертов, в которые были вложены черновики писем к друзьям и знакомым, чтобы очиститься ото всего, что мучило его на этом отрезке пути, и таким образом перейти к новому. Это было чисто писательское решение, хотя Гоголь в своей книге выступал уже не как писатель в традиционном понимании этого званья, а как судия и пророк.

Не было такой клетки русской жизни, которой бы он не коснулся. Все — от управления государством до управления отношениями между мужем и женой — стало предметом его пересмотра, его неравнодушного интереса, его неприкрытого вмешательства. Гоголь как бы раскраивал в своей книге русскую жизнь сверху донизу, разрушал все ее институты (что было продолжением разрушительной работы первого тома поэмы), чтоб затем вновь собрать ее усилием своей поэтической МЕЧТЫ.

Мечта эта вылилась в форму советов, наставлений, упреков, поучений. Заглавия некоторых глав напоминали строгое задание учителя: «Нужно проездиться по России», «Нужно любить Россию». Иные выглядели как инструкция, как параграф в правилах, которые он отныне предписывал своим соотечественникам: «Что такое губернаторша», «О том, что такое слово», «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России». Тридцать две главы-письма охватывали необъятное число тем — от значения болезней до «Одиссеи», переводимой Жуковским. Были здесь главы о просвещении, о церкви, о театре, о Карамзине, о русском помещике, о лиризме русских поэтов и о «Мертвых душах». Одна из глав-статей называлась «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность». Это «наконец» выдавало *замах* книги Гоголя: она как бы подытоживала все, что высказала русская мысль до нее по этим вопросам.

Объявляя в предисловии, что «Выбранные места» относятся более к вопросам современным, Гоголь рассматривал и те, которые относились к истории России, к ее прошлому, заглядывал и в будущее, хотя иронически оговаривался при этом, что будущего никто не знает, что оно все равно что неспелый виноград.

Между тем во имя этого будущего, «страхи и ужасы» которого уже навевались на него, он и предпринимал издание своих писем и

обращался к Руси со словами предупреждения и надежды. «Соотечественники! страшно!.. замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений бога, перед которыми пыль все величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих».

Книга начиналась с напоминания о смерти (с «Завещания») и с осознания факта смерти как черты, отрезающей человека от минутного и ставящего его лицом к вечному, и завершалась главою «Светлое воскресенье», одно название которой говорило о пути мысли Гоголя и о том выборе, который он делал, оказавшись на перепутье.

Он не видел иного выхода ни для отдельной личности, ни для нации, ни, может быть, для всего мира. То был путь спасения, который он предлагал России, видя в нем и свое собственное спасение.

«Как молчать, когда и камни готовы завопить о боге?» — писал Гоголь А. О. Смирновой в ответ на сообщенные ею мнения об его книге. Его долг, его обязанность были сказать России о смерти и о боге, потому что, как считал он, не вспоминая о них, человек не в состоянии подняться над собой, над эгоизмом своим и алчными интересами «настоящего» и поднять себя и свое отечество.

«Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают...» Теперь он решил высказать эту любовь, которая давала ему право на гнев и поученье.

В книге Гоголя почти нет смеха, она торжественна, как «прощальная повесть», о писании которой он намекал в «Завещании», и она писалась, точнее, складывалась в душе именно как прощальная книга, как последнее слово Гоголя, чувствующего приближение смерти. Не поняв этого ее истока — этой абсолютности ситуации, в результате которой она явилась, — мы не поймем и целого, не уясним себе природу ее крайностей и преувеличений.

Он всегда был склонен преувеличивать. Он и ранее был настроен несколько возвышать в росте то, что казалось ему важным, угрожающим, страшным.

Так поступал он и на этот раз,

«Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...» И вырастал под его пером образ одного такого страшилища — образ Скуки, «исполинский образ скуки», который достигал «с каждым днем неизмеримейшего роста».

Эта Скука шла от самих людей, от утомления душевного, от безверия, от нежелания заглянуть за черту смерти, от внутренней душевной черноты и исчезновенья сострадания и любви.

Черную эту Скуку порождала Гордость — болезнь XIX века, болезнь самолюбия ума, самолюбия образованности и просвещения, которые давили в человеке его природные чувства, рабски подчиняли и искажали их. «Поразительно, — писал Гоголь, — в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума... Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного своего убеждения... из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума».

Если в «иные веки» человека соблазняла гордость богатства, гордость происхождения, «гордость своими силами физическими», то теперь, в XIX, она дошла «до страшного духовного развития» в лице опаснейшей для нравственности человека гордости — «гордости ума». «Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — и только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его Для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет... Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистен — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из-за несходства мнении, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие».

Опыт жизни в Европе сказался в этой книге. Опыт наблюдения за неумеренными упованиями на науку и на «движение вперед». «Ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке», — провозглашал Гоголь, и это было нравственной максимой и опорой его уроков России. Он хотел уберечь ее от этого разлагающего влияния успехов ума, от этой надвигающейся на нее тени всеобщего озлобления и скуки, так как она, уже вступив в тень, все еще, по его мнению, находилась на освещенной стороне.

Он не отделял судьбы России от судьбы отдельного человека, развития государства — от совершенствования каждого из тех, на ком строится государство, кем оно подпирается и из кого в конечном счете состоит.

Его критика и гнев обращались не на порядки, не на обстоятельства, неустроенность которых он не склонен был преуменьшать, а на душу человека — на этот краеугольный камень всякого дела и всякого развития. «Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, — утверждал он, — нежели от того, что вне и вокруг нас».

И он доказывал этот тезис на собственном примере. Потрясение, произведенное «Выбранными местами из переписки с друзьями», было прежде всего потрясение личной исповедью Гоголя, его личным разоблачением, в котором он доходил, кажется, до неприличия. Ничего не хотел он скрывать в себе от читателя, не хотел припомаживаться и надевать на себя рыцарские доспехи — он открыто объявлял о том, что стоит, может быть, ниже всех, что недостоин поучать и учить и что нынешнее его поученье скорей страданье на миру, чем наставленье свыше. Он столь же беспощадно присваивал себе недостатки и пороки своих героев, говоря, что отдал им свои хвастливость, нахальство, завистливость, тщеславие, гордость. Он и на сочинения свои, принесшие ему славу, смотрел теперь новыми глазами, видя в них чрезмерность, упоение одним искусством — без мысли о том, зачем оно и куда ведет, — торопливость и неряшество.

«Не оживет, аще не умрет», — повторял Гоголь слова Апостола и готов был, кажется, умертвить себя, предать забвению и уничтожению все, что было им прожито и написано, для того чтобы вновь воскреснуть, но в ином, преображенном виде.

Это же он старался сделать и со всем, к чему ни обращался его взор на Руси. Казалось, собственное самосожжение на виду у всех дает ему право так поступать, дает ему ту свободу взыскания и высокую меру взыскания, которую он применил к своей родине, желая ей лучшего. Свое «желанье быть лучшим» он превращал без ее спроса в ее желанья, он почти навязывал России это самоочищающее настроение, преступая собственные призывы к миру, спокойствию, к выслушиванию точек зрения всех сторон. Тут теория не сходилась с практикой, тут характер пишущего брал верх над идеями, над целью книги, и голос Гоголя принимал металлические ноты.

Он давал «советы» (так называлась одна из глав его книги): мужику, помещику, совестному судье, «секретарю», полицмейстеру, губернскому предводителю дворянства, прокурору, жене губернатора, губернатору, священнику, министру, государю. Он хотел, чтоб каждый из них привел свою душу в соответствие со своей земной должностью (призвав в помощники должность небесную), чтоб каждый на *своем месте* (это центральная прагматическая идея «Выбранных мест») делал свое дело так, как повелел ему высший небесный закон. Порой казалось, что оп говорит от имени этого закона — так торжествен, победоносно-уверен становился его тон, его речь. «Мы должны быть церковь наша... На

корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на кормщика небесного».

Самому царю Гоголь предлагал вынестись из омута. Он не предлагал на место Николая другого царя. Более того, он хотел сохранить монархический образ правления в России, но таким ли он желал видеть русского монарха, каким тот был?

2

Вот почему «Выбранные места» (о которых еще до появления их в печати поползли слухи, что они печатаются на деньги правительства и с благословения правительства) не понравились при дворе. Ни слова о них не было вымолвлено, хотя поднес автор дарственные экземпляры всему царскому дому, включая детей. Да и перед печатанием их прочитал наследник. Ведавший изданием «Выбранных мест», Плетнев писал Гоголю, что наследник, может быть, и давал читать книгу государю, но «Государь не пожелал гласности своего участия». Это было молчаливое отстранение и неодобрение, хотя Николай иногда поступал так и в целях тайно поощрить автора.

Тут случай был иной. Поощрять было не за что. Какой-то «Гогель» (царь так и не научился называть Гоголя его настоящим именем) наставлял царя, как царствовать. Как отстающего, хотя и подающего надежды ученика, он ставил царя перед собой и говорил ему: подними глаза на кормщика небесного. Возьми пример с него.

Государственный идеализм Гоголя вырастал из его личного идеализма. Он считал, что если о себе он нашел смелость сказать: я хуже всех, то нет никого в русском государстве, кому бы он не мог указать на его место.

«Мы трупы...» — писал Гоголь, и из числа «трупов» не исключался и царь; мы «выгнали на улицу Христа» — и в этом «выгнали» был повинен и царь. «Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней», — заявлял он, и это относилось к стране, которою правил конкретный монарх. Гоголь говорил о всеобщем омертвении, сне, о «чорте путаницы», который запутал российские дела, и этот чорт, стало быть, действовал при попустительстве царя. Восходя от низов российской лестницы к ее вершине, Гоголь добирался и до царя и в статье «О лиризме наших поэтов», хваля Николая, хвалил его так, что двусмысленно выглядели похвалы, оговоренные недовольством и критикой. Ибо Его Величество был хоть и хороший монарх, но все же не достиг желаемого в его должности совершенства.

Это походило на заигрывания Державина с Фелицею.

Вспоминая, кстати, в этой статье о Державине, Гоголь писал, что Державин «очертывал властелину круг» его деятельности, то есть стоял над царем, давал поученья царю.

Дело Державина, как и дело Карамзина и Пушкина, он продолжал в своей книге. Пушкин, по мнению Гоголя, видел в царской власти ту силу, которая должна бы умягчать закон, а «если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина». Ссылка на Пушкина была особенно чувствительна. Если Державин очертывал круг деятельности Фелице, то есть Екатерине, а Карамзин давал советы Александру I, то Пушкин, поминавшийся в статье «О лиризме наших поэтов» как главный советчик царя, делал то же по отношению к царю царствующему.

«Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом того на земле, который сам есть любовь». При всем хорошем отношении к себе император Николай не мог признать в этом образце себя. «Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновение будет не жестко его ранам...» «Постигнет», «приобретет» — обо всех этих достоинствах идеального монарха говорилось как о будущих, а не как о настоящих.

«Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо *должен,* наконец, *сделаться* весь одна любовь...» Должен, обязан сделаться, но не есть, не сделался — так читались эти строки.

Соединение имен Николая и Пушкина, которого Гоголь в другой статье называл великим человеком, ставя его в один ряд с Суворовым и Петром, и который рад был приветствовать любой жест царя в сторону «падших», было не в пользу здравствующего императора. Он лишь в тех своих проявлениях был «хорош», когда соответствовал пожеланиям Пушкина. «...Пушкина, — писал Гоголь, — остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес бессилие человечества, вымолило... криком о небесной любви..., которая бы все умела простить нам — и забвенье долга нашего, и сам ропот наш...» Глядя себе честно в душу, Николай должен был бы признать, что «ропота» он прощать не научился. И вряд ли собирался этому учиться.

«Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще...» — замечал как бы между прочим Гоголь, и эта почти невидимая небрежность в обращении с «личностью императора» означала, что и себя Гоголь ставит над ним, что и он «очертывает» тому круг, а когда тот ему более не нужен, *отставляет* его *в сторону*.

В полном тексте статьи было сказано еще резче; «Власть государя явленье бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом божиим на земле». А за «неисполненье» небесного закона «он подвергнется такому же страшному ответу перед богом», как и все смертные.

Страшная месть ожидала и царя.

Цензура поспешила умерить эти опасные замашки и сняла чохом несколько глав книги — «Что такое губернаторша», «Занимающему важное место», «Страхи и ужасы России», «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России». Но статья «О лиризме наших поэтов» осталась, и, читая ее, царь мог только хвататься за голову и восклицать, как городничий в конце пьесы: «Вот когда зарезал, так зарезал! убит! совсем убит!..»

3

Среди всех иных должностей в государстве, которые обозревал Гоголь в своей книге, особое место занимает должность поэта, человека, чье слово есть уже и дело его.

О поэте, может быть, более всего написано в «Выбранных местах из переписки с друзьями», поэт — главный герой их, он двигатель народного сознания, вождь его. «Да и как могло быть иначе, — восклицает Гоголь, — если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей?»

Вот почему на страницах книги то и дело возникают образы Карамзина, Жуковского, Пушкина, а самая большая глава ее — глава, предшествующая заключительному «Светлому воскресенью» и как бы предвещающая его, — посвящена русской поэзии.

Как некие гиганты или богатыри, о которых мечтал Гоголь в первом томе «Мертвых душ» и которых он обещался изобразить во втором, встают со страниц этой статьи и «как бы тысячью глазами» глядящий на природу Державин, и «откликнувшийся на все» Пушкин, и «поэт и мудрец» Крылов, и создатель «благоуханной прозы» Лермонтов.

«В нем середина», — писал Гоголь о Пушкине и во всей русской поэзии видел способность к этой середине, к полному схватыванию явлений, к гармоническому их выражению и пониманию. Поэт и поэзия как бы соединяют в себе вечные вопросы с минутными. Исходящее от них умиротворение, спокойствие, любовь должны помочь воссоединиться тому, что тянет Россию в разные стороны, грозя ей, как считал Гоголь, гибелью.

Поэт у Гоголя поднимается над расколом русского сознания для того, чтоб невидимым, «нечувствительным» своим влиянием уврачевать и

обратить тех, кто во вражде и расколе видит смысл развития и прогресса.

Вот отчего так недосягаемо ставит Гоголь в своей книге поэта, художника, мастера. Если в статьях, касающихся ведения помещиком хозяйства, обращения жены с мужем, обязанностей губернатора, совестного судьи, прокурора, Гоголь обнаруживает некую отвлеченность, морализаторство, то, судя об искусстве, он судит как знаток своего дела. Поэтому освежающей точностью отличается в его статьях о театре и поэзии его слог, потому так разительно метки его суждения, подкрепленные авторитетом собственного опыта. То мастер говорит о мастерстве и о мастере, своим опытом подтверждая идею о том, что каждый должен честно делать *свое дело* па своем месте.

Тут максимализм Гоголя не только оправдан, но и раскрыт в своей подтверждающей сущности — здесь, на примере своего дела, он показывает Руси, что есть честное исполнение своих обязанностей. Таков его прекрасный анализ русской поэзии в статье «В чем же наконец существо русской поэзии», таковы его советы Языкову в главе «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», признания о собственном творчестве в главе «Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ». «Нужно, — утверждает он, — чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть только употреблен для одних хозяйственных расчетов, да для письменного дела. *Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой»*. Образ мастера — главенствующий образ «Выбранных мест», освещающий собою всю чересполосицу ее статей. Он все соединяет, все стягивает к себе и все объясняет через собственное внутреннее мучительство, внутренние болезни и выздоровление. В сущности, это книга о жизни творца, его духовная *история,* развернутая вовне, выходящая в своих коренных заблуждениях и к заблуждениям самой России, откуда этот мастер и творец родом.

Часто повторяет он в «Выбранных местах» строки Пушкина о том, что поэт рождается для звуков сладких и молитв. Повторяет и все же жаждет, чтоб звуки эти были услышаны и поняты всеми. Как же согласить одно с другим — отчуждение поэта, одиночество поэта, его самоуслаждение поэзией со служением современной России? Как пользу перелить в поэзию и поэзию отформовать в пользу? Как ответственность перед высшим назначением поэзии соединить с «низкими» нуждами дня, с раскачиванием того колокола, который должен денно и нощно будить и будить?

Над этим мучается мысль Гоголя.

Вся книга его — как бы *проба* себя на этот подвиг — подвиг самоотречения (в том числе и отречения от своего таланта), очищения, перестройки в связи с целью, которую ему предстоит исполнить. «Я люблю добро, я ищу его и *сгораю им;* но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет бог». Тут все слишком тесно увязывается с писательством. Ибо «добродетельных людей», которых хочет изобразить перо, «в голове не выдумаешь». «Пока не станешь сам, хотя сколько-нибудь, на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое...»

Так что же все-таки впереди — нравственное совершенствование или творчество? Есть ли совершенствование подготовка к творчеству или в творчестве и изгоняется все дурное из автора?

Разве не так поступал доселе Гоголь? Разве он Хлестаковым не изгонял из себя Хлестакова, Маниловым — Манилова? Но сейчас он ослеплен идеей приуготовления себя к подвигу описания прекрасного, которое не сможет явиться в его сочинениях в облике прекрасного, *пока* он сам не достигнет образца его. Еще одно заблуждение, и вновь прекрасное...

То был великий урок для него, и не только для него, но и для всей России. Гоголь пишет в предисловии к книге, что он издает ее потому, что она кажется ему нужной: «Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна». Он не ошибся. Еще и потому, что *не мог,* наверное, *в тот час иначе* высказаться, в другой форме поведать о происшедших с ним переменах. И оттого, что перемены, происшедшие в нем, были перемены, касающиеся всей России.

4

«Тут смешение», — сказал Ивану Киреевскому о книге Гоголя прочитавший ее священник. Тут смешение света и тьмы, духовного и душевного, бесстрастного и страстного, светского и религиозного. У Гоголя горячее сердце, добавил он, и эта *сердечность* берет верх над рассудительностью, над спокойствием и чистотой истины.

Гоголь слишком путал себя с Россиею, считали его критики, слишком уж много думал о себе, ставя ее на место себя, а себя на ее место. Такая подмена казалась кощунством. Гоголь призывал к «середине», но середины в суждениях о книге не было. Отмежевавшись в главе «Споры» от «славянистов» и «европистов», он возмутил и тех и других. Одни считали, что он слишком позорит Россию, другие — что ее чересчур воспевает. С. Т. Аксаков писал о безмерно вознесшейся гордыне Гоголя, который собрался всех учить, ничему порядочно сам не научившись. В «Московских ведомостях» появились три статьи

беллетриста Н. Ф. Павлова — то была точка зрения Москвы, в Петербурге «Отечественные записки» осудили глухо книгу Гоголя — то была статья Белинского. Но сие было лишь предвестием бури.

Буря эта уже настигала Гоголя, она гнала его прочь из Европы, он доживал здесь последние дни. Первые тетради с главами будущей книги он стал отсылать Плетневу в августе 1846 года, последние — в конце того же года из Неаполя.

Гоголю не суждено было видеть события 1848 года в Европе вблизи, но он как бы предугадал их в своей книге. Говоря об издержках европейской цивилизации, он имел в виду именно то, что обнаружило себя в этих событиях, где героический порыв, как считал Гоголь, слишком дорого обошелся народу. От всего этого Гоголь хотел *уберечь* Россию. «Скорбью ангела загорится наша поэзия, — писал он, — и, ударивши по всем струнам... вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же...»

На эту Россию он уповал, на ее единственный путь возлагал надежды. То была Россия не католическая, не парламентская, не та, в которое, как говорил Гоголь, будут «править портные и ремесленники» (в это он и вовсе не хотел верить), а обновленная высшим сознанием, противостоящим «нечистой силе». «Уже готова сброситься к нам с небес лестница, — писал он, — и протянуться рука, помогающая возлететь по ней». Греза о лестнице, по которой бог будто бы сходит на землю, прогоняя злых духов (о ней рассказывает Левко в «Майской, ночи»), здесь перенесена на будущее всей России. Но отчего именно ей уготован этот удел? «Никого мы не лучше», -говорит в своей книге Гоголь, — но «нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей...»

Он был прав и не прав. Партий не было, и они были. Явленье «натуральной школы», порожденной Гоголем, то есть направления, поддерживаемого «Современником» и Белинским (он вошел в состав новой редакции журнала), ожесточило разногласия. Они не столько обнаруживали себя в художественных сочинениях, сколько в сопутствующих им критиках. Булгарин тут же обругал «натуральную школу» (название это, кстати, принадлежит ему), обвинив ее в подражательности неистовой французской словесности. Ощетинилась против нее и Москва. В писаниях этой школы видели одно *отрицание* — стало быть, поношение России.

В 1845—1846 годах в Петербурге под редакцией Н. А. Некрасова вышли два тома «Физиологии Петербурга», в 1846 году — «Петербургский

сборник». Вступление к первому тому «Физиологии» написал Белинский. Там же была напечатана его статья «Москва и Петербург». В «Физиологии Петербурга» появились очерки В. И. Луганского (Даля), Н. Некрасова, Д. Григоровича, И. Панаева. Это были живые картины — картины с натуры, согретые сочувствием и состраданием к жителям большого города. Героями их были петербургский шарманщик, петербургский дворник, чиновник, фельетонист.

Белинский прямо объявил о причастности этой литературы к гоголевскому направлению. «Гоголь, — писал он, — первый навел всех (и в этом его заслуга, подобной которой уже никому более не оказать) на эти забытые существования...»

В конце 1846 года совершилось еще одно событие: отчаявшийся бороться с убывающим читателем, Плетнев продал право издания «Современника» Некрасову и И. Панаеву. Пушкинское наследие, из которого уже давно выветрился дух Пушкина, переходило в новые руки. Вскоре «Современник» напечатал «Обыкновенную историю» И. Гончарова, «Антона Горемыку» Д. Григоровича, «Доктора Крупова» Искандера (Герцена). Вместе с «Петербургским сборником», где, кроме «Бедных людей» Ф. Достоевского, явились рассказы и повести И. Тургенева, В. Соллогуба, В. Ф. Одоевского, статьи Герцена и Белинского, это был вызов Петербурга Москве.

Москва откликнулась своим «Московским литературным и ученым сборником» (1846, 1847), который стал выходить под редакцией братьев Ивана и Константина Аксаковых и историка Д. Валуева. В «Москвитянине» появились статьи И. Киреевского и А. Хомякова, которые противостояли точке зрения Белинского.

Так что Гоголь со своею книгою, призывающей к миру и объединению, был явно не к месту.

В стане «натуральной школы» (и прежде всего в кругу «Современника») книга эта была принята как *измена*. Слово «измена» произносилось открыто: Гоголь изменил своему направлению, своим сочинениям. Так считал Белинский. Уже в «Современнике» он напечатал отзыв на второе издание «Мертвых душ», где гневно откликался на просьбы Гоголя (в предисловии к поэме) присылать ему замечания и советы и на объявление Гоголем своей книги «незрелою». Это обращение ко всем людям в России от высших до самых низших Белинский считал ханжеством, «фарсом». И этот «фарс», по его мнению, не был безвинным, ибо грозил «новою потерею» для русской литературы. Напоминая читателю о странных «выходках» Гоголя еще в первом томе «Мертвых душ», он писал: «К несчастию, эти мистико-лирические выходки... были не простыми случайными ошибками со стороны автора,

но зерном, может быть, совершенной утраты его таланта...» «Выбранные места» Белинский в том же «Современнике» объявил *падением* Гоголя.

В то время как «школа» развертывала свои ряды и готовилась к наступлению, «глава» и «учитель», по мнению Белинского, оставлял ее — он позорно покидал войска и отрекался от знамени. Борьбою за чистоту знамени и направления стала борьба Белинского с книгою Гоголя. Нельзя сказать, что все в кружке Белинского думали точно так же, как Белинский. Но он говорил не только от их имени, он уже говорил от имени молодой России, которая жаждала перемен. Гоголь открыто противопоставлял себя этому поколению и обращался к мудрости старших, призывая их дать «выкричаться молодежи» и «передовым крикунам», чтоб потом, по прошествии времени, сказать свое — обеспеченное опытом — слово. Гоголь, как писал Вяземский, круто взял в сторону и повернулся спиной к своим поклонникам.

Произошло это не только в отношении к западникам, по и в отношении к славянофилам. Те тоже были оскорблены — и нападками Гоголя на Погодина (который в одной из статей «Переписки» был назван неряхою, литературным «муравьем», всю жизнь трудившимся и ничего не достигшим, подкупным патриотом — это было сказано под горячую руку, в момент ссоры с Погодиным, да так и оставлено), и отмежеванием ото всех партий, попыткой третейски рассудить и тех и других. Никакое направление не может быть без учителя, без авторитетной фигуры, на которую оно могло бы опираться в глазах всех и которая всеми была бы признаваема. И тут шла борьба за право на Гоголя как на вождя партии. «Казалось, — писал Вяземский, — будто мы все имеем какое-то крепостное право над ним, как будто он приписан к такому-то участку земли, с которого он не волен был сойти». И это была правда. Одни безоговорочно относили его к «натуральной школе», другие — к вождям партии предания (как можно назвать славянофилов), третьи — к хранителям пушкинских традиций (пушкинское поколение), четвертые — к разрушителям их. В это-то кипящее море и бросил Гоголь свою исповедь.

И каждая из сторон (за исключением стороны консервативной) увидела в Гоголе неискренность. Это был самый сильный удар для него, ибо он, что называется, распахивался, открывая душу, а ему плевали в душу, отвечая, что это не душа говорит, а дьявольская «прелесть», ханжество, себялюбие, «сатанинская гордость».

«Тяжелое и грустное впечатление, — писал Ю. Ф. Самарин, — ...гордость, гордость отшельника, самая опасная из всех гордостей, затемняет его сознание о его призвании... все это не из души льется... Меня особенно поражает отсутствие потребности сочувствия с публикою...» «Это — хохлацкая штука, — как бы откликался ему старик Аксаков, — ...не

совладал с громадностью художественного исполнения второго тома, да и *прикинулся* проповедником христианства».

Его сын Константин был мягче, его любовные упреки Гоголю были справедливы: «Вы поняли красоту смирения... Перестав писать и подумав о подвиге жизни, Вы, в подвиге Вашей жизни, себя сделали предметом художества... Художник отнял у себя предмет художественной деятельности и обратил свою художественную деятельность на самого себя и начал себя обрабатывать то так, то эдак». К. Аксаков писал Гоголю, что в его любви нет «простоты» и «невидности».

Другие отзывы были жестче. Гоголя в статьях и письмах называли Тартюфом, Осипом, Тартюфом Васильевичем, Талейраном, кардиналом Фешем и т. д. Все это были величайшие ханжи, обманщики и лжецы.

Именно после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями» было повсеместно объявлено, что Гоголь... сошел с ума.

«Говорят иные, что ты с ума сошел», — писал Гоголю С. П. Шевырев. «Меня встречали даже добрые знакомые твои вопросами: «...правда ли это, что Гоголь с ума сошел?» — передавал ему мнения заграничных русских В. А. Жуковский. «Он помешался», — записал в своем дневнике М. П. Погодин, прочитав в «Переписке» статью о себе. «Гоголево сумасшествие», «помешательство», «сумасшедший» — эти слова наполнили семейную переписку Аксаковых. «...Все это надобно повершить фактом, — заключал С. Т. Аксаков, — который равносилен 41 мартобря (в «Записках сумасш[едшего]»)».

Если ранее подобные объяснения поступкам русских писателей (например, «Философическому письму» П. Я. Чаадаева) давали власти, то теперь это делалось добровольно и во всеуслышание самими читателями — читателями и почитателями, еще вчера видевшими в Гоголе надежду России.

То, что принесли первые вести с родины, было для Гоголя полной неожиданностью. Кто хвалил книгу? Фаддей Булгарин. Кто ругал? Почти все бывшие поклонники. Булгарин публично потирал руки и хвастал, что Гоголь сделал то, что Булгарин ему и предсказывал: признал свои прежние творения «грязными»: Ф. Ф. Вигель, некогда порицавший «Ревизора» и говоривший, что это молодая Россия во всей ее отвратительности и цинизме, благодарил Гоголя за его новые верования.

Даже люди духовного звания, на которых Гоголь более всего рассчитывал, не приняли «Переписку». Отец Матвей, протоиерей ржевский, с которым Гоголь заочно познакомился через А. П. Толстого и который был отрекомендован ему как человек безупречной честности,

писал, что книга вредна и сочинитель даст за нее ответ перед богом. Он советовал Гоголю бросить поприще литератора и удалиться в монастырь. В то время как он давал эти советы, по Москве и Петербургу ходили слухи, что Гоголь или постригся, или давно уже проводит время с монахами. В одном из анекдотов юмористически описывались его беседы в среде аристократов.

«Он иначе не ходит, как потупя взор, и ему говорят тихо, с подобострастием: Николай Васильевич, Николай Васильевич, хорошо ли это блюдо? а он, кушая, отвечает: Софья Петровна (сестра А. П. Толстого. — *И. З.),* думайте о душе вашей...»

Не было, кажется, ни одного сословия в России, куда бы не попала хотя бы одна гоголевская мысль, где не были бы встревожены десятки лиц. 2400 экземпляров разошлись полностью. Книгопродавцы брали их под самые низкие проценты, половину раскупила Москва, половину Петербург. Негодовали и читали, отлучали и читали. Тартюф и Осип задевал что-то такое в русской душе, на что она не могла не откликнуться. Посреди неумеренностей, оскорбляющего поучительства, ослепления личным своим состоянием слышалось нечто задирающее за сердце, пусть вызывавшее гнев, но свое — то не француз писал, не посторонний, а тот, кто болел за свое, и эта боль передавалась.

Первыми почувствовали и поняли ее «старики». То были люди пушкинского поколения, люди уходящей эпохи. У них за плечами была прожитая жизнь, и они увидели прожитое и пережитое в книге Гоголя. Лучшей из всего написанного Гоголем назвал ее А. И. Тургенев. В этой книге «душа видна», говорил он. Вяземский написал статью «Языков и Гоголь», посвященную «Выбранным местам». Вяземский писал о «Переписке» как о «поприще, озаренном неожиданным рассветом». Чаадаев отдал должное автору книги: «Он тот же самый гениальный человек, который и прежде был... и теперь находится выше всех своих хулителей».

Столь же глубоко сочувствовал идеям Гоголя и Жуковский. Он лишь огорчался, что Гоголь «поспешил», не совладал с «формою» и «формою» книги ввел многих в раздражение. В этом отношении Жуковский был прав. Но книга Гоголя не была бы русской книгой, если б она была согласно состроена и выстроена.

Не все еще выстроилось в душе автора, и не мог он привести в соответствие и гармонию раздиравшие его чувства — так и выдал, как может выдать только русский писатель, который весь на миру, который живет и пишет для мира, а иначе не мыслит своего существования. Даже Жуковский не понимал, что то был *разрыв круга,* выход за пределы его и святая крайность.

Счастье этого несчастного сочинения Гоголя было в том, что, написанное за пределами России, оно было чисто русское — и оттого так ахнула Русь, узнав в ней себя. «Глубоко ты вынул это из нашей жизни, которая чужда публичности», — объяснял Гоголю Жуковский реакцию публики.

Публичность гоголевской исповеди была одной из причин неприятия ее. И не только потому, что к этому не привыкли, что Гоголь нарушал, преступал закон. Он разрушал иллюзии публики насчет него самого. Она уже подняла его, возвысила, позволила критиковать себя — он вдруг сходил с пьедестала и обращал критику на себя. Он выставлял себя в смешном виде. Этот *фарс* раздражал более всего. Публика не уважает свергнутых кумиров, вдвойне она не понимает тех, кто сам свергает себя. Это добровольное — без всякой необходимости и понуждения извне — подставление себя под удары вызывало недоумение. Бывший повелитель умов, грозный судия пороков вдруг обращался в нищего на паперти, протягивающего руку. Последнее вызывало уже не недоумение, а презрение. Как тут было не растеряться, не рассердиться, не усомниться в искренности книги и ее автора?

Ибо если все, что писал Гоголь, была исповедь, было душевное излияние, а не ханжество и обман (как в некотором роде обман всякое произведение литературы), то следовало признать его право на такую книгу и на такую исповедь.

Для большинства это был вызов, Гоголь как бы говорил им: а что же вы? Эта вопросительно-требовательная интонация в его книге и раздражала. В ней звучал (как писал Гоголь Щепкину, объясняя тому, как надо играть главного комического актера в «Развязке») «победоносно-торжествующий, истинно генеральский голос». Кто виноват? — спрашивал Гоголь, как бы цитируя незадолго перед этим появившуюся повесть Герцена, и отвечал: мы. Никто не хотел признать виновным себя, казалось, в этом виноваты какие-то они — кто «они», никто толком не знал. Ожесточались против внешних причин, против «среды», как скажет позже Достоевский.

Позже и Достоевский примет «Переписку», но сочтет ее незрелою и неудачною по форме. Позже и Л. Толстой, следуя примеру Гоголя и нарушая законы литературы, попробует переступить тот же заколдованный круг и скажет о Гоголе: то было прекрасное сердце, но робкий ум...

В 1849 году Достоевский будет арестован за чтение письма Белинского к Гоголю, и этот факт станет главным фактом обвинения против него — обвинения, которое приведет его к месту казни в Петропавловской крепости. Через полтора десятка лет эта казнь войдет в роман «Идиот» — книгу, которая не явилась бы в свет, не будь прецедента «Переписки»

и мечты Гоголя о создании образа прекрасного человека. «...Со всем тем в таланте г. Достоевского так много самостоятельности, — писал Белинский, — что это теперь очевидное влияние на него Гоголя, вероятно, не будет продолжительно и скоро исчезнет с другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тем не менее Гоголь навсегда останется, так сказать, его отцом по творчеству».

То был перевал пути Гоголя и перевал пути России, которая, по существу, вступала в XIX век. Она все еще медлила в отличие от других европейских стран, все еще раскачивалась и распрямлялась, выходя из века XVIII, а может быть, и XVII, когда силы ее или дремали, или были в порыве своем едины. Начиналось раздробление, «раздробленный XIX век», не сумевший тронуть цельности Пушкина, брал свое в Гоголе: раскалывался не Гоголь, а русское сознание; как богатырь из сказки, выходило оно на развилку и задумывалось в тревоге: куда идти? Направо пойдешь ...налево пойдешь ... прямо пойдешь...

На этом распутье в ее ямщиках и вожатых, принимающих на себя *тяжесть решения,* оказался Гоголь. Волей-неволей в своей работе, в муках над строительством здания второго тома, он подошел к той же развилке — и подошел раньше. Поэтому он раньше услышал об опасности и заговорил о надежде. Поэтому «страхи и ужасы России» ему раньше бросились в душу, поэтому и раздался трубный глас *предупреждающего,* оберегающего и уже ступившего за роковую черту.

Гоголь очень надеялся на эту книгу. Он называл ее самым дельным своим сочинением и работал над ней с упоением весь остаток 1846 года. Отразив его искания на пути ко второму тому «Мертвых душ», она отразила и его заблуждения на этом пути, которые были естественны. Именно в этот период — после сожжения первого варианта второго тома и пережитой болезни, — набрасывая вторую редакцию этого тома, Гоголь мысленно чистит и первый, приводя его в соответствие со своим гигантским замыслом. Он не доволен ни им, ни «Ревизором», ни — заходя еще дальше назад — иными своими сочинениями. Это желание *все* переделать и перебелить сильно тормозит его работу. С одной стороны, он чувствует, что «не готов» к описанию второго тома, с другой — заявляет, что *«голова уже готова».*

Готовность головы и неготовность сердца и отразились в «Переписке». Вот откуда ее великие перепады и искажения.

5

Еще до выхода «Переписки» Гоголь крепится, бодрится и радуется, как всегда, сделанному делу. Он пишет, что душа его светла, что все в нем освежилось, что «солнце (в Неаполе) просто греет душу». Сердце его «верит, что *«голова уже готова».*

Так чувствует себя в конце 1846 года Гоголь. Он вновь ждет удачи, успеха, он верит в свою звезду — типичный подъем его сил, типичное обольщение этим подъемом. Нет конца его пожеланиям и просьбам на родине: и паспорт ему подавай особый, и книги он просит продавать каждого, кто даже этого не желает, и шлет Плетневу список, по которому надо распространять «Переписку». «Поднеси всему царскому дому до единого, — пишет он, — не выключая и малолетних». Если Никитенко (цензурировавший книгу) заупрямится, продолжает он, тут же неси государю. На запрос В. А. Панова, издававшего «Московский сборник», не даст ли Гоголь туда статей, отвечает Языкову: «не хочет ли он понюхать некоторого словца под именем: нет?» И наконец, последнее торжественное заявление: «В этих письмах есть кое-что такое, что должны прочесть и сам государь и все в государстве».

Но все в государстве прочесть эту книгу не могли. Потому что все не умели читать. Гоголь слишком заносился в своих надеждах, слишком думал о себе, а не о других. Он даже на смерть Языкова отозвался спокойно. В день получения этого известия, 25 января 1847 года, он отправил письмо маменьке, где выговаривал ей о забвении истины, что «память смертная — это первая вещь», что «постоянная мысль о смерти воспитывает удивительным образом душу, придает силу для жизни и подвигов среди жизни». Он и о «завещании» своем говорил, что его нужно было напечатать, «чтоб напомнить многим о смерти», совершенно не щадя маменьку и ее чувства к нему. Ведь маменька бог знает что могла подумать, получив это завещание!

Мать и сестры, прочитав сначала «Завещание», посланное им в письме, а затем в книге, тоже подумали, что Гоголь сошел с ума. При том космическом чувстве любви к России и к человеку, которая чувствуется в книге Гоголя, в ней, кажется, мало любви к отдельному человеку, к адресатам своим, как мало ее и в частных его письмах той поры. Он даже слепнущему Аксакову пишет, чтоб тот утешался тем, что, лишая его внешнего зрения, бог дает ему внутреннее. Он молоденьким сестрам своим советует меньше знаться с мужчинами и дружить только с женщинами, больше молиться и меньше веселиться. «Я выждал… — пишет он. — Теперь стану я *попрекать*…»

Была во всем этом какая-то прежняя *жестокость* нового верования, какой-то обоюдоострый его аскетизм, который понятен, когда он обращен к принявшему веру, но непонятен в отношении тех, кто еще не одарен ею. В советах и напоминаниях Гоголя слышится не только желание помочь, но и раздражение — это очевидно, очевидно хотя бы из отзывов о Погодине, из той надписи, которую он сделал ему на книге, подарив ее: «Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме неверному, близоруким

и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу в вечное напоминание грехов его, человек, так же грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого». Оговорка последних строк не снимает беспощадности первых. Как бы ни был дурен Погодин, он согласно новой вере Гоголя был не виноват: если б Гоголь шел от его родословной, от крепостного детства, от унижений юности, он бы не судил его так жестоко, не ставил бы его так публично к позорному столбу. В обращении Гоголя, его духовном обращении нет мягкости, сочувствия к слабостям ближнего — не прощая ничего себе, он не склонен занижать требования и для других. Тут-то сказалось присутствие ума в вере, готовность его головы, не совпавшая с готовностью сердца.

Так вступала в противоречие его общая любовь к человечеству и человеку с его отношением к тем, кто окружал его. К этому времени относится и жесткое письмо Гоголя к А. А. Иванову — человеку, бесконечно уважавшему его и так же уважаемому им. Иванов, живший с Гоголем бок о бок в Риме, был не только его соседом, но и прилежным учеником в душевных вопросах. Иванов, скромный по натуре, чаще молчал в обществе Гоголя, иногда вставляя свои вопросы и замечания. Проживший в отшельничестве всю свою жизнь (и почти не выезжая из Рима), Иванов слушался Гоголя как ребенок. Он бедствовал, никак не мог найти себе средств для существования, и Гоголь всегда в его поступках такого рода руководил им. И вдруг Иванов вышел из повиновения. Он решил действовать самостоятельно, более того, взял на себя смелость предложить и Гоголю работенку — должность секретаря русского сообщества художников в Риме. Иванов писал Гоголю, что с его «гениальным пером» и умом и житейскою хваткою тот сможет послужить на этом месте службу добра, помочь нуждающимся художникам и вообще делу развития художества в России.

Гоголь отозвался на это письмо гневной отповедью. Он счел, что Иванов предлагает ему «лакейское место», — это он-то, писавший, что ни в каком «месте» нет позору, что на каждом месте человек может быть полезен! «Я не могу только постигнуть, — писал Гоголь, и тут слышались интонации «значительного лица», — как могло вдруг выйти из головы вашей, что я, во-первых, занят делом, требующим, *может, побольше вашего полного* посвященья ему своего времени, что у меня и сверх моего главного дела, которое вовсе не безделица, наберется много других, более сообразных с моими способностями». «По слогу письма, — продолжает Гоголь, — можно бы подумать, что это пишет полномочный человек: герцог Лейхтенбергский или князь Петр Михайлович Волконский (министр двора. — *И. З.)* по крайней мере. Всякому величаво и с генеральским спокойствием указывается его место и назначение. Словом, как бы распоряжался здесь какой-то крепыш... Мне определяется и постановляется в закон писать пять отчетов в год — даже

и число выставлено! И такие странные выражения: писать я их должен *гениальным* пером (выделено Гоголем. — *И. З.)*. Стоят *отчеты о ничем* гениального пера! А хотел бы я посмотреть, что сказали бы вы, если бы вам кто-нибудь сверх занятия вашей картиной предложил рисовать в альбомы по пяти акварелей в год». Гоголь подводил убийственный итог: «вы всяким новым подвигом вашим, как бы нарочно, стараетесь подтвердить разнесшуюся нелепую мысль о вашем помешательстве».

Таков был в гневе Гоголь. Нет, отнюдь не очистился он от несправедливых движений души своей, не стал тем, кем хотел бы стать, — он унижал и ставил на место Иванова за то, что сам делал в своей книге. Не он ли каждому в России указывал его место, не он ли по пунктам перечислял, что каждому дано делать, не он ли советовал помещику жечь деньги, женщине носить одно платье, раскладывать доходы по нескольким кучкам? Но то не было «дымное надмение», «ребячество», то не был «бред человека в горячке» (фразы из письма Иванову), то, по его заявлению, была «служба добра» и «истинная служба отечеству». Ему сие позволено было — другим нет.

Первые отклики из Васильевки (пока на «Завещание» и просьбу молиться об нем) и из Петербурга (о выброшенных статьях), из Москвы (о том, что в кружке Никитенко читали статьи книги и смеялись) как бы обрывают его хорошее настроение. Он чувствует тревогу, понимает, что книга идет как-то не так, что впечатление не то. И дальше начинается откат от прежней самоуверенности, все большее возмущение книгой на родине как бы открывает ему глаза и на себя и на нее. Он протестует, спорит (с Шевыревым, отцом Матвеем), пишет письма Анненкову в надежде, что он передаст его возражения Белинскому и всем «европистам», оправдывается, даже еще пытается нападать.

Но ему не на кого опереться. Проходит время, и он чувствует, что остается в одиночестве, и недоумение, протест, отчаяние сменяются в нем желанием объяснить свое ОБЪЯСНЕНИЕ. Он пишет, что писал книгу на пороге смерти, что страх за жизнь *торопил* его и что он вообще поспешил с нею. Выброшенные из «Переписки» статьи, касавшиеся не его лично, как бы оголили книгу и выставили ярче автора — стали преобладать статьи о нем, и он как бы один оказался перед всем народом. Он просит Вяземского всюду во втором издании «изгладить» его «я» и дать более простора общему, снять заносчивые выражения, фальшивый тон и неуместную восторженность... Я «чиновник 8 класса», — пишет он, — я «слишком зарапортовался!».

Оплеуха, пользу которой он проповедовал в своей книге («О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!»), была нанесена — и нанесена *ему*. И тут сказывается великое благородство и способность самоотвержения Гоголя. Говоря в «Выбранных местах», что он искал помощи и совета, он не лгал. Все еще будучи уверен во

внутренней правоте своего поступка, он находит в себе силы услышать правоту критик, высказанных в его адрес, и — еще раз! — подняться над самим собой.

Гоголь думал, что уже поднялся. Он ошибался. Книга стала испытанием его возможности признать свое поражение. «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым», «право, есть во мне что-то хлестаковское», «много во мне еще самонадеянности» — это его выражения из писем к разным лицам.

Теперь всюду слышится один мотив: простите меня. «Прошу прощения», — пишет он матери и Погодину, «простите» — отцу Матвею и Иванову. Он называет себя «провинившимся школьником» и вновь твердит: простите, «прости меня» (уже Плетневу).

Меняется тон его переписки с матерью, с Данилевским, с Погодиным, Аксаковым. Доныне поучавший их в превосходстве и *генеральском спокойствии,* он теперь пишет: «Мой добрый Александр» — Данилевскому, вникает в нужды матери и сестер, не бранит их, а сочувствует.

Он мягчеет ко всем, и эта мягкость его самого освобождает от уз жестокости, от крепостного права быть *только учителем.* Начинают сбываться слова из его книги о том, что и он ученик: «душа человека стала понятней, — пишет он, — люди доступней, жизнь определительней». «Горю от стыда», «стыд нужен», — повторяет он и признается: «мне теперь дорог и близок всякий человек на Руси».

От критики, поступившей с родины, повеяло на него вновь родиной — он понял, что дал маху, пробуя издалека рассмотреть ее, хотя мысль о правде им высказанного и в эти минуты не покидает его. «Что сделано, то сделано», — говорит он и обращает свои взоры на оставленный ради «Переписки» второй том, дорога к которому теперь расчищена — расчищена его поступком и проступком. В нем «отразится та верность и простота, — надеется он, — которой у меня не было... Моя поэма, может быть, очень нужная и очень полезная вещь, потому что *никакая проповедь* (это уже в адрес «Переписки». — *И. З.)* не в силах так подействовать, как ряд *живых примеров* (выделено Гоголем. — *И.* З.), взятых из той же земли, из того же тела, из которого и мы...» «Я отнюдь не переменял направленья моего. Труд у меня все один и тот же, все те же Мертвые души...»

Все то время, пока писались «Выбранные места», пока они печатались и когда, наконец, грянула на них из России гроза, он писал «Мертвые души». Он думал о них. «Проба», «пробный оселок» — так станет называть он «Переписку с друзьями» в ответ на критики, которые раздадутся с родины. И еще он скажет о ней так: крюк для прямой дороги «Мертвых душ».

Глава третья. Диалог

...Как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались *.

Гоголь — В. Г. Белинскому, август 1847 года

1

Диалог этот состоялся заочно и произошел не в России, хотя спорили в нем о России. Случилось так, что Белинский и Гоголь оказались к тому времени за границей, причем недалеко друг от друга: один во Франкфурте, другой в Зальцбрунне. Не случись так, они, возможно, и не стали бы писать друг другу. В России Белинский никогда б не решился написать и отправить по почте *такого*[12]письма, Гоголь, в свою очередь, вряд ли бы на это письмо ответил.

Переписка эта стала как бы дополнением к «Выбранным местам из переписки с друзьями», их продолжением: отзыв Белинского породил отзыв Гоголя, на этот отзыв Белинский откликнулся новым отзывом, возник спор, от него пошло эхо.

Столкновение это переступило границы журнальной полемики — то был открытый поединок, не связанный условностями печатного слова.

«На подобную начинательную роль, — писал И. А. Гончаров о Белинском, — нужна была именно такая горячая натура, как и его, и такие способы и приемы, какие с успехом были употреблены им; другие, более мягкие, покойные, строго обдуманные, не дали бы ему сделать и половины того, что сделал он, *образуя тогда собой вместе с Гоголем,* почти всю литературу». «Белинский, — добавляет И. С. Тургенев, — был именно тем, что мы бы решились назвать центральной натурой; то есть он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути своего народа, а потому самые его недостатки... имели значение историческое».

Что же говорить о Гоголе, которого Белинский еще год назад, в 1846 году, в статье о «Петербургском сборнике» назвал «самым национальным» и «самым великим из русских поэтов».

Оба были *центральные фигуры,* оба стояли близко к сути своего народа, и оттого спор их приобрел значение историческое.

Белинский резко не принял книгу Гоголя. «Гнусная книга, — писал он Боткину, — гнусность подлеца». В первом томе «Современника» за 1847 год появилась его статья о «Выбранных местах». Цензура вымарала из нее целую треть. Да и сам он, предвидя цензурные препятствия, не высказал всей правды Гоголю. Гоголь, по выражению Белинского, в своей книге «все из себя вытряс» — ему, Белинскому, этого сделать не удалось.

Впрочем, кое-что он все-таки сказал. Книга, как мы уже писали, была объявлена падением Гоголя и потерею его для искусства. Белинский назвал автора книги «смиренным советодателем», который, «живя в разных немецких землях», не знает и не понимает своего народа, отворачивается от истинной злобы дня и оттого «сам существует для публики более в прошедшем».

Прочитав статью Белинского, Гоголь понял, что мир между ними нарушен, что отныне он теряет в Белинском не только человека, любящего его, но и человека, его поддерживавшего. Может быть, последнее обстоятельство было более всего важно для Гоголя. С Белинским он не хотел ссориться. Белинский был единственным, кто понимал его в критике. В его неподкупности и честности он не сомневался. Мнение Белинского было *искренним*.

«Пожалуйста, переговори с Белинским, — написал он осторожно Н. Прокоповичу, — и напиши мне, в каком он находится расположении духа относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в «Современнике»... Если ж в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам».

Но Гоголь ошибался, думая, что Белинского и на этот раз «занесло». Речь шла о коренных убеждениях Белинского, какими он жил в последние годы, о его символе веры, который не зависел уже ни от каких личных обид. Гоголь считал, что Белинский обиделся на него за некие «щелчки», как он сам выразился, которые он раздал «восточным, западным и неутральным» в своей книге, за упоминание неких журнальных козлов, которые будто бы не знают, куда вести стада свои.

Но Белинский был не тот, кто из личного оскорбления мог изменить мнение о человеке.

Не сказав о книге Гоголя всего, что бы ему хотелось, он, ослабленный болезнью и тяжким каторжным трудом по журналу, в мае 1847 года выехал на лечение за границу. Денег на лечение не было, деньги собрали друзья. Это была последняя надежда остановить чахотку, которая пожирала его легкие.

В Зальцбрунне он томился. Впервые оторвавшись от России, он чувствовал, как ему недостает русского воздуха, русской речи, русских споров. Тело его получило облегчение, но душа страдала. И в этот-то момент к нему дошло письмо Гоголя. «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне... Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже и не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал, как о человеке меня любящем. Я вовсе не имел в

виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять... Я думал, что... в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора».

Гоголь дипломатничал. Он надеялся своею обидой обезоружить Белинского, вернуть его расположение. Он вместе с тем переносил все на самолюбие оппонента, считая, что милостивые оговорки насчет того, что он не имел в виду лично Белинского, раздавая «щелчки» направо и налево, снимут остроту расхождения. Гоголь все еще надеялся на свое обаяние и могущество в глазах Белинского.

Но не тут-то было. Белинский принял письмо Гоголя как перчатку, брошенную в лицо. То был вызов на дуэль, на единоборство, в котором уже ни личность Гоголя, ни личность Белинского, как считал великий критик, не имели значения. *Одна* Россия бросила перчатку *другой* России.

Белинский с честью ее поднял. Ответ Гоголю был составлен в три дня, перебелен, с него была снята копия, и европейская почта понесла его по назначению. Как и гоголевское «письмецо», в которое был посвящен Н. Прокопович (а через него и другие — это было сознательно сделано Гоголем), он был предан огласке. Белинский тут же прочитал его жившему с ним в Зальцбрунне П. В. Анненкову, а когда они вместе с Анненковым приехали в Париж — и Герцену.

Гоголь получил ответ Белинского в Остенде. Тон этого ответа и поднятые в нем вопросы, которые действительно касались уже не только Гоголя и Белинского, но и положения их отечества, положения русской мысли в литературе, заставили Гоголя сесть за пространное объяснение своих взглядов. Вчерне оно было набросано тут же, получив форму опровержений доводов Белинского и отстаивания своей точки зрения по пунктам. Гоголь, по существу, разъяснял в этом письме Белинскому свою книгу и себя.

Но именно этот пространный ответ не был Гоголем отправлен. Решив, что он погорячился, что не стоит пускаться в долгие пререкания с Белинским, он послал ему короткое письмо, в котором лишь косвенно и в общих словах намекал на их разногласия.

Но свой первый ответ Гоголь не уничтожил. Он сначала было разорвал письмо, но затем сложил уцелевшие куски в конверт и оставил на будущее — может быть, для того, чтобы использовать потом в новой книге, может, на случай дополнительного объяснения с Белинским. Некоторые из положений этого ответа вошли потом в его «Авторскую исповедь» (1847—1848).

Так перед потомством выстроился материал *диалога,* который, повторяем, вышел за пределы переписки двух лиц.

Что же написал Гоголю в своем ответе Белинский? И что ответил на это Гоголь?

Белинский *не поверил в искренность* Гоголя. Еще до получения письма Гоголя по поводу своей статьи о «Выбранных местах» он поспорил с В. П. Боткиным. Боткин уверял его, что книга Гоголя — «заблуждение». Белинский не согласился: «Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю... но терпимости к подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой книги, если видишь в ней *только заблуждение* (подчеркнуто Белинским. — *И. З.),* а вместе с ним не видишь артистически рассчитанной подлости». Я бы хотел, писал Белинский, «зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству».

Прочитав в Зальцбрунне письмо Гоголя, он и отдался им.

Гоголь в этом письме утверждал, что многие места его книги «покамест еще загадка». Белинский брался отгадать эту загадку. Гоголь настаивал на том, что публикация «Выбранных мест из переписки с друзьями» — подвиг («подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние»), Белинский совершал свой подвиг, отвечая ему.

То был подвиг духа и тела Белинского, все силы которого ушли, кажется, на составление письма. То был подвиг литературный и гражданский, ибо, попади это письмо в руки правительства, не сносить бы Белинскому головы.

Гоголь требовал от Белинского настроения исповеди (потому что «в такие только минуты душа способна понимать душу») и получил исповедь. Он проповедовал в ответ на критику Белинского — проповедовал и Белинский. «Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный», — иронизировал Гоголь в «Переписке», и теперь ирония этих слов обращалась на него.

Все смешивалось тут — и высокий порыв души, и эта напыщенность, самолюбие идеи, считающей себя правой, и самолюбие совести, «гордость чистотой своей», как говорил в «Переписке» Гоголь, и гордость раскаяния. Последнее более относилось к Гоголю, первое — «гордость чистотой своей» — к Белинскому.

Белинский судил Гоголя с позиции своей чистоты, незапятнанности, искренности. Во всем этом он отказывал оппоненту. Гоголю высказывались подозрения, в которых, как отвечал ему Гоголь, «я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца». Речь шла о заискивании автора «Переписки» перед властями. «Гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора», — писал

Белинский. Гоголь, курящий фимиам земному богу более, нежели небесному, Гоголь, издающий свою книгу на средства правительства, Гоголь, ищущий ею места воспитателя наследника, — вот каким выглядел Гоголь в письме Белинского.

Все эти обвинения, как писал Гоголь, «шли мимо», но они ранили. Они вызывали в ответ гнев, которого не сумел избегнуть Гоголь в черновом варианте письма Белинскому. Но в беловом тексте он все *личное* снял.

Подозрения и обвинения эти увеличивали пропасть, но не из-за них расходились участники диалога. Все это лишь окрашивало их страстное расхождение. «Примиренья» не было не только между ними, но и между двумя сторонами истины, через которые терпеливый Гоголь хотел перебросить мост.

На одном полюсе укоренился радикализм и требование «перемен» (Белинский), на другом — консерватизм и опора на «предание» (Гоголь). Грубое определение этого различия еще не дает представления обо всем различии, но все же главные черты в нем представлены.

«Усредоточенье» Гоголя, о котором он писал (это слово черновика перешло в беловик), было направлено на *душу* человека. Белинский столь же, как Гоголь, был недоволен *обстоятельствами,* но выход искал на иных путях — на пути изменения государственных учреждений России. Причем изменение это рисовалось ему на европейский — парламентский — образец. Белинский настаивал на немедленном освобождении крестьян, на создании новых порядков, на всеобщей грамотности — Гоголь писал ему в ответ, что как бы это освобождение не сделалось хуже рабства, что с ним следует обождать, что надо прежде просветить грамотных, нежели неграмотных. От них-то, грамотных, — от чиновников, стоящих над народом, от тех же помещиков, учившихся в университетах, но не воспитавшихся нравственно, — весь вред. Он напоминал о необходимости просвещения самой «власти», которая вся сплошь тоже грамотна, но творит тем не менее много злоупотреблений. «Народ меньше испорчен, чем все это грамотное население», — писал он.

Они расходились и в понятии просвещения. Белинский винил Гоголя в том, что он крестьянину хочет отказать в ученье, что он против просвещения вообще, и указывал на успехи просвещения на Западе. Гоголь связывал просвещение с изначальным смыслом этого понятия — для него просветить человека значило не только образовать его ум, дать ему сведения о новейших знаниях и сами знания, по и «просветлить» его сердце. Поэтому столь туманно звучало для него общее слово «прогресс». Поэтому «успехи цивилизации», о потребности которых для России упоминал Белинский, вызывали его скептицизм. «Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации, — писал он в

черновике своего ответа. — Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут... все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская цивилизация призрак, который точно никто покуда не видел, и ежели пытались ее хватать руками, она рассыпается. И прогресс, он тоже был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, и он рассыпался».

Белинский считал, что религия не спасет Россию. Русский народ, писал он, атеистический народ, он говорит о боге, почесывая у себя пониже спины. Он отделял Христа от церкви, утверждая, что церковь давно предала своего учителя, надругавшись над его учением. Христос первый провозгласил учение о свободе, равенстве и братстве, писал Белинский.

Гоголь отвечал ему: «Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии и что, говоря о боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины... Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих...» Отстаивая русскую церковь от тех, кто, по форме служа ей, на деле оскверняет ее, Гоголь считал, что и церковь, впрочем, нуждается в очищении, в приближении к тому идеалу, который соответствовал бы ее месту в жизни человека. Он напоминал Белинскому — и не только ему — об «истории церкви», факты из русской истории, когда лучшие люди церкви помогли объединиться. «Опомнитесь!..» — писал он Белинскому.

Возглас «Опомнитесь!..» был ответом на тот же возглас Белинского: «Опомнитесь, вы стоите над бездною...» Кто из них стоял над бездною, кто был прав и кто не прав?.. И тот и другой считали, что говорят не только от своего имени (в чем не заблуждались), но от имени России. «Я представляю не одно, а множество лиц», — писал Белинский и далее говорил от имени русского народа, большинства и «массы народа». Гоголь, в свою очередь, замечал ему, что у него больше прав говорить от имени народа, потому что он был «с народом наблюдателен», и о том говорят, наконец, сочинения его. «А что вы представите в доказательство вашего знания человеческой природы и русского народа, что вы произвели такого, в котором видно это знание?» Но то был уже чистый гнев и узурпация мнения народа, узурпация в ответ на узурпацию.

В гневном преувеличении Белинский поднял руку и па Пушкина, заявив, что стоило только Пушкину написать «два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею (как будто Пушкин хотел этого!), чтобы вдруг лишиться народной

любви». И опять он говорил от имени народной любви и говорил в данном случае несправедливо: в России знали о трагедии последних дней Пушкина, никто никогда не лишал его народной любви. Ни о каком верноподданничестве Пушкина не могло быть и речи (и об этом писал в своей книге Гоголь), пи о каком прислуживании его царю (слово «ливрея», заменившее в письме Белинского слово «мундир», говорило о низкой роли Пушкина при дворе, ливрею носят лакеи) — и здесь обвинения Белинского «шли мимо», более того, для позднего исторического суда (а не настоящей минуты, которая с восторгом откликнулась на *смелость* Белинского, упустив эти подробности) имели значение непоправимого промаха.

Гоголь был прав, упрекая Белинского (в черновом варианте письма), что, подозревая его в корысти, он забывает, что у Гоголя «нет даже угла», а всего лишь один «походный чемодан». «Вы говорите кстати, — писал он, — будто я спел похвальную песню нашему правительству. Я нигде не пел. Я сказал только, что правительство состоит из нас же... Если же правительство огромная шайка воров, или, вы думаете, этого не знает никто из русских? Рассмотрим пристально, отчего это? Не оттого ли эта сложность и чудовищное накопление прав, не оттого ли, что мы все кто в лес, кто по дрова? Один смотрит в Англию, другой в Пруссию, третий во Францию. Тот выезжает на одних началах, другой на других...»

Тут проходила главная межа их разногласий: Белинский предлагал усовершенствовать общество, Гоголь — каждую «единицу» общества. «Я встречал в последнее время, — писал он все в том же черновике, — много прекрасных людей, которые совершенно сбились. Одни думают, что преобразованьями и реформами, обращеньем на такой и на другой лад можно поправить мир; другие думают, что посредством какой-то особенной, довольно посредственной литературы, которую вы называете беллетристикой, можно подействовать на воспитание общества. Но благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылкие головы... Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою».

Это было почти то же самое, что еще несколько лет назад писал сам Белинский: «Погодите, и у нас будут чугунные дороги и, пожалуй, воздушные почты, и у нас фабрики и мануфактуры дойдут до совершенства, народное богатство усилится, но... будет ли нравственность — вот вопрос. Будем плотниками, будем слесарями, будем фабрикантами, но будем ли людьми — вот вопрос!»

Так понимал Гоголь смысл «усредоточенья», так оправдывал его. «Вообще у нас как-то более заботятся о перемене названий и имен», — писал Гоголь и напоминал, что не стоит спешить с переменами, гнаться за ними, в них — а не в себе — искать панацею от всех бед.

2

Впрочем, в словах «вы *слишком* разбросались, я *слишком* усредоточился» было признание и своей неправоты. В беловике, отправленном Белинскому, этот мотив звучит определенно: «Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды... на всякой стороне есть равно благородные и умные люди. Покуда мне показалось... что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был», и «нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь». Он писал об «излишестве», в которое впадает каждая из сторон, о том, что «чуть только на одной стороне перельют... как в отпор тому переливают и па другой». Таким отпором со всеми его излишествами и было письмо Белинского к Гоголю. Как и черновой текст письма-ответа Гоголя.

Вот почему в беловом варианте его он взял власть над собой, убрал даже свою программу (свой «отпор») и оставил один призыв к миру. Он лишь туманно намекал о своем несогласии с Белинским. «Мне кажется... что не всякий из нас понимает *нынешнее* время, в котором так явно проявляется дух *настроенья полнейшего*...» (выделено Гоголем. — *И. З.).* «Не все вопли услышаны, не все страданья взвешены». «...Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает все, приемля все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной *средины* вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря...» Все это было не то, что писал он в черновике, здесь были готовые выводы, афоризмы — там преобладал анализ. Лишь «прыткий рыцарь» перекочевал из черновика в беловик: рыцарем сим был, конечно, Белинский. Гоголь предупреждал его в черновике, что тот в своем нетерпении (и при своем «пылком, как порох, уме») «сгорит как свечка и других сожжет». То было предупрежденье и увещеванье в духе Пушкина, призыв вернуться на эстетическую дорогу, на службу искусству, «которое вносит в души мира примиряющую истину, а не вражду», и напоминание о недостаточной готовности Белинского судить о современных вопросах без знания «истории человечества в источниках», на основании чтения «нынешних легких брошюрок, написанных... бог весть кем».

Все более отходил Гоголь назад, к Пушкину, и звал с собой Белинского: «Оставьте этот мир обнаглевших... который обмер, для которого ни вы, ни я не рождены... Литератор существует для другого». Так писал он в черновике. В беловике эта фраза звучала несколько туманнее: «оставьте на время современные вопросы... желаю вам от всего сердца спокойствия душевного...» Гоголь ссылался па себя и на свой пример. Он признавал, что не его дело выступать на поле брани, его дело — созданье «живых образов». «Живые образы» были образы второго тома «Мертвых душ», под сень которых *отступал* Гоголь. Он именно

отступал и честно сознавался в этом. «Поверьте мне, — писал он, — что и вы, и я виновны равномерно… И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы?» Белинский ничего не ответил на этот его вопрос. Прочитав письмо Гоголя, он с грустью сказал Анненкову: «он, должно быть, очень несчастлив в эту минуту».

Но и он сам не был счастлив. Болезнь и тоска по дому гнали его прочь из Европы. Он спешил. Причем спешил не к журнальной деятельности («я исписался, измочалился, выдохся, — признавался он Боткину, — памяти нет, в руке всегда готовые общие места и казенная манера писать обо всем…»), а в уют семьи, к дочери и жене. Все более он смягчался, все более отходил от гневного состояния, владевшего им до Зальцбрунна и в Зальцбрунне.

Но болезнь усилила раздражение и ожесточение, оп роптал и на судьбу и на обстоятельства (отношения его с новой редакцией «Современника» складывались негладко), на бога. С богом он, кажется, давно рассчитался, заявив как-то в отчаянии, что плюет в его «гнусную бороду». То, может быть, был порыв, но порыв жестокий: он уже отлучал от прогресса тех, кто думал не так, как он, кто держался за старые убеждения.

Это ожесточение он испытал и в Дрездене. Долго стоял он в Дрезденской галерее перед мадонной Рафаэля, но не нашел в ее взгляде ни благосклонности, ни милосердия. Еще более его раздражил Младенец. Он увидел в его презрительно сжатых губах жестокость и безразличие к нам, «ракалиям». С таким настроением он и приехал в Париж, в Мекку своих идей, но и там не нашел того, что ожидал. Он скучал, ему все время казалось, что ему показывают цветные иллюстрации к тому, что он читал когда-то в детстве. Мелочность интересов европейской публики (цивилизованной, образованной) поразила его. В России все как-то выглядело крупнее — само молчание русских газет и журналов отдавало каким-то грозным ожиданием, сами перебранки между Петербургом и Москвою показались ему отсюда чем-то более значительным. Оп скучал по России. Однажды, когда они гуляли с Анненковым по площади Согласия, где казнили Людовика XVI и Марию-Антуанетту, он присел на камни и вспомнил казнь Остапа. Призрак Гоголя и гоголевских образов носился перед ним.

Оправдывал ли он то, что случилось на этой площади в 1793 году? Мог ли повторить слова, сказанные им несколько лет назад по поводу французского опыта: «Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов?»

В состоянии Белинского после возвращения в Россию наблюдается раздвоение: с одной стороны, он продолжает воевать со славянофилами

и жестоко воевать («катать их, мерзавцев!» — пишет он в одном из писем), твердить о преобладающей «пользе» литературы, о «деле» и «дельности» ее, которая выше всякой формы, с другой — в нем зарождается нечто повое. «...С самого его возвращения из чужих краев, — вспоминает А. П. Тютчева, — нрав его чрезвычайно изменился: он стал мягче, кротче, и в нем стало гораздо более терпимости, нежели прежде...»

Хотя Белинский и не ответил Гоголю («какая запутанная речь», — сказал он по поводу этого письма П. В. Анненкову), хотя диалог их формально прекратился, он отнюдь не завершился по существу, ибо Белинский все время думает о Гоголе, его мысли кружат возле «Мертвых душ» и всего, что Гоголь написал, и сам он хочет писать о Гоголе, «...а там, с сентябрьской книжки, — пишет он, имея в виду сентябрьскую книжку «Современника», — о Гоголе...»

В «Ответе Москвитянину», который он печатает сразу по приезде и где «катает» славянофилов (конкретно — Самарина), он уже в совсем ином тоне пишет о Гоголе и, в частности, о «Мертвых душах». «Но зачем же забывают, что Гоголь написал «Тараса Бульбу», поэму, герой и второстепенные действующие лица которой — характеры высоко трагические? И между тем, видно, что поэма эта писана *тою же рукою,* которою писаны «Ревизор» и «Мертвые души». Он даже Коробочку, Манилова и Собакевича берет под защиту, говоря, что Манилов, хотя и «пошл до крайности», все же «не злой человек», что так же человек и Коробочка, а Собакевич, конечно, и плут и кулак, но избы его мужиков построены хоть неуклюже, а прочно, из хорошего лесу, и, кажется, его мужикам хорошо в них жить».

В этих строчках нет и следа той ярости, с какою отзывался автор «Письма к Гоголю» о «добродетельных помещиках». Тут какое-то спокойствие чувствуется, позиция «середины», а не края. Мы бы назвали ее полным взглядом, используя лексику Гоголя. Да и сам Белинский незаметно для себя начинает пользоваться этой лексикой (которая есть отнюдь не только стиль, а понимание вещей) : слово «полнота» то и дело мелькает в его статьях и письмах как синоним всестороннего и взвешенного мнения о предмете. Часто использует он его и в определении характера дарования Гоголя. «Это не один дар выставлять ярко пошлость жизни... исключительная особенность дара Гоголя состоит в способности проникать в полноту и реальность явлений жизни... Ему дался не пошлый человек, а человек вообще...»

Те же мотивы слышны и в последней статье Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», где немало строк посвящено Гоголю и где о его искусстве еще раз сказано, что оно — искусство «воспроизведения действительности *во всей истине*». Чего же более? Это полное признание художественной правоты Гоголя, правоты гения.

«Прав гений», — говорит он в одном из писем. «Гений — инстинкт, а потому и откровение, бросит в мир мысль и оплодотворит ею его будущее, сам не зная, что сделал, и думая сделать совсем не то!» «С литературой знакомятся, — пишет он в другом месте, — не через обыкновенных талантов, а через гениев, как истинных ее представителей». Отделяя Гоголя до «Переписки» от Гоголя «Переписки», он вместе с тем отделяет Гоголя и от «натуральной школы», настаивая на том, что Гоголь выше и дальновиднее: «Между Гоголем и натуральной школою целая бездна... она идет от него, он отец ее, он не только дал ей форму, но и указал на содержание. Последним она воспользовалась не лучше его (куда ей в этом бороться с ним!), а *только сознательнее*. Что он действовал бессознательно, это очевидно, но... все гении так действуют». Белинского притягивает к себе стихия интуитивных поступков гения, который в самых заблуждениях своих выражает противоречия истины.

Указав в своем «Письме к Гоголю» на его односторонность, он увидел и свою собственную односторонность в оценке художественных сочинений Гоголя, в которых, быть может, заключено больше правды, нежели во всех «загадках» «Выбранных мест».

Это умение отступать, пересматривать собственные крайности и останавливаться на более или менее остывшей истине отмечают все знавшие Белинского. В минуту кипения он готов был все положить на алтарь вдохновившей его идеи. Огнем чувства, как писал И. А. Гончаров, освещал он путь уму. «И это на неделю, на две, а потом анализ, охлаждение, осадок, а в осадке — искомая доля правды».

Он и ранее понимал, что Гоголь не ровня своим хулителям, он и в минуты наигорчайшего ожесточения против своего кумира («Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гоголь», — сказал он Анненкову в Зальцбрунне) отдавал себе отчет, насколько тот выше поучавших его. Когда один из сотрудников «Москвитянина», Н. А. Мельгунов, сказал ему после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями», что звезда Гоголя закатилась и теперь вновь воссияет звезда Н. Ф. Павлова (среднего литератора, автора нашумевших в свое время и даже отмеченных Гоголем «Трех повестей»), он заметил: «Говорят, покойный Давыдов был доблестный партизан и неплохой генерал, но не смешно ли было, если б кто из его друзей сказал ему: «Звезда Наполеона закатилась, твоя засияет теперь».

Ставя после возвращения из-за границы бессознательность Гоголя выше сознательности «натуральной школы» и все же надеясь перекинуть мост от главы школы к самой школе, он отходит от заключений своего зальцбруннского письма.

В декабре 1847 года, узнав о деле украинофилов (в Киеве было раскрыто кирилло-мефодиевское братство), он писал: «Я питаю личную вражду к такого рода либералам... Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ничего ровно, и вызывают меры крутые и гибельные *для литературы»*. Литература ставится Белинским выше глупого либерализма, ибо в ней заключена полная истина. Ее вера отличается от той, какою питается либерализм: последний все хочет «видеть не так, как оно есть на самом деле, а так, как нам хочется и нужно...»

Так — как бы в ответ на упрек Гоголя в разбрасывании — сосредоточивается Белинский. И это сосредоточенье проходит вблизи Гоголя и связывается с желанием вновь вернуться к художественным сочинениям Гоголя и понять и объяснить их читателю. Им овладевает мысль написать цикл статей о Гоголе, подобно циклу статей о Пушкине. Он желает с учетом взглядов «позднего» Гоголя и своего нового настроения разобрать и «Ревизор», и «Мертвые души», и повести «Миргорода» и «Арабесок». *«Мне надо будет писать о Гоголе, может быть, не одну статью,* — признается он в письме к одному своему молодому последователю, — *чтобы сказать о нем последнее слово»*.

Он заводит речь о Гоголе в связи с узким толкованием его комизма, понимаемого только как сатира и осмеяние.

«...Вы не совсем правы, видя в нем только комика. Его «Бульба» и разные отдельные черты, рассеянные в его сочинениях, доказывают, что он столько же трагик, сколько и комик, но что отдельно тем или другим он редко бывает в отдельном произведении, но чаще всего *слитно* и тем и другим. Комизм — слово узкое для выражения гоголевского таланта. У него и комизм-то выше того, что мы привыкли называть комизмом».

Как будто листая рукопись пишущегося вдали от его глаз второго тома «Мертвых душ», он называет почти всех будущих героев Гоголя из числа «благородных» — и благородного помещика, и благородного чиновника, и «доблестного губернатора». При этом он сознает их трагизм и говорит, что в России они не могут не быть «гоголевскими лицами», то есть лицами отчасти смешными, отчасти неидеальными, ибо «хороший человек» в нашем отечестве или невежда, или колотит жену, или уж так чист и высок, что непременно загремит в Сибирь (Тентетников). Он перебирает в уме типы «честного секретаря уездного суда», «разбойника» (уже существующий в первом томе Копейкин), а о доблестном губернаторе (будущем гоголевском князе) замечает, что его судьба — «с удивлением и ужасом» понять, что он «не поправил дела, а только еще больше напортил его и что, покоряясь невидимой силе вещей (полное угадывание ситуации второго тома. — *И. З.),* он должен считать себя несчастливым».

3

Это совпадение в обсуждении тем и образов русской жизни у Гоголя и Белинского удивительны. Диалог не закончен, он продолжается. Более того, он становится в полном смысле слова диалогом, ибо теперь во весь голос слышатся обе точки зрения и одна проникает в другую, происходит обмен, обе стороны говорят не «мимо», а друг для друга. Когда Гоголь писал в беловике Белинскому, что он «потрясен» его «Письмом», он был искренен. Но и ответ Гоголя (при всей его краткости) не был пустым звуком для Белинского.

«Я сознаюсь, но сознаетесь ли вы?» — этот вопрос Гоголя все сильнее звучал в его ушах, когда он сверял то, что увидел в Европе и что принесли оттуда вести о событиях 1848 года, со словами Гоголя «об излишествах». Идея социальности («социальность, социальность — или смерть!» — заявлял он еще недавно) начинает бороться в нем с непосредственным чувством искусства, которое никогда не оставляло Белинского и лишь в иные минуты затемнялось «головой» (я «всегда жил головой, — говорил он о себе, — и сумел даже из сердца сделать голову») .

Еще в Зальцбрунне, до получения «письмеца» Гоголя, он читает не что иное, как «Мертвые души», которые захватил с собой, и пишет жене: «я вовсе раскис и изнемог душевно, вспомнилось и то и другое, насилу *отчитался* «Мертвыми душами». *Отчитался* — значит облегчил душу, снял напряжение, освежился чистым веянием *поэмы,* как ни страшна казалась нарисованная в ней картина. Это смягчение и в отношении искусства усиливается по возвращении в Россию: он смягчается не только в отношении Гоголя, но и к славянофилам. Ноты уважения слышатся в его оценке молодого поколения славянофилов, в особенности их начитанности, капитального знания литературы и истории. «Мне он сказал об Ипатьевской летописи, — пишет он о Самарине, — а я и не знаю о существовании ее...» Какая-то боль уходящей жизни и ускользающего влияния на молодежь чувствуется в этих словах. Письма Белинского той поры — единственные свидетели его меняющегося сознания.

Они все еще стоят по разные стороны разделяющей их межи, но внутренне каждая сторона задумывается о правоте другой.

Однако то, что совершается в их душах, уже не может повлиять на Россию. Уже собираются кружки и партии, где читают Фурье и Сен-Симона, уже молодой автор «Бедных людей» прозревает готовящуюся ему каторгу, а Герцен в Париже подумывает об издании вольного русского журнала. Поражение революции не остановит его. И именно в этом журнале (в «Полярной звезде») опубликует он через несколько лет переписку Гоголя и Белинского.

Вот где разверзалась «бездна». Гоголь это понял раньше, Белинский позднее. Но вовремя поняли это и объединили их как врагов, как разносчиков духа критики и отрицанья те, которым сей дух грозил. В 1848 году один из экспертов Третьего отделения по литературе доносил в это учреждение: «Белинский и его последователи... нисколько не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то, похожее на коммунизм». Белинский «не признает никаких достоинств ни в Ломоносове, ни в Державине, ни в Карамзине, ни в Жуковском, ни во всех прочих литераторах, восхищается произведеньями *одного Гоголя,* которого писатели натуральной школы считают своим *главою*... Превознося одного Гоголя... они хвалят только те сочинения, в которых описываются пьяницы, развратники, порочные и отвратительные люди, и сами пишут в этом же роде. Такое *направление* имеет свою вредную сторону, ибо в народе... могут усилиться дурные привычки и даже дурные мысли...»

Итак, *здесь* их ставили рядом. Здесь никому не было дела до различия в их взглядах. Один был глава школы, другой тоже глава, но теоретически — за ними тянулся список последователей. Все это походило почти что на заговор, хотя и литературный. Ни Гоголь, ни Белинский, конечно, не знали об этом. Гоголь находился на пути в Иерусалим, Белинский умирал на своей квартире в Петербурге.

На дворе стоял високосный 1848 год. Он начался потрясениями в европейских столицах. Сначала взволновалась Италия, потом восстал Париж. Эхо перекинулось в Вену, Берлин. В Праге собрался сейм, который потребовал федеративного устройства славян. Австрийцы расстреляли его пушками. Разгневанный Николай решил двинуть на Европу войска. Был уже отдан приказ, но европейские послы выразили протесты.

Царь издал манифест, в котором говорил, что Святая Русь стоит твердо и не поддастся влиянию возмущений. «НО ДА НЕ БУДЕТ ТАК!» — заканчивался этот документ. Нет, «БУДЕТ! И БУДЕТ ТОЖЕ В РОССИИ», — отвечал царю неизвестный смельчак. Слова эти содержались в письме, посланном на имя Николая и подписанном «истый русский». Бросились искать «истого». Кто-то вспомнил, что в Петербурге живет один истый, точнее неистовый — Белинский. Друзья звали его «неистовым Виссарионом». Тайно потребовали в Третье отделение рукописи Белинского (а заодно и Некрасова), чтоб сверить его почерк с почерком анонима. Почерки не сошлись. Белинский все же был вызван к Дубельту. Он письменно оправдывался в своей неспособности явиться.

Раздумав двигать в Европу войска, Николай, образно говоря, двинул их внутрь и, как всегда, отыгрался на своих: был создан специальный комитет по надзору за печатью. Он стоял над цензурным комитетом и над министерством народного просвещения, которому формально

подчинялась цензура. Сам министр просвещения С. С. Уваров был заподозрен в либеральном образе мыслей. Идея о негласном комитете возникла сразу после получения депеш о революции в Париже (в конце февраля), но создание его заняло несколько месяцев. Некоторые вельможи отказались войти в него, заявив, что не желают быть «инквизиторами». На должность председателя комитета царь утвердил члена Государственного совета Д. П. Бутурлина. «Времена шатки, — писал Даль Погодину, — береги шапки».

Прежде всего досталось по шапкам литераторам. Комитет начал свою деятельность с того, что собрал всех редакторов газет и журналов и объявил: «Государь император изволил обратить внимание на появление в некоторых периодических изданиях статей, в которых авторы переходят от суждения о литературе к намекам политическим или в которых вымышленные рассказы имеют направление предосудительное».

Почти тут же последовали кары: в «Северной пчеле» не было пропущено объявление о выходе книги М. С. Куторги «Афинская республика». Был отставлен потворствовавший «славянам» попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. Бутурлин вымарывал из статей даже цитаты из Евангелия. Одни головы падали, другие возвышались. Булгарин получил орден, Греч — чин тайного советника. Министр внутренних дел Л. А. Перовский вызвал служившего у него Даля и сказал: либо служи, либо пиши.

Членам бутурлинского комитета предписывалось представлять свои замечания непосредственно государю. «...Так как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, — сказал им Николай, — то вы станете делать это за меня и доносить мне... а потом мое уже дело будет *расправляться* с виновными...» Сочинения подозрительных писателей отныне должны были быть «представляемы от цензоров негласным образом в Третье отделение собственной Его Величества Канцелярии, с тем чтобы последнее, смотря по обстоятельствам, или принимало меры к предупреждению вреда, могущего происходить от такого писателя, или учреждало за ним наблюдение...».

Но за Белинским уже нечего было наблюдать: он не вставал с постели. Он уже дышал через золото, грудь хрипела... Его выводили посидеть во двор, где чахлая майская зелень уже пробивалась сквозь камни. «Дышу через золото, а в карманах нет», — шутил он. Он уже не мог писать. Но мог еще говорить. В день накануне смерти он встал неожиданно с кушетки и стал произносить речь к народу. Он спешил, выхаркивая кровь, захлебываясь ею, он торопился высказать что-то существенное и единственное, и подхватившая его под руки жена поняла только одно: слово «гений». Он несколько раз произнес это слово. Он задыхался, вспоминает жена, с тоской и болью восклицал: «А они меня понимают?

Это… ничего, теперь не понимают, после поймут… А ты-то понимаешь меня?» — «Конечно, понимаю». — «Ну так растолкуй им и детям».

В шестом часу утра 26 мая он тихо скончался.

Всего лишь несколько человек шли за гробом. Вопреки весне пекло солнце, улицы Петербурга подсохли, и от прикосновения тележных колес, везших простой дощатый гроб, поднималась густая пыль. Какой-то нищий спросил, кого хоронят, и, не получивши ответа, присоединился к процессии. На кладбище не говорилось никаких речей. Гроб опустили в могилу, которая наполовину была залита водой (вода от растаявшего снега не могла впитаться в стылую землю). Он поплыл в ней, закачался. Быстро забросали яму землей, перекрестились и ушли, оставив возле свежего бугорка вдову и дочь.

В те дни Гоголь, уже вернувшийся в Россию, писал В. А. Жуковскому: «Умереть с пеньем на устах — едва ли не таков же неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружьем в руках».

Часть шестая. ВОЗВРАЩЕНИЕ

…Так, может быть, и здоровье. По крайней мере, от всей души прошу его и тебе и себе, чтобы на старости лет распить когда-нибудь бутылку старого вина и вспомнить все пройденное время и благодарно, признательно поблагодарить бога за жизнь.

Гоголь — А. С. Данилевскому, лето 1851 года

Глава первая. Отвлеченье на миг

Если вы подумали о каком домашнемочаге, о семейном быте и женщине, то…вряд ли эта доля для вас! Вы — нищий,и не иметь вам так же угла… какне имел его и тот, которого пришествиедерзаете вы изобразить кистью!А потому евангелист прав, сказавши, чтоиные уже не свяжутся никогда никакимиземными узами.

Гоголь — А. А. Иванову, июль 1847 года

1

В конце апреля 1848 года Мария Ивановна Гоголь получила от сына известие: «Я ступил на русский берег». Возвращение совершилось. Позади были шесть лет плутаний по Европе, дальняя дорога через море и минуты у гроба господня, к которому он так стремился. Откладывавшаяся много раз, эта поездка все-таки состоялась. Он колебался и на этот раз, но паспорт, выданный ему царем, паспорт о беспрепятственном путешествии по Востоку, обязательства, данные себе и всей России, а также начавшиеся волнения в Неаполе выгнали его из Италии. Он сел на пароход и, помолившись, отдался дороге.

Он заранее боялся ее, боялся качки, морской болезни, которая нападала на него даже при небольшой зыби, и просил всех молиться за него.

Но ветры нагнали их в открытом море. Всю дорогу от Мессины до Мальты их болтало и швыряло, и он, «в прах расклеившийся», сошел на Мальте. Отсюда отправил пачку писем во все стороны — с просьбами молиться о даровании ему тишины и покоя.

Потому что тишины и покоя на душе не было. Весь 1847 год он провел в переживаниях из-за «Выбранных мест», в переписке по их поводу и в попытках оправдаться. Он даже решился писать «ответ» на критики и написал, но оставил в портфеле, подумав, что все равно не поймут, как и в тот раз, а если поймут, то превратно. Он спрятал это дополнение к своей книге (которое хотел присовокупить ко второму ее изданию) до лучших времен, в надежде, что когда-нибудь, быть может, он и выдаст его в свет вместе с другими сочинениями, но уже все взвесив, с предосторожностью и без риска.

То была исповедь его писательства — исповедь об исповеди, где он вновь возвращался к своему странному поступку — публикации «Выбранных мест», объясняя их появление, а заодно и себя. *Преувеличение,* принесшее несчастье его книге, казалось, тяготело над ним. Желание у гроба господня (и только здесь!) испросить себе право на дальнейшую жизнь и дальнейшее писание было столь же странным. Как будто об этом нельзя было помолиться наедине с собой или в любой церкви в Риме или на Руси.

Не было в его вере неумышленности, стихийного повиновения чувству — ум, как говорил Гоголь, всегда «караулил» над ним, повелевал им. Гордость ума, осуждаемая им в других, в нем самом восставала время от времени и распоряжалась его верой. *«Поверкой разума,* — писал он в Авторской исповеди, — поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и *анализ* над моею собственной душой: я увидел тоже *математически* ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображенью... *нужно* сделаться лучшим».

Это «нужно», как и расчет и «анализ», все время тормозили чувство и желанье верить и писать, как писал он в молодости, когда ему все *само собой* удавалось и не останавливал его гложущий вопрос «зачем?», который теперь, как роковое виденье, вставал перед ним каждый раз, как только он брался за перо. «Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на каждом шагу задает вопрос: зачем?..»

В таком состоянии он уезжал в Иерусалим. То был уже не искренний порыв бегства, всегда спасавший и обновлявший его, не толчок изнутри души, всегда безотчетный и верный, а необходимость, долг, исполнение

обещаний, раздаренных направо и налево и которых, как говорит он, теперь «стыдно» было бы не выполнить.

Назвался груздем — полезай в кузов. И скрепя сердце взбирается он по трапу на пароход «Капри» и отправляется в путешествие. Он отправляется уже против воли своей, душа черства и холодна, признается он. Лишь после Константинополя, где на пароход село много русских, он почувствовал себя лучше. Он подумал, что все-таки хорошо сделал, что поехал. Тем более и морская стихия на этот раз смирилась и выстелила перед ними ровное зеркало воды, пароход будто не плыл, а летел, подгоняемый легким бризом, и восточное солнце пекло, как на Украине в самые жаркие дни лета. Он снял все черное, облачился в белую поярковую шляпу с широкими полями, светлый сюртук и панталоны. Поля шляпы хорошо скрывали его лицо, но, когда ему нужно было, он приподнимал край и быстро оглядывал физиономии, костюмы, группы и одиночные фигуры.

Тут были и греки, и турки, и французы, и англичане, и, наконец, его соотечественники. Возле него все время крутился какой-то русский генерал в темно-синей с коротким капюшоном шинели и красной феске (подлаживался под Восток), но он предпочел ему молодого священника с выговором киевского бурсака, с которым легко сошелся. Как-то вечером, на закате солнца, заговорили о Киеве, Полтаве и Нежине, где тот, оказалось, бывал.

Они настолько сжились за эти часы путешествия, что на Родосе, где пароход сделал стоянку, сошли на берег вдвоем и отправились осмотреть остатки Колосса Родосского. На острове их принял местный православный митрополит, он ласково по-русски приветствовал их и преподнес корзину померанцев из своего сада. Гоголь вглядывался в этот сад, в русское лицо с окладистой — с проседью — бородой, в умные глаза митрополита и думал, что сама судьба сводит его последнее время со священниками.

Последние годы он искал встреч с ними — тут действовали и его новые привязанности, и писательское любопытство. Оно-то, может быть, и мешало ему целиком отдаться тому, чему отдавались эти люди, хотя замечал он в них (даже лучших) и светский интерес, и тщеславие, и неполное служение своему делу. Этот тип как-то выпал из русской литературы, никто почти не касался его, и, размышляя о втором томе своей поэмы, он размышлял и об этом. Была какая-то несправедливость в том, что литература обошла священника. Пушкин, правда, в «Борисе Годунове» изобразил Пимена. Но Пимен — летописец, он записывает то, что было, Гоголь хотел видеть в священнике современный пример, учителя народа и истинного его *отца*. Когда он думал так о нем, он вспоминал Сергия Радонежского, митрополита Филиппа, грозно обличавшего царя Ивана и других русских людей, которые в этом сане

послужили отечеству. Он вез с собой икону Николая-чудотворца — покровителя путешествующих по морю и посуху, — митрополит Родосский перекрестил ее и благословил их.

На пароходе «Истамбул» они прибыли в Бейрут. Здесь его ждала радостная встреча. На одной из улиц он отыскал дом русского генерального консула в Сирии и Палестине и постучался в дверь. Ему открыл слуга.

— О ком изволите доложить? — спросил он на чистейшем русском языке.

— Скажите, что господина консула желает видеть Николай Васильевич Гоголь.

Не прошло и минуты, как по лестнице сбежал все такой же крепкий, молодой, смуглолицый друг его юности Константин Базили. Он был уже его превосходительство, но они обнялись, как когда-то, по окончании гимназии, прощаясь перед тем, как разъехаться кто куда.

Грека Базили потянуло в родные края, но и здесь он остался воспитанником России — рядом с книгами на арабском на полках его библиотеки стояли русские книги; Державин, Пушкин, он, Гоголь. Эта библиотека, разговор, рукопись, которую Базили дал гостю прочесть (то была его работа о Сирии и Палестине), — все растрогало Гоголя. Он слушал Константина с восторгом. В рассказах Базили перед Гоголем открывался Восток. Из полутемных и прохладных комнат консульского особняка хорошо было видно море, его ослепительно синий блеск, до боли режущий своей яркостью, я столь же ярко-белая земля окрестных гор, окаймленных у подножий зеленью садов.

В доме Базили было уютно, тому способствовало и присутствие хозяйки — миловидного существа с большими серыми глазами, с русской простой косой, сложенной на затылке кольцом, в простом белом платье и с невыразимой мягкостью движений, предупредительностью негромкого голоса, ненавязчивостью и внимательностью.

Обрадовавшись вначале этому веянию доброты и дружбы, Гоголь, уединившись в отведенной ему комнате, заскучал. Одиноко смотрел он на картинный пейзаж за окном и размышлял о том, что опять застигло его в пути *то* чувство — чувство *бездомности,* чувство путника, не имеющего ни угла, ни очага. Сколько раз вот так, промокший, уставший, он заезжал по дороге в чей-то дом, и находил на него счастливый сон, казалось ему, что спускается на него с высоты прошедшего его детство, шум в комнатах, голоса папеньки и маменьки, сестер, тот обычный шум жилых покоев, где поселилась и обитает *семья,* где есть люди, есть кому ткнуться головой в руки (как в детстве — матери), где любому до тебя дело, потому что ты свой, ты родной.

Много раз переживал он это, гостя у Смирновой, играя с ее детьми, бывая у Репниных, у Чертковых, Аксаковых, в большой семье Вьельгорских.

Потребность в дружбе, в любви, в *остановке* на пути, в прочной оседлости посреди беспокойств мира (и собственных беспокойств) вновь вспыхнула в нем в Бейруте. Он вспомнил об Александре Иванове и его истории. Тогда Гоголю пришлось быть поверенным в сердечных делах художника. Тот полюбил молодую графиню М. В. Апраксину. Все всколыхнулось в этом медлительном и тихом человеке, он посвежел, глаза его зажглись надеждою, и Гоголь, глядя на него и не веря в успех его предприятия, подумал: а что, если? История эта закончилась ничем, никто даже не обратил внимания на это увлечение Александра Андреевича — настолько оно показалось нелепым: кто он и кто она? Нищий художник без будущности, почти неудачник, да к тому же немолод — и красавица, аристократка. Впрочем, на пользу пошла эта неудача — не смог бы отшельник Иванов распроститься со своей картиной и променять писание ее на иную жизнь. Или — или — так решался для него вопрос. Но и этого «или» ему никто не предложил.

...В Иерусалим Базили и Гоголь въехали вечером. Въехали на ослах, как древние христиане, по каменистой дороге, после зноя полупустыни, после недели тяжкого путешествия верхом по палящим равнинам Сирии. Все эти дни их окружала пустая, рассыпающаяся под копытами в пыль земля. Сверху палило солнце, пи облачка не появлялось в небе, и Гоголь замертво свалился на кровать, когда ему отвели номер.

Засыпая, он слышал какой-то разноязыкий шум на улице, удары колотушки о доску, крики ослов и то ли говор реки, то ли ручья, то ли просто падение струй фонтана, который он заметил, въезжая в гостиничный двор.

Что осталось у него в памяти от Иерусалима? Вид с Елеонской горы? Храм на Голгофе? Или монастырь св. Иоанна? Ему показали то место, где росло дерево, из которого срубили крест Христу, Гефсиманский сад с несколькими одинокими маслинами. Травы не было: одни невысокие деревья росли на этой каменистой почве.

Люди со всего света толпились на Голгофе, и не было торжественности покоя, того способствующего размышлению уединения, о котором он мечтал, стремясь сюда. Он искал интимной встречи, свидания без свидетелей, а попал... на ярмарку.

Но еще был час или часы, показавшиеся ему минутой, по об этом пусть расскажет его письмо Жуковскому: «Уже мне почти не верится, что и я был в Иерусалиме. А между тем я был точно, я говел и приобщался у самого гроба святого... *Я не помню, молился ли я.* Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так

располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщенья меня, недостойного...»

Но то был только миг, в котором было повинно скорей его ожидание, чем его вера. «Мои же молитвы, — писал он о том же событии А. П. Толстому, с которым все более сближался последние годы, — даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность». Как будто предчувствуя, что так будет, он писал еще из Неаполя: «Мне кажется даже, что *во мне и веры нет вовсе;* признаю Христа богочеловеком только потому, что так велит мне *ум мой, а не вера*. Я изумился его необъятной мудрости и с *некоторым страхом* почувствовал, что невозможно земному человеку вместить ео в себе, изумился глубокому познанию его души человеческой... но *веры у меня нет. Хочу верить*».

Чтобы убедиться, он и поехал в Иерусалим. Поехал со страхом воочию увидеть свое безверие — и убедился, увидел. Это потрясло его. Будь это в другом месте (как не раз бывало в иных местах), это не произвело бы на него такого впечатления. Но в ту ночь он вернулся в гостиницу с ясным сознанием, что опустошен. «Как растопить мне мою душу холодную, черствую, не умеющую отделиться от земных, себялюбивых, низких помышлений?»

Раз здесь он ничего не почувствовал, то где же? «Слышащие да услышат...» Деревянными губами шептал он свои молитвы — и не были они услышаны, не могли быть услышаны, потому что молчала душа, посылавшая их.

То было еще одно крушение, падение и насмешка над его гордостью, которая, как понимал он сейчас, и влекла его сюда. «А диавол, который тут как тут, раздул до чудовищной преувеличенности...» — так было с «Перепиской», так случилось в этот раз. Но и тогда и сейчас... «намерение было чистое».

Он хотел совершенно очиститься и как бы сжечь себя (себя прошлого), как сжигал он раньше свои «маранья», но огонь не вспыхнул, не сжег его, *не очистил*. «Искупления», о котором он так молил всех молившихся за него, не произошло, «...путь в Иерусалим, — писал он Шевыреву из Бейрута, — через Сидон и древний Тир и Акру, а оттуда через Назарет, совершил... Я точно впотьмах и чувствую только одно алкание *знать*...» (подчеркнуто Гоголем. — *И. З.)*.

Его тянуло на родину. Накануне отъезда из Неаполя Гоголь написал Жуковскому письмо об искусстве. Это было не письмо, а статья, и он

даже просил Василия Андреевича поберечь ее, так как она может пригодиться ему для нового — издания «Переписки» вместо «Завещания». Книга, начинавшаяся мыслью о смерти, отныне должна была открываться статьею о труде, о творчестве. В ней Гоголь объявлял о своем возвращении, об отступлении. «Не мое дело, — писал он Жуковскому, — поучать проповедью... я должен выставить *жизнь* (выделено Гоголем) лицом, а не трактовать о жизни». «Искусство и без того уже поученье», — признавался Гоголь, выбрасывая белый флаг, оно и без проповеди проповедует.

Казалось, это отступление было единственное, на что он теперь надеялся, в чем видел спасение и возрождение. Искусство было и его семья, и жена, и дом, и вера. Оно «стало *главным* и *первым* в моей жизни, — писал оп, — а все прочее *вторым»* (подчеркнуто Гоголем. — *И. З.),* «...уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина», так как «словесное поприще есть тоже служба».

В «Завещании» он отрекался от искусства — в этом письме он вновь признавал его. «Искусство есть примиренье с жизнью!» — писал он.

В этих словах заключена вся программа второго тома, Отходя к «живым образам», Гоголь отходил с идеей об уравновешивающем и художественно уничтожающем порок *идеале,* о «прекрасном человеке», которого он «должен» выставить в последующих частях «Мертвых душ» (наконец-то оправдав название — поэма), чтобы объять всю Русь, чтоб в них «предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы перед нами видней *свойство* (выделено Гоголем. — *И. З.)* нашей русской природы».

«Живым образам» придается цель — так Гоголь-учитель остается в Гоголе-поэте, так остается он на *кафедре,* с которой хочет проповедовать, но иными средствами. «Искусство *должно,* — говорит оп, — изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтоб каждый из них почувствовал, что это *живые люди* (выделено Гоголем. — *И. З.).* Искусство *должно* выставить нам на вид все доблестные *народные* (выделено Гоголем. — *И. З.)* наши качества и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их и в себе самом и загорелся бы желаньем развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство *должно* выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все *омрачающее благородство природы нашей.* Тогда только и *таким образом* действуя, искусство исполнит свое назначенье и внесет *порядок и стройность* в общество!»

То, что ранее возлагал он на веру, он возлагает на искусство. Ему придаются цели религии. «Итак, — оканчивает Гоголь письмо, — благословясь и помолясь, обратимся же сильней, чем когда-либо прежде, к нашему милому искусству».

Таков Гоголь перед Иерусалимом, таков — и еще более укрепленный в *идее возврата* — он после Иерусалима. Иерусалим — рубеж, который он сам себе поставил и должен был перешагнуть.

Он вновь (и на этот раз окончательно) вернулся в Россию. Затянувшееся время бегства закончилось. Плутания по чужим землям и всяким «кривым» дорогам привели его наконец в родную гавань, где ждали его дом, мать, работа... и смерть. Но он не знал, что здесь подстерегает его еще одно испытание, еще один «крюк» в сторону от пути, который он себе назначил, поклявшись отдаться только одному милому искусству и забыть о земном.

Им станет, как скажет он позже, «отвлеченье на миг», отвлечение земное, сильное, которое отзовется в нем содроганьем всех нервов и еще раз оторвет его от труда и заставит вновь «пасть» в глазах самого себя.

2

Что ж, пора и в нашей книге явиться *роману:* что же за книга без романа, и герой без романа, и жизнь без романа? Роман Гоголя непохож на другие романы, он гоголевский роман: будто бы он был и вместе с тем его не было. Кажется, есть все свидетельства, и в то же время нет их, кажется, на этот раз был пойман он за руку, схвачен на месте преступления и опознан — нет, отвертелся, вывернулся, ушел и такого туману напустил всем в глаза, что, протерши их, еще долго причастные к этой истории спрашивали себя: а было ли что-нибудь на самом деле или только причудилось?

Даже сама графиня Анна Михайловна Вьельгорская, героиня романа, едва ли бы смогла ответить, было ли. И с нею, как с биографами своими, сыграл Гоголь очередную шутку: на что-то намекнул, о чем-то невзначай проговорился, но, оставив себе все пути для отступления, *ничего не сказал*. В двусмысленное положение поставил он ее тщеславие и наше любопытство — и то и другое остались неудовлетворенными, им отпущено только право на догадки, которые не могут служить доказательствами.

Но в том, что в конце 1848 — начале 1849 года между Гоголем и Анной Михайловной Вьельгорской что-то произошло, сомневаться не приходится.

То был *роман без романа* и все же полноценный роман, хотя, как и во всех душевных предприятиях Гоголя, подмешалось тут много «головы».

Чего было более — идейного расчета или чувств, — нелегко решить. Потеряв надежду учить всю Русь (рана от неудачи с «Выбранными местами» была еще свежа), Гоголь остановился на *одной* душе и этой душою избрал душу женщины.

Анне Михайловне было двадцать пять лет. Она единственная из дочерей графа Михаила Юрьевича и графини Луизы Карловны Вьельгорских была свободна. И хотя свет краем соблазнов успел задеть ее, хотя успела она избаловаться разъездами по заграницам — Вьельгорские с 1828 года странствовали по Европе и редко живали в России, — хотя русский язык был для нее почти чужим (читала и писала по-французски), тем, может быть, и лучше было для Гоголя: он подходил к своей задаче как «врач». Он часто в последние годы называл себя «врачом», имея в виду, что его дело — лечить заболевшее русское общество.

Тем более это относилось к «свету», к которому принадлежала его избранница. Гоголь хотел влиять на «свет», и он выбрал светскую женщину.

Впервые они встретились за границей. Гоголь уже был знаком с ее отцом — Михаилом Юрьевичем Вьельгорским, музыкантом и физиком, приятелем Жуковского и Пушкина, и матерью — Луизой Карловной Вьельгорской, урожденной принцессой Бирон. Познакомила их Александра Осиповна Смирнова. Но они никогда бы не сошлись, если б не горе — смерть единственного и любимого сына Вьельгорских Иосифа. Гоголь был первым, кто сообщил Луизе Карловне эту страшную весть.

В ту минуту она благодарно откликнулась на его сочувствие.

Сближение с семьей Вьельгорских началось после 1839 года. Гоголь узнал ближе и графиню-мать, и троих ее дочерей — старшую Аполлин, среднюю Софи и младшую Нози[13], как звали ее дома. Если две первые были уже замужем (одна за А. В. Веневитиновым — братом поэта, другая за В. А. Соллогубом — будущим автором «Тарантаса»), то Анна Михайловна лишь ждала своего суженого и в ожидании этом разбрасывалась, искала себя, впадала то в меланхолию, то во внезапные приступы веселья: ей прощали это, считая ребенком.

На это дитя Гоголь и обратил свой взгляд. Вначале это была невинная игра в духе Гоголя. В 1843—1844 годах в Ницце он даже с избытком был оделен благодарными слушательницами: с одной стороны, была Александра Осиповна Смирнова, с другой — они, Вьельгорские. Луиза Карловна настолько доверяла Гоголю, что отпускала Нози одну гулять с ним, и тут-то он ее выделил, отметил.

Не за красоту и не за ум, а за *разум,* как говорил он, за ту спокойную способность вникать в предмет и оглядывать его неспешно, которая так редко дается женщинам. Может, более всего он ценил в ней это

спокойствие и талант меры, вовсе отсутствовавший в страстной Александре Осиповне. Дурнота Нози все упрощала. С ней он не робел, не стеснялся. Он относился к ней как к сестре и ко всем сестрам Вьельгорским (особенно к Софье Михайловне и Анне Михайловне) как к своим собственным сестрам, называя их в письмах почти так же, как когда-то Анет и Лизу: мои миленькие, мои голубушки. «Братски-любящий вас», — пишет он Анне Михайловне после Ниццы, «благодатная» (Анна — по-гречески «благодать»), «благоуханнейшая моя»; «мои прекрасные душеньки» — это уже и матери и дочери.

Кокетничает с ним и Нози: «у меня очень много доверенности к вам», «одним словом, я всем довольна, кроме Вами...», «ваши письма мне полезны и очень приятны... надеюсь, что Вы... как ни хандрите, но *умник,* пишете для наших будущих наслаждений и пользы, гуляете, смеетесь и думаете иногда о вашей приятельнице АМ», она в тон ему называет его «братцем» и тщательно изучает его сочинения, ища в них личности сочинителя.

Их отношения несколько омрачаются в 1845 году, когда Гоголь по просьбе графини-матери приезжает летом в Париж. Он застает свою подопечную совершенно изменившейся. Она ездит по балам, до утра проводит время в парижском свете, пропадает в опере и концертах, весь ее «разум» куда-то улетучился, появилась легкость, рассеянность. Больной, вдвойне раздраженный как Парижем, так и холодным приемом Вьельгорских, он уезжает. Однако в следующем году Гоголь вспоминает о Вьельгорской и назначает ее в комитет по раздаче денег, вырученных от продажи второго тома поэмы, на нужды бедных. «Вам нужно дело, — говорит он ей. — И вот вам дело...» Он все еще числит Анну Михайловну (да и всю семью Вьельгорских) в своих подопечных.

У Гоголя возникает идея выдать ее замуж, и он — стороною, конечно, — сватает ее за родственника графа А. П. Толстого Виктора Апраксина. Но то ли невеста не приглянулась жениху, то ли жених оказался не по вкусу невесте, замысел этот расстроился.

В следующий раз он обращается к ней за делом в 1847 году — после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями». Ему крайне необходимы мнения о его книге. Он собирает их отовсюду, в том числе и из петербургских гостиных. Анна Михайловна становится его активной корреспонденткой. Ее цель — выведать мнение о «Выбранных местах» самого царя. «Поработайте же теперь для меня», — призывает ее Гоголь. И она честно трудится. Она шлет ему отклики и отзывы — как доброжелательные, так и враждебные, недоумевая, впрочем, зачем он так о них печется. В ее письмах слышится не только готовность работать на него, но и, в свою очередь, влиять. «Вы это, верно, делаете из смирения, — пишет она. — Но... помните, любезный Н. В., что ваше имя и талант обязывают вас быть самостоятельным и что вы должны иметь

некоторое уважение к самому себе и к званию писателя, важность и высоту которого вы сами глубоко чувствуете».

Это уже не тон ученицы, а тон наставницы, и Гоголь принимает его. Может быть, в эти месяцы и приходит ему на ум мысль, что Анна Михайловна как раз та женщина, которая могла бы корректировать его увлечения.

3

Ступив на русский берег, он ступил на него с надеждой на труд и с усилившимся чувством одиночества. Пример Базили не выходил из головы. Всю обратную дорогу он провел в обществе этой четы, их взаимная приязнь и ровные отношения были так же ровны на людях, как и дома. Базили явно обрел *подругу,* о которой мыслящий человек мог только мечтать. Ни тени смущенья не проникало в их близость, и никого не смущала эта близость, настолько она была скромна, деликатна. Он расстался с ними в Одессе, пожалев, что так мало пожил возле них.

Хотя Одесса встретила его восторженно и никакие толки критики, как оказалось, не могли поколебать его всевозрастающего авторитета, это не утешало его. Все равно после встреч, восклицаний, восторгов, изумлений и удивленья он оставался один, и тогда чувство бесприютности и временности его очередного пристанища возвращалось к нему.

Ему хотелось *домой* и — впервые за эти годы — к матери. Он мало вспоминал ее последнее время, а если вспоминал, то в связи с хозяйственными заботами, с советами, которые он раздраженно давал, сердясь на ее нераспорядительность, на неумение обращаться с сестрами, на непонимание того, что с ним происходит. Меж тем детские воспоминания просыпались в нем иногда вдруг — то в карете, перевозящей его из одного немецкого города в другой, то когда, заглядевшись в синее небо Кампаньи, забывался он и казалось ему, что он дома, в Васильевке, то где-нибудь посреди чужого общества, какого-то умного (и скучного) разговора, которые предпочитали вести с ним *заграничные русские.* Перебивая все это, вставали вдруг перед его взором иные картины — и болью отзывалась на них душа.

Он вспоминал и дом, и парк, и пруд за парком, и лампадку, теплящуюся у входа в сумрак гротика, и домик бабушки, где всегда было тепло и уютно и пахло травами, красками, и голос матери, зовущей его к столу, и многое другое. Его «очерствелое» сердце тогда размягчалось, слезы лились по щекам, и он просил прощения за гордость, за самолюбие, за отсутствие любви к той, которую он тан любил в детстве.

Ни маменьке (которую он с этих пор начинает в письмах звать ласковее: «матушка»), ни себе, ни друзьям своим он не признавался в этих чувствах. Но его внезапный отъезд из Одессы, порыв быть дома в день своих именин (он приехал 9 мая) был вызван ими. В отчетах же о приезде домой он скуп. «Ты спрашиваешь меня о впечатлениях… — писал он Данилевскому. — Было несколько грустно, вот и все. Подъехал я вечером. Деревья — одни разрослись и стали рощей, другие вырубились. Я отправился того же вечера один степовой дорогой, позади церкви, ведущей в Яворивщину, по которой любил ходить некогда, и почувствовал *сильно* (выделено Гоголем. — *И.З.),* что тебя нет со мной… Матушка и сестры, вероятно, были рады до пес plus ultra[14] моему приезду, но паша братья, холодный мужеский пол, нескоро растапливается. Чувство непонятной грусти бывает к нам ближе, чем что-либо другое».

В доме не застал он ни традиционного пирога, ни шампанского. Его не ждали. Даже люди были на панщине. Поднялся шум, крик, суета, работников тут же распустили, повар побежал в кладовую за припасами, обезумевшая от счастья маменька не знала, куда его посадить. Сестры теснились рядышком на диванчике в гостиной (над которым, как и встарь, красовались виды из голландской жизни и граф Зубов, засиженный мухами) и со страхом смотрели на братца, ставшего за эти шесть лет таким далеким от них, таким чужим.

«Как он переменился! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит и такой холодный, равнодушный к нам! — писала в своем дневнике Елизавета Васильевна. — …Все утро мы не видели брата. Грустно: не виделись шесть лет и не сидит с нами…

…Утром созвали людей из деревни; угощали, пили за здоровье брата… пели, танцевали во дворе и все были пьяны… Они (дворовые) были рады его видеть…

…Гости у нас каждый день…

25-го. Брат уехал в Киев…»

Дома он так и не «растопился». К тоске сердечной присоединились и беды неурожая и болезней. Откуда-то наползла холера и стала валить мужиков. Беспрестанные «жары» (все вокруг выгорело), казалось, способствовали ее распространению. Семьи вымирали за семьями. Они с сестрой Ольгой заваривали ромашку, бузинный цвет, ходили по дворам, окуривали хаты, Ольга носила с собой корзиночку с лекарствами — ревень с магнезией и сахаром, разные травы, пиявок. Докторов и фельдшеров поблизости не было, все приходилось делать самим: по старым лечебникам, по рассказам бабок-знахарок да самозваных лекарей. Эти походы были горьки и благодатны для него: давно уже не видел он, как мужик живет.

В одной хате его пригласили отведать яичницы — он отведал; в другой он нашел запустение и грязь и поспорил с хозяйкой — молодой разбитной бабенкой, на которую ужасы холеры, кажется, не действовали; в третьей их встретил угрюмый зажиточный мужик, поговорить поговорил, но в дом не пригласил.

Для Васильевских крестьян он был барин, да еще и заезжий, гость. Он живал где-то в заграницах, что-то там сочинял, по слухам, бывал даже при дворе и видел царя. Персона важная, хотя и непонятная. Издали он казался иностранцем, но стоило ему заговорить с ними, потолковать о делах, как обнаруживал неглупый мужик, что и барин его неглуп, что глаз у него приметчивый, что он *все видит,* и его не надуешь.

Да и не лез оп куда не надо, часто просто выходил в поле посмотреть, как они обрывают редкие колоски, стоял на конюшне, прислушиваясь к разговору и глядя, как запрягают лошадей, или сам брал в руки серп или лопату и работал.

В короткий срок солнце выжгло всю траву и посевы. В небе, кажется, все время собиралась гроза, духота сдавливала воздух и накаляла застоявшиеся его массы. Нигде спасенья не было — ни в тени, под купами дерев в саду, ни в пруду, вода которого стала тинисто-вязкой, зеленой — зацвела, ни под крышей флигеля, где он, чтоб отделиться от родных, поселился. Даже в глазах собак застыло какое-то тупое, безнадежное выражение. Холера все косила крестьян, и каждый день церковный колокол оповещал о новой отлетевшей душе.

Еще до холеры Гоголь успел съездить в Киев и повидать Данилевского. «Ближайший» уже имел должность, семью и, кажется, угомонился. У красавца Данилевского была жена Улинька, Ульяна Григорьевна, и черноглазая дочка Оля, которая сразу переделала Гоголя в «Гого». Ульяна Григорьевна напомнила ему Маргариту Васильевну Базили. Та же уравновешенность, внимание к собеседнику — внимание без назойливости — и ясный ум, молодость, свежесть. Вновь сжалось у него сердце при виде этого *дома,* тихого мира под семейным древом, в тени любви, при некоторой монотонности повторяющейся жизни и все же, может быть, слишком тесной каждодневной близости, которая так пугала его в браке. Он был немножко Шпонька в этом вопросе.

Гоголя всегда настораживала ложь брака и несвобода брака: ему-то, путнику, да в этот *хомут?* Чтоб кто-то только пощелкивал вожжами да помахивал кнутовищем, а он бы себе тащил этот воз? С другой стороны, иногда мечталось ему, как и Чичикову, о том, что недурно бы завести «бабенку», а может быть, и детишек, «чтобы всем было известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел по земле какой-нибудь тенью или призраком...». И рисовались ему акварельные картины с грациозной головкой у окна или в гостиной за шитьем, с

эдаким мальчуганом-сыном и красавицей дочкой поблизости, а также прочими разностями, которые он предпочитал скрывать даже от собственного воображения. Но тут же представлялся ему Пушкин, представлялась Смирнова и ее отношения с мужем, множество других примеров, и он думал, что лучше выпрыгнет в окно, как Подколесин, чем согласится на эту участь.

В Киеве ученое общество решило дать в его честь обед. Он упирался, не хотел идти. Данилевский заставил его облачиться в черный сюртук и галстух и под конвоем препроводил к месту обеда. Когда он вошел, то увидел большую залу, занятую наполовину сдвинутыми столами под белоснежными скатертями и с огромным количеством напитков и закусок, шпалеру чиновников, выстроившихся при всем параде возле стола, и приветствовавшего гостей хозяина — какого-то важного чиновника, с которым Данилевский познакомил его несколько дней назад. Замерли в рядах приглашенные, прижимая к локтю шляпы, замерли лакеи с подносами, замер, казалось, сам воздух в комнате и мухи на белых шторах и потолке, ожидая чего-то особенного.

Он сразу все оценил и понял и, смутившись в первые мгновенья, быстро опомнился. Напустив на себя строгость, прошелся он вдоль выстроенных рядов, хмуро кивая каждому и почти не останавливая ни на одном лице взгляда. Вместе с тем его беглый взгляд замечал все — и дрожанье рук, прижимавших шляпы, и застылость взоров, обращенных на «знаменитость», и искренний страх, соединявшийся с любопытством. Внутренне посмеиваясь, он дотянул до конца строя и на финише, слегка осклабившись, сделал даже жест ручкой, означавший что-то вроде «Вольно! Разойдись...». Веселого настроения хватило у него только на этот проход, на фиглярский проход Хлестакова. Сыграв эту роль, он тут же скис, как-то потерялся, захотел уйти, уехать. Данилевский удержал его. Раздавались тосты за Николая Васильевича, за нашего славного земляка, за автора «Ревизора» и «Мертвых душ» — он не слышал их. С горечью и болью вглядывался он в эту Россию, которая, чтя его, чтила не его, а кого-то другого, которого сама же и изваяла по своему образу и подобию.

Он со стыдом вспоминал эту сцену, возвращаясь домой и видя себя со стороны — в стоящем колом сюртуке, подпирающем подбородок галстухе и с золотой цепочкой, выпущенной на жилет. Кажется, Данилевский, стоящий рядом с ним, хвастал, что часы те — подарок самого Пушкина.

Было стыдно перед собой, перед Александром (которому казалось, что все обошлось хорошо), перед всеми. Не в первый раз испытывал он этот стыд. Сестра Оля рассказывала ему, что соседние помещики боятся ездить к ним, а добрая старушка Горбовская, у которой Оля воспитывалась, приехавши однажды, все оглядывалась и озиралась,

страшась, что он войдет. Потом, уезжая, она сказала Марии Ивановне: «Он нас опишет».

Так встречала его Россия, так встречался он с ней. Много раз за это лето у подъезда их дома останавливались богатые дрожки и коляски — то наезжали из губернии и уезда *посмотреть* на него. Случались и такие чины, перед которыми восьмой класс был вообще не чин. Видимо, маменька не могла удержаться от соблазна и зазывала гостей. Он даже не выходил к ним.

В удобном и отдельном от дома флигеле, где у него было три просторные комнаты с окнами в сад, ему не писалось. Он вставал в шесть, шел к пруду, омывался там водой и, попив кофию со сливками, удалялся во флигель. Но уже в восемь пекло неимоверно, и в тени термометр показывал +30, перо выпадало из рук, голова тупела.

Письма Гоголя из Васильевки летом 1848 года полны жалоб на африканский зной, на болезни, бедность, всеобщее неустройство и беспорядочность. Холера все еще не оставляла Васильевку — заболел и он, началась рвота, боли в животе, головокружение. Несколько дней и ночей весь дом был на ногах, послали в Сорочинцы к доктору Трахимовскому, но обошлось: через неделю он встал, правда, сильно ослабевший.

До этого не писалось, после этого и вовсе не стало писаться. Расстроились нервы, подступила и взяла в плен хандра, он уже хотел ехать — и съездил в Сварково, к дяде Ульяны Григорьевны А. М. Марковичу (известному знатоку истории Малороссии и малороссийского быта), в Диканьку — помолиться перед Николаем-угодником, в Будищи. В один из дней он вспомнил вдруг о графине Вьельгорской: «Где вы и что с вами, моя добрая Анна Михайловна?.. Я еще существую и кое-как держусь на свете». «...Может быть, мне удастся на несколько деньков заглянуть к вам в Петербург около августа месяца...»

4

Петербург встретил его, как он и ожидал, — без вражды, но и без любви: никаких привязанностей, клятв в дружбе, никакой тесноты отношений. Он заехал туда, сюда, толкнулся к Плетневу (тот еще не съехал с дачи), повидал Прокоповича, застав его в «роще разросшейся семьи», и... поехал в Павлино к Вьельгорским, где отмечался день именин Софьи Михайловны.

В Павлине Гоголь вдруг посмотрел на Анну Михайловну иными глазами. Он иначе взглянул и на свое отношение к ней. Положение опекуна молодой женщины в делах литературных, друга дома и даже «члена семейства», как называл его Михаил Юрьевич, показалось ему

недостаточным. К тому же он заметил, что она чем-то расстроена, возбуждена. Он спросил ее, в чем дело. Ей встретился человек, в котором она думала найти опору и понимание. Но ни того, ни другого этот человек не мог ей дать. Он не обнаружил ни ума, ни высоких чувств. Разочарование было жестоким.

Вернувшись в Москву, Гоголь тут же написал А. О. Смирновой: «Ее слова меня *испугали,* когда она сказала мне: «Я хотела бы, чтобы меня что-нибудь схватило и увлекло; я не имею собственных сил».

Испуг этот и стал началом романа. То был испуг за свою пациентку и за себя. «...Ее положение опасно, — писал он Смирновой, — она — девица, наделена большим избытком воображенья». Но тот же избыток был и в «докторе», который тоже, быть может, только и ждал случая, когда кто-то подаст ему *знак.*

Первое, что приходит ему в голову, — это привлечь ее к участию в создании второго тома. Он пишет письмо Анне Михайловне, где излагает программу ее превращения в «русскую» и сообщает, что хотел бы начать свои лекции с нею... вторым томом «Мертвых душ».

Это свидетельство высшего доверия с его стороны. Гоголь никогда никого не допускал до *неготового,* сейчас он решается на этот шаг, и эта его решимость говорит о крайней степени смущения и «испуга».

Роман Гоголя короток — он умещается в полгода. Полгода интенсивной переписки, обмена советами, намеками, запросами, окольными признаниями. Полгода почти полного отвлечения от труда в пользу настоящей минуты, отрыва от «желаний небесных» во имя «желаний земных».

Последнее письмо от нее он получил в Васильевке:

«Наконец Вы в России... Как мы обрадовались этим известием!.. Приезжайте к нам скорее. Мы вас ожидаем с нетерпением...»

Может, поэтому он и поспешил в Петербург? Может, какая-то слепая надежда гнала его?

Сейчас он был склонен всему придавать значение. Идея уже созревала в нем, и он торопился претворить ее в дело. Уже писал он ей из Москвы, что хотел бы сам читать ей лекции, хотя В. Соллогуб, которого он назначил в свои заместители и «адъюнкты», тоже способен сказать ей «много хорошего». Уже впадал он в софистику, пытаясь объяснить необходимость их встречи: «Это зависит не от того, чтобы я больше его (то есть Соллогуба. — *И. З.)* был начитан и учен, но от того, что всякий сколько-нибудь талантливый человек имеет свое оригинальное, собственно ему принадлежащее, чутье, вследствие которого он видит целую сторону, другим не примеченную. Вот почему мне *хотелось бы*

сильно, чтобы наши лекции с вами начались 2-м томом «Мертвых душ»...»

Кажется, желание сделать какой-то шаг мешается в Гоголе с сомнениями. Колебания его той поры выдают письма к другим лицам — А. О. Смирновой, М. А. Константиновскому, П. А. Плетневу. Он думает о «береге», как думает о нем его герой — Чичиков. Плутая по дорогам второго тома, Чичиков то и дело отвлекается мыслию от своего пути и начинает думать об остановке в пути, о надежном пристанище. Он тоже путник, как и Гоголь, и ему надоело скитаться и жить в чужих людях.

Страх перед искушением и жажда пристать к берегу соединяются вместе.

В ту зиму он съезжает с обжитой квартиры у Погодина и переселяется к А. П. Толстому. В доме Талызина па Никитском бульваре ему отводят в первом этаже две комнаты с прихожею — он вновь прикрыт чьей-то заботой, но то забота для него тягостная. В который раз Гоголь чувствует себя приживалом, нахлебником, хотя нет дня, когда он не становился бы к своей конторке и не писал.

Но не писалось. Мысли «расхищались», он вспоминал Вьельгорскую в момент ее рассказа в Павлине. Он никогда раньше не смотрел на нее с *этой* стороны. Зная о его вкусах, она как-то обмолвилась в письме: «Вы, которые столько любите, чтобы женщины были полны, сильны и свежего цвета лица...» Он и в самом деле был неравнодушен к женской полноте и даже о героине своей Улиньке заметил: «у нее... существенный недостаток — именно — недостаток толщины». Так смотрел на Улиньку Чичиков, по так смотрел на нее и Гоголь.

Анна Михайловна имела тот же «недостаток». Она не отличалась ни полнотой, ни свежестью лица. И он однажды довольно зло написал об этом (когда не удалось выдать ее за Апраксина) : тем, кто лечится на водах и таскается по курортам, лучше и дальше лечиться и ездить, чем выходить замуж, ибо они не годятся на «расплод». В этом плане он разделял как вкусы Чичикова, так и Селифана: Селифану тоже нравились «девки... белогрудые, белошейные... породистые», у которых «походка павлином и коса до пояса».

Так что с этой стороны обольщения быть не могло. Его и не было. «О здоровье вновь вам инструкция, — писал Гоголь в своем первом письме Анне Михайловне из Москвы, — ради бога не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол: ваша грудь слаба, вы это должны знать. Старайтесь всеми мерами ложиться спать не позже 11 часов. Не танцуйте вовсе, в особенности бешеных танцев: они приводят кровь в волнение, но правильного движения, нужного телу, не дают. Да и вам же совсем не к лицу танцы: ваша фигура не так стройна и легка. *Ведь вы нехороши собой.* Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное

движенье; видно, черты лица вашего затем уж так устроены, чтобы выражать благородство душевное: как скоро же нет у вас этого выражения, вы становитесь *дурны*».

Как ни подслащена эта пилюля, она все же горькая пилюля для женщины. Гоголь пользуется самыми сильными лекарствами, чтобы добиться нужного ему результата. Близость к дому Вьельгорских дает ему право на откровенность. Но все же эта откровенность слишком жестка. Он ставит Анну Михайловну перед необходимостью или ответить ему (и принять этот тон), или прекратить переписку. И в том и в другом случае это для него решение и выход: если она прекратит писать, стало быть, и «уроки» ни к чему, если ответит, значит, инициатива и право диктовать свои условия на его стороне.

Для Гоголя это чрезвычайно важно, так как он не мыслит себе отношений с женщиной вне своего учительства. Очень трудно представить Гоголя в роли одного из тех мужей, которых он осмеял в своих сочинениях. Муж — домашняя утварь, муж-байбак, поедающий приготовления кухни, муж, сорящий деньгами ради прихотей жены... Для Гоголя муж — это наставник, первое лицо в семье, не только хозяин имущества, но и хозяин души той, которая дана ему в подруги.

Поэтому со строгостью учителя он дает Анне Михайловне свои советы. Вслед за указанием на особенности ее лица и фигуры назначается и другое сильное средство: бросьте свет, «бросьте же его совсем». «Бросьте всякие, даже и малые, выезды в свет, — продолжает он. — Вы видите, что свет вам ничего не доставил: вы искали в нем душу, способную отвечать вашей, думали найти человека, с которым об руку хотели пройти жизнь, и нашли мелочь да пошлость».

Ожидая ответа от Вьельгорской и волнуясь по поводу того, не переборщил ли он, Гоголь шлет ей короткое поздравление с Новым, 1849 годом и взывает: «Откликнитесь!»

Она откликается полмесяца спустя. «Я мало выезжаю нынешнюю зиму», — сообщает она, как бы подтверждая покорность его советам. Русские занятия ее идут, но не так успешно, ибо гоголевский «адъюнкт» (В. А. Соллогуб) охладел к ним, а заодно и она тоже, и требуется новый учитель, которого маменька намерена сыскать. О приезде Гоголя в Петербург и лекциях по второму тому «Мертвых душ» ни слова.

Гоголь оскорбленно замолкает. И уже в начале марта получает от нее письмо, сильно отличающееся от предыдущего. Она жалуется на его долгое молчание, обижается, что он ничего не передал ей с Соллогубом, который был в Москве, и пишет, что у него, видимо, все слишком «благополучно», раз он перестал ей писать.

Вообще *тон* в этом письме совершенно другой. Он резко отличается от тона ее предыдущих писем к Гоголю. Тон этот говорит, что в Павлине что-то все-таки произошло. Впечатление, произведенное на Гоголя ее рассказом, судя по всему, не укрылось от нее.

«...Я заключила, что... все идет у вас благополучно и что вы довольны самим собою. Понимаете, в каком смысле я говорю? — спрашивает она, намекая на его *душевное спокойствие.* — Ежели мои догадки верны, я готова вам все *простить* и *даже дозволить* вам никому не писать, что *весьма великодушно* с моей стороны. Одно хотела бы знать: приедете ли вы в Петербург весной и в какое именно время?»

Это уже звучало как приглашение, и оно подкреплялось другим приглашением, точнее, назначением свидания в Москве, куда Вьельгорские всей семьей решили приехать летом, чтоб погостить в своем имении под Коломной:

«Я БЫ ОЧЕНЬ ЖЕЛАЛА, ЧТОБ МЫ СОШЛИСЬ ВМЕСТЕ В МОСКВЕ И ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ НАШИМ CICERONE. ...Надеюсь, — заключила она письмо, — ваше и мое желание, наконец, исполнится, и... я сделаюсь русскою. Вы видите, мой Н. В., что со всех сторон меня влечет сделаться русскою... как я ни сопротивляюсь этому стремлению».

Вряд ли по этому письму можно сказать, что верх взял Гоголь. Скорей над ним взят верх — и это кокетство, эти обещанья и оговорки объясняются свободою Анны Михайловны.

Что остается Гоголю? С жаром бросается он истолковывать ей смысл русских занятий, смысл самого понятия «русский» и пишет очередное письмо в духе «Выбранных мест», где об *их* отношениях нет ни строчки, но зато излагаются *его* взгляды на брак. В системе «русского» воспитания важное место занимает «частный и семейный быт», и, опираясь на положения Сильвестрова Домостроя, Гоголь рисует идеальный образ жены: она «соединенье Марфы и Марии вместе» или «Марфа, не ропщущая на Марию», Мария в этой аллегории — идейная подруга, Марфа — хозяйка, хранительница очага.

Теоретические эти обоснования, без сомнения, имеют целью Анну Михайловну, и недаром Гоголь прибавляет в одном из черновых вариантов письма: «Я хотел по крайней мере указать вам полезное, именно вам». И здесь же: «Обязательно... прочтите мое письмо матери». В приписке к этому письму, адресованной уже Софье Михайловне Соллогуб, есть таинственная фраза: «Что делает графиня Луиза Карловна и в каком расположении духа бывает чаще?» Не исключено, что это проверка настроения графини-матери *перед* шагом, на который решился Гоголь.

Перед или *после?*

5

Но прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны пояснить, о каком шаге идет речь. В биографии Гоголя он отмечен как факт сватовства к Анне Михайловне Вьельгорской. По слухам, Гоголь сделал свое предложение через Веневитиновых — сестру Анны Михайловны Аполлинарию Михайловну и ее мужа Алексея Владимировича Веневитинова. Был ли кто-то из них в ту зиму и весну в Москве, сделал ли Гоголь свой запрос в письменной форме — неизвестно. Сами Веневитиновы (как и Вьельгорские) не решились придать этому делу огласку. Опять-таки согласно слухам или легенде Гоголю было отказано, но отказано еще на первом этапе, то есть сами Веневитиновы и отсоветовали ему идти со своим предложением дальше. Они были убеждены, что Луиза Карловна ни за что не согласится на этот брак. И Гоголь взял свои слова обратно.

Так говорит легенда.

Она вполне соответствует духу поведения Гоголя в таких ситуациях.

Получить отказ из первых рук было бы для него величайшим посрамлением. Кроме того, это было бы уже официальным сватовством, которое невозможно было бы скрыть. Он же хотел наибольшей секретности. Веневитиновы как раз подходили для этой роли. Они были как бы частью семьи Вьельгорских и вместе с тем жили отдельно. Зная благородство и независимость этой четы, он мог рассчитывать на сохранение тайны. Тайну ему гарантировал и их семейный интерес.

В письме от 30 марта 1849 года — письме, которое мы цитировали, нет и намека на предстоящее сватовство. Более того, Гоголь относит свои колебания и сомнения на этот счет в прошлое. Вот что он пишет:

«Наконец, я испытал в это время, как не проходит нам никогда безнаказанно, если мы *хотя на миг* отводим глаза свои от того, к которому ежеминутно должны быть приподняты наши взоры, и *увлечемся хотя на миг* какими-нибудь *желаньями земными* наместо небесных...»

Этой гоголевской датировке его настроения трудно верить. Он часто так забегает вперед в своих письмах, чтоб сбить с толку адресата. «Что касается до поездки моей в Петербург, — пишет он в том же письме, — то, несмотря на все желанье видеть людей, близких моему сердцу, она должна до времени быть отложена по причине не так устроившихся моих обстоятельств. А не так устроились обстоятельства по причине предыдущей, то есть от не так удовлетворительного расположенья духа».

Если связать слова о неудовлетворительном расположении духа со скорбью по адресу увлечения желаниями земными, то можно понять,

что он имеет в виду. Гоголь потому и оттягивает свое явление в Петербург, что еще не знает, как там отнесутся к его «идее».

«Время опасно. Все *шаги наши* опасны», — писал он еще в январе П. А. Плетневу, намекая в том числе и на шаг, который сделал Плетнев, — на его брак с княжной Щетининой. *«Обстоятельства тяжелы»,* — признается он в конце марта в письме домой, поздравляя мать и сестер с наступающей пасхой.

«...Все неверно, — пишет он Данилевскому. — Вполне спокойным может быть теперь только тот, кто стал выше тревог и волнений и *уже ничего не ищет в мире,* или же тот, кто просто бесчувствен сердцем и *позабывается плотски».*

Он называет свои чувства отвлечениями и увлечениями. Он страшится отдаться им как единственной жизни, как тому, что и есть жизнь.

«Я просто стараюсь не заводить у себя ненужных вещей, — пишет он в Васильевку 3 апреля 1849 года, — и сколько можно *менее связываться какими-нибудь узами на земле.* От этого будет легче и разлука с землей. Довольство во всем нам вредит. Мы сейчас станем думать о всяких удовольствиях и веселостях, задремлем, забудем, что есть на земле страданья, несчастья. Заплывет телом душа...»

В этот день, 3 апреля, он пишет сразу несколько писем. Почти привычка у Гоголя, к тому же пасха. Он спешит поздравить всех и похристосоваться. Но во всех этих письмах и коротких записках звучит один мотив — мотив о неустройстве своем, о каком-то «омуте», втягивающем его не вовремя, об «овраге» сбоку дороги, куда может завести собственный *ум* (В. А. Жуковскому), о пожелании самому себе (и другим) спасения от «всего нечистого».

И все-таки именно в этот праздник, — может быть, и под влиянием чувств, пробужденных им (и в тайной надежде на божье благословение в эти дни) — и решается он сделать тот шаг, от которого берег себя.

Точную дату сватовства мы не можем установить. Было оно сделано *до* 3 апреля или *после* него — неизвестно. Но после 3 апреля Гоголь отправляет Анне Михайловне Вьельгорской письмо, которое свидетельствует, что факт сватовства имел место.

«Мне казалось необходимым написать вам хотя часть моей исповеди. Принимаясь писать ее, я молил бога только о том, чтобы сказать в ней одну сущую правду. Писал, поправлял, марал, вновь начинал писать и увидел, что нужно изорвать написанное. *Нужна ли вам,* точно, *моя исповедь?* Вы взглянете, может быть, холодно на то, что *лежит у самого сердца моего,* или же с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и что писано было затем, чтобы *объяснить дело,* может

только потемнить его... Скажу вам из этой исповеди одно только то: *я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге.* Изныл весь душой, и состоянье мое было так тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее от того, что мне *некому было* его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что *сюда замешались отношенья к вашему семейству;* все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете *продолжать сердиться* на меня за то, что *я окружил вас мутными облаками недоразумений,* Тут было *что-то чудное,* и как *оно случилось,* я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, все *случилось* оттого, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ (выделено Гоголем. — *И. З.) взглянули* легко, по крайней мере гораздо легче, чем следовало. *Вы бы все* меня лучше узнали, если бы случилось нам прожить подольше где-нибудь вместе не праздно, но за делом. Зачем, в самом деле, не поживете вы в подмосковной вашей деревне? Вы уже более двадцати лет не видали ваших крестьян. Будто это безделица: они нас кормят, называя нас же своими кормильцами, а нам некогда даже через двадцать лет взглянуть на них! *Я бы к вам приехал также.* Мы бы *все вместе* принялись дружно хозяйничать и заботиться о них, а не о себе. Право, это было бы хорошо и для здоровья и веселей, чем обыкновенная бессмысленная жизнь на дачах...

Мы бы, верно, *все* стали чрез некоторое время в такие отношения друг к другу, в каких следует нам быть. Тогда бы и мне и вам оказалось видно и ясно, ЧЕМ (выделено Гоголем. — *И. З.) я должен быть относительно вас.* Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: бог недаром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как *верный пес,* обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество *господина своего. Не сердитесь же;* вы видите, что отношенья наши хотя и *возмутились* на время каким-то налетным возмущеньем, но все же они не таковы, чтобы глядеть на меня *как на чужого человека,* от которого должны вы таить даже и то, что в минуты огорченья хотело бы выговорить *оскорбленное* сердце. Бог да хранит вас. Прощайте. Обнимите крепко всех ваших. Весь ваш до гроба

Н. Гоголь».

В нашем «темном» романе наступает наконец-то некоторое прояснение. Все же высказанное здесь Гоголем недвусмысленно. Слова о «верном псе» при «господине своем» говорят сами за себя.

Не вызывает никакого сомнения, что «предложение» Гоголя дошло до Анны Михайловны и ее матери. И у них был повод «рассердиться» на него. Во-первых, он сделал это без предварительного разговора с ними, во-вторых, окольным путем. Сама идея о том, что Гоголь может стать членом их семейства в полном смысле этого слова, тоже должна была

смутить — по крайней мере, графиню-мать. Гордая внучка Бирона должна была вознегодовать на этот «дерзкий» поступок. Ее дочь и Гоголь? Как ни высоко она ценила его умственные способности, как ни трезво смотрела на внешние данные своей младшей, но все же это был *не жених*.

Гоголь еще не знает об этой реакции графини-матери, но старается предупредить ее гнев через дочь. Понимая, что и Анна Михайловна имеет основания сердиться на него, он оправдывается, отступает, но отступает с честью, с развернутым знаменем, если можно так сказать.

Это единственное из известных нам *любовное письмо* Гоголя остается все же письмом *Гоголя*. В нем не только оправдания, но и поучения, порицания, в нем есть гордость Гоголя, хотя есть и его смущенье.

С одной стороны, он называет вещи своими именами («верный пес» и т. д.), с другой — ничего не говорит о *существе дела,* хотя называет свершившееся «делом». Дело сие уже «случилось», отношения к семейству Вьельгорских в него уже «замешались» — он признает факт какого-то поступка со своей стороны, но все же не решается назвать его. И здесь присутствуют «мутные облака недоразумений», позволяющие ему уйти без позора.

Не зря перед нами не черновой текст, не *живое* письмо, писанное с помарками и зачеркиваниями, не стыдящееся подставить свои слабости и описки, а беловой текст, выправленный до последней запятой, без единого следа состояния писавшего его.

И — в довершение всего — на нем *нет даты*.

Это как бы письмо, отправленное никому и никуда, ибо и имени Анны Михайловны Вьельгорской здесь не упоминается тоже.

И лишь связь этого письма с другими письмами к Вьельгорским и некоторые бытовые подробности, говорящие о том, что они имеют отношение к их семейству, ставят это безымянное послание Гоголя на место в действительной истории его жизни.

Уже в письме от 3 июня 1849 года к Анне Михайловне Вьельгорской есть *прямая ссылка* на безымянное письмо: «Вот отчего мне казалось, что жизнь в деревне могла бы больше доставить пищи душе вашей, нежели на даче». Этот факт, как и другие факты, позволяет нам отнести безымянное письмо Гоголя к 1849 году. В Полном собрании сочинений Н. В. Гоголя (Изд-во АН СССР. М., 1952, т. XIV) оно датируется весной 1850 года, так же датировал его и биограф Гоголя В. И. Шенрок. В. Шенрок считал, что после факта сватовства отношения Гоголя с Вьельгорскими, по крайней мере письменные, должны были прерваться. Отношения эти прервались в 1850 году. Но причиной прекращения

переписки было вовсе не сватовство, а общее ослабление интереса Гоголя к своим корреспондентам, в числе которых находились не одни Вьельгорские. Начинался иной кризис — творческий, отдалялось окончание второго тома «Мертвых душ», и уже сосредоточение на поэме (и на себе) отвлекало Гоголя от всего другого.

Что же касается продолжения переписки между ним и Вьельгорскими в конце 1849 и начале 1850 года, то она должна была продолжаться: это было в интересах и Гоголя, и семейства графини Анны Михайловны.

В пользу того, что безымянное письмо было написано весной 1849 года, говорит и контекст гоголевской переписки с другими лицами. Ничто в письмах весны 1850 года не намекает на катаклизм, потрясший все существо Гоголя. Есть жалобы на болезнь, на «простуду», на «изнурение телесное», но это обычные жалобы обычного Гоголя. Письма весны 1849 года кричат о потрясении, вопиют о нем. В них, наконец, есть прямые цитаты из безымянного письма, текстуальные совпадения с ним. «Я весь исстрадался...» — пишет Гоголь в мае 1849 года А. О. Смирновой. «Я много исстрадался в это время» — В. А. Жуковскому. «Я много выстрадался с тех пор...» — пишет он Вьельгорской. Обращенный к ней совет пожить среди крестьян и упрек в связи с нежеланием сделать это почти буквально повторены в письме к сестрам от 3 апреля того же года: «Как бы то ни было, бедные крестьяне в поте лица работают на нас. А мы, едя их хлеб, не хотим даже взглянуть на труды рук их...»

Такие текстуальные совпадения невозможны, если письма пишутся с разрывом в год. В окружении писем весны 1849 года письмо к А. М. Вьельгорской выглядит естественно, в контексте переписки весны 1850 года оно не подкрепляется связью с настроением Гоголя той поры.

К весне 1849 года относится и еще одно указание на конец «романа». «Слава богу! — пишет с облегчением Гоголь матери. — ...Ни я не женился, ни сестры мои не вступили в брак, стало быть, меньше забот и хлопот».

Ответа на «часть» своей «исповеди» Гоголь не получил. Было ли то ожидание ответа на «исповедь» или на сам факт неудавшегося сватовства, мы не знаем, но письмо Гоголя к Анне Михайловне от 16 апреля 1848 года выдает его волнение и нетерпение: «На мое длинное письмо вы ни словечка... Если вы на меня за что-нибудь рассердились... Но нет, вы на меня не можете рассердиться, добрейшая Анна Михайловна. За что вам на меня сердиться? Верно, это случилось так, само собою...»

Ожидая ее в Москве (о приезде в Петербург уже нет и речи), он надеется, что «о многом придется поговорить тогда; теперь же *боюсь вам наскучить и сказать что-нибудь непонятное* (далее было: «одно только и то весьма старую новость»). Скажу вам покуда только то, что я

убеждаюсь ежедневным опытом всякого часа и всякой минуты, что здесь, в этой жизни, должны мы работать *не для себя, но для бога*. (Выделено Гоголем. — *И. З.). Опасно и на миг* упустить это из виду…»

6

Слово «миг» часто мелькает в письмах Гоголя той поры, и особенно в тех, которые поясняют его роман. Это обозначение времени романа, его неожиданности, внезапности и скоротечности, того приступа чувств или фантазии, который возмутил его тихую отшельническую жизнь.

Был миг, когда он захотел выйти из кельи, зажить той же жизнью, какою живут все, но понял в тот же миг, что это доля не для него. Оскорбление мечты было жестоким и отрезвляющим. Он вновь получил «оплеуху», как и в истории с «Выбранными местами». То был удар по его очередной попытке соединить мечту и действительность.

Читатель уже успел заметить, что роман Гоголя — это роман в письмах, это форма отношений с женщиной, которую сам Гоголь высмеял в «Записках сумасшедшего». Роман в письмах — это роман бумажный, роман Манилова, роман Хлестакова. Впрочем, у Гоголя и Чичиков в любовных делах способен только на мечту. И все его герои в любовных делах мечтатели, поэты, неумелые ученики, и лишь в снах они способны на большее, лишь в опьянении им видятся некие картины, когда они побеждают, одерживают верх и получают в возлюбленные губернаторских дочек или… графинь.

То лишь фантастические предположения насчет любви, а не сама любовь.

Да и была ли тут любовь? «Нервическое ли это расположение или истинное чувство, я сам не могу решить», — напишет Гоголь спустя месяц после этой истории сестре Анны Михайловны Софье Соллогуб, и хотя эти строчки будут иметь отношение уже к другим чувствам его — к радости по поводу движения в работе над поэмою, — то же он мог бы сказать о своей «любви».

Мы смело ставим это слово в кавычки, будучи уверены, что любви не было. Было разогретое воображение, забегание вперед, заочное торжество в мыслях, воспитательная идея, доведенная до феномена романа, — но не сам роман. В растерянности отступив, Гоголь спешит извиниться за нанесенные «оскорбления». Так же как и после выхода «Выбранных мест», он просит прощения у оскорбленных им. «Я скорблю и болею не только телом, но и душою, — пишет он матери 12 мая 1849 года. — Много нанес я оскорблений. Ради бога, помолитесь обо мне. О, помолитесь также о *примирении* со мною тех, которых наиболее любит душа моя!» «Не было близких моему сердцу людей, — говорит он в письме С. М. Соллогуб от 24 мая, — которых бы в *это время* я не

обидел и не оскорбил в припадке какой-то холодной бесчувственности сердца».

Кто же эти близкие люди, которых он оскорбил? Матери и сестрам он пишет нежные (более нежные, чем когда-либо) письма. Нет конфликтов и с другими «ближайшими» ему. Разве с одним Погодиным он опять поссорился, но одна эта ссора не могла вызвать *такого покаяния*. Поступок, принятый Вьельгорскими как оскорбление, — вот что он имеет в виду. И не случайно на письмо от 16 апреля Анна Михайловна *не отвечает* ему.

Возникает вопрос: почему Гоголь не порвал с этой поры с Вьельгорскими, почему хотя бы оскорбленно не замолк, как с ним всегда бывало, когда он чувствовал урон, нанесенный его гордости?

Он думал о защите своего детища — второго тома поэмы, который после пережитого отвлечения вновь двинулся и ожил. Теряя Вьельгорских, от терял опору в Петербурге: больше никого не было из его защитников перед светом, перед двором, перед царем. А. О. Смирнова была далеко — в Калуге. После ревизии, которую послал Николай в Калугу, чтоб проверить, честно ли исполняет свои обязанности калужский губернатор Н. М. Смирнов, ее отношения с Николаем Павловичем пошатнулись. Жуковский жил в Германии — он был уже не у дел.

Отказываться от продолжения отношений с Вьельгорскими было слишком рискованно. Да и *не посмел* бы он пойти на такой поступок. Как ни велик он был даже в собственных глазах как писатель, он сознавал в России 1849 года свое место. Даже в письмах, обращенных к Луизе Карловне, он после слов «Ее сиятельству графине Л. К. Вьельгорской» в скобках приписывал: «урожденной принцессе Бирон». Он не мог преодолеть этого сословного страха в себе. Вот почему, «съежившись» и на этот раз, он продолжает переписку. Он приглашает Анну Михайловну в Москву — уже не для выяснения природы их отношений, а для осмотра московских святынь, живописи в московских церквах и для развития «русских» занятий. Он просит о том же Софью Михайловну, желая через нее повлиять и на графиню-мать. Самой Луизе Карловне он не пишет, понимая, что в эти горячие минуты такое письмо может лишь испортить дело.

Одним словом, здесь пускаются в ход уже дипломатические способности Гоголя, направленные к улаживанию конфликта. В главные адресатки избирается нейтральная сторона — Софья Михайловна Соллогуб, менее всего «оскорбленная» фактом сватовства.

17 мая 1849 года С. М. Соллогуб ответила ему, что Вьельгорские на лето не приедут в Москву. При этом она ссылалась на решение Михаила Юрьевича, то есть главы дома. Но Гоголь прекрасно знал, что это отписка. Михаил Юрьевич ничего не решал, то было решение Луизы

Карловны, столь же дипломатически — через посредника — переданное Николаю Васильевичу.

Письмо Софьи Михайловны, обычно нежно относившейся к Гоголю, говорит о том, что тень гнева матери пала и на ее отношение к нему. «Вы убеждены, надеюсь, — пишет она, — что мы часто вспоминаем о вас, но вы также должны знать, что занятий у меня вдоволь и, право, не успеваешь». Один этот тон ее письма мог бы свидетельствовать в пользу факта сватовства! «Мы надеемся много рисовать, — продолжав! Софья Михайловна, — много читать и наслаждаться спокойной жизнью».

И тем не менее это сухое письмо вызывает бурный восторг прощенного Гоголя. Он воспринимает этот ответ именно как прощение, потому что уже не надеялся получить от Вьельгорских какого-либо письма. Отношения восстановлены, и пусть не в том виде, какими они были до сих пор, но все же разрыва нет, а значит, нет и связанных с ним последствий. «День 22 мая, в который я получил ваше письмо, — пишет Гоголь С. М. Соллогуб, — был один из радостнейших дней, каких я мог только ожидать в нынешнее скорбное мое время. Если бы вы видели, в каком страшном положении была *до полученья* его душа моя, вы бы это поняли...» И далее дает оценку своему поступку: «Я действовал таким образом, как может только действовать в *состояньи безумия* человек, и воображая в то же время, что действую умно».

Он почти кается в своем безумии, как Поприщин, тоже дерзнувший взглянуть на генеральскую дочь. В то же время он шлет письмо А. О. Смирновой и просит ее особо уведомить Софью Михайловну (а через нее и Луизу Карловну и Анну Михайловну), какое «чудо» над ним произвели ее строки. Он хочет уверить встревоженных графинь, что все понял, что ничего подобного с его стороны более никогда не повторится, что готов забыть происшедшее. В письме к С. М. Соллогуб он укоряет себя в «эгоизме» и «жестокости сердца» и пишет, что они «все до единого стали теперь ближе» его «сердцу, чем когда-либо прежде».

И еще одна подробность из письма С. М. Соллогуб от 24 мая 1849 года важна в нашем романе. Это приписка: «Обнимите Веневитиновых. Я их смутил неуместным письмом. Что ж делать, утопающий хватается за все».

Никакого пояснения этим словам, никакого намека или обмолвки, объясняющей их смысл, нет более в письме Гоголя. Указание на Веневитиновых подтверждает легенду. Стало быть, и запрос о предложении, вероятней всего, был сделан письменно. И здесь действовало письмо, а не сам автор.

«Вы теперь стали мне *все* ближе...», «что вы делаете *все*... вы *все* стали ближе моему сердцу... увидимся *все* вместе... Бог да сохранит... *всех* вас...» Такая переориентация с *одной* на *всех* в гоголевском письме не

случайна. Надо знать его характер, чтоб понять, что ни одного слова он не поставит зря, ни в одном месте невзначай не опишется, а если уж опишется, то тут же, как птица зазевавшегося червяка, выхватит из черновика неосторожное слово его острый глаз — и не быть тому слову представленным пред очи читателя.

После этого — косвенного — прощения Гоголь мог уже получить и прямое благоволение от самой пострадавшей. Анна Михайловна — естественно, с разрешения матери, — пишет ему письмо. Оно не дошло до нас, но можно быть уверенным, что в нем ни словом не упомянуто об имевшем место «оскорблении».

3 июня 1849 года Гоголь откликается: «Нужно покориться. Не удалось намерение быть в том месте — нужно осмотреться, как нам быть на этом».

Это относится и к их нежеланию ехать в Москву, и к своей участи отвергнутого. «И только дивлюсь божьей милости, не наказавшей меня столько, сколько я того стоил».

Письмо это полно уже и гоголевских софизмов, и гоголевских поучений. Слабым голосом он еще дает Анне Михайловне какие-то наставления, пробует объяснить ей ео обязанности в семье (в частности, по отношению к детям ее сестры, чьи души можно образовать «путем любви»), но это пишет уже затихший Гоголь и протрезвевший Гоголь. Ища ее дополнительного снисхождения, он ссылается на болезнь, которая с приходом весны «расколебала» его всего.

Но уже в начале лета 1849 года в переписке Гоголя возникают иные ноты. «Весной заболел, но теперь опять поправляюсь», — сообщает он 5 июня К. Базили. Он пишет о минувшем обольщении головы и П. А. Плетневу (в письме от 6 июня), о некоем «похмелье, которое наступает после первых дней упоения и так называемых медовых месяцев» (тут прямой намек и на женитьбу Плетнева), когда «просыпается человек» и чувствует, что «спал, а не жил».

Итак, Гоголь сам дает название своему роману: СОН. То был сон, наваждение, искус поэтической мечты, которая на этот раз увлекла его слишком в сторону от прямого пути.

Как последний отзвук этой бури, невидимо для посторонних глаз пронесшейся в душе Гоголя, звучат строки его письма к сестре Елизавете Васильевне весной 1850 года: «Наше дело: любим ли мы?.. А платит ли нам кто за любовь любовью, это не наше дело... Наше дело любить. ТОЛЬКО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ВЗАИМНА».

7

Заглянем в записную книжку Гоголя тех лет и прочтем, как он представлял себе эту любовь.

«1) Прежде всего обязанности мужа и жены вообще. Обязанности их прозаические, житейские: муж — хозяин своего отделенья, жена — хозяйка своего отделения. Тот и другая идут своей дорогою, соединяются в семье. Здесь еще одна только половина брака.

2)Муж, избравши себе поприще и путь, избирает жену, как помощницу, которая, кроме того, что, оградивши его от всех развлекающих занятий, доставив ему свободное время возложеньем на себя всех забот домоводства и мелочей жизни (могла ли эта «теория» сойтись с образом жизни и привычками Нози?" — *И.* 3.), служит ему возбуждающею, стремящею силою, небесным звонком, зовущим его ежеминутно к его делу. *Она — часть его мысли,* живет в его деле...

Год приготовленья к супружеству, чтобы осмотреть все и вступать как в знакомый дом, где известно всякое место, чтобы быть в состоянии с того же дни пойти как по знакомой дороге, олицетворив в себе порядок и стройность. Все распределено вперед, час минута в минуту и, осенясь крестом, приниматься за дело, как *в строгом монастыре,* как в строгой школе. Кто повелевает... (Фраза не закончена. — *И. З.)* Но все утверждено еще прежде: оба они невольники установленного ими закона».

Строки эти вписаны Гоголем в книжку после записей о посещении Иерусалима и Петербурга в 1848 году. Их можно считать прямо относящимися к роману с Вьельгорской. Но не для нее был этот строгий устав. Не так она была воспитана, чтоб запереть себя в монастыре и школе. Еще в Париже графиня-мать беспокоилась за ее легкомыслие и жаловалась Гоголю, что Нози, не дай бог, влюбится, и тогда пиши пропало, потому что влюбится, да не в того. О том, что Анна Михайловна слишком увлекается «польками» и легко смотрит на жизнь, предупреждала его и Смирнова.

Но он был уверен, что та духовная игра, которую она вела с ним (для него это была не игра), приведет к его полному торжеству над нею и в области чувств.

Вскоре после этой записи в книжке есть строка: «Nosy and then». В переводе на русский это означает «НОЗИ и ТОГДА». Что значит «тогда»? «Тогда» или «после»? Во всяком случае, это обозначение какого-то действия во времени, которое должно совершиться. Не станем гадать, заметим только, что и в записной книжке Гоголя среди адресов, деловых записей и набросков ко второму тому есть и имя Анны Михайловны Вьельгорской.

Настоятель «монастыря» остался при своем монастыре, она — за оградою его. Но «отвлеченье», которое пережил Гоголь, дорого стоило ему.

Оно было ударом по его личному самолюбию и по самолюбию «идеи», которая лежала в основе романа. Еще один выход на люди, попытка прямым образом повлиять на действительность не удалась. Отдавшись своему «отвлеченью» *на миг,* он тем не менее отдался ему полностью. Роман нанес урон его спокойной жизни, ее распорядку, он ворвался в его келью как вихрь и снес все предметы. «Гляди и любуйся красотой души своей, лжесвидетель, клятвопреступник, первый нарушитель закона и святыни, думающий быть христианином и не умеющий пожертвовать пылью земной небесному...» — эти слова, которые он вписал в ту же записную книжку, обращены Гоголем к себе.

Роман был *изменой* труду, клятвопреступлением по отношению к нему, жертвой «пыли земной». «Моя мерзость», «недостоинство мое», — пишет он Н. Н. Шереметевой, — «моя низость». Он клеймит и поносит себя за это отступленье от своих обязанностей. И в этом осуждении себя проявляется нравственный максимализм Гоголя. То, что для обыкновенного человека составляет обыкновенное событие, для него мерзость и падение.

Так же как в истории с «Выбранными местами», это был выход Гоголя за границы «милого искусства», отречение от него, несущее за собой и наказанье. Переход от учительства к «любви» был неестествен и чересчур тороплив. Это была натяжка ума, натяжка гордости, стремящейся преодолеть естественное, в один прием перескочить расстояние, которое необходимо для развития чувства.

Нетерпеливый, как и его герои, он именно жаждал какого-то внезапного «чуда», какой-то фантастической удачи, с какою все сделается само собою. Но так в жизни не бывает. Титулярные советники не становятся вмиг королями, а коллежские регистраторы — членами Государственного совета.

«Поверьте, девушка не способна почувствовать возвышенно-чистой дружбы к мужчине; непременно заронится инстинктивно другое чувство, ей сродное, и беда обрушится на несчастного доктора, который с истинно-братским, а не другим каким чувством подносил ей лекарство».

Так писал Гоголь А. О. Смирновой 18 ноября 1848 года из Москвы. Он только что вернулся из Петербурга, и встреча в Павлине была свежа в его памяти. Он только начинал обдумывать ее последствия и развязывать нить воображения. Как бы предвидя ситуацию, в которую он попадет, он в интересах безопасности меняет все местами: в

положении доктора оказывается девушка, «беда» исходит не от него, а от нее.

Письмо это было ответом на просьбу Смирновой поближе сойтись с дочерью С. Т. Аксакова Машенькой (которая была на год старше Нози). «Вашим советом позаняться хандрящею девицею... не воспользовался», — резко отводил совет Смирновой Гоголь. Он как бы отводил этим подозрения Александры Осиповны (знавшей его лучше, чем кто-либо) от того, что уже занялся одной «хандрящею девицей» и что «инстинктивно другое чувство» уже заронилось в нем. Но он же сам себя от этой «беды» и вылечил. «Здоровье мое лучше», «здоровье мое порядочно», — пишет он. «Время летит в занятиях», — сообщает он осенью 1849 года Смирновой. «Все время мое отдано работе» — это уже из письма С. М. Соллогуб и А. М. Вьельгорской. Заметим, что у этого письма два адресата и на первом месте на этот раз стоит сестра, а не сама Нози. С романом покончено. «...Часу нет свободного, — продолжает он. — Время летит быстро, неприметно. О, как *спасительна работа* и как глубока первая заповедь, данная человеку *по изгнанию его из рая:* в поте и труде снискивать хлеб свой! Стоит только *на миг оторваться* от работы, как уже невольно очутишься во власти всяких искушений. А у меня было их так много в нынешний мой приезд в Россию!»

«Изгнанье из рая» выглядит весьма красноречиво. Но и за пределами «рая» Гоголь продолжает жить. И может быть, веселее, чем тогда, когда — хотя бы в воображении — находился в нем. Все его письма Вьельгорским (то Анне Михайловне, то Софье Михайловне и Анне Михайловне вместе) летом 1849 года говорят о полном «излечении» от болезни.

Он шутит, он смеется, он позволяет себе весело откликаться на их веселости, шлет им книги по ботанике, тетради для записи названий трав — одним словом, поддерживает прежние отношения. Такое спокойствие даже шокирует их. Во всяком случае, оно отзывается обиженным любопытством в младшей Вьельгорской. И она пишет, что не отдаст сестрице его ботаники, не поделится с нею его тетрадями, — Гоголь в ответ ни звука.

Он пропускает все это мимо ушей и лишь на приглашение *заехать* во время своего путешествия по северо-восточным губерниям, которое он хотел предпринять, шутовски отвечает: заехать? Отчего не заехать? Я все равно «живу сегодня у одного, завтра у другого. Приеду и к вам тоже и проживу у вас, не заплатя вам за это ни копейки».

20 октября, поздравляя Софью Михайловну с новорожденной дочерью, насчет своего обещания заехать уточняет: «С удовольствием помышляю, как *весело* увижусь с вами, когда кончу свою работу».

Эти обещания приехать его ни к чему не обязывали. И вовсе не собирался он к ним ехать, раз ставил условие: когда кончу работу.

Такой тон уже обижает Вьельгорскую. Вот что она пишет ему 17 января 1850 года: «Как я рада, что вы прилежно занимаетесь... это доказывает... что вы здоровы и хорошо расположены... Прекрасна судьба истинного... писателя, которому дано свыше владеть умами и сердцами людей, которого влияние может быть так важно, так обширно! *У вас цель в жизни, любезный Н. В.! Она вас совершенно удовлетворяет* и занимает все ваше время, *а какую цель мне выбрать?* Из всего моего рисованья, чтения и пр. и пр. никакого толку не будет. *Не сердитесь и не браните меня* мысленно! Я только шучу, хотя и не совсем». «За что же мне бранить вас, добрейшая Анна Михайловна? — пишет он ей 11 февраля 1850 года. — За ваше доброе милое письмо? За то, что вы не забываете меня?» — и далее пускается с нею в споры о преимуществе доли писателя. «А меня не забывайте в молитвах, — заканчивает он письмо. — Ваш весь Н. Г.».

Как и Гоголь, мы могли бы здесь поставить точку. Но роман закончен, а слухи о нем лишь начинают жить. Бывает, что слухи опережают события, бывает, что они совпадают по времени с событием. Но в гоголевском случае, где все — конспирация и неопределенность, где каждый пустяк двусмыслен и тайна за семью печатями, слухи выскакивают наверх, как опоздавшие школьники, когда уже прозвенел звонок.

Уже в начале 1850 года, после того как Гоголь провел несколько недель у А. О. Смирновой и ее мужа в Калуге, он пишет ей по поводу нового приглашения приехать: «Думаю даже, не повредил бы чем-нибудь мой приезд; пойдут еще новые какие-нибудь нелепые слухи». А в мае он почти то же самое повторяет в письме к матери: «Теперь время лжей и слухов. И о себе я слышал такие слухи, что волосы могли бы подняться на голове, если б я ими покрепче смущался...»

Все это, без сомнения, имеет отношение и к А. О. Смирновой. Слухи об его увлечении ею распространились в России (преимущественно в Москве) еще до появления Гоголя здесь. По приезде — когда их встречи с Александрой Осиповной возобновились — слухи могли ожить. Поездка Гоголя в Калугу тоже работала на них. Но распространительница этих слухов — Москва уже успела воочию убедиться, что фактов никаких нет. Гоголь и Александра Осиповна успели за это время не раз показаться ей на глаза вдвоем, и приметливая матушка-Москва ничего не заметила.

Разве только до маменьки могло доползти что-то столетней давности, но не из-за одной Александры Осиповны страхуется тут сын. Как ни замаскировано было сватовство, как ни хладнокровно — в смысле утаения существа происходящего — провел эту операцию Гоголь, он все

же не мог рассчитывать на ее полную секретность. Он и Смирновой говорит: вот видите, ходят слухи и о нас, а ничего ведь нет. Но Александру Осиповну, пожалуй, труднее всего было провести…

Последнее письмо к Вьельгорским — точней, к одной только Софье Михайловне — написано Гоголем 29 мая 1850 года. «В России мне не следовало заживаться, — пишет он. — Я «странник», и мое дело — только «временный отдых на теплой станции».

Глава вторая. Снова в дороге

Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в мире, играющей жизнию, как игрушкой, что жизнь — не игрушка.

Гоголь — М. А. Константиновскому, апрель 1850 года

1

Теперь, когда отдых кончился, можно было снова подниматься в путь. Вновь звала его дорога — дорога Чичикова и дороги России. Хотелось «проездиться», посмотреть невиданные места и дать новую работу душе и глазу. Глаз истосковался. Накатанный путь из Полтавы в Москву, из Москвы в Петербург и обратно, дороги Европы, даже морской путь в Иерусалим представлялись ему теперь объезженными, заезженными. Он отвык от русского и от России, отвык на этих избитых дорогах, когда по сторонам мелькало одно и то же.

Желание свернуть в сторону все сильней одолевало его. Он не был ни в Симбирске, ни в Нижнем, ни во Владимире (хотя тот совсем близко от Москвы), ни в Ярославле. Хотелось заглянуть и в северо-восточные губернии (хранительницы русской старины и языка), и на юг, где темперамент славянской природы сказался во всей силе. В мыслях маячила и Сибирь, куда, как уже решил он, должен был отправиться (не по своей воле) один из героев второго тома.

Все теперь в нем работало на этот том, уже однажды написанный и сожженный и вновь воскресший за годы скитаний в виде разрозненных набросков и глав. Все, все нес он туда — и сведения из русской ботаники, и анекдоты, услышанные от знакомых и встречных, и записи о хозяйственных нуждах различных губерний, и собственные страдания и переживания этих лет. Память, все еще уязвленная и болевшая, начинала тем не менее плодоносить — она отдавала себя поэме.

Не было минуты, когда Гоголь перестал бы думать о ней. Даже во время качки на пароходе, во время одинокого сидения на Мальте, в древнем Назарете, где их с Базили застал дождь и где они просидели два дня у стен Святого Града, и в Москве, когда он, запертый в своих двух комнатках на Никитском, ждал вестей из Петербурга.

И в дни «тревог и колебаний» не оставлялась работа. Смешной сюжет вырабатывался в несмешной, что-то произошло с его Чичиковым, как и с ним самим, и, хотя он называет его в письмах «скотина Чичиков», это ласковое название: он уже привязался к своему герою, хотя, кажется, привязаться к нему трудно.

На смехе, на извечном его даре, в котором он начал сомневаться и от которого было отрекся, и на проповеди, которая тоже была *его* стихией, и стал он возводить новое здание новой части поэмы. Начал возводить, приневоливая себя и стараясь помирить раздваивающие ее начала.

Порой, развеселясь, он смотрел на Чичикова как на вечного своего попутчика, оба они как «барки среди волн» качались — один по чужеземным, другой по русским дорогам, оба были одиноки, и поклажа у них была одинаковая — у Чичикова чемодан и шкатулка, у Гоголя чемодан и портфель. Чичиковские *бумажки* заменяли Гоголю его *бумаги,* которые он, как и Павел Иванович, ни на мгновение не отпускал от себя, спал и ел с ними, а садясь в экипаж, ставил портфель между ног или под руку и, дремля, опирался на него рукой.

Когда был начат второй том? Еще во время переписывания первого. Когда был начат он в мыслях? Может быть, еще тогда, когда Гоголь набрасывал главы первого. Но стал складываться он как капитальное здание а капитальная мысль после выхода в свет «Мертвых душ». Отклик России на них стал одним из соавторов Гоголя в строительстве второго тома.

В то время когда Гоголь переписывался с Вьельгорской и надеялся на изменение своей судьбы, второй том медленно, но верно подходил к завершению. Л. И. Арнольди, совершивший с ним летом 1849 года путешествие в Калугу к своей сестре А. О. Смирновой, вспоминает, что однажды, будучи у Гоголя на квартире, заглянул из любопытства в его тетрадь, лежащую на конторке, и прочитал слово «генерал-губернатор». Генерал-губернатор — князь — появляется у Гоголя в конце второго тома, стало быть, уже в середине 1849 года том этот был, по-видимому, вчерне готов. Готов или набросан во всех своих частях, так как речью князя перед чиновниками города и его отъездом в Петербург, как и отъездами остальных действующих лиц, хотел Гоголь закончить вторую часть поэмы.

То был финал всеобщего разъезда — герои Гоголя как бы скрывались во глубине России, выполняя его заветную мечту самому окунуться в нее, попробовать русской жизни и набраться русского духа. Уезжали из Тьфуславля Муразов и Хлобуев, выезжал Павел Иванович Чичиков, и, произнесши перед своими крестьянами прощальную речь, отбывал в сопровождении жандарма в Сибирь Тентетников. (Эту прощальную речь

Тентетникова и читал Гоголь С. П. Шевыреву на его даче летом 1851 года.)

Калуга — первый город, который Гоголь посещает после зимнего сидения в Москве. Он едет к старому другу Александре Осиповне зализать раны, пожаловаться, а заодно пощупать своими руками губернию, пошевелить русскую тину, как Балда у Пушкина шевелит веревкой море.

Арнольди вспоминает, что Гоголь выехал в путь добрый и какой-то возбужденный. «Я взял с собою в Калугу одного француза вместо камердинера, — пишет Арнольди — ...Француз, не привыкший к такому экипажу, беспрестанно вскрикивал, держась за бока, и ругался на чем свет стоит... Гоголь смеялся от души и при всяком новом толчке все приговаривал: «Ну еще!.. Ну, хорошенько его, хорошенько... вот так! А что, француз, будешь помнить тарантас?»

Дорога его развеяла. Он много шутил, рассказывал анекдоты, вспоминал Пушкина, Малороссию. Потом вдруг соскакивал с тарантаса и принимался рвать траву, приносил ее охапками и радостно объявлял об ее названии — как по-латыни, так и по-русски. При этом он приговаривал, что русское название в тысячу раз благозвучнее латинского. Все его волновало — и виды по сторонам, и прохожие. Если попадался навстречу умный мужик, он заводил речь с ним (кажется, уже за полверсты видел, что тот умен), купец подсаживался в трактире напиться чаю — говорил с купцом, а в Малоярославце, пока чинили треснувшую дрогу и колесо, насел на местного городничего. Он расспрашивал его, «кто именно и чем торгует, где сбывает свои товары, каким промыслом занимаются крестьяне», и, по выражению Арнольди, как пиявка, не мог оторваться от подателя сведений. По пути заехали в имение Смирновых Бегичево. Губернаторша встретила его объятиями.

В Бегичеве и Калуге, куда они приехали вместе, Гоголь потребовал от Александры Осиповны выложить все губернские новости, сплетни, рассказать о делах ее мужа, о примечательных людях города. Он почти не бывал в своей комнате в огромном губернаторском доме на берегу реки, его тянуло на люди: в торговые ряды, в лавки, он толкался среди гомонящего народа, заговаривал с половыми, с кузнецами, с квартальными, а в деревне, напившись с утра кофию, пропадал в поле с косцами, на пасеке. Однажды они съездили в соседний Полотняный Завод, и он увидел узкую речку Суходрев, осененную раскидистыми ветлами, под которыми когда-то удил рыбу Пушкин, имение деда Натальи Николаевны и вспомнил, что здесь она и прожила с детьми первые несколько лет после смерти поэта... Все здесь приходило в упадок, громадный дом Гончаровых разрушался, земля была заложена и перезаложена, и мелькнул перед ним образ красавицы, которую ни за какие коврижки нельзя было запереть в этом «монастыре», среди

прекрасных (но скучных для нее) видов, ее, привыкшую к блеску паркета и бальным свечам, как воздухом дышащую поклоненьем и жадным вниманием к ней.

Еще одно событие из этой поездки запало ему в память. Отобедавши в малоярославском трактире, они вышли пройтись. Кучер все еще чинил колесо, и городничий предложил им посмотреть монастырь святого Николая, стоящий на возвышении, над тем самым полем, на котором в 1812 году разыгралось знаменитое Малоярославское сражение. Оно и решило участь великой армии.

Поднялись на холм. Солнце заходило. Горели золотые кресты на куполе собора. От стен монастыря открывался вид, в котором легко было затеряться взгляду. Внизу, под самым обрывом, вилась река, за ней свежо зеленела рожь, волны ее, чуть колеблемые теплым ветерком, уходили вдаль, к синеющему на горизонте леску, откуда выходили когда-то идущие на смерть русские полки.

Милый сердцу простор! Он вдруг отозвался в сердце, пробудил затаенные струны, ударил по ним.

2

Взглядом с высоты открывается второй том «Мертвых душ»[15]. Это взгляд с высоты, на которой стоит дом Тентетникова, и с высоты балкона его дома. Но это не просто физическое положение смотрящего — будь то автор или его герой, — а некое духовное парение их обоих и растворение в пространстве, их окружающем. Какая-то раскрепощенность и свобода внутренние чувствуются в этом полете, в этом вольном озирании русского пейзажа и спокойствии созерцающего. Если попробовать взглянуть с той же точки на первый том, то, кажется, увидишь перед собой небольшой клочок земли, на котором тесно посажены: губернский город, деревня Манилова, деревня Собакевича, деревня Ноздрева. Чичиков как будто и ездит и передвигается в каком-то пространстве, но ощущения пространства нет, кажется, он кружит возле одного места, и некоторые виды, мелькающие по сторонам, не вызывают в нем интереса.

Во втором томе они просто хватают его за сердце. Тут что ни кусок дороги, то даль, что ни новый вид, то новое отвлечение в мыслях Чичикова, новые его мечтанья, которые лишь изредка — и на мгновения — вспархивали в его сознании в первом томе. Там он редко *отвлекался т задумывался,* здесь он только этим и занят. Уже не кромешная ненастная ночь сопровождает его в путешествии, не грязь и лужи русских дорог, а как-то все время ясно на небе: солнышко светит, и далеко видно вокруг, и вёдро, вёдро стоит над всем вторым томом.

Обещанная в конце первого тома даль, разрывавшая его тесные границы и уносившая уже не тройку Чичикова, а саму Русь бог весть куда, тут становится явью. С первых строк читатель (и герой) попадает в *разлив* этой шири, и вольно и неторопливо *плывет* знакомый нам экипаж по русским равнинам, поднимаясь на гребни возвышенностей, плавно спускаясь с них и вновь оказываясь на равнине, за которой опять открываются горы, леса, извивы бесконечных рек, неровная линия горизонта и что-то еще за горизонтом, что нельзя описать словом, а что может только видеть душа.

«На тысячу слишком верст, — пишет Гоголь, — *неслись,* извиваясь, горные *возвышения*. Точно как бы *исполинский вал* какой-то *бесконечной крепости,* возвышались они над равнинами то желтоватым отломом, в виде стен, с промоинами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклостию, покрытой, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то, наконец, темным лесом, еще уцелевшим от топора. Река, верная своим высоким берегам, давала вместе с ними углы и колена по всему пространству; но иногда уходила от них прочь, в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь, перед солнцем, скрыться в рощи берез, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровожденьи мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте».

Это и есть вид с холма, на котором стоит деревня Тентетникова. «Вид был очень недурен, — продолжает Гоголь, — но вид сверху вниз, с надстройки дома на равнины и отдаленья, был еще лучше... *Пространства открывались без конца*. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами сквозь мглистый воздух желтели пески. За песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их *вечное солнце*. Кое-где дымились по ним легкие туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни; но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз... Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой гость и посетитель, и после какого-нибудь двухчасового созерцания издавал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: *«Силы небес, как здесь просторно!»*

Кажется, весь опыт классики, римского величественного искусства впитала здесь кисть Гоголя. Кажется, это уже не проза, а монументальная фреска на стене храма, застывшая в своих гигантских пропорциях, как вечное солнце и вечная красота. И вместе с тем это пейзаж России. Он кажется недвижным, некая застылость созерцания чувствуется в нем, но бег реки, движение возвышений (они «неслись») придают ему льющийся эпический эффект. Даже с недвижной точки, с которой наблюдает эту картину художник, он видит в ней жизнь,

перемещения, колебания, одушевленный простор, а не немое полотно. Этим и объясняется восклицание созерцателя, и созерцатель тот не кто иной, как Чичиков, попавший в гости к Тентетникову.

Чичикову Гоголь во втором томе отдает не только свою любовь к голландским рубашкам и хорошему мылу, но и это тревожное ощущение вдохновения посреди простора «беспредельной Руси». Даже в главе о Петре Петровиче Петухе, главе, кажется, целиком комической, написанной в стихии первого тома и «Ревизора», где перед нами предстает русский Гаргантюа, в главе, где поедаются без числа жареные телята на вертеле, какие-то свиные сычуги, набитые кашей, кулебяки со щеками осетра и грибочки, бобочки и гарниры, есть это веяние пространства России, как бы стряхивающее с героев умственный сон. В первом томе Гоголь, может быть, на сцене объедания и тяжелого сна после обеда и закончил бы эту главу, здесь она неожиданно выносится на простор весенней реки, по которой мчатся лодки с гребцами, и сам Петр Петрович Петух, глядя на вечереющее небо и на воду, испытывает что-то такое, что не испытывали ни Собакевич, ни Коробочка, ни Ноздрев, ни Манилов.

Тут-то и является «беспредельная, как Русь» песня, отдающая по берегам и прибрежным деревням (слушая ее, пишет Гоголь, «сам Чичиков чувствовал, что он русский»), и тот разлив лирического чувства, который увлекает какой-то удалью, как некогда в «Тарасе Бульбе». Стихия «Тараса Бульбы» спорит во втором томе со стихией «Ревизора» — Гоголь переносит краски и образы величественного прошлого в настоящее, и это не фальшивая накладка героики на быт, а истинное сознание величия Руси, в каком бы виде она ни представлялась взору.

Слушая первые главы второго тома, С. Т. Аксаков сказал, что талант Гоголя не только не погиб, но стал еще выше, ибо еще могучее обнаружилась в нем способность видеть в пошлом человеке высокую сторону. Эта высокая сторона все время слышится в героях второго тома. Она просыпается и в самодуре генерале Бетрищеве, когда речь заходит о событиях 1812 года (в которых он участвовал), и в его дочери Улиньке, которая, впрочем, вся состоит из высоких чувств, и в Тентетникове, байбаком сидящем у окна в халате и курящем трубку, а затем поднимающемся и расправляющем плечи, и в Хлобуеве — разорившемся помещике, спустившем все состояние на угощенья, актрис и модные тряпки, и в Чичикове, которого, право же, не узнать, хоть он и прежний Чичиков, но какой-то «поистершийся и поизносившийся», как пишет Гоголь.

То и дело как-то *«льготно»* делается у него на душе (как в вечер, когда они проплывают по реке с Платоновым и Петухом), и видятся ему часто совсем не те картины, которые должны были бы видеться воображению

«железного» человека. «На терпеньи, можно сказать, вырос, терпеньем воспоен, — говорит Чичиков о себе генералу Бетрищеву, — терпеньем спеленат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье». Но и это терпение (предполагающее невозмутимое спокойствие во всех обстоятельствах), и дрессировка детства, воспитавшего его в строгих правилах расчета, ничего не могут поделать с новыми чувствами в Чичикове.

Чичиков — этот все-таки сознательный пройдоха — превращается здесь временами в Хлестакова — пройдоху по случаю, по недоразумению, по поэтической способности к вранью.

Это начало *разрушения* гоголевского героя, превращения его во что-то другое, что — ни он, ни автор не могут пока с точностью сказать. Выезжая из второго тома, Чичиков выезжает из него не так, как выезжал из первого. Там он потирал руки и предвидел новую поживу. Он весело смотрел вдаль. И смерть прокурора, и похоронная процессия, пересекшая ему дорогу, не могли смутить его. Он убегал, он скрывался от неприятностей, он ехал опять плутовать, но в другом городе и другой губернии. Из Тьфуславля (так называется во втором томе губернский город) он не улепетывает, не несется в радостном возбуждении освобождения. «Это была какая-то развалина прежнего Чичикова, — пишет Гоголь. — Можно было сравнить его внутреннее состояние души *с разобранные строеньем,* которое разобрано с тем, *чтобы строить из него же новое;* а новое еще не начиналось, потому что но пришел от *архитектора* определительный план и работники остались в недоуменья...»

Как нетрудно догадаться, архитектор этот — Гоголь. И план возведения нового зданья на месте старого и из материалов старого отложен им на следующую часть.

Идея второй части (или второго тома) и состоит в том, чтобы поколебать нерушимые, кажется, основы строения Чичикова и *разрушить* его — разрушить во имя иного строительства. Процесс разрушения и составляет сюжетную канву второго тома, соответствующую его идейной канве, и тут Гоголю помогает изменившийся взгляд на героя и изменение взгляда самого героя на себя и на окружающее пространство.

Сам характер разъездов Чичикова меняется. Во-первых, он никуда не спешит, не торопится, как в первом томе, и позволяет себе занимать чужие коляски и лошадей в полной уверенности, что вернется на покинутое место, вернет их хозяевам и еще, быть может, поживет у них. Он и в самом деле заживается у них, как человек уставший, как человек задумывающийся, как делец разрушающийся. Облака мечтаний находят на него и у Тентетникова, и у Бетрищева, и у Костанжогло, и при осмотре имения Хлобуева.

Он и ездит к ним, кажется, уже не по своей воле, а потому, что случайные обстоятельства толкают его на это: к Бетрищеву — мирить того с Тентетниковым; к полковнику Кошкареву — чтобы сообщить ему, как родственнику Бетрищева, о помолвке Улиньки и Тентетникова (кстати сказать, мимоходом устроенной им, Чичиковым, даже и не заметившим, что сделал *доброе дело);* к Костанжогло он отправляется потому, что о том его просит Платонов — брат жены Костанжогло. Потом заезд к Платоновым, потом к Леницыну (опять же с целью помирить его с Платоновыми), а до этого к Хлобуеву, на покупку имения которого Костанжогло дает ему взаймы.

Конечно, Павел Иванович не забывает при этом и о своей цели, но цель эта как-то разбавляется и разжижается во втором томе. Чичиков следует ей *по инерции,* прежнего азарта и упования на эту аферу у него нет. Да и все, что он видит вокруг себя, убеждает его в том, что пора заняться приобретением не фантастического, не сказочного, как пишет Гоголь, а настоящего имения, приобрести не мифические земли в мифической Херсонской губернии, а в самой что ни на есть середине России, где ни от кого не скроешься и где можно *честным путем* наживать миллионы.

Эту мысль внушает ему примерный хозяин Костанжогло.

Костанжогло — это ходячая мысль Гоголя, хотя в ней есть и черты живого лица или, по крайней мере, намечавшегося живого образа. Когда Гоголь читал главу о Костанжогло А. О. Смирновой в Калуге, она заметила, что тот не думает о доме и о судьбе своей жены. Гоголь радостно ответил: «А вы заметили, что он обо всем заботится, но о *главном* не заботится». Самое главное здесь — человечность, которой сознательно лишает Гоголь своего героя. И хотя мы имеем дело с черновиком (о котором — без воли автора — вообще не стоило бы судить), все же и в нем видны следы этого подчеркивания желчности Костанжогло, его резкости, непримиримости в противоположность благодушию Чичикова и сонности Платонова.

Желчность и черствость «.хозяина» — подробность, которую Гоголь живо видел в людях такого типа. Откровенный неуют дома Костанжогло тоже говорит не в его пользу, хотя в доме преобладает простота быта, сторонником (и проповедником) которой был Гоголь.

С появлением грека Костанжогло в поэме и особенно его речей о ведении хозяйства, о путях спасения России на началах разумного устройства труда сюда врывается стихия «Выбранных мест», стихия органически гоголевская, но уже, бесспорно, враждующая со стихией, как говорил Гоголь, «осязательного пластического изображения». Но мог ли Гоголь так *сразу* отказаться от самого себя? Нет, конечно, как не может этого сделать и его герой. Чичиков все еще мечтает о миллионе (благо он появляется в виде миллионов Муразова и миллионов некой

старухи Ханасаровой), о внезапном успехе с помощью необыкновенного приключения, и он последний раз играет ва-банк, подделывает завещание старухи и, кажется, уже получает в руки желанное богатство, но, как и в первом томе, упускает его. Поиграв в его глазах золотым миражным блеском, оно исчезает, как и тысячи, схваченные им на таможне, как и дома итальянской архитектуры, построенные им за счет взяток в Комиссии Построенья.

Мы уже говорили, что дорога составляет ось сюжета второго тома «Мертвых душ». Все так же ездит Чичиков и разъезжает, но дорога-то ведет его уже не туда.

Крушение Чичикова во втором томе состоит не в крушении его очередного замысла (или авантюры), не в просчете, который он допустил при осуществлении их, а в крушении внутреннем. Что-то ноет и сосет его, и в кружении с «мертвыми душами», в подделке завещания, в темных связях с контрабандистами и магом-юрисконсультом он нет-нет да и вспомнит про эту боль. Кажется, вертится он с прежней увертливостью, и лоск на нем тот же, и изощренность ничуть не потускнела, но распад уже начался, и воли не хватает, чтоб *довести дело до конца*. Вновь целую губернию ставит он в тупик по поводу того, кто он, и честные люди принимают его за «приятнейшего человека», вновь все нити интриги устремляются к нему, и он их ловко запутывает, но не может завязать в последний крепкий узел: то борьба в душе мешает, колебания, сомнения и *отвлечения*.

Гоголь говорил, что появление второго тома «Мертвых душ», может быть, подготовит русского читателя к чтению «Одиссеи». Он имел в виду размах поэмы Гомера, ее эпическую глубину, к которой сам устремлялся в своем сочинении. Он и Чичикова хотел дотянуть до Одиссея, сделав из него истинного *героя,* может быть, даже «богатыря», как называет Чичикова Муразов. Он имеет в виду данные Чичикову от природы задатки, те же терпение и волю, которые при направлении в благую сторону способны творить чудеса.

Добрый Муразов не может исправить его своими речами: через минуту после умиленного слушания этих речей и разрывания на себе фрака наваринского дыма с пламенем герой Гоголя готов вновь броситься в объятия порока и вручить свою судьбу шайке Самосвистова и мага-юрисконсульта. Но в сцене с Муразовым Чичиков искренне пытается что-то вспомнить, что-то выдрать из своей затвердевшей памяти, что-то такое, что было все-таки в нем и, наверное, есть, если присутствие его он чувствует в себе.

То именно совесть и способность отличать добро от недобра. Сцена эта как бы подготовлена другим эпизодом в одной из предшествующих глав, где задумываются вдруг Чичиков, Бетрищев и Улинька об анекдоте про

«черниньких» и «белиньких», который только что рассказал им Чичиков и который по-разному отозвался в душах участников разговора. В том анекдоте плуты чиновники в ответ на немой вопрос управителя-немца, которого они чуть не сгноили в тюрьме, а выпустивши, обобрали (хотя он ни в чем не был виноват), в ответ на вопрос, зачем же они это сделали, говорят: «Ты все бы хотел видеть нас прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, *ты полюби нас черниньким, а белинькими нас всякий полюбит»*. (Выделено Гоголем.)

«Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца, — пишет далее Гоголь, — другому смешно было оттого, что смешно изворотились плуты; третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что *и в паденьи своем гибнущий грязный человек требует любви* к себе? Животный ли инстинкт это? или *слабый крик души,* заглушенной тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающейся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющей: «Брат, спаси!» Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата».

Был четвертый. И этим четвертым, видящим всю сцену и передавшим ее во всем ее внутреннем противоречии нам, был автор. Он это увидел, и он отвлек от *анекдота* и вознес на невидимую высоту, с расстояния которой мы увидели весь ужас этой истории. «Брат, спаси!» — это возглас души Чичикова в финале второго тома, когда через «деревенеющую кору мерзостей» пробивается его исповедь.

«Нет, поздно, поздно», застонал он голосом, от которого у Муразова чуть не разорвалось сердце. «Начинаю чувствовать, слышу, что не так, не так иду, и что далеко отступился от прямого пути, но уже не могу. Нет, не так воспитан. Отец мне твердил нравоученья, бил, заставлял переписывать с нравственных правил, а сам крал передо мною у соседей лес и меня еще заставлял помогать ему. Завязал при мне неправую тяжбу; развратил сиротку (в первом томе этих подробностей детства Чичикова не было. — *И. З.),* которой он был опекуном. Пример сильней правил. Вижу, чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь веду не такую, но нет большого отвращенья от порока: огрубела натура, нет любви к добру, этой прекрасной наклонности к делам богоугодным, обращающейся в натуру, в привычку. Нет такой охоты подвизаться для добра, какова есть для полученья имущества. Говорю правду — что ж делать».

«Какие-то неведомые дотоле, незнакомые чувства, — объясняет состояние своего героя Гоголь, — ему необъяснимые, пришли к нему. Как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то... *подавленное* из детства суровым, мертвым поученьем, беспριветностью скучного

детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, и как будто то, что было подавлено суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутное, занесенное зимней вьюгой окно, хотело *вырваться на волю*».

И вновь стоит напомнить читателю, что это лишь черновик, лишь смутное подобие того, чем хотел наполнить эту сцену Гоголь. Но и черновик дает представление о том, *как* должно было разрушаться во втором томе («строенье» Чичикова.

Идея порока, передающегося, входящего в душу через дурной пример, через впечатления детства, начала жизни, порока, в котором и не повинен, быть может, обладатель его, проносится в этом отрывке. Вновь появляется здесь автор, который все это видит и слышит с высоты, но не с безразличной горней высоты, где одно созерцание и ослепительный холод, а с высоты, одушевленной состраданием и скорбью к падшему. Грешный человек еще более достоин любви, потому что он пал, потому что лишь любовью его и можно поднять, потому что, чувствуя в себе способность на ответную любовь, он и может подняться.

Анекдот о «черниньких» и «белиньких» занимает особое место в поэме. Он — взрыв чувства Гоголя и взрыв идеи второго тома, которая под смешки и хохот слушающего этот анекдот Бетрищева и рассказывающего его Чичикова как бы пародийно оборачивается на самое себя, переиначивая истину Евангелия: полюби ближнего, как самого себя. «Полюбите нас черниньками, а белинькими нас всякий полюбит...» — этот рефрен анекдота звучит как напоминание о том, что «белиньких» любить легче, любовь к ним ничего не стоит, это чистая, стерильная (и почти мертвая) любовь; но любовь к «черниньким» — любовь живая. Полюбить «черниньких» — возвысить, помочь, такая любовь есть подвиг.

Такова философия второго тома, где карающий бич смеха Гоголя хлещет, кажется, с прежней силой. Уже не генералы на картинках и табакерках осмеиваются здесь, а генерал во плоти Бетрищев, который с первых минут клюет на Чичикова, на его лесть и заискиванья и чванится и рисуется перед ним, тыча тому в лицо бесцеремонным «ты». До его толстокожего сердца не доходит анекдот о «черниньких» и «белиньких», он с ходу верит басне Чичикова о дядюшке, который будто бы не хочет отказывать в его пользу наследство, пока Чичиков не раздобудет нужных трехсот душ. И этот же Бетрищев, воевавший когда-то с Наполеоном и отличавшийся в сражениях, а значит, и терявший в них своих боевых товарищей и солдат, готов продать Чичикову хоть «все кладбище» — так говорит он о своих умерших крестьянах — и смеется этой забавной шутке: «Ха-ха-ха!»

Чичиков в тон ему подобострастно подхихикивает: «Хе-хе-хе…»

Но и этот Скалозуб (впрочем, не без добрых чувств, как замечает Гоголь) меняется и теплеет под влиянием любви Улиньки и Тентетникова и горячей речи будущего зятя, которая не уцелела в бумагах Гоголя, но воссоздана в воспоминаниях Л. И. Арнольди, о роли единства русской нации в 1812 году. Он как бы оживает перед лицом своего собственного прошлого, своей прекрасной молодости, которая прошла на полях сражений.

В третьем томе, по рассказам Гоголя, то же самое должно было произойти с Плюшкиным, и он почти что из подвала своей погибшей души, из какого-то затаенного подполья ее должен был воззвать к читателю и к самому себе о погибшей жизни и потухающей совести. Он должен был произнести страстный монолог о старухе смерти, которая все забирает у человека и ничего не отдает обратно, в виду которой все мы равны и видна насквозь душа человека.

То, кажется, должны были быть одни только речи, но кто знает, как и в каких обстоятельствах они вырвались бы из уст героев. Речь Чичикова, хоть и обрывчатая, непрописанная и недописанная, потрясает нас правдивостью, и прежде всего правдой о невозможности героя так, вдруг, стать не тем, кем был еще только что, что накапливалось и сплавлялось в нем годы и годы. «Вся природа его потряслась и размягчилась, — писал Гоголь. — Расплавляется и платина, твердейший из металлов, всех долее противящийся огню…» Что же говорить о душе человеческой?

Отчего же не расплавиться и Хлобуеву, который в конце второго тома отправляется в коляске собирать деньги на строящуюся церковь? Честно признается он Муразову, предлагающему ему службу, что не способен служить, что отвык, обленился, что годы не те и сил нет, но на богоугодное дело еще может решиться, и путь тот Хлобуеву указан не Муразовым, а неким схимником, который слабым намеком возникает в сохранившейся заключительной главе поэмы. Может быть, это тот самый святой схимник, который появлялся у Гоголя еще в «Страшной мести», может быть, это тот прекрасный священник, которого он рисовал в «Выбранных местах из переписки с друзьями», но в этом намеке заключено предвестие грядущего образа — одного из центральных образов второго тома, как свидетельствуют те, кто слышал все его готовые *11 глав*.

3

По мере того как развертываем мы листы этого сочинения (и существующие и несуществующие, оставшиеся лишь в памяти тех, кто слышал их), перед нами предстает действительно необозримая картина современной России, которую на этот раз Гоголь и в самом деле обнимал

со всех сторон. Как предвестники всей последующей русской литературы встают с этих страниц и грядущий Обломов (Тентетников), и Штольц (Костанжогло), и старец Зосима (схимник), и Улинька, давшая начало женщинам Тургенева и Толстого, и кающийся грешник (который станет центральной фигурой романов Достоевского), и прекрасный идеальный и беззащитный русский Дон-Кихот, чье единственное оружие слово, тот же Тентетников (которому Гоголь отдал много своего), и князь.

И некое фантастическое порождение российской «бестолковщины» и путаницы — страшный подпольный маг-юрисконсульт, которого сам Чичиков считает в делах плутовства Наполеоном, гением, колдуном. Это одно из самых прозренческих созданий Гоголя — венец его беспощадного видения русских язв и российского неустройства, идеал безобразия, действительно, маг и волшебник.

Если и искать в сочинениях Гоголя антихриста, дьявола, черта как реальное воплощение идеи зла, то это как раз юрисконсульт из второго тома. Он все знает о России и русском характере, он не законы усвоил, а именно законность беззакония, обхода законов и попирания их.

Он возрос на всеобщей беспорядочности, безответственности, страхе и обмане. И — на знании темных сторон природы человека. Называют Хлестакова чертом, Чичикова чертом (Д. Мережковский). Но если и изобразил Гоголь когда-либо черта в живом виде и в гибельной его сущности, то это маг-юрисконсульт, который еще пострашней, чем сошедший с портрета старик ростовщик («Портрет»). Кажется, какая-то невидимая отрицательная сила сохраняет его от наказания при всех его бесчинствах.

И она-то — в последний раз в поэме — испытывает свою притягательность на Чичикове.

«Этот юрисконсульт, — пишет Гоголь, — был опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лет, как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никаким образом нельзя было отрешить от должности. Все знали, что за подвиги его шесть раз следовало послать на поселенье. Кругом и со всех сторон был оп в подозрениях, но никаких нельзя было взвести явных и доказанных улик. Тут было действительно *что-то таинственное,* и его бы можно было смело признать колдуном...»

Опытный в искусстве лжи и лицемерья Чичиков сталкивается в лице юрисконсульта с еще большей опытностью, с очевидной *гениальностью зла,* смысл которой заключается в беспощаднейшем знании всех слабых сторон добра и природы человека. Не беспокойтесь, говорит он Чичикову, мы их всех запутаем. «Поверьте мне, это малодушие», — отвечал очень покойно и добродушно *философ-юрист.* «Старайтесь

только, чтобы производство дета было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь не то, чтобы оправдывать и защищать себя, — нет, просто *спутать* новыми вводными...»

«То есть, чтобы...» — заикается Чичиков.

«Спутать, спутать — и ничего больше», — отвечая *философ:* «ввести в это дело посторонние, другие обстоятельства, которые запутали бы сюда и других, *сделать сложным,* и ничего больше. И там пусть после наряженный из Петербурга чиновник разбирает. Пусть разбирает, пусть его разбирает». В этом трехкратном повторении «пусть разбирает» так и видится бесконечность этого безнадежного (в глазах философа) разбирательства, в котором уже не поможет никакой приезжий петербургский чиновник, то есть тот *настоящий ревизор,* который прибывает в конце гоголевского «Ревизора». Иллюзия, что этот приезжий петербургский чиновник может все разобрать и поставить на свои места, распутать паутину, сплетенную юрисконсультом-философом, а вернее, под его руководством самими чиновниками губернии, здесь встает во весь свой рост. То именно Иллюзия, гигантский Призрак, на который нечего надеяться, от которого нечего ждать.

«Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны *пустить в глаза мглу»,* — сказал Чичиков, смотря... с удовольствием в глаза философа, *как ученик,* который понял заманчивое место, объясняемое учителем.

«Подберутся обстоятельства, подберутся. Поверьте, от частого упражнения и голова сделается находчивою... *Первое дело спутать.* Так можно *спутать,* так *все перепутать,* что *никто ничего не поймет.* Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я *всех впутаю* в свое, и губернатора, и виц-губернатора, и полицеймейстера, и казначея, — *всех запутаю.* Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются. Да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать...» Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслаждением, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики.

Нет, никакой Чичиков не черт, он чертенок по сравнению с этим Чертом, поистине Сатаной, который и всем обликом своим напоминает получеловека, полуколдуна, и вид его комнаты — запущенной и вместе с тем наполненной дорогими вещами, и сам замасленный халат, в который он одет, — все разительно не совпадает с его всесилием, с его могущественной властью, которую он вскрывает на глазах у Чичикова, как какой-нибудь часовой механизм. «Нет, этот человек, точно,

мудрец», — подумал про себя Чичиков...» С таким же успехом он мог сказать: «Нет, точно, он дьявол». Ибо все концы *путаницы* сходятся к нему. Стоит ему дернуть за ниточку, как начинают плясать под его дудку тысячи не подозревающих о его существовании душ, и открывается во всем своем зловещем великолепии гоголевский маскарад, который уже напоминает предсмертную пляску на краю пропасти, пир во время чумы, и высится над всем этим черное око черного мага, беззвучно хохочущего и наслаждающегося своей работой.

«А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как *скрытый маг,* незримо *ворочал всем механизмом.* Всех опутал решительно, прежде, чем кто успел осмотреться. *Путаница увеличилась.* Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина (рукой которой было подписано поддельное завещание старухи. — *И. З.),* он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь стоишь?» — «С утра, ваше благородие!» — «Долго до смены?» — «Три часа, ваше благородие!» — «Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого». — «Слушаю, ваше благородием. И, уехав домой, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам *нарядился жандармом,* оказался в усах и бакенбардах, сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и схватил первую бабу, какая попалась, и сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился *в усах и с ружьем,* как следует, к часовым: «Ступай... меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену». *Обменился и стал сам с ружьем.* Только этого было и нужно. В это время *наместо прежней бабы очутилась другая,* ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали *куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась.* В то время когда Самосвистов подвизался *в лице воина,* юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать *стороною,* что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще *секретнейший* чиновник, который на него доносит, и всех привел в такое положение, что *к нему* должны были все обратиться за советами. (Вот верх искусства дурачить всех! — *И. З.)* Произошла такая *бестолковщина:* донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело: и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и званья, и у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая *чепуха:* оба казались

равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, *бедный князь* ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, *чуть не сошел с ума»*.

Представление, затеянное вокруг дела Чичикова, перекидывается из города в губернию и перерастает в грандиозный спектакль. «В одной части губернии оказался голод, — пишет Гоголь. — Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. *Кто-то* пропустил между ними, что *народился антихрист,* который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и, под видом изловить антихриста, укокошили не-антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. *Какие-то бродяги* пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что *мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядиться в армяки* и будут мужики, и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать».

Мужики, переодетые во фраки, и помещики, переодетые в армяки, — это уже гомерическая гоголевская насмешка над бредовой идеей полковника Кошкарева, который решил, что если мужик наденет немецкие штаны и станет говорить по-французски, то в России сразу наступит «золотой век».

Если и есть у черта какая-либо облюбованная им в человеческой жизни сфера, так это «настоящая минута», ибо над вечностью он не властен. Он властен лишь над тем в душе человека, что привязано к этой минуте, цепляется за нее, за ее видимые преимущества, за ее материальность. Гоголевский князь *одинок,* и он *безумен,* ибо только за сумасшедшего могут его принять чиновники, которых он, вместо того чтобы покарать данною ему властью, созывает к себе и пытается *словом* пронять, словом образумить, словом вызвать в них «внутреннего человека».

Но именно он — а вместе с ним и Гоголь — берет верх в поэме над магом-юрисконсультом. Идеальное берет верх над материальным. Чичиков *отрывается* от черта, порывает с ним. Не черт побеждает человека в «Мертвых душах» (как писал Мережковский), а человек черта.

«Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится *спасать* свое *отечество,* — говорит князь, — ...я должен сделать *клич*... Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих... И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла... покуда не

почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народа вооружался против врагов, так должен восстать против неправды».

Судя по воспоминаниям Л. И. Арнольди, почти такую же речь произносил на обеде у Бетрищева Тентетников. Надоумил его на ту речь, как ни странно, Чичиков, как надоумил он его и о главной идее его «пространного сочинения о России», которое до приезда Чичикова больше было в голове Тентетникова, чем на бумаге. Желая подольститься к Бетрищеву, Чичиков сказал, что сосед его (Тентетников) пишет историю о генералах. О каких го-нералах? — спросил Бетрищев. «О генералах 12 года. Ваше Превосходительство!», не моргнув глазом, выпалил Чичиков. Позже, передавая этот разговор Тентетникову и умоляя спасти его от гнева Бетрищева, если тот узнает, что он соврал, он как бы подталкивает Тентетникова к мысли, которая, быть может, давно носилась у него в голове.

Вдохновленный этим Тентетников рассказывает на обеде у генерала о плане своего сочинения, точнее, о центральной идее его, которая основывается на примере 1812 года. То идея Гоголя, и не надо долго искать, где именно она высказана, достаточно сличить речь Тентетникова (как ее передает Арнольди) и цитаты из «Выбранных мест». Тентетников говорит, что не отдельными сражениями и не подвигами отдельных личностей замечателен 12-й год, а тем, что *«весь народ встал как один человек»,* что «все сословия объединились в одном чувство любви к отечеству» и «каждый жертвовал всем для общего дела...». Отдав Тентетникову главную спасительную идею своей книги, Гоголь отдал ему и свою профессию: Тентетников у него не чиновник (хотя он служил), не помещик (хотя пытался сделаться им), он *писатель.*

Может, поэтому он в мыслях своих так близко стоит *к правителю,* то есть князю, который у Гоголя хоть и занимает официальную должность генерал-губернатора, но рассуждает за всю Россию. Он говорит в своей прощальной речи, что гибнет не одна губерния или несколько губерний, а вся земля наша, и его поездка в Петербург, на доклад к государю выглядит символически. Можно представить себе, что ждет его в Петербурге, если он явится туда с *таким* докладом и такими мыслями!

В чертах князя, в его попытке первым покаяться видны черты автора. Прежде чем обличить чиновников, прежде чем произнести свои слова о спасении Руси, он говорит: «Я, может быть, больше всех виноват...» «Теперь тот самый, — возглашает князь после перечисления тех кар, которые мог бы обрушить на своих подчиненных, — у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый *бросается* теперь к *ногам вашим,* вас всех просит».

Этот метафорический жест — жест самого Гоголя в «Выбранных местах».

Так разветвляется Гоголь в своих героях, так отдает он им себя. Он пишет все о том же Чичикове, о его плутнях с «мертвыми душами», он выставляет Россию со всех сторон, но он выставляет и себя — то и история независимых от него героев, и история его жизни, его дороги. На этой дороге он тоже собирает и строит себя, как строят себя здесь Чичиков, Хлобуев, Тентетников и князь. Он готов подставить под удары реальности самые свои идеальные стороны, самые нежнейшие струны, как он любил говорить, испытать их действительностью, но выйти из этой переделки освеженным.

«Свежести! свежести!» — вот чего ему хочется в эти годы. Свежести чувств, свежести здоровья, свежести кисти. И «свежие минуты» даются ему.

Есть люди, которые склонны отрицать это. Которые утверждают, что второй том «Мертвых душ», как, впрочем, и первый, писал уже *не тот* Гоголь, не Гоголь «Ревизора», не живой, а *мертвый* Гоголь, Гоголь выдохшийся, утративший способность смеяться. Это ложь о Гоголе и его поэме.

Оглядывая сейчас то, что осталось от второго тома, строя мысленно мостки и переходы между сохранившимися частями, восстанавливая по обрывкам, намекам, воспоминаниям, оборванным фразам самого Гоголя целое, мы видим, какой колосс воздвигался под его пером.

И смех его не увял, а глаз не потерял остроты зрения, я способность «караулить над собой» в том же смехе не пропала.

Всякое лицо — новое лицо и новая мысль; даже старые лица — Чичиков и его слуги — во втором томе новые, и разговоры они ведут иные (кстати, подолгу разговаривая меж собой), и направление их умов изменилось. И вырастают рядом с ними генерал Бетрищев, безумный полковник Кошкарев со своими учреждениями, вывесками на избах («депо земледельческих орудий», «комиссия построения», «комиссия прошений» и т. д.), бумажным ведением дел и всеобщим запустением в хозяйстве, которое при всей своей европейской экипировке в тысячу раз безобразнее плюшкинского; обжирающийся до умопомрачения Петр Петрович Петух, набивающий свои кулебяки и свиные сычуги начинкой в долг, ибо имения его все заложены в ломбард (а на вырученные деньги он, как пишет Гоголь, закупил провизии на десять лет вперед), Петух, никогда не скучающий (как его гость Платонов), потому что скучать некогда: он или ест, или переваривает свои лукулловы обеды; наконец, томящийся от тоски Платонов, этот сильно подвыцветший Онегин, который навсегда, кажется, удалился из столиц, так как ему там нет места; Тентетников — опора и молодость России, облекшаяся в халат и

губящая свои дни сидением у окна и наблюдением за ссорами приказчика и ключницы, Тентетников, который, казалось бы, по летам, по уму, по доброму сердцу должен стоять у истока всяких государственных начинаний и деятельности и лишь *случайно* пробужденный ото сна Чичиковым (не заверни к нему Павел Иванович, так и спал бы) ; Самосвистов — этот рубака без рубки, герой сражений без сражения, ибо сражаться ему негде, негде проявить свою храбрость и силу мышц, который должен тратиться на проделки вышеописанные; Хлобуев, который также от нечего делать пьет шампанское и дает роскошные обеды в городе, в то время как мужики его совсем разбрелись, избы покосились и покрылись мхом, в доме нет ни крошки хлеба, а сапоги у самого Хлобуева залатаны (хотя жена у него говорит по-французски и одета по последней моде) ; страшная картина запустения и одичания русского, русской исполинской скуки и поистине исполинский затянутый ряской пруд, некое стоячее море, на котором хочет посеять движение и ветер Гоголь. Это не обличения желчных речей Костанжогло — тут Гоголь выступает как поэт, сила живописания которого не померкла, а в своем беспощадном трезвом видении стала эпической. Страшным, грозным эпосом веет от этих описаний и лиц — чего стоит один полковник Кошкарев или ворота, сорванные с петель и лежащие на одной из изб в деревне Хлобуева!

Русский приживал и русский богач, русский плут и русский святой, русская прекрасная женщина (Улинька) и русский идеалист (Тентетников), русский военный и русский чиновник, русский Христос (князь) и русский антихрист (маг-юрисконсульт) — таков охват полотна, которое развертывает Гоголь в живописных частях своей поэмы. Я уж не говорю о русском хозяине (Костанжогло) и русском писателе, который изображен в Тентетникове. А Петрушка и Селифан, а эти торгующие торговцы и хозяева из мужиков, которые мельком возникают в главе о Костанжогло, а некий «купец-чародей», который развертывает перед Чичиковым штуки материи, в том числе цвета наваринского дыма с пламенем?

Послушайте, как он говорит, и вы увидите совсем не того купца, который когда-то был изображен Гоголем в «Отрывке» или «Женитьбе», — это уже новый купец, купец России середины XIX века. «Ведь купец есть негоциант... — говорит он. — Тут с этим соединено и буджет, и реакцыя, а иначе выйдет паувпуризм». Двух-трех движений этого «чародея» хватает Гоголю и двух-трех его фраз, чтоб описать его с ног до головы, как хватает и одного упоминания о некоем Вороном-Дрянном, основавшем в Тьфуславльской губернии нечто вроде шайки или тайного общества, в которое, кстати, был завлечен и Тентетников (в других редакциях носящий фамилию Дерпенников).

В первой главе есть место, когда Тентетников, по обычаю сидящий у окна, замечает подъезжающий экипаж Чичикова и в страхе отшатывается в глубь комнаты. Он принимает Чичикова за «жандарма», который приехал взять его. Так возникает в поэме тема «тайных обществ» и всяческих заговоров и смущений, к которым недвусмысленно иронически относится Гоголь. Чичиков, принятый за «жандарма» (сам, можно сказать, бегающий от жандармов), — это так же смешно и двусмысленно, как маг-*юрист,* то есть представитель *правосудия,* как смешон Чичиков в персидском халате, принимающий контрабандистов (и тут переодеванье, маскарад: Чичиков то ли шах, то ли еще какой-то восточный правитель, одним словом, ряженый), как смешно то описание одного «филантропического общества», в члены коего Тентетников попал еще в Петербурге.

То филантропическое (и, разумеется, тайное) общество было составлено из каких-то философов из гусар, пишет Гоголь, из недоучившегося студента да промотавшегося игрока. Возглавлял его некий плут, масон и карточный игрок, впрочем, красноречивейший человек. Он-то и присвоил те суммы, которые с невиданным рвением и готовностью к самопожертвованию собирали бедные члены общества. Куда те деньги пошли, было известно одному «верховному распорядителю». Сами же члены общества, добрые люди, но принадлежавшие к классу *огорченных людей,* к концу пребывания в этой организации сделались горькими пьяницами от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса. Общество, добавляет Гоголь, имело необыкновенно обширную цель — доставить счастье всему человечеству. Мы не знаем, когда это писалось — до 1847 или 1849 года или после, но в теме «тайного общества» есть прямой отклик Гоголя на действительные события в России.

В годы работы Гоголя над окончанием второго тома вопрос о тайных обществах, притихший было со времен 14 декабря 1825 года, вновь всплыл на поверхность. За кирилло-мефодиевцами последовали петрашевцы. Их арестовали в апреле 1849 года, а 18 мая А. О. Смирнова писала Гоголю, что «над ними производится суд». Возглавлял это общество титулярный советник М. В. Буташевич-Петрашевский, но, что более всего поразило Гоголя, состоял в нем и писатель, автор романа «Бедные люди» Федор Достоевский.

Достоевского прочили не только в ученики Гоголя (их было много, этих «учеников»), но и в наследники. И не без основания. Его роман Гоголь прочитал, или «перелистнул», как осторожно признался он в одном письме. Но и этого перелистывания было достаточно, чтобы понять, что слухи о том, что на Руси явился новый Гоголь, не лишены резона.

И вот в декабре 1849 года суд вынес приговор: «...отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение о распространении

преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского... подвергнуть смертной казни расстрелянием».

К счастью, казнь заменили каторгой.

После европейских событий 1848 года начались гонения на славянофилов. Министр внутренних дел составил циркуляр о бородах, который был разослан всем губернским предводителям дворянства. В нем говорилось: «Государю не угодно, чтоб русские дворяне носили бороды: ибо с некоторого времени из всех губерний получаются известия, что число бород очень умножилось. На западе борода — знак, вывеска известного образа мыслей; у нас этого нет, но Государь считает, что борода будет мешать дворянину служить по выборам».

В мае 1849 года А. С. Хомяков писал одному из своих корреспондентов: «Мы все уже ходим бритые».

Вскоре в крепость был отправлен Юрий Самарин. Он напечатал в газете отчет о своей поездке по остзейским губерниям. В отчете были некоторые самостоятельные мысли о состоянии государственного механизма. Самарина вызвал для беседы царь. «Знаешь ли ты, что могло произвести твое сочинение?» — спросил он. «Нет, ваше величество». — «Новое четырнадцатое декабря», — сказал Николай.

Четырнадцатое декабря мерещилось ему всюду: в университетах, где чересчур увлеклись преподаванием философии (последовало указание: *сократить),* и в переводах с иностранного (профессор Московского университета О. М. Бодянский, земляк и знакомый Гоголя, за напечатание в редактируемом им журнале сочинения историка Флетчера «О государстве русском» был отстранен от должности), и, наконец, в частной переписке. Вскрывши переписку Ивана Аксакова, Третье отделение решило, что и его пора взять под арест. Младшего сына Сергея Тимофеевича (и его хорошо знал Гоголь) заподозрили в намерении установить отношения с панславистами на Западе. И. Аксакова заставили письменно отвечать на вопросы царя. «По вежливому приглашению» Дубельта, как пишет П. В. Анненков, он должен был изложить свои взгляды на современное положение России. Записка была составлена. Николай прочел ее и сказал шефу жандармов графу А. Ф. Орлову: «Прочти и вразуми». «Вразумленный» И. Аксаков отправился служить в Ярославль (то была ссылка), еще ранее выехал в Симбирск Ю. Самарин.

Это было поколение русской интеллигенции, воспитанной уже Гоголем. С Ю. Самариным Гоголь переписывался, с него и с таких, как он, писал он отчасти своего Тентетникова. Мог ли он не волноваться их волнениями? Мог ли не предостеречь от того, что казалось ему кривыми дорогами, уводящими с прямого пути?

4

Всюду — в политическую, семейную, хозяйственную, религиозную жизнь России — пытается внести он своим вторым томом спокойствие. Сознавая временами невыполнимость этой задачи, он все же работает над ней, все более расширяя круг тем и проблем, охватывая то, что ранее не хотел захватывать, добираясь до корней и верхушек и стараясь отгадать загадку русского феномена, а может быть, и феномена всемирного.

Один из современников Гоголя, слушавший главы второго тома «Мертвых душ» в исполнении автора, писал, что Гоголь в нем должен дать отгадку 1847 годам христианства. Так иногда воспринимал свой труд и Гоголь. Охватить всю Русь в поэме ему казалось уже мало, ставя перед своими героями проблемы русские, он не отделял их от задач, стоящих перед человеком вообще, — Россия в будущем должна была влиять на судьбы мира, он заботился и об этих судьбах.

В его бумагах, набросках, черновиках остались строки, поясняющие внутренний сюжет «Мертвых душ», их сверхидею, которая кажется столь же неохватимой, как и привлекаемый Гоголем материал.

«Идея города, — записывает он. — Возникшая до высшей степени Пустота… Как созидаются соображения, как эти соображения восходят до *верха смешного*… Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью…

Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление? Жизнь бунтующая, праздная — не страшно ли великое она явленье… жизнь… Весь город со всем вихрем сплетней — преобразование бездеятельности жизни всего человечества в массе…

Противуположное ему преобразование во II части, — продолжает Гоголь, — занятой *разорванным бездельем*.

Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?»

Записи эти относятся к годам писания первого тома. Но уже и в ту пору Гоголь видел в нем не один «жанр», как говорили тогда о бытовой живописи, не одни копии нравов в его отечестве или увеличенные, гротесковые копии жизни, но и некую всемирную карикатуру на жизнь, на великое безделье мира. Вихрь пустоты, завивающийся на пустом месте и уносящий с собой человека, вихрь жизни, не направленной ни на что, ни во что уходящей и ни на что не оглядывающейся, оттого и разорванной, оторванной от содержания, сущности, от духовного

первопочатка ее, — вот что вставало перед Гоголем, когда он вглядывался в свою поэму.

И все же она оставалась чисто русским созданием.

Нет, не бессмысленную вавилонскую башню оп строил, не отвлеченное здание непонятной архитектуры, которое хотел навязать русской земле, не некую вненациональную и химерическую утопию в виде «прекрасного храма», а совершенно русское строение и в русском духе.

Преобразование «русского безделья» в «безделье» мира, ужас самой жизни, признающей лишь материальное и кружащейся в кругу материального (некая завихривающаяся вокруг самой себя пустота), и показ разрыва внутри самого безделья — вот что хотел показать он во втором томе. В оставшихся глазах мы видим эту вихрящуюся пустоту, проносящуюся как смерч на фоне ярмарки в городе Тьфуславле и имеющую в центре своем страшного философа-МАГА, которому противостоит другой маг — сам Гоголь, который со своей высоты останавливает ее действие.

Маг-автор побеждает мага-дьявола.

Таков фантастический сюжет второго тома. Он угадывается в оставшихся главах стихийно, непреднамеренно, как уже сложившаяся в своих очертаниях, хотя и непрописанная, схема его. Выросший на русской почве, том этот поднимается «до преобразования всемирного», в аллегорических образах представляя соперничающее ДОБРО и ЗЛО и их непрекращающийся ПОЕДИНОК.

Глава третья. Сожжение и смерть

Мне нет дела до того, кончу ли я свою картину или смерть меня застигнет на самом труде; я должен до последней минуты своей работать... Если бы мол картина погибла или сгорела пред моими глазами, я должен быть так же покоен, как если бы она существовала, потому что я не зевал, я трудился.

Гоголь — А. А. Иванову, декабрь 1847 года

1

Шло время, и работа медленно, но подвигалась. Снимались строительные леса, и выглядывало уже все здание — лишь, кажется, крыши над ним не хватало и завершающего купола, венчающего все, а также отделки, на которую затрачивалось, может быть, более всего работы. Стояние за конторкой, прерванное событиями «романа», продолжалось. Каждое утро, выпив кофию и совершив очередной моцион по Никитскому бульвару, Гоголь становился возле нее и писал. В такие часы никто не имел разрешения входить в его комнаты, разговаривать или производить шум вблизи его дверей. Большой дом

Талызина, похожий на корабль, в котором Гоголю, по существу, был отдан весь нижний этаж, погружался в тишину.

Но именно эта тишина и раздражала.

Разве так писал он прежде? Разве требовались ему эти строгие меры, это всеобщее оберегание его покоя, это ожидание и выжидание читателя, которого он сам уже начинал побаиваться? Бывало, он просто садился в трактире или на почтовой станции к первому попавшемуся столу или подоконнику и записывал — записывал, то, что уже сложилось, спелось в его воображении, что уже почти было готово и что он мог тут же сдавать в печать.

Сейчас каждая строка давалась с трудом. Если иногда и накатывало вдохновение, то он спешил уловить его, не упустить: знал, что скоро оно не вернется.

Гоголь сам признавался знакомым, что иные места переписывал по восьми раз. Но иные — и более. И хотя чувствовала рука, когда нужно остановиться, и строго следил за нею неусыпный глаз, но, случалось, целые куски летели в печь, и безвозвратно. Восстанавливать, воскрешать сожженное было все трудней и трудней.

«Неужели для меня в сорок лет старость?» — спрашивал он и не лукавил: силы были на исходе.

Еще в 1845 году писал он Языкову: «Как бы то пи было, но болезни моей ход естественный. Она есть истощение сил. Век мой не мог ни в каком случае быть долгим. Отец мой был также сложенья слабого и умер рано, угаснувши недостатком собственных сил своих, а не нападеньем какой-нибудь болезни».

То не было заблуждение или обычная гоголевская натяжка. Он знал срок, отпущенный ему, знал предел и, хотя ничто не предвещало конца жизни, чувствовал: надо спешить.

Однажды он как-то обмолвился, вспомнив Пушкина: Пушкину бог дал крепкое здоровье, он должен был бы жить девяносто лет. Его же век был недолог. Поэтому последние три года жизни Гоголя — это годы борьбы с собой, с «дряхлостью» тела, с его неспособностью вынести ту тяжесть, которую он на него взвалил.

Но не только это преодоление природы его мучило. Возводя свое строение, он оставался все тем же придирчивым архитектором, который, глядя на возводимое им здание, глядит в себя. Развитие Гоголя не закончилось на «Выбранных местах», творчество его было не механический процесс записывания готового — не в смысле легкости перенесения тайного в явное, но в смысле перестройки себя в процессе писания.

На это уходила большая часть сил. Наблюдавшие за Гоголем дивились этому самоистязанию таланта. С. Т. Аксаков еще в пору ссор и раздоров по поводу «Переписки» писал ему, что нельзя так жить, нельзя ставить искусство выше жизни, оно обман, оно и вас обманет — живите, не мудрствуйте.

Но проходило время, и Аксаков брал свои слова обратно. «Нет, я не рожден ни слепым, ни глухим. Я лгу, говоря, что не понимаю высокой стороны такого направления...»

В мгновения просветления, мгновения, которые посещают нас редко на земле, видели люди, что стоическое стояние Гоголя у конторки не чудачество, не новая причуда взявшего непомерную высоту гения, а простая невозможность жить иначе, существовать иначе. Казалось, совершенство — это то, что не дано человеку в действительной жизни, это мечта духа, мечта болезненная, преувеличенная. Но именно этой мечты пытался достичь Гоголь. Не там, как любил он говорить, а здесь, и в этом была его загадка и тайна.

2

Зима 1849/50 года, по словам Гоголя, кое-как перекочкалась. Весною он занемог. Хоть и любил он весну, но с размягчением погоды, ослаблением холодов как-то вяло тянулась работа. То ли дело весна в Риме, но весна в Москве — иная весна. Все сдвинулось с места, все потекло, обнажилась земля, греет солнце, из дворов тянет вонью оттаявших отбросов, в церквах клонит в сон, а в его темных комнатках и совсем сумрачно, нежило и пусто. И он покидает их.

Он едет с Максимовичем на родину, чтобы оттуда махнуть в Одессу, а может быть, и подальше — то ли в Грецию, то ли на острова Средиземного моря, то ли опять в Иерусалим, Вновь складываются в портфель бумаги, упаковывается чемодан, и в чужом экипаже отправляется Гоголь в дорогу.

Из Васильевки он пишет несколько писем: наследнику, шефу жандармов графу А. Ф. Орлову, графу В. Д. Олсуфьеву. Все они преследуют одну цель: выхлопотать бессрочный и беспошлинный паспорт для свободного проезда по губерниям России и за границей. Пребывания за пределами родины требует его здоровье, путешествий по России — интересы книги. Он даже набрасывает в этих письмах программу второго тома, но то уже штампы, которые он клеит, как готовые марки на почтовый конверт. «Сочинение мое «Мертвые души» долженствует обнять природу русского человека во всех ее силах». «...В остальных частях «Мертвых душ»... выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразьем внутренних сил...»

Кажется, ему лень всем все объяснять заново, лень пересказывать себя, и он пускает в оборот им же самим затертые выражения.

Факт этот говорит об усталости Гоголя и заезженности идеи второго тома. Он не только Чичикова заездил, но и с идеею поступил точно так же, и усталостью, утомленностью идеи веет от этих строк.

Вяло выпрашивает Гоголь себе какие-то привилегии, вяло думает о новом путешествии по уже объезженным местам (Средиземное море, Иерусалим) и откладывает эти письма-прошения в портфель, и эти свои желания он заездил, и они уже все испробованы.

Осенью 1850 года он выезжает в Одессу, где и застревает на зиму. Изредка ходит он в гавань, смотрит на отходящие корабли, какое-то слабое сожаление тихо жжет его душу, но уже не тянет его гак вдаль, как прежде, и даже в милую Италию ему не хочется.

Зима в Одессе прошла хорошо. Он жил недалеко от моря, на Надеждинской улице, в доме дядюшки Андрея Андреевича, который был счастлив приютить знаменитого племянника. Генерал одряхлел, часто болел. Глядя на него, Гоголь вспоминал его гордым, важным, поражавшим всех в Васильевке белизной своих воротничков, сухостью обращения с батюшкой, холодной любезностью с матушкой. Он был покровитель, меценат, он оказывал им благодеяние — теперь это была развалина со слезящимися глазами и плохо двигающимися ногами.

Страшна старость! Не дай бог дожить до нее и вот так превратиться в пародию на себя, в пародию на человека. «Терпи, как вол, и жди обуха», — говорит пословица, до как терпеть? Он боялся, что терпения ему как раз и не хватит. Смириться с угасанием, жить, чтоб есть, пить, цепляться за жизнь и за людей, досаждая им своим присутствием, — эти мысли он гнал, хотя они все чаще являлись ему.

Конечно, есть и иная старость, и он видел ее. По пути в Васильевку заехали они с Максимовичем в Оптину пустынь: давно он мечтал побывать в этой обители, но все не приходилось. Она славилась своими старцами, скитом, умными монахами, библиотекой.

Монастырь стоял на поросшем сосновым лесом берегу Жиздры, на другой стороне виднелся Козельск — тоже город славный, который не мог взять хан Батый, несмотря на тьмы своего войска. Много месяцев простоял упрямый хан под стенами маленького городка, но, пока не спалил его весь, пока не потопил в крови, в город не вошел.

Гоголя познакомили с игуменом Моисеем, старцем Антонием (он почти не двигался), со старцем Макарием. Особенно поразил его старец Макарий. Поразила тишина, покоящаяся в его сердце и так и изливающаяся из глаз, из медленно текущих слов разговора, из всего его

ясного облика, как бы освещающего низкие стены келейки. Кельи стояли в скиту, скит был в отдалении от монастыря, между кельями росли высокие цветы, летали пчелы, дух цветов и трав заполнял поляну, окруженную высокими соснами, — и так вдруг мирно стало на душе у Гоголя, так покойно, что он захотел остаться здесь.

Он давно говорил, что его истинное призвание — монашество. Он хотел бы удалиться от мира, как удалился автор портрета в «Портрете», чтоб в невозмущаемой тишине природы и тишине души творить вечное, творить не поддающееся тлению времени.

Но сейчас, глядя на старцев, на общительных и вполне мирских монахов обители, среди которых попадались люди высокообразованные и во всех отношениях замечательные, он видел, что эта доля не для него.

На выезде из монастыря они повстречали девочку, собиравшую на опушке землянику. Гоголь неожиданно подозвал ее к себе и спросил, как ее зовут. Она сказала и имя, и кто отец, кто мать (они оказались служителями монастыря), и протянула ему пучок земляники, прося отведать. «Угощайтесь», — сказала она и ясно, чисто, спокойно взглянула ему в глаза. Он долго не мог забыть этой встречи.

«Сердце этого ангела, — писала после смерти Гоголя его мать, — было полно нежнейших чувств, которые он скрывал, не знаю, почему, под угрюмой наружностью и никому не хотел показывать...» Стыдливость ему мешала, боязнь, что засмеют. Но тогда, у стен Оптиной, он притянул эту девочку к себе и погладил. И слезы выступили у него на глазах.

Все чаще возвращается в эти годы Гоголь мыслями к детству, все более сам делается похожим на себя в юности, молодости. Уже не слышат от него ни строгих поучений, ни высокомерных наставлений — смягчается его природа, проще, терпимее становится он к людям, к их слабостям, болезням, к смешному и странному в них. Уже не раздражает его, как бывало, ни старик Аксаков, ни сама эта шумная семья, где властвует какое-то детское увлечение идеями, людьми, матушкой-Русью. Все это и смешно и мило, и он любовным взглядом смотрит на Сергея Тимофеевича, читающего ему свои «Записки об уженье рыбы», и на разглагольствующего Константина. Он ходит со стариком по грибы и подкладывает ему на дорожку белые, чтоб старик нашел их без труда: глаза его почти не видят. Он поет малороссийские песни, рассказывает о Нежине, о похождениях юности.

Раньше почти не замечавший детей, он теперь охотней проводит время в их обществе. Он хочет именно для них написать свою следующую книгу и сообщает об этих планах даже шефу жандармов: это должна быть книга, «которая знакомила бы русского еще с детства с землей своей», ибо детство есть тот возраст, в котором «живей воображенье и все, что раз взошло, остается навеки».

О том же говорит он в Одессе, и некая Неизвестная записывает его слова. Он вспоминает Пушкина и Карамзина и говорит, что для детей надо писать так, как писали они. Их слог и смысл, заложенный в их сочинениях, близки детскому уху и пониманию, они самым близким путем доходят до их воображения. «Нет, всего лучше читать детям книги для больших, — записывает его слова Неизвестная, — вот историю Карамзина с девятого тома...»

И еще одна запись из ее дневника, передающая мысль Гоголя о детстве: «Человек со временем будет тем, чем смолоду был».

В одной из записей, относящихся ко времени, о каком идет речь, у него сказано: «У исповеди собрать все сословия, все, как равные между собою. Все дело имеют с Богом... Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии...» Без сомнения, это строки, относящиеся к его думам о плане «Мертвых душ». Собрать всех у исповеди мог герой второго тома — священник, которого он писал со многих лиц. Тут понадобились ему и оптинские старцы, и московский его духовник, и отец Матвей Константиновский, с которым познакомил его граф А. П. Толстой.

То был обыкновенный священник, сын сельского иерея, с детства впитавший все особенности народной веры. Он не был ученый богослов, не был фанатик, но строгость в вере держал — скорей из-за характера, чем по приверженности церковным догматам. Был отец Матвей красноречив — это привлекло Гоголя сначала заочно, когда А. П. Толстой свел их в переписке, а потом при личной встрече в Москве. Понравилась Гоголю его речь — прозаически-бытовая в тихие часы разговора и торжественно-величавая, когда отец Матвей одушевлялся, когда касался заветных для себя тем. Двойственности он не признавал, лукавства этого светского с собой и с верой не привечал, как некоторые столичные священники, которые и в салонах вертелись, и на руку были нечисты.

От него веяло Русью, и во внешнем облике мало походил он на вылощенных и выучившихся в семинариях, избалованных близостью ко двору, к русским посольствам за границей священников, которых чаще всего приходилось встречать Гоголю: грубая одежда, смазанные маслом русо-седые волосы, редкая бороденка, маленькие серые глазки.

Гоголь как-то подался к этому человеку, доверился ему. Не оттого, что тот мог до конца *понять* его — ему не это было нужно. Ему нужен был отец Матвей и как типаж, и как исповедник. Строгость этого ржевского Иеремии его не пугала — он умел держать людей па расстоянии, умел управлять своими отношениями с ними. Страх был не перед отцом Матвеем, а перед своим неверием.

Понял ли это отец Матвей? Если судить по его письмам к Гоголю (весьма немногим) — понял. Понял и то, что не сломать ему Гоголя, не

поколебать его убеждения, если оно убеждение, не сладить с волей Гоголя, с его характером, наконец.

Но тут, что называется, нашла коса на камень — характер на характер. Отец Матвей требовал определенности, он — в своей преданности *одному* учению — был не способен понять раздвоения мятущегося духа Гоголя. И уступить тому. Но, может быть, именно эта черствость и грубость нужны были его подопечному. Может быть, нуждался тот в *строгом слове* со стороны, и ни в чем более, так как все остальное (в том числе, понимание того, что с ним происходит) было при нем.

Ему именно эта резкость была нужна, эта бесцеремонность искренности, этот пугающий окрик, которого он ни от кого не мог услышать.

Сан священника давал отцу Матвею в глазах Гоголя право на такое обращение с ним.

3

Отец Матвей только повторял в своих письмах из Ржева: «Не бойтесь, не страшитесь...» Но этого было мало. Точнее, было уже поздно.

Страхи в последние месяцы жизни окружают Гоголя, ловят его, как ловят русалки утопленницу в «Майской ночи». Он живет в сознании, что ему не окончить труда, что, если он и окончит его, сотворит не то.

Уйдя далеко от своего детства, своего начала, он хотел и себя вернуть к нему, и, как задумал он в «Мертвых душах», и все человечество повернуть к истине Евангелия. В тех записках, которые мы цитировали и где он пишет, что не выдумать ничего лучше, чем Евангелие (слова, прямо относящиеся к «обману» искусства), он добавляет: сколько раз отшатывалось от Евангелия человечество и сколько раз обращалось. «Несколько раз человечество своего кругообращение... несколько мыслей совершит... оборот мыслей... и возвратится вновь к Евангелию, подтвердив опытом событий истину каждого его слова. Вечное оно вкоренится глубже и глубже. Еще глубже и глубже вкоренятся вечные слова, как дерева, шатаемые ветром, пускают глубже и глубже свои корни...»

Так рос и расширялся его замысел. Он напоминал дантово восхождение по возвышающимся кругам к раю (таким изобразил идею «Божественной комедии» великий Джотто на стене церкви Санта-Мария де Фиоре во Флоренции), восхождение по кругу и внутри круга, который очертывало человеку высшее знание. То было восхождение-возвращение, возвращение к началу после блуждания по «иным путям». Этого возвращения желал он для России и для Чичикова. Да и все человечество, по его мнению, пройдя круги искушений, намаявшись и намыкавшись на них, перевалит наконец за

черту Страшного суда (который будет прежде всего суд человека над собой) и обретет свет.

Вы хотите написать вторую библию, говорил ему посвященный в его планы брат Смирновой Аркадий Осипович Россет. «...ты хочешь непременно равняться с богом», — предупреждала его мать.

Нет, не хотел он равняться с богом и не смел. И не было у него такого замаха.

Когда, проезжая через Полтаву в 1851 году, он прощался с С. В. Скалой (как всегда, остановился на несколько дней у дочери Капниста), она напомнила ему слова, сказанные им в юности: «Или вы обо мне ничего не услышите, или услышите нечто весьма хорошее...» Он ничего не сказал мне на это, пишет Скалой, но на глазах его показались слезы.

Это и было восхождение по той *лестнице,* окоторой мечтал он еще в молодые свои лета. И в этом смысле возвращался он к началу — на этот раз началу своей жизни и ее идеалам. Преодолеть безыдеальность простой материи, материального существования и земной жизни и все-таки явить идеал во плоти и крови — вот чего он добивается, чего хочет.

Вскоре после смерти сына Мария Ивановна Гоголь писала С. П. Шевыреву: «...В минуты откровения в юных его летах он говорил о своих планах в жизни, но в средних летах и до самой кончины он был молчалив насчет себя, — казалось, он хотел бы скрыть и от себя, если бы то было возможно, значение его в свете; в последнее мое свидание с ним на земле, когда я провожала его в Москву, не подозревая разлучиться навек, приписывала невыразимую тоску души временной разлуке, оставшись с ним одна, сказала ему: «Кажется мне (так как слежу за твоими действиями во всю твою жизнь, хотя никто того не знает и даже ты сам), что ты достиг уже своей цели, о которой говорил мне в юных твоих летах». Он, немного помолчав, сказал мне: «Тем более вы не должны на меня надеяться, жизнь моя ни для меня, ни для вас, близких моему сердцу, она есть для всего мира...»

Эпизод этот относится к маю 1851 года, когда Гоголь в последний раз посетил Васильевку. Он возвращался из Одессы, где завершил второй том. Теперь он был набело написан, переписан его аккуратным почерком и в нескольких тетрадях лежал в его портфеле. Более он к нему не притрагивался, в него не заглядывал. Как бы желая рассеяться, он много ходил по окрестным полям, проводил часы в гостиной с сестрами и матерью. Он жалел их, жалел их бедность, одинокое девичество сестер и одиночество матери, которая смотрела на него так ожидающе, так преданно.

Оп закупил лес, сам наметил бревна, рисовал план будущего строения, хотел осуществить мечту отца. Пусть у них у всех будет хороший дом, пусть не стыдно будет принять в нем проезжего и проходящего, он и сам собирался жить в нем и отвел себе на плане три комнаты. Перед самым отъездом купил он себе и крепкий дубовый шкаф для книг и обещал, что будущей весной, когда выйдет наконец его книга, приедет сам и приступит к строительству.

Он не говорил, что окончил труд, но по его настроению, по светлому его облику поняла чуткая мать, что что-то переменилось в делах сына, что, видно, завершил он то, что не мог никак завершить и в завершение чего уже, кажется, не верил.

Несмотря на то что занимался он обыкновенными земными заботами, хлопотал по хозяйству, ездил в Полтаву уплачивать материнские долги в Опекунский совет, она видела — сын ее достиг высшей точки своей жизни. Никто не мог этого заметить, кроме матери. Никто не мог понять, что не только работа закончена, но и все, что мог он сделать на земле, он *уже сделал*.

С этого времени начинается новый отсчет часов жизни Гоголя, последний их отсчет. Теперь время побежит быстро. «Я уверен, — говорил он Смирновой, — когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу в свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет». Это ощущение, что он выполнил то, на что был призван в свет, преобладает в Гоголе 1851 года.

Впрочем, его помнят разным. Помнят веселым, оглушительно веселым и расположенным ко всем, гуляющим и купающимся в Оке, когда он гостит в июле у Смирновой в Спасском под Москвой, помнят читающим вслух Мольера и «Ревизора» — читающим с прежней силон вдохновения и с таким проникающим состраданием к героям, которого никто и не знал в нем раньше.

«Я слушал его тогда в первый — и в последний раз, — вспоминал И. С. Тургенев о чтении «Ревизора» в ноябре 1851 года в Москве. — Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы... Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью...» Само вранье Хлестакова показалось в чтении Гоголя чрезвычайно «естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностию своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет — и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство».

Воспоминания Тургенева ценны, так как написаны они человеком, в ту пору не сочувствовавшим идеям Гоголя. Для Гоголя это была встреча с молодым поколением литературы, которое он — при всей сосредоточенности на *своем* труде — уже знал. Он читал и Тургенева, и Григоровича, и стихи Некрасова, и повести Искандера.

Сейчас Искандер (Герцен) жил за границей и издал там брошюру, озаглавленную «О развитии революционных идей в России». Парижский префект полиции Пьер Карлье послал ее императору Николаю «для сведения». Герцен писал, что Гоголь немало способствовал развитию революционных настроений среди молодежи, но позднее, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», отрекся от своих взглядов. Он называл «Переписку» отступничеством и падением.

Гоголь был встревожен: вместе с изданием второго тома поэмы он затевал переиздание своих сочинений, и брошюра Герцена могла помешать этому. Когда М. С. Щепкин привел к нему в гости И. С. Тургенева, Гоголь спросил того: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?» Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: «...Если бы можно было воротить сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее».

В другом варианте запись воспоминаний Щепкина выглядит так: «Разговор с Тургеневым. Французский перевод. Гоголь знал, кто помогал переводчику (Тургенев). «Что я сделал Герцену? Он срамит (унижает) меня перед потомством. Я отдал бы половину жизни, чтоб не издавать этой книги»... — Для Герцена не личность ваша, а то, что вы передовой человек, который вдруг сворачивает с своего пути (ответ Тургенева. — *И. З.)*. «Мне досадно, что друзья придали мне политическое значение. Я хотел показать Перепискою, что я не тот...»

Ходили слухи, что ничем в литературе он не интересуется, ничего не читает. Это была неправда. «Он все читал и за всем следил, — пишет Арнольди. — О сочинениях Тургенева, Григоровича, Гончарова отзывался с большою похвалой. «Это все явления, утешительные для будущего, — говорил он. — Наша литература в последнее время сделала крутой поворот и попала на настоящую дорогу».

Так оно и было. Еще в 1846 году он писал Плетневу: «Современное нам время, слава богу, не без талантов». Через год в печати появилась «Обыкновенная история» И. Гончарова. Печатал свою «живую и верную статистику России», как назвал Гоголь его очерки. Казак Луганский — Владимир Даль. Вышли новые повести Ф. Достоевского — «Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка», «Неточка Незванова». В декабре 1849 года в доме Погодина Гоголь слушал в исполнении автора комедию А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся». Гоголевское обращение к

«обыкновенному» отозвалось в повестях «натуральной школы», в стихах Некрасова, в реализме Тургенева; его попытки обнять всего человека — в фантастической прозе Достоевского.

Русская литература разветвлялась и уходила дальше — он иногда чувствовал себя остающимся на берегу и провожающим отходящие корабли. Однажды — это было еще в 1848 году — его пригласили к себе на обед Некрасов и его сторонники. Он прибыл, но просидел с ними недолго, оглядел их, пощупал несколькими вопросами и был таков.

Он знал их заочно (на встречу прибыли Некрасов, Григорович, Гончаров, Дружинин), теперь воочию убедился, какие они разные и какая пропасть между ним и ими. Он был действительно «уходящим человеком» (как писал в письме к Жуковскому), они — приходящими, верней, уже пришедшими.

Разговор не клеился. У всех па устах вертелись вопросы о литературе, но все знали, что Гоголь таких вопросов не любит, а не говорить о литературе, о борьбе партий, о Петербурге и Москве (все это входило в список запрещенных тем), о «Выбранных местах» — так о чем же говорить?

Он не стал их хвалить из воспитательных соображений, в подробности тем более вдаваться не мог, ибо читал их все же невнимательно, ему важно было на лица их посмотреть, чтоб сравнить внутренне себя и их, а заодно и запастись некоторыми сведениями о типе литератора в России.

Одеты они были с иголочки (а он знал, что Некрасов, например, до получения в руки «Современника» голодал и ходил в рваном пальто), ум и образованность были при них, но в том, что они, хотя и кратко, успели ему сказать о себе и о литературе, объявлялось во всем не то. Их называют моими детьми, думал он, но какие же они дети, если я, отец, не признаю в них своих детей?

Тень Белинского все еще стояла между ними. Она напоминала, что они по разные стороны «баррикады», что за ним Москва, «Москвитянин», «Выбранные места» (о которых они без негодования не могли и думать), московские гостиные и московские замшелые убеждения. За ними Петербург, «Современник» и «Отечественные записки», новейшее направление, новейшие идеи. Он для них был *почетный* глава, и они пришли к нему на прием, как к почетному члену (коим он стал в Московском университете), чтобы отбыть минуту молчания, как перед статуей или портретом. Для них Гоголь, как ни много он значил в их собственном развитии, был конченый человек.

Он сказал им что-то общее насчет того, что надо творить в тишине и не спешить печататься.

— Но надобно и на что-то жить, Николай Васильевич, — возразил Некрасов.

— Да, действительно, — сказал Гоголь и, как вспоминает описавший эту сцену Панаев, кажется, смутился.

Он-то понимал, что придет время, и они *разойдутся,* как расходятся в жизни даже самые близкие люди, но пока их объединяли молодость и минута и сопротивление ему, Гоголю, которого они все еще считали Учителем. Из этого сопротивления и вырастали отчасти их понятия о литературной деятельности и *борьбе.*

И еще одно смущало его: борьба эта как-то тесно сращивалась с делом. Завелись бесчисленные редакции, в редакциях — бесчисленные сотрудники, печатный станок воевал за просвещение, стоял за идеи, но и давал Доход.

При Пушкине и редакций никаких не было (разве что у Булгарина и Греча), сотрудники лишь назывались сотрудниками, никто им не платил, литература так плотно не срослась с капиталом, хотя уже тогда обличал Шевырев ее доходы и темные дела.

Наживались двое-трое плутов (вроде Булгарина), но те, кто создавал истинное искусство, не могли рассчитывать ни на богатство, ни на тесные отношения с миром ДЕЛА. Раньше, бывало, один Булгарин мухлевал и устраивал в своей газете оды кондитерским и галантерейным магазинам, за которые хозяева этих магазинов платит ему щедрыми обедами с шампанским. Раз в год Смирдин собирал литераторов и угощал их, но на обедах этих царило что-то торжественное, там уже не сводили счетов и не точили ножей на противника. Сейчас это ввелось повсеместно. Разбогатевшие издатели снимали целые этажи, устраивали при своих квартирах комнаты редакции, и в обеденной зале за огромным столом усаживалось сразу по многу лиц, тех же литераторов или книгопродавцев — одним словом, заинтересованных партнеров, которые знали, чего друг от друга хотят.

Ему даже пришла в голову мысль, а не сделать ли Чичикова писателем. Ведь это повыгоднее, чем скупать мертвые души. Это и благороднее, чем подделывать завещания. Павел Иванович неглуп, хитер, сноровист и обладает фантазией. Кроме того, он в сем случае оправдает так неоправданно присваиваемое ему звание «образованного человека».

Но то была игра, шутка. Классик откланялся и уехал. Будущие классики, недовольные и обиженные, разошлись по домам.

Больше они от него ничего не ждали. Он где-то жил в Москве, что-то писал, намекали, что нечто значительное, способное поразить весь мир, — они относились к этим сообщениям спокойно. Да и Тургенев,

наверное, посетив Гоголя в его квартире на Никитском бульваре, думал о нем как о своем же прошедшем, прошлом.

4

Но Гоголь еще жил. Мало того, он готовился печатать второй том, изучал греческий язык, намечал маршруты своих будущих поездок, читал актерам Малого театра «Ревизора», дописывал «Божественную Литургию». Он жил вспышками, наитиями, а лето 1851 года все прошло под знаком счастливого настроения, счастливого ожидания печатания.

И вдруг наступает перелом. 2 сентября 1851 года он пишет матери: «Рад бы лететь к вам, со страхом думаю о зиме... Здоровье мое сызнова не так хорошо, и, кажется, я сам причиною. Желая хоть что-нибудь приготовить к печати, я усилил труды и чрез это не только не ускорил дела, но и отдалил еще года, может быть, на два. Бедная моя голова!..»

То был первый вопль, посланный им в сторону Васильевки, вопль о спасении, потому что вновь нашло на него прежнее. Как бы в один миг рухнул построенный и готовый к сдаче дом, осели его стены, покривилась крыша, и весь он представился уродом, какой-то страшной карикатурой.

Что произошло? Что вызвало этот тревожный поворот? Вероятно, нарушил он данный себе обет: не заглядывать в рукопись. Видно, споткнулся он на каком-то описании или опять высунуло свой нос «проповедничество», которого он так боялся и которое ненавидел со времен провала с «Перепиской», и он стал переписывать.

С этого момента начинается быстрое и лихорадочное устремление *к концу*. Все нервы его приходят в расстройство, каждый пустяк беспокоит, подает намек, приводит в отчаяние. Подсвечник упадет при разговоре, он не только вздрагивает, он видит в этом примету. Незваный человек войдет во время чтения, он уже меняется в лице, сбивается с ритма и вянет.

Все замечают, как начинает он худеть: бледный, мерзнущий с наступлением осени, он порывается уехать опять куда-то на юг, в Крым, что ли, но денег нет. И все-таки он садится в карету и отправляется через Калугу и Оптину пустынь в Малороссию. Он выезжает из Москвы в полном расстройстве, надеясь, как всегда, на дорогу, но па этот раз дорога уже не спасает его. Вовсе расклеившийся нервами прибывает он в обитель, где делает остановку. Из гостиницы в Козельске пишет он письма старцу Макарию и просит у него совета: как быть, ехать или не ехать, ехать ли домой, ехать ли в Крым или возвращаться в Москву. Тот успокаивающе отвечает ему: решайте сами, поступайте как хотите и не придавайте своей нерешительности значения, это пройдет.

В первых числах октября Аксаковы были обрадованы неожиданным возвращением Гоголя. Он вернулся в Москву, впервые в своей жизни поворотив с дороги, попросту бросив ее. Сразу же по прибытии в столицу он ринулся к Аксаковым, но, не застав их, нанял первую попавшуюся карету и прибыл к нам в Абрамцево. Чего он хотел? Успокоиться? Отдохнуть? Увидеть их любящие лица и сказать себе: все хорошо, ты среди своих?

Уже в конце осени он опять работает, вновь стоит перед своей конторкой, возводя разрушенное здание, собирая его по щепке, по кирпичу, по стеклышку. Начавши переписывать слово, фразу, перемарав страницу, он стал марать и дальше, и беловик вновь превратился в черновик — уже не листы, а главы пошли в переделку, и минутами он сознавал: более не смогу.

Борьба с собой и мучительное приневоливание и переписывание высасывали его душу, и Гоголь на глазах менялся, казалось, еще вчера здоровый, молодой, он наутро глядел стариком, нос заострялся, бледность выступала на щеках, и бежал он опять от себя и от людей, перебегал с места на место, но некуда уже было скрыться. Оставался один конец, одно незаконное бегство, по о нем он и не смел помышлять, и еще в Одессе, когда зашел разговор о самоубийстве, он сказал: «Это такой нелепый грех...» Оставалось терпеть, оставалось взять себя в руки и вновь попробовать возродиться.

К концу 1851 года состояние Гоголя улучшается. Он опять работает, опять текут спокойно его занятия, он готовит к печати собрание сочинений, вычитывает чистые листы и правит их. Его тесный уют вновь напоминает келью: две комнатки, одна — спальня и кабинет, другая — прихожая и гостиная, где он изредка принимает гостей. Над постелью, закрытой ширмою, висит икона, теплится лампада, и по вечерам слышат слуги и хозяева, как усердно он молится или произносит вслух псалмы.

Все помнят, что Гоголь в эти дни особенно много говорил о смерти, страшился ее, и это приблизило роковую развязку. Еще в 1849 году, когда умерла Маргарита Васильевна Базили, он написал другу утешающее письмо и просил вместе с тем подробно описать ему ее последние минуты. Он просил у Базили прощения за этот интерес, но не мог скрыть его. Зачем ему это было нужно? Он хотел сверить свой страх с тем, что чувствуют в эти минуты другие — уходящие и свидетели их ухода. Сам он после смерти Вьельгорского избегал встреч с покойниками, не ходил ни на панихиды, ни на похороны. Смерть Маргариты Васильевны поразила его, она почти совпала с другим горестным событием — у Данилевского умер родственник жены. «Я был при кончине его и видел, — писал ему Данилевский, — последние минуты. Как ни говори о том, что «страшно зреть, как силится

преодолеть смерть человека»... В первый раз я был свидетелем этих торжественных минут, глубоко неизъяснимое впечатление оставили они на меня... сколько величественного, умилительного, страшного, раздирающего сердце...»

Базили писал другое. «Тьфу, брат, как пошлы все романы и все трагедии, где плаксы оплакивают своих возлюбленных. То ла смерть матери моих детей, того существа, с которым я привык жить и мыслить и чувствовать заодно». Базили писал ему, что, видя смерть жены, *усомнился* в бессмертии души, он не знал теперь, что говорить детям, как воспитывать их, как внушить им веру, которая до сего момента казалась ему, как и Гоголю, спасением, а обернулась безнадежностью.

Гоголь и сам не знал, что ему ответить. Ион сомневался, страшась сомнений и доверяя их отцу Матвею, когда тот приезжал к Толстому, не слышал от тог, ничего успокаивающего — отца Матвея начинали ужо раздражать эти колебания и слабость Гоголя, и он говорил: выбирайте. Что же вы мечетесь? Или искусство, или бог! Гоголь дал ему прочесть главу о священнике из второго тома «Мертвых душ» — глава отцу Матвею не понравилась. Он советовал уничтожить ее опять-таки потому, что священнический сан духовный, а Гоголь выносит его в сферу «прелести». И мало похожим казался ему этот священник на него самого — не подозревал оп опасности таких разговоров с Гоголем.

В такие минуты Гоголь более, чем когда-либо, был подвержен слову, влиянию слова, неожиданному толчку со стороны, который мог привести к обвалу накопившихся горьких чувств. Все колебалось в нем, все было неустойчиво, зыбко, дрожаще, и твердый голос как нельзя более нужен был ему сейчас. Не за кого было ухватиться, не к кому прижаться, как прижимался он в детстве к матери. В последнюю их встречу с отцом Матвеем (уже в феврале) Гоголь решительно отказался последовать его совету — бросить писанье.

Вдогонку уехавшему отцу Матвею он послал письмо, в котором просил простить того за нанесенные «оскорбления», и еще раз получил ответ: «Не унывайте, — не отчаивайтесь, во всем благодушествуйте... Решимость нужна — и тут же все и трудное станет легко, и невозможное по внушению врача будет весьма возможно. Так и сказано... когда немоществую, тогда силен...» Эти слова он и сам когда-то повторял тем, кто просил у него в беде поддержки. Сейчас они не помогали. Письмо это пришло уже, когда Гоголь *слег,* а произошло это после 11 февраля, когда совершилось то, чего ни он, никто не ждал, — уничтожение рукописи.

5

Все, что этому предшествовало, можно расчислить по дням. 26 января 1852 года умерла Екатерина Михайловна Хомякова. Гоголь любил ее — и

как жену своего близкого знакомого, и как сестру Языкова. Когда родился у Екатерины Михайловны сын, его в честь Языкова назвали Николаем, и Гоголь крестил его. Она умерла внезапно, от эпидемии брюшного тифа, умерла беременной, ожидая дитя. Смерть эта как бы подкосила Гоголя. Он увидел в этом предзнаменование. Присутствуя 28 января на панихиде, он был как восковой — его никогда не видели таким. Гоголь не выстоял панихиду до конца — при этом он старался не смотреть на покойницу.

Когда Хомяков, найдя в себе силы, вышел его проводить в переднюю, Гоголь обнял ею и плача сказал: «Все кончено». На похороны он не явился, сославшись на болезнь и недомогание нервов. Он сам отслужил по покойной панихиду в церкви и поставил свечу. При этом он помянул, как бы прощаясь с ними, всех близких его сердцу, всех отошедших из тех, кого любил. «Она как будто в благодарность привела их всех ко мне, — сказал он Аксаковым, — мне стало легче». И, немного задумавшись, добавил: «Страшна минута смерти». — «Почему же страшна? — спросили его, — только бы быть уверену в милости божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти». Он ответил: «Но об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту».

Еще когда Хомякова была жива, но уже появились опасения в худшем исходе, он приезжал к ним и спрашивал, чем ее лечат. Ему говорили, что ей дают каломель. «Ни в коем случае! — вскричал он. — Это яд!» С некоторых пор он боялся лекарств и не доверял им. И когда она умерла, он узнал, что ей вновь давали каломель. Он приписывал ее кончину действию этого лекарства.

«С этого времени, — как пишет лечивший Гоголя врач А. Т. Тарасенков, — мысль о смерти и о приготовлении себя к ней, кажется, сделалась преобладающей его мыслью».

Приближался пост, и Гоголь решил на этот раз поститься по-настоящему. Обычно он не выдерживал строгих условий поста и быстро переходил на скоромное, говоря, что его организм так устроен, что он не может долго продержаться на постном. В этот раз он почему-то страшился, что не выдержит и вновь впадет в грех.

В понедельник, 4 февраля, он был у Шевырева, сказал, что некогда заниматься корректурами. Шевырев заметил перемену во всем его облике. Он был угрюм, погружен в себя. Пробыл недолго и оказал, что чувствует себя слабо и хочет попоститься и поговеть.

— Зачем же на масленой? — спросил его Шевырев.

— Так случилось...

5 февраля Шевырев после лекций заехал к Гоголю на Никитский. Тот собирался в церковь.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Шевырев.

— Плохо. — Он жаловался на расстройство желудка и сильное действие лекарства.

— Как же ты, нездоровый, выезжаешь? Посидел бы дня три дома, и прошло бы. Вот то-то и не женат: жена бы не пустила тебя.

Он улыбнулся этому.

Все оставшиеся месяцы и дни своей жизни Гоголь искал места, где можно было бы найти наконец покой. Он звал Данилевского в Москву и просил его жить с ним одним домом. Он упрашивал Аксаковых не уезжать в Абрамцево, а снять квартиру в Москве и поселиться вместе с ним. Ему нужен был дом, семья, где он мог бы приютиться, освободиться от страха, развеять его. Но Аксаковы не могли снять квартиры — денег не хватало. Данилевский и подавно не мог на авось перебираться в белокаменную. С Погодиным ему жить не хотелось, с Шевыревым тоже. У Хомяковых отныне пусто было в доме. 9 февраля он последний раз приехал к ним и долго играл со своим крестником — будто прощался.

6

Продолжим летопись.

5 февраля Гоголь провожает на вокзале Санкт-Петербургской железной дороги отца Матвея. Его узнают в толпе, любопытные подходят поближе, чтоб разглядеть живого автора «Мертвых душ». «С этих пор, — пишет Тарасенков, — бросил литературную работу... стал есть весьма мало... сон умерил до чрезмерности». Теперь Гоголь постится и большую часть времени стоит на коленях перед образами в своей комнате.

6 февраля он у Шевырева. Все еще выезжает и навещает знакомых. Шевыреву кажется, что несколько посвежел лицом. Впрочем, следы бессонницы и усталости видны.

7 февраля Гоголь едет на Девичье поле в церковь Саввы Освященного, которая в дни жизни у Погодина была его приходской церковью, приобщается святых тайн. Вечером он служит там же благодарственный молебен.

8-го и 9-го он еще выезжает.

10 февраля пишет письмо матери: «Благодарю вас, бесценная моя матушка, что вы обо мне молитесь. О, как много делает молитва матери!.. В здоровье моем все еще чего-то недостает, чтобы ему

укрепиться. До сих пор не могу приняться ни за труды, как следует, ни за обычные дела, которые оттого приостановились...

Ваш весь, вас любящий сын

Николай».

Последнее письмо Гоголя — последнее из всех, писанных им, — было письмо к матери. Отныне почтовая бумага и конверты более не понадобятся ему. Лишь обрывки и клочки тетрадных листов станут его записными книжками и тем, на чем оп запишет самые последние свои слова.

Почерк его меняется. Мелкий, бисерно-убористый и похожий на нитку чистого жемчуга, он вдруг вырастет, приобретет детские формы: буквы станут выше, крупнее, перо медленнее будет двигаться по бумаге, выводя слова ясно, так ясно, чтоб и только начавший читать мог прочесть, чтоб и плохо видящий увидел.

10 февраля Гоголь просит позвать к нему хозяина дома и передает ему готовую рукопись второго тома. Он желает отдать ее митрополиту Филарету, чтоб тот отобрал, что считает нужным, а остальное обрек *уничтожению,* как негодное или ложное. Толстой взять бумаги отказался. До этого — в ночь с восьмого на девятое — Гоголь видел себя во сне мертвым, слышал «голоса», велел соборовать его, призвав священника из ближайшего прихода церкви Симеона Столпника. Священник прибыл, поговорил с ним и соборoваться отсоветовал.

11 февраля наверху у графа было богослужение. Гоголь, отдыхая на каждой ступени, поднялся наверх и на коленях слушал службу. Его подняли, отвели в его комнаты. Предложили лечь в постель. Он отказывался. Дни и ночи он теперь проводил в кресле, подставляя себе под ноги скамеечку, чтоб можно было полулежать. В эту же ночь — с 11-го на 12-е — он молился до трех часов на коленях перед иконою. К трем часам разбудил мальчика своего Семена. Спросил его, холодно ли в той комнате, где он обыкновенно занимался. Мальчик ответил, что гораздо холоднее. Не послушался его убеждений лечь спать, оделся в теплый плащ, взял свечу и пошел в кабинет, велел мальчику следовать за собою, останавливался во всех комнатах и крестился. Пришедши в кабинет, велел мальчику открыть трубу, но так осторожно, чтобы не разбудить ни одного человека. Между тем перебирал свои бумаги: некоторые откладывал в портфель, другие обрекал. Эти последние велел мальчику связать трубкою и положить в камин. Семен бросился на колени и слезно убеждал его не жечь их, говоря ему, что он будет сожалеть о них, когда выздоровеет. «Не твое дело!» — отвечал он. Сам зажег бумаги. Когда обгорели углы, огонь стал потухать. Мальчик обрадовался. Но Николай Васильевич заметил это, велел развязать

связку, еще подложить огня и ворочал бумаги до тех пор, пока они не превратились в пепел. В продолжение всего сожжения он крестился.

По окончании дела от изнеможения опустился в кресло. Мальчик плакал и говорил: «Что это вы сделали?» — «Тебе жаль меня», — сказал ему, обнял его, поцеловал и заплакал сам. Крестясь по-прежнему, возвратился он в спальню, лег на постель и горько заплакал.

Мы передаем эти подробности в изложении С. П. Шевырева. Хотя его в те минуты не было с Гоголем, но то, что он пишет, совпадает с показаниями других. Все пересказывали это событие со слов мальчика Семена Григорьева, крепостного Гоголя, который после смерти Гоголя, кстати, завещавшего отпустить его на волю, вернулся в Васильевку, остался при Марии Ивановне, потом был отдан в услужение Николаю Трушковскому, а потом затерялся. Он единственный, кто мог бы точно рассказать, как это случилось.

Шевыреву, как человеку, которому Гоголь доверял (Семен это знал), он и рассказал. Важно одно — совершил Гоголь свой самосуд в состоянии трезвом и спокойном.

Не было порыва, аффекта, о котором он бы через минуту после свершения страшной казни пожалел: бумаги не горели, а тлели, как могли тлеть на несильном огне толстые листы тетрадей, да еще сброшюрованных плотно. Обгорели лишь углы. И было время вынуть рукопись из печи (все же то была печь, а не камин) и спасти их. Но Гоголь поджег их свечой опять и еще подталкивал их, переворачивал, чтоб огонь взял все, чтоб не осталось ни клочка, ни памяти о том, что было.

С другой стороны, что-то он все же откладывал в портфель, и это были письма — письма Пушкина в том числе. Он делал это сознательно, в полной уверенности, что поступает правильно, единственно верно, хотя — и оттого плакал он — понимал уже, что *не сможет* восстановить написанного. Это было не то сожжение, какое он учинял своим трудам прежде, это был расчет с писательством и с жизнью. Более ни жить, ни писать было печем и не для чего.

«Надобно уж умирать, — сказал он после этого Хомякову, — а я уже готов, и умру». Тут действовала сила внушения, сила духа, уже приговорившая его сознание к мысли, что конец неминуем. «Он смотрел, как человек, — пишет Тарасенков, позванный к Гоголю впервые 13 февраля, — для которого все задачи разрешены».

Он уже почти ничего не принимал из рук стоявшего бессменно у его изголовья Семена (после сожжения Гоголь перебрался на кровать и более не вставал), только теплое красное вино, разбавленное водой.

Вокруг его кресла, а потом и постели валялись разбросанные обрывки бумаги с неоконченными записями на них. На одном слабеющей, но все еще ясно выводящей буквы рукой ДЕТСКИМ ПОЧЕРКОМ было написано:

Одна из предсмертных записок Гоголя.

«КАК ПОСТУПИТЬ, ЧТОБЫ ПРИЗНАТЕЛЬНО, БЛАГОДАРНО И ВЕЧНО ПОМНИТЬ В СЕРДЦЕ МОЕМ ПОЛУЧЕННЫЙ УРОК?»

Далее шло еще что-то, обрывавшееся на средине фразы, даже на недописанном слове, и в самом низу обрывка был рисунок: книга захлопывает человека с лицом, напоминающим лицо Гоголя. Те же длинные волосы и тот же профиль с длинным носом, хотя все набросано нечетко, несколькими скрещивающимися линиями. Что хотел сказать он этими словами и этим рисунком?

Жизнь кончена, и это его судьба — быть захлопнутым обложкой недописанной книги, книги, которую теперь уже никто не прочтет, книги, забравшей его жизнь и отпустившей его душу на свободу?

Его лечили. Ему лили на голову холодную воду («матушка, что они со мной делают?»), он просил е трогать его, говорил, что ему хорошо и он хочет скорее умереть. Его насильно раздевали, опускали в ванну, обматывали мокрыми полотенцами, сажали ему на нос пиявок. Он стонал, звал кого-то и просил подать ему лестницу, но это было уже в ночь накануне смерти.

Обеспокоенный хозяин дома созвал консилиум, все имевшиеся тогда в Москве известные врачи собрались у постели Гоголя. Он лежал, отвернувшись к стене, в халате и сапогах и смотрел на прислоненную к стене икону Божьей матери. Он хотел умереть тихо, спокойно. Ясное сознание, что он умирает, было написано на его лице. Голоса, которые он слышал перед тем, как сжечь второй том, были голосами *оттуда* — такие же голоса слышал его отец незадолго до смерти. В этом смысле он был в отца. Он верил, что должен умереть, и этой веры было достаточно, чтоб без какой-либо опасной болезни свести его в могилу.

А врачи, не понимая причины его болезни и ища ее в теле, старались лечить тело. При этом они насиловали его тело, обижая душу этим насилием, этим вмешательством в таинство *ухода*. То был уход, а не самоубийство, уход сознательный, бесповоротный, как уход Пульхерии Ивановны, Афанасия Ивановича, понявших, что их время истекло. Жить, чтобы просто жить, чтобы повторяться, чтоб тянуть дни и ожидать старости, он не мог. Жить и не писать (а писать он был более не в силах), жить и стоять на месте значило для него при жизни стать мертвецом.

Верный своей вере в то, что жизнь дается человеку для того, чтобы сделать свое дело и уйти, он и ушел от них, все еще думавших, что имеют власть над ним.

Муки Гоголя перед смертью были муками человека, которого не понимали, которого вновь окружали удивленные люди, считавшие, что он с ума сошел, что он голодом себя морит, что он чуть ли не задумал покончить с собой. Они не могли поверить в то, что дух настолько руководил им, что его распоряжения было достаточно, чтоб тело беспрекословно подчинилось.

Врачи терялись в догадках о диагнозе, одни говорили, что у него воспаление в кишечнике, третьи — что тиф, четвертые называли это нервической горячкой, пятые не скрывали своего подозрения в помешательстве. Собственно, и обращались с ним уже не как с Гоголем, а как с сумасшедшим, и это было естественным завершением того непонимания, которое началось еще со времен «Ревизора». Врачи представляли в данном случае толпу, публику, которая не со зла все это делала, но от трагического расхождения между собой и ПОЭТОМ, который умирал в ясном уме и твердой памяти.

В начале 1852 года Гоголь писал Вяземскому: надо оставить «завещанье после себя потомству, которое так же должно быть нам родное и близкое нашему сердцу, как дети близки сердцу отца (иначе разорвана связь между настоящим и будущим)...».

Он думал об этой *связи,* и смерть его — странная, загадочная смерть — была этой связью, ибо Гоголь в ней довел свое искание до конца.

В восемь часов утра 21 февраля 1852 года дыхание его прекратилось.

Лицо покойного, как пишет очевидец, «выражало но страдание, а спокойствие, ясную мысль». Рядом с диваном, на котором он умер, еще шли часы — они отсчитывали время, которое теперь принадлежало другим, и эти другие поняли, кого они потеряли. Горестным воплем из Петербурга отозвался на эту смерть Тургенев: «Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим». Он писал, что Гоголь не выдержал в себе борьбы целого народа, он умер, потому что решился, захотел умереть. «Он стоял в главе стремления всей России к самосознанию, — откликался ему из Москвы его «идейный противник» Ю. Самарин, — он, так сказать, носил его в себе. Он стоял ближе всех к разгадке, и потому вся Россия смотрела на него с трепетным ожиданием, думая получить чрез него разгадку своей судьбы, во сколько эта разгадка в сфере художества может свершиться». «Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени», — писал С. Т. Аксаков сыновьям.

Горевала Москва, горевал Петербург, горевала и вся Россия, внезапно обнаружившая, что осталась без Гоголя. Она как бы хлынула в эти дни в Москву, затопила ее улицы, Никитский бульвар и на руках вынесла гроб его из квартиры. Гроб поставили в церкви Московского университета. День и ночь текли толпы народа -таких похорон не видела древняя столица, не знала за всю свою историю. Сам генерал-адъютант А. А. Закревский и попечитель учебного округа В. И. Назимов явились ко гробу в орденах и лентах и встали по обе стороны его. Впрочем, как докладывал позже Закревский шефу жандармов Орлову, он прибыл более для слежения за порядком, но порядок установить было нельзя, потому что не из почтения, не из славы мишурной, минутной, громкой шел ко гробу народ, а из-за какого-то беспокойства, даже отчаяния, что умер тот, кто мог сказать слово, которому дано было его сказать и который служил этому долгу своему — жить в слове — бескорыстно.

День и ночь дежурили у гроба Гоголя студенты и профессора Московского университета, гроб был засыпан цветами, голова Гоголя увита лавровым венком. Брали на память цветы, лавровые листья — хотели сохранить хоть что-то о нем. Утром 24 февраля М. С. Щепкин, переживший своего любимца, закрыл гроб крышкой. Гроб подняли на руки и понесли. И так до самого Данилова монастыря, где вырыта была могила, несли его на руках, восемь верст по глубокому сырому снегу, выпавшему накануне. Шли мужики и баре, генералы и торговые люди, слуги и студенты, писатели, простой народ, приезжие, и не было между ними в эту минуту различия — какие-то шаги отделяли генерала от Чаадаева, который тоже был здесь, Хомякова, плачущего, как дитя, от Грановского, старого от малого. Даже те, кто всегда остается спокойным, кто и в годы великих потрясений народных умеет думать о собственной обиде и прыщике на носу, смущенные обилием провожавшей гроб толпы, спрашивали:

— Кого хоронят?

И такие же, как они, уверенные, что не могут так хоронить простого коллежского асессора, отвечали им важно:

— Генерала хоронят.

Вот и удостоился он посмертно звания генерала, которое всегда высмеивал, к которому так недостижимо тянулись все его титулярные советники, безумные лжецы и врали, добрые люди и помешавшиеся несчастные. Вот и произвели его в этот ЧИН, который он всю жизнь презирал и над которым посмеивался.

Не могли поверить люди, что умер писатель. Что такое писатель? Кто такой писатель? А вы знаете, кто перед вами стоит? Вы знаете, с кем вы разговариваете? Но генерал-губернатор в карете, едущий за траурной процессией, почетный эскорт жандармов по сторонам и эта текущая по

белому снегу скорбно-темная река тысяч и тысяч смущала душу, «...толки в народе... — писал один из участников похорон, — *анекдотов тьма,* все добивались, какого чина. Жандармы предполагали, что какой-нибудь важный *граф* или *князь...* один только извозчик уверял, что умер главный писарь при университете, т. е. не тот, который *переписывает,* а который *знал, как писать,* и к государю, и к генералу какому, ко всем».

Что ж, извозчик тот был прав. Знал умерший, как писать *ко всем.* И оттого все пришли поклониться ему в последний час. Мир сомкнулся над могилой Гоголя, враждовавшие между собой партии подали друг другу руки (через час, месяц, полгода они вновь разойдутся), но сбылась его мечта, и мгновение мира, воссоединения, единого вдоха пронеслось в ту минуту над Россией.

* * *

В доме Талызина на Никитском бульваре, в квартире умершего составлялся акт об оставшемся имуществе «скончавшегося от простуды коллежского асессора Гоголя». Квартальный надзиратель Протопопов вынимал из шкафа вещи и указывал: «Шуба енотовая, крытая черным сукном, старая, довольно ношеная, два старых суконных сертука черного сукна, один из них фасоном пальто, черное люстриновое пальто старое, пикеневое старое пальто белого цвета, одно парусинное пальто старое...» Он останавливался, переводил дух и продолжал: «Одни панталоны трековые мраморного цвета, трое старых парусинных панталон», — квартальный при этом все время заглядывал в лежащую перед ним на столе опись, — «пять старых бархатных жилетов разных цветов... одна старая полотняная простыня, три старых холстинных простыни, семь шерстяных старых фуфаек, три пары нитяных и три шерстяных старых носков, три полотняных носовых старых платков...»

Итого — вместе с золотыми карманными часами о двух золотых досках под № мастера 8291 и русскими и иностранными книгами, которых насчитывалось общей численностью двести тридцать четыре, имущество покойного Николая Васильевича Гоголя составляло стоимость в 43 рубля 88 копеек серебром.

Основные даты жизни Н. В. Гоголя

(по старому стилю)

1809, 20 марта — В местечке Большие Сорочинцы родился Николай Васильевич Гоголь.

1818—1819 — Гоголь в Полтавском поветовом училище.

1820 — Жизнь в Полтаве на дому у учителя Г. Сорочинского.

1821—1828 — Учение в Нежинской гимназии высших наук кн. Безбородко.

1825, 31 марта — Смерть отца Гоголя Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского.

1828, конец декабря — Прибытие Гоголя в Санкт-Петербург.

1829 — Стихотворение «Италия» (без подписи) напечатано в журнале «Сын отечества».

— Выход поэмы «Ганц Кюхельгартен» под псевдонимом В. Алов.

— Служба в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий.

1830 — Гоголь — писец в Департаменте уделов.

— В «Отечественных записках» напечатана (без подписи) повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала».

1831—1835 — Гоголь — учитель истории в Патриотическом институте.

1831, май — Знакомство с А. С. Пушкиным.

— Выход в свет первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

1832 — Выход в свет второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

— Гоголь в Москве. Поездка в Васильевку.

1834—1835 — Гоголь — адъюнкт-профессор по кафедре всеобщей истории при Санкт-Петербургском университете.

1835 — Вышли «Арабески» и «Миргород». Начаты «Мертвые души».

— ноябрь — декабрь — Написан «Ревизор».

1836, 11 апреля — Выход в свет первого номера «Современника», где напечатаны «Коляска», «Утро делового человека» и статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году».

— 19 апреля — Премьера «Ревизора» в Александрийском театре.

— 6 июня — Отъезд Гоголя за границу.

1836—1839 — Жизнь за границей. Знакомство с А. А. Ивановым.

1839, сентябрь — 1840, май — Гоголь в России. Знакомство с В. Г. Белинским.

1840, 9 мая — Знакомство с М. Ю. Лермонтовым.

1840 — Болезнь Гоголя в Вене.

1842, май — Вышли «Мертвые души».

1842—1848 — Жизнь за границей.

1842, декабрь — Первое представление «Женитьбы» в Петербурга.

1842—1843 — Издание Сочинений Н. В. Гоголя, где впервые напечатаны «Шинель» и «Театральный разъезд».

1844 — Создание фонда для помощи нуждающимся молодым студентам. — Смерть сестры Гоголя М. В. Трушковской.

1845, весна — Болезнь Гоголя во Франкфурте.

— лето — Сожжение одной из редакций второго тома «Мертвых душ».

1846 — Гоголь читает «Бедных людей» Ф. М. Достоевского. Написаны «Развязка Ревизора» и предисловие ко второму изданию «Мертвых душ».

1847 — «Выбранные места из переписки с друзьями». «Авторская исповедь».

1847, июнь—август — Обмен письмами между Гоголем и Белинским по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями».

1848, февраль — Гоголь в Иерусалиме.

— осень — Начало «романа» с А. М. Вьельгорской. Знакомство с Гончаровым, Некрасовым, Григоровичем. Гоголь поселяется в Москве.

1849 — Поездка в Калугу.

— Гоголь слушает комедию А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» в исполнении автора.

— Гоголь в Оптиной пустыни и в Васильевке.

1850, осень — 1851, весна — Жизнь в Одессе.

— Последнее пребывание Гоголя в Васильевке. Знакомство с И С. Тургеневым.

1852, 26 января — Смерть Е. М. Хомяковой.

— Ночь с 11 на 12 февраля — сожжение второго тома «Мертвых душ».

21 февраля в 8 часов утра Н. В. Гоголь умер.

24 февраля — Похороны Гоголя на кладбище Данилова монастыря.

Краткая библиография

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Н. В. ГОГОЛЯ

Сочинения П. В. Гоголя. Изд. 10-е. Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Николаем Тихонравовым. Т. 1—10. М., 1889.

Гоголь Н. В. Полное собрание художественных произведений с биографией, написанной проф. А. И. Кирпичниковым. М., 1916.

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Пгр., 1919.

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. I—XIV. М., Изд-во АН СССР, 1938—1952.

О Н. В. ГОГОЛЕ

Кулиш П. А. — Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя в двух томах. Спб., 1856.

Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. I—V. М., 1892—1897.

Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., Изд-во АН СССР, 1960.

Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., ГИХЛ, 1960.

Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1—22. Пб., 1888—1910.

Башуцкий А. Панорама Петербурга. Спб., 1834.

Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1—12. М., 1953—1956.

Белозерская Н., Н. В. Гоголь, служба его в Патриотическом институте 1831—1835. — «Русская старина», 1887, № 12.

Гиппиус В. Гоголь. Л., «Мысль», 1924.

Гиппиус В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным. — «Ученые записки Пермского ун-та». Пермь, 1931.

Гоголь в воспоминаниях современников. М., ГИХЛ, 1952.

Гоголь Н. В. Материалы и исследования под ред. В. В. Гиппиуса. Т. 1—2. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1936.

Гоголь-Головня О. В. Из семейной хроники Гоголей. Киев, 1909.

Мария Ивановна Гоголь о себе. — «Русский архив», 1902, № 4.

Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М., ГИХЛ, 1959.

Дневник неизвестной. — «Русский архив», 1902, №3.

Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. Гос. академия худож. наук. М., 1928.

Иванов А. А. Его жизнь и переписка 1806—1858. Издал Михаил Боткин. Спб., 1880.

Иордан Ф. И. Записки. М., 1918.

Иофанов Д. II. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, Изд-во АН УССР, 1951.

История Украинской ССР. Т. 1—2. Киев, «Наукова думка», 1969.

Проф. Лавровский. Гимназия Высших наук кн. Безбородко в Нежине. Спб., 1881.

Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826— 1855 гг. Спб., 1909.

Литературное наследство. Т. 58.

Отрывок из записок Е. В. Быковой, родной сестры Гоголя. — «Русь», 1885, № 26.

Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный историческим обществом Нестора-летописца. Киев, 1902 г.

Письма А. О. Смирновой к Гоголю. — «Русская старина», 1883, № 6, 7, 10, 1890, № 6, 7, 11, 12.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч., в 10-ти тт. Изд. 3-е. М., Изд-во АН СССР, 1963—1966.

Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., «Федерация», 1929.

Смирнова А. О. Автобиография. М., «Мир», 1931.

Степанов Н. Л. Н. В. Гоголь. М., ГИХЛ. 1959.

Степанов Н. Л. Гоголь. М., «Молодая гвардия», ЖЗЛ, 1961.

Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Гоголя. Изд. 2-е, дополненное по рукописи. М., 1902.

Храпченко М. Б. Творчество Н. В. Гоголя. «Сов. писатель», 1959.

В книге использованы материалы, хранящиеся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, в рукописных отделах

Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Института литературы АН УССР и Центральной научной библиотеки АН УССР. Автор сердечно благодарит работников названных учреждений, а также сотрудников Государственной публичной исторической библиотеки за внимание и дружескую помощь.

Особую благодарность приносит автор работникам отдела рукописей Центральной научной библиотеки АН УССР Анастасии Григорьевне Адаменко и Николаю Петровичу Визирю, а также краеведу из Полтавы Петру Петровичу Ротачу.

Примечания

1

Здесь, как и в случаях, особо не оговоренных, выделено автором.

2

Архив Центральной научной библиотеки АН УССР, Гоголиана, III, № 8787

3

Как установил исследователь творчества М. М. Зощенко Ю. Томашевский, Н. Зощенко — прадед знаменитого писателя.

4

Архив Центральной научной библиотеки АН УССР, Гоголиана, III, № 8790.

5

Отдел рукописей Пушкинского Дома АН СССР, ф. 538, оп. 1, лл. 74—75. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что В. А. Гоголь, точная дата смерти которого была неизвестна, умер 31 марта 1825 года.

6

Надзиратель лицея. — *Примеч. авт.*

8

Слова из некролога о Пушкине в «Северной пчеле» (№ 24, 30, I. 1837 г.).

9

Этот номер «Современника» привез Гоголю во Франкфурт в сентябре 1837 года А. И. Тургенев.

10

Святая гильотина.

11

Комаров А. А. — преподаватель словесности в петербургских военно-учебных заведениях, близкий знакомый Белинского.

12

Выделено Гоголем. — *И. З.*

13

Nosy — носатая *(англ.)*.

14

До крайности *(латин.)*.

15

Здесь и далее использованы разные редакции и варианты оставшихся глав второго тома «Мертвых душ».
